This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

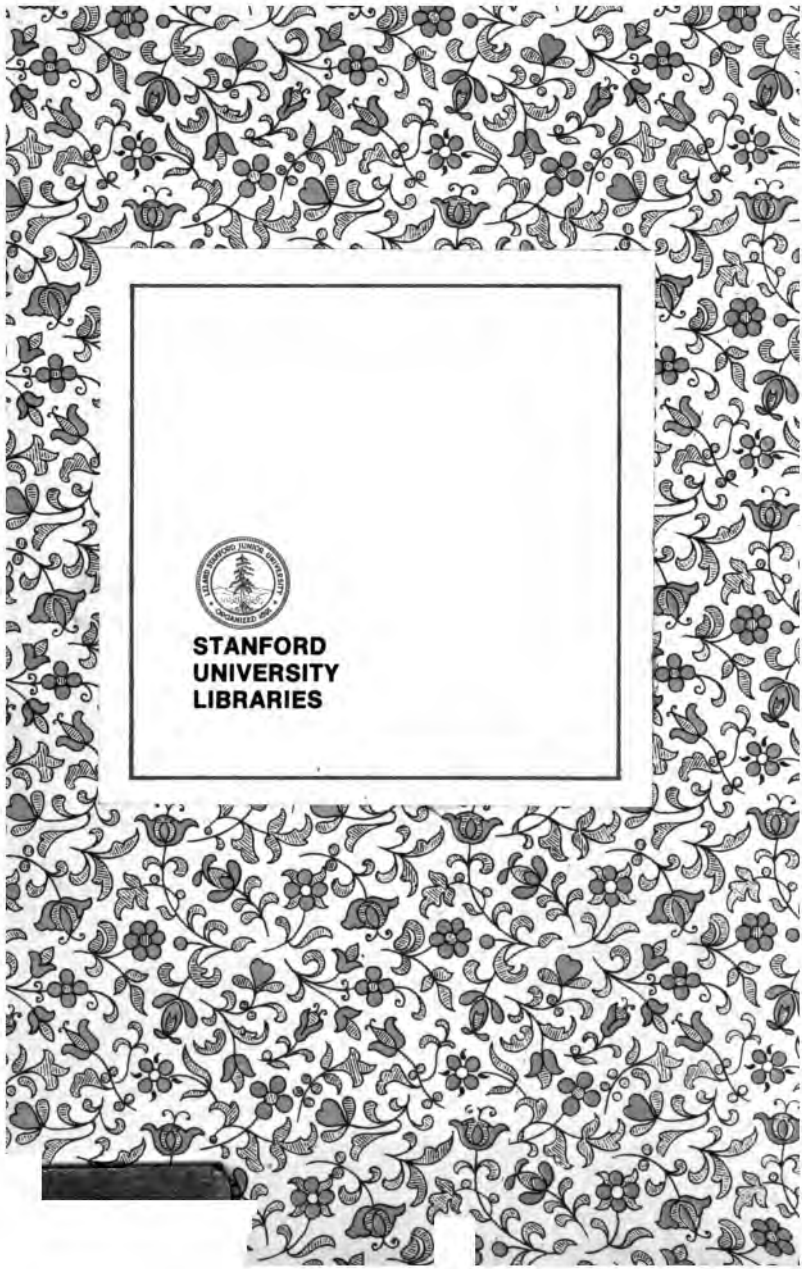
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

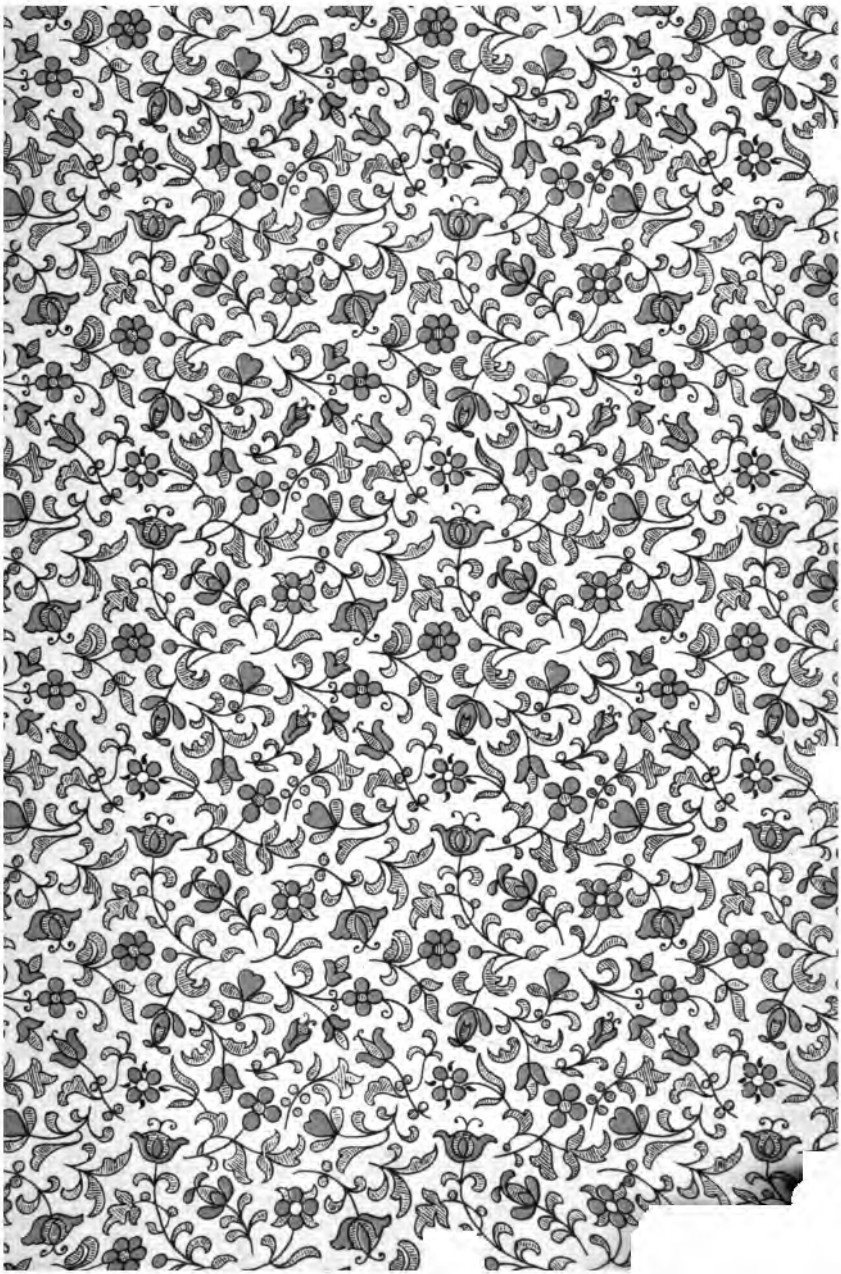
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES



ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
А. Н. МАЙКОВА.
IV.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

А. Н. МАЙКОВА

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

ПО АВТОРСКИМЪ ТЕКСТАМЪ

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

Изданіе А. Ф. МАРКСА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія А. Ф. МАРКСА. Измайловскій просп., № 29
1901

Майков, А. Н.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
А. Н. МАЙКОВА

ИЗДАНІЕ СЕДЬМОЕ

ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Въ четырехъ томахъ

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

Изданіе А. Ф. МАРКСА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія А. Ф. МАРКСА. Измайловскій прос., № 29
1901

Кс

PG 3337
M2
1901
v.4

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

		СТРАН.
1.	Чудный вѣкъ. (Стихотворенія Аполлона Майкова. 1842. С.-Пб.).	5
2.	Туда, гдѣ море спитъ (Тамъ же).	7
3.	Венера Медицейская (Тамъ же).	8
4.	Радость (Тамъ же).	12
5.	Люблю надъ Рейномъ я громадныя твердыни (Тамъ же)	13
6.	Воробьевы горы (Тамъ же).	14
7.	Два моря (Тамъ же).	17
8.	Магдалина (эскизъ) (Тамъ же).	20
9.	В. А. С . . . у (Тамъ же).	21
10.	Пери и Азраилъ (Тамъ же).	25
11.	Долинъ Евфратовыхъ (Тамъ же).	27
12.	Два гроба (Тамъ же).	28
13.	Измѣна (Тамъ же).	31
14.	Доридѣ (Тамъ же).	33
15.	Scholia (Тамъ же).	35
16.	Элегія (Тамъ же).	36
17.	В. Г. Венедиктову (Тамъ же).	37
18.	Свершай служенье музъ (Тамъ же).	42

19. Слава (Стихотворенія Аполлона Майкова. 1842. С.-Пб.). . . 43
20. Лунная ночь (Тамъ же). 45
21. Пѣвцу (Тамъ же). 47
22. Конецъ міра (Тамъ же). 49
23. Мысль (Тамъ же). 51
24. Отвергла гордая (Тамъ же). 52
25. Заря (Тамъ же). 54
26. Мститель (Тамъ же). 56
27. Кладбище (Тамъ же). 60
28. Италія (Тамъ же). 64
29. Грузинкѣ (Тамъ же). 67
30. Олинеъ и Эсеирь (Тамъ же) 69
31. Видѣніе (Отеч. Зап. 1842 г., т. XX) 115
32. Черногорецъ (Отеч. Зап. 1842 г., т. XXI). 116
33. Внимаю ль я порой (Отеч. Зап. 1842 г., т. XXIV) 117
34. Тайна (Отеч. Зап. 1842 г., т. XXV). 118
35. Превращеніе (Библ. для чтенія 1842 г., т. 53). 119
36. Перерожденіе (Библ. для чтенія 1842 г., т. 53). 121
37. Цезарь (Библ. для чтенія 1842 г., т. 55). 122
38. Предсказаніе (Библ. для чтенія 1842 г., т. 55). 123
39. Испытаніе (Отеч. Зап. 1844 г., т. XXXVI). 124
40. На пути (Отеч. Зап. 1844 г., т. XXXVI). 126
41. Элегія (Отеч. Зап. 1845 г., т. XXXVIII). 127
42. Двулицый Янусъ (Отеч. Записки 1845 г., т. XLII). . . . 129
43. Двѣ судьбы (Отдѣльное изданіе. С.-Пб. 1845 г.). 135
44. Изъ дневника въ Римѣ (Метеоръ, 1845 г.). 201
45. Дикарка (Метеоръ, 1845 г.). 202
46. Первый поцѣлуй (Петербургскій сборникъ, 1846 г.). . . . 204
47. Для чего, природа (Тамъ же). 205
48. Машенька (Тамъ же). 207
49. Скульптору. } Очерки Рима, 1847 г. 263
50. Анахоретъ. } Очерки Рима, 1847 г. 265
51. Думалъ я, что небо.. } Очерки Рима, 1847 г. 267
52. Люблю въ тебѣ веселье. } Очерки Рима, 1847 г. 269
53. Боишься ты прослыть глупцомъ (Соврем. 1853 г., т. XXXVII). 270
54. Полно притворяться (Соврем. 1853 г., т. XXXVIII). . . . 271

55. Встрѣча (Отеч. Записки 1854 г., т. XCIII). 273
56. Весенній бредъ (Соврем. 1854 г., т. XLIV. 275
57. Бывало уловить изъ жизни мигъ случайный } 1854 годъ. Стихотворенія А. Н. Майкова. С.-Пб. 282
58. Памяти Державина. 284
59. Посланіе въ лагерь. 289
60. Отставной солдатъ Перфильевъ. 290
61. Пастухъ. 298
62. Молитва. 306
63. Москвѣ. 307
64. Арлекинъ. 309
65. Коляска. 320
66. 18 февраля 1855 г. (Соврем. 1855 г., т. L.). 321
67. Вихрь (Стихотворенія Аполлона Майкова. Изданіе гр. Кушелева-Безбородка. 1858.) 324
68. Все вокругъ меня какъ прежде. (Отеч. Записки 1857 г., т. CXIV). 328
69. Первая любовь. (Отеч. Зап. 1857 г., т. CXIV). 329
70. Въ юдоли плача и порока (Стихотворенія Аполлона Майкова. Изданіе гр. Кушелева-Безбородка. 1858). 330
71. Жизнь еще предо мною (Тамъ же). 332
72. Сны. 1856—1858 (Русское Слово, январь, 1859 г.). . . . 333
73. Смерть Люція (Русскій Вѣстн., февраль, 1863 г.). 367
74. Другу Ильѣ Ильичу } (Новыя стихотворенія А. Н. Майкова. 1864 г.). 429
75. Празднословы } 433
76. 4-е апрѣля 1866 г. (Отдѣльное изд. 1866 г.). 435
77. Благодарственный гимнъ (Отдѣльное изд. 1866 г.). 437
78. The empress of India (Русск. Вѣстн., май 1877 г.). . . 439
79. Прогулка по Риму съ моими знакомыми (Для легкаго чтенія. 1858 г.). 443
80. Пикникъ во Флоренціи (Для легкаго чтенія. 1859 г.). . . 485
81. Маркъ Петровичъ Петровъ (Нива, 1890 г.). 544
82. Изъ приключеній Горунина въ Италіи (Нива, 1892 г.). . . 588

Предисловіе.

Произведенія, вошедшія въ 4-й томъ настоящаго изданія, были въ прежнее время помѣщаемы авторомъ въ журналахъ, или входили въ изданія прежнихъ годовъ, либо были издаваемы въ видѣ отдѣльныхъ сборниковъ, но затѣмъ исключены изъ позднѣйшихъ Собраній сочиненій А. Н. Майкова имъ самимъ. Здѣсь помѣщаются эти произведенія потому, что они представляютъ цѣнный матеріалъ для исторіи развитія творческой дѣятельности поэта и вмѣстѣ съ тѣмъ являются свидѣтельствомъ той строгой критической оцѣнки, съ которою покойный Аполлонъ Николаевичъ Майковъ относился къ своимъ произведеніямъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ЧУДНЫЙ ВѢКЪ.

Былъ чудный вѣкъ, но вѣкъ сей золотымъ
Не нарекли потомки въ ослѣпленьи,
Хотя ему хвалы и славы дымъ
Они кадятъ въ нѣмомъ благоговѣньи,
Хотя и ихъ сіяніемъ своимъ
Объемлетъ онъ, какъ ангелъ вдохновенья.
Въ тотъ вѣкъ, въ его горнилѣ закаленъ,
Былъ новый міръ изъ пепла возрожденъ.

Тотъ чудный вѣкъ не Греціи блаженной
Ниспосланъ былъ Юпитеромъ съ небесъ:
Онъ возсіялъ въ странѣ, загроможденной
Цѣпями горъ; въ странѣ, гдѣ вьется лѣсъ
Средь блатъ и тундръ; въ той храминѣ священной,
Гдѣ льды горятъ, какъ въ храминѣ чудесъ,
При заревѣ и пламенномъ блистаньи
На сѣверѣ кроваваго сіянья.

Не пастыремъ скитался человѣкъ:
Онъ злато нивъ въ степяхъ разлилъ волнами;
Не бѣдный челнъ скользилъ по лону рѣкъ:
Котломъ моря вскипали подъ судами,

И Беринга могучій руль разсѣкъ
Льдяную грань между двумя мірами,
И царство вдругъ возстало, дрогнулъ врагъ,
И загулялъ въ моряхъ нашъ бѣлый флагъ.

Въ тѣни дубовъ коломенскихъ, смиренно
Возросъ небесъ помазанникъ младой.
Тамъ изучалъ, въ тиши уединенной,
Всѣ язвы онъ страны своей родной,
И, прадѣдовъ ошибкой наученный,
Онъ скиптръ пріялъ, какъ Бога жезлъ святой,
Небесъ мечомъ перепоясалъ чресла,
Воззвалъ..., и Русь изъ бездны тьмы воскресла!

И самъ вѣнецъ онъ слилъ ей на главу;
Сардамскій млатъ скрѣпилъ ея основы
И выковалъ ей мечъ и булаву;
Петра топоръ громовый сбилъ оковы
Съ широкихъ вратъ въ Европу; а въ Неву
Пріялъ гостей младенецъ-городъ новый...
Былъ чудный вѣкъ, но золотымъ сей вѣкъ
Потомковъ гласъ въ смущеньи не нарекъ.

(1842).

*) Года, заключенные въ скобки, указываютъ время напечатанія стихотворенія, а года безъ скобокъ, означенные самимъ авторомъ,— время написанія.

Туда, гдѣ море спитъ у скалъ пирамидальныхъ,
Въ священной дикости лѣсовъ патріархальныхъ,
Въ пустынной глубинѣ таинственныхъ дубровъ,
Сокрой святую скорбь, питомецъ злополучья!
На торжищѣ суетъ, при оргіяхъ пировъ,
Ты не найдешь душѣ своей созвучья.
Но тамъ, гдѣ нѣтъ людей, гдѣ вкругъ запечатлѣнъ
Еще Господень перстъ въ гармоніи созданья,
Пади на грудь скалы, ей ввѣрь свои страданья
И, голову склоня у царственныхъ колѣнъ,
Повѣдай тайну ей. Ни пѣнистыя волны,
Ни томный скрипъ деревъ ее не разнесетъ:
Она ее навѣкъ въ груди своей запретъ...
Ея участіе глубоко и безмолвно!

(1842).

ВЕНЕРА МЕДИЦЕЙСКАЯ.

Между археологами и художниками существуетъ повѣрье, что статуя, извѣстная подъ названіемъ «Венеры Медицейской», есть изображеніе одной Римской императрицы.

«Невольницы мои младыя!
Курите чистый ѳиміамъ,
Развѣсьте ткани шелковыя,
Разсыпьте по цвѣтнымъ коврамъ
Гирлянды розановъ душистыхъ
И померанцовыхъ цвѣтовъ,
И, выжавъ брызги водъ струистыхъ
Изъ золотыхъ моихъ власовъ,
Ихъ благовоньемъ умастите,
И, діадимой осѣнивъ,
На грудь высокую пустите
Змѣистыхъ локоновъ разливъ.
Пусть изумрудъ и жемчугъ млечный
По шеѣ цѣпью упадетъ,

Порфира алая безпечно
Тунику бѣлую повьетъ.
На тріумфальной колесницѣ
Златовѣнчанною царицей
Я вниду въ семихолмный Римъ.
Пусть, преклоненъ къ стопамъ моимъ,
Тогда народъ его упрямый
Меня богиней наречетъ
И рабски мнѣ изъ рода въ родъ
Жжетъ ѳиміамъ и зиждетъ храмы!

«Чья грудь такъ гордо, высоко
Вздымаетъ волны снѣговыя?
Чьи гуще косы золотыя?
И чьи ланиты такъ легко
Сіяютъ заревомъ денницы?...
Гдѣ мнѣ соперницы, о Римъ?
Не вы ли, съ блескомъ подкупнымъ,
Продажныя порока жрицы?...
Предъ строгой гордостью моей,
Предъ блескомъ царственной осанки,
Замретъ невольно ядъ рѣчей
И взоръ неистовой вакханки.
Сразитъ ли онъ, сей взоръ нѣмой,
Молньеметательныя очи?...
Прочь, прочь! Вы блѣдны предо мной,
Какъ блѣдны звѣзды синей ночи
Передъ денницей молодой!
Я въ Римъ явлюсь, какъ къ рощамъ Книда

Являлась пышная Киприда
На колесницѣ золотой,
Влекомой плавно лебедями,
И жертвъ веселыми огнями
Горѣлъ алтарь ея святой».

Такъ говорила молодая
Царица Рима, покидая
Купальни мраморной струи,
Волнами легкой кисеи
Роскошно члены обвивая,
И, сладкимъ трепетомъ полна,
Въ ковры кидалася она.

И вотъ красавицы надменной
Мечты сбылись: перенесло
Волшебство мысли вдохновѣнной
На мрамора обломокъ бренный
И это гордое чело,
Вѣнчанное красой Изиды,
И стройный станъ, и снѣгъ грудей:
И Римъ нарекъ ее Кипридой!
И Римъ молился передъ ней!

Прошли вѣка. Ихъ молотъ твердый
Величья храмы раздробилъ;
Взнесенный къ небу мраморъ гордый
Перунъ завистливый сразилъ;
Миѳологическіе боги
Забыли пышный Пантеонъ,

И бродитъ нищій, тать убогій,
Въ пыли дорическихъ колоннъ.
Какъ трупъ, какъ остовъ молчаливый,
Лежатъ въ пескахъ златыя Ѳивы:
Тамъ блещетъ змѣй, иль бѣглый рабъ,
Степной скрывается арабъ...
Но вы, обломки величавы,
Которымъ геній чистоты
Лучами вѣчной красоты
Одѣялъ мраморныя главы!
Какъ завѣщаніе вѣковъ,
Вы сохранились средь гробовъ.
Не жертвы кровь, не блѣдный пламень,
Не ѳиміама легкій дымъ
Объемлетъ жертвенный вашъ камень:
Нѣтъ, блещетъ даромъ онъ инымъ!
На немъ сіяетъ вдохновенье,
Восторгъ, какъ ѳиміамъ, горитъ,
И, чуя бога, въ умиленьи
Душа трепещетъ и кипитъ.

(1842).

РАДОСТЬ.

Долго ль радости сіянье
Озаряетъ темный міръ?..
Други! сядемъ ли за пиръ,
Сотворивши возліянья
Винъ на жертвенникъ боговъ
По начаткамъ отъ плодовъ;
Пышно чаши золотыя
Темнымъ миртомъ обовьемъ;
Осѣнимъ чело вѣнкомъ
Алыхъ розъ; струи живыя
Кипра пѣной осребримъ;
Храмъ веселья ярымъ воскомъ
Озаримъ, и огласимъ
Пирныхъ пѣсенъ отголоскомъ:
Что жь?.. Еще горятъ огнемъ
Розы свѣжія Пестума,
А, какъ воронъ черный, дума
Тѣнью вьется надъ челомъ!

(1842).

Люблю надъ Рейномъ я громадныя твердыни,
Какъ гнѣзда орлія на гребнѣ дикихъ скалъ.
Тамъ буйствовалъ восторгъ; гласъ чести созывалъ
Воителей на брань къ спасенью благостыни.
Такой ли въ васъ огонь пылалъ въ годину сѣчъ,
Наслѣдники гербовъ ихъ, славы и гордыни?..
Безсмысленны для насъ обломковъ ихъ святыни,
И дремлетъ въ бурю войнъ вашъ прадѣдовскій мечъ!

Такъ, сада дикаго среди пустынной чащи,
Гдѣ нѣкогда фонтанъ взвивалъ кристаллъ шумящій,
Изъ урны треснувшей разросся злакъ густой;
Гдѣ съ скалъ рвалась волна, шумя какъ бездны ада,
Чуть вьется слабый токъ по руслу водопада,
И заросла плющемъ и длинною осокой
Листовѣнчанная изъ мрамора наяда.

(1842).

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ.

Не горятъ златыми льдами,
Ни пурпурными снѣгами,
Средь небесной синевы,
Ихъ вѣнчанныя главы;
Съ ребръ не хлещутъ водопады;
Бездны, воя и шумя,
Не страшатъ пришельца взгляды,
Ни пугливаго коня.
Но люблю я эти горы
Въ простотѣ веселой ихъ,
Ихъ обрывы, ихъ уборы
Перелѣсковъ молодыхъ.
Тамъ любилъ я, въ полдень жаркій,
Въ тишинѣ бродить. Вдали
Предо мною лентой яркой
Волны рѣзвыя текли;
Прилеталъ порой тяжелый,

Звучный гулъ колоколовъ,
И блисталъ, какъ бы съ престола,
Между доловъ и холмовъ,
Сердце Руси православной,
Градъ святой, перводержавный,
Вѣковой,—Москва сама,
И сады ея густые,
И пруды заповѣдные,
Колокольни, терема,
Кровель море разливное,
И, въ торжественномъ покоѣ,
Между ними, въ вышинѣ,
Кремль старинный, сановитый,
Нашъ алтарь, въ крови омытый
И искупленный въ огнѣ.

Съ этихъ горъ святой вершины
Страшный міру исполинъ
Устремлялъ свой взоръ орлиный
На московскія равнины
И огни своихъ дружинъ.
«Вотъ,—онъ мнилъ:—вѣнецъ желанный,
Плодъ трофеевъ и утратъ!
Мы отсюда дланью бранной
Спеленаемъ сѣверъ льдяный,
Сдавимъ гордый Араратъ:
И пустынные народы
Предо мной копье склонятъ
И до-полюсныя воды

У моихъ восплещутъ пятъ!..
Мнѣ ль ты царство устроила,
Вѣнценосная Жена?
Для меня ль ты насаждала
Здѣсь величья сѣмена?
Я пожалъ ихъ въ бранномъ дымѣ:
Царство Руссовъ—мнѣ дано!
И заблещетъ днесь оно
Въ европейской діадимѣ,
Какъ азійское зерно».

Такъ онъ мнилъ: вѣнецъ нетлѣнный,
Міра кровью окропленный,
Зрѣлъ надъ гордой головой,
И сжималъ весь кругъ вселенной
Скиптроносною рукой;
А межь тѣмъ, угрюмъ и страшенъ,
Мракъ спускался на поля,
И вокругъ кремлевскихъ башенъ
Кралась пламени змѣя.

(1842).

ДВА МОРЯ.

Въ вѣнцѣ береговъ, на яблокѣ земли
Два моря есть—разрозненные братья:
Одно полно божественной любви,
А на другомъ лежитъ клеймо проклятья.
Одно легло игривою волной,
Подъ сѣнью пальмъ, на берегъ утучненный,
И города, какъ перлы многоцѣнны,
Оно вплело въ вѣнецъ свой голубой.
Покрытыя лазурными снѣгами,
А по пятамъ увитыя кругомъ
Богатыхъ лозъ янтарными кистями,
Глядятся горъ льдяныя цѣпи въ немъ,
Подъ кровомъ ихъ ликующіе грады
По яхонту полуденныхъ зыбей
Другъ къ другу шлютъ вѣтрила кораблей,

Какъ лебедей бѣлѣющее стадо.
И зелены сады густые ихъ;
Какъ жаръ горятъ ихъ мраморныя кровли;
И зыблется въ заливахъ голубыхъ
Игривый флагъ дѣятельной торговли.
Какъ нѣженъ звукъ гитаръ и мандолинъ
Въ тѣни оливъ и темной сикоморы!
И теплыхъ волнъ какъ сладкозвучны хоры
По берегамъ у дремлющихъ руинъ!
Однѣ звучатъ аккордами Россини,
Тѣ вторятъ кликъ алжирскихъ удальцовъ,
А тамъ онѣ, своею цѣпью синей,
Журчатъ вокругъ эллинскихъ городовъ.
И, мнится, тамъ, вокругъ пустынныхъ мысовъ,
Въ развалинахъ, подъ тѣнью кипарисовъ,
Хоръ нереидъ при мѣсячныхъ лучахъ
Родныхъ руинъ оплакиваетъ прахъ —
Сей дивный край, жемчужину природы,
Блестящій перлъ на поясѣ земли...
И съ ропотомъ полуденныя воды
Ихъ скорбный плачъ далеко разнесли.

Но есть вдали другое море. Дико
Стоитъ оно на рытвинѣ великой;
Оно горитъ какъ сизое стекло
Межь голыхъ скалъ, среди пустыни спящей,
Недвижимо, лазурно и блестяще,
Проклятіемъ навѣкъ заклеймлено!
По немъ, воздѣвъ шеломъ среброкосматый,

Станица волнъ не ратуетъ вовѣкъ;
И не свѣжитъ асфальтовые скаты,
И не каймитъ жемчужной пѣной брегъ.
Не рѣзалъ руль воды его лѣнивой,
Орелъ къ нему съ небесъ не ниспадалъ,
И съ ревомъ левъ своей златистой гривы
Въ его водахъ зловонныхъ не купалъ.

(1842).

МАГДАЛИНА.

(Эскизъ.)

Посмотри: прикрывъ власами
И косматой кожей льва
Станъ свой, въ гротѣ, межь скалами,
Дѣва. Блѣдная глава
Оперлась въ изнеможеньи
Грустно на руку; въ другой —
Сей символъ уничтоженья,
Бѣлый черепъ гробовой.
Злато, пышныя одежды
Топчетъ съ гордостью нога,
Очи подняты съ надеждой
Ко кресту изъ тростника.

(1842).

В. А. С....У.

Опять судьба переселила
Меня подъ тотъ счастливый кровъ,
Гдѣ море тихо опочило
Въ объятьяхъ дикихъ береговъ;
Гдѣ наше сѣверное небо
Порой какъ южное горитъ
И жаръ зиждительный даритъ
Лугамъ и пышнымъ всходамъ хлѣба.
Съ какой отрадой встрѣтилъ я
Зеленошумныя деревья,
Къ себѣ на лѣтнее кочевье
Опять призвавшія меня!
Какъ жадно я на воды моря
Съ крутого берега взиралъ,
И волнъ, въ шумливомъ разговорѣ,
Знакомый голосъ узналъ!
Опять завидовалъ я быту
Питомцевъ моря, рыбарей,

Ихъ жизни бурной и забытой
На лонѣ гибельныхъ зыбей,
Ихъ мирнымъ хижинамъ по брегу.
Гдѣ трудъ живитъ ночную нѣгу,
Ихъ бѣлопаруснымъ ладьямъ
И ихъ дымящимся кострамъ.
Я посѣтилъ, восторга полный,
И тотъ пустынный, дальный мысъ,
Гдѣ сосны густо разрослись,
Гдѣ съ тростниками шепчутъ волны...
Люблю печальныя мѣста,
Пріютъ свободныхъ вдохновеній!
Но звать ли васъ подъ наши сѣни,
Питомца дѣла и труда
Въ объятья сладостныя лѣни?
Не дикость нашихъ береговъ,
Не прелесть сѣверной природы,
Обломки скалъ, шатры дубовъ
И шумно плещущія воды
Влекутъ вашъ взоръ: пріютъ иной
Мечта вамъ тайная рисуетъ;
Страна иная васъ чаруетъ,
Маня подъ кровъ привѣтный свой, —
Туда, гдѣ древняя Гренада,
Дитя Аравіи, цвѣтетъ
Подъ сѣнью пальмъ, подъ говоръ водъ,
Средь пышныхъ гроздей винограда...
Тамъ, средь обломковъ древнихъ дней,
Величье гордое блистаетъ,

И темный мирть, какъ черный змѣй
Надъ бѣлой грудою костей,
Пустынный мраморъ повиваетъ...
Но тщетно пурпуръ и лазурь,
И стихъ корана громозвучный
Съ него сгонятъ сила бурь:
Среди Альгамбры злополучной,
Гдѣ въ чудныхъ мускуса волнахъ,
При звукахъ цитры, на коврахъ,
Въ восточной нѣгѣ утопая
Краса покоилась младая,
Понынѣ грозно на стѣнахъ
Гербы халифскіе блистаютъ;
Понынѣ гордыя главы
Каріатиды подымаютъ,
И раззолоченные львы
Кристаллъ звенящій изрыгаютъ.
Туда летите вы мечтой!..
Тамъ солнце льетъ лучей разливы
На влаги жаждущія нивы
И померанецъ золотой;
Тамъ пахарь, сынъ безпечной лѣни,
Бѣжитъ подъ пальмовыя тѣни,
И андалузски табуны
Несутся въ полѣ, вѣя гривой,
Или надъ бездной конь пугливый
Вдругъ сталъ и внемлетъ плескъ волны;
Тамъ ночь изъ снѣжныхъ горъ подъемлетъ
Янтарный мѣсяцъ надъ рѣкой,

И кипарисъ, и пальма дремлетъ,
Кивая сонной головой.
Въ волшебномъ сумракѣ Гренады,
При плескѣ усыпленныхъ водъ,
Лишь стихъ влюбленной серенады
Любовникъ пламенный поетъ:
«Явись ко мнѣ, мой ангелъ нѣжный,
Мой милый другъ, мой свѣтлый рай!»
И ручка бѣлая небрежно
Роняетъ, будто невзначай,
Букетъ съ чугуннаго балкона...
Все спитъ вокругъ! Чудесный сонъ!
Какъ густо воздухъ напоенъ
Дыханьемъ блѣднаго лимона,
И миртъ росою окропленъ,
И тихимъ звономъ мандолины
Какъ очарованы долины!

(1842).

ПЕРИ И АЗРАИЛЪ.

ПЕРИ.

Останови свой мечъ горящій
Въ долинѣ бранной, Азраилъ!
Повсюду смерть и огнь кипящій
Онъ въ страшномъ заревѣ разлилъ;
Вездѣ, гдѣ человѣкъ ни ступитъ,
На серебро ль полярныхъ льдовъ
Иль огнь тропическихъ песковъ, —
Онъ ихъ костьми своими купитъ,
Онъ ихъ обрызгаетъ въ крови!

АЗРАИЛЪ.

Мой мечъ не даромъ обагряетъ
Дождемъ кровавымъ грудь земли:
Гдѣ только кровь не напоялъ
Творящей силой бѣдный прахъ, —

Какъ ночью звѣзды въ небесахъ,
Какъ класъ отъ темнаго посѣва,
Какъ изъ зерна младое древо,
Растутъ и блещутъ города;
Въ священный храмъ ложатся кедры,
Кидаютъ мраморъ горны нѣдры,
Ширококрылыя суда
Текутъ въ рѣкахъ окровавленныхъ,
И на костяхъ не погребенныхъ
Народъ престолы создаетъ
И скиптръ съ вѣнцомъ себѣ куетъ.

(1842).

Долинъ Евфратовыхъ царицы,
Прекрасны розы на зарѣ,
Блестя въ росистомъ серебрѣ
И яркомъ пурпурѣ денницы.
Еще милѣй, когда вѣнкомъ,
Роскошно, съ зернами алмаза,
Онѣ блистаютъ надъ челомъ
Младой красавицы Кавказа.
Прекрасенъ перлъ, цвѣтокъ морей,
Затворникъ раковинъ безпечный;
Но онъ прекраснѣй, нитью млечной
На шеѣ мраморной у ней,
По груди пышно разсыпался
И въ черныхъ локонахъ теряясь.

(1842).

ДВА ГРОБА.

Богатъ нашъ край дарами горныхъ нѣдръ,
Закамскимъ серебромъ и золотомъ Алтая:
Вдоль ребръ его поросъ сибирскій темный кедръ,
И брызжетъ влага голубая;
Покинувъ страны тундръ, родныя озера,
Гранитъ Финляндіи блеститъ во градъ сложенный
И, творческимъ рѣзцомъ преображенный,
Сталъ грознымъ сторожемъ подъ образомъ Петра.
Лѣса пробуждены державною сѣкирой,
Въ пловучихъ городахъ летаютъ по морямъ;
Внимаютъ воды рѣкъ ликующимъ пловцамъ;
Одѣлись пажити цвѣтущею порфирой;
Вкругъ скалъ таврическихъ богатый виноградъ
Блистаетъ въ гроздіяхъ златопрозрачнымъ сокомъ;
Долины Грузіи цвѣтутъ подъ топотъ стадъ;
Въ даль синюю морей глядятъ строптивымъ окомъ

Средь флаговъ пристани и ждутъ къ себѣ судовъ;
Есть много ратниковъ и огнеметной мѣди...
Но слава намъ дана не блескомъ городовъ,
Не громкой пышностью прадѣдовскихъ наслѣдій,
А славой двухъ прославленныхъ гробовъ.

Одинъ среди степей. Вкругъ вихри завываютъ;
Волнуяся, ковыль выводитъ пѣснь надъ нимъ,
И грозные орлы, шумя, надъ нимъ витаютъ
И кости стерегутъ подъ небомъ степовымъ.
Померкла тамъ звѣзда младого Скандинава,
И пеплъ ея сокрытъ подъ грудою костей.
Тотъ гробъ—нагая степь; въ гробу почила слава;
Носилки бранныя—надгробный мавзолей.

Другой... надъ нимъ трофей воздвигся знаменитый:
Подъ сѣнью дряхлыхъ стѣнъ московскаго Кремля
Другая слава спитъ, другое солнце скрыто...
Гиганта погребла московская земля!
Взманивъ къ себѣ на грудь увѣнчаннаго змія,
Въ объятіяхъ его замучила Россія,
И гробомъ стала. Тамъ, надъ гробомъ симъ святымъ,
Не волны ковыля, не клики вольной птицы,—
Твердыни и сады ликующей столицы
И пѣніе молитвъ, кадила сладкій дымъ.

Вотъ два сокровища народной Немезиды,
Трофеи славные мужающей земли!
Познавши крѣпость мышцъ и доблести свои

И кровью искупивъ границъ своихъ обиды,
На памятники тѣ мы твердо оперлись;
Въ обломкахъ сихъ гробовъ мы славой упились;
Сорвавъ съ двухъ падшихъ звѣздъ лучи ихъ золотые,
Ихъ свили надъ главой блистательнымъ вѣнцомъ
И гордо высились... Почти жь гроба святые,
Не оскорби ни рѣчью, ни стихомъ
Залоговъ гордости полунощнаго трона—
Носилки Карловы, вѣнецъ Наполеона!

(1842).

ИЗМѢНА.

Алой ризою играя,
Быстро Цинтія младая
Покидала небеса.
«Подожди, богиня тѣни,
Оставлять восточны сѣни,
Тьмить долины и лѣса.
Въ часъ, какъ Гесперъ засребрится
И въ густые тростники
Бѣлый лебедь удалится
И вечерній лучъ, съ рѣки,
Плеща крыльями, окликнетъ,—
Подъ скалою въ этотъ гротъ
Нимфа рѣзвая прійдетъ
И къ груди моей приникнетъ...
Но ужь гаснетъ синій сводъ,
Спитъ тростникъ въ поморьи дикомъ,
Гесперъ свѣтитъ, рощи спятъ,
Бѣлый лебедь томнымъ кликомъ
Ужь привѣтствовалъ закатъ...
Подожди, богиня тѣни,
Покидать восточны сѣни,
Росы долу разсыпать,
Горы мракомъ устилать!»

Я молилъ; но въ тверди чистой.
Вѣя мантіей звѣздистой,
Съ синимъ факеломъ въ рукахъ,
Ночи мирная царица
Мнѣ явилась въ небесахъ:
Быстры кони, колесница
Черной тканью обвиты;
Сонмы блѣдныхъ привидѣній,
Грёзы, призраки и тѣни
Вкругъ вились средь темноты;
Въ кудри дѣвы макъ росистый,
Зыбкій колосъ вплетены,
И звѣздой сребролучистой,
Какъ вѣнцомъ, озарены.
И небесная съ любовью
Улыбалась мнѣ въ тиши,
И бросала къ изголовью
Маки пестрые свои...
«О, помедли въ быстромъ бѣгѣ,
Дщерь небесъ, не улетай!
И лобзаньемъ тихой нѣги
Ты лобзай меня, лобзай!»
Я молился, но сіяла
Ужь Аврора въ небесахъ,
Солнце пышно восплывало
Утра въ розовыхъ лучахъ.

(1842).

ДОРИДѢ.

Дорида милая, къ чему уборъ блестящій,
Гирлянды свѣжія, алмазъ огнемъ горящій,
И ткани пышныя, и поясъ золотой,
Упругій твой корсетъ, сжимающій собой
Такъ жадно, пламенно твои красы младыя,
Твой стройный, гибкій станъ и персп наливныя?..
Нѣтъ, милая! Оставь, оставь уловку ты
Насъ разомъ поражать и блескомъ красоты,
И блескомъ пышныхъ ризъ. Явись мнѣ не богиней:
Благоговѣніе такъ хладно предъ святыней!
Я не его ищу. Явися дѣвой мнѣ,
Земною дѣвою. Со мной наединѣ
Ты косу отрѣши изъ-подъ кольца златого,
Сорви съ своей груди рукой своей перловой
Ту розу блѣдную, желанный дай просторъ
Горящимъ персямъ. Пусть непринужденный взоръ

Забудетъ всѣ любви приманки!.. Другъ мой нѣжный!
Пусть сердце юное волнуется мятежно,
Пускай спадетъ во прахъ и злато, и жемчугъ
Съ твоихъ роскошныхъ плечъ, съ полупрозрачныхъ рукъ..
Ахъ, Боже мой! Какъ ты мила, какъ милъ и сладокъ
Одежды и рѣчей волшебный безпорядокъ!

(1842).

SCHOLIA.

Не мирты съ лаврами, а грустный кипарисъ
Срываемъ на пути сей жизни скоротечной;
Любимыхъ сверстниковъ не портики безпечны,
А гробы ихъ вкругъ насъ печально вознеслись...
Что жь, други, унывать! И наши дни не вѣчны!
Возьми Горація, у древнихъ научись
Итти—не замѣчать потери безконечной.
Подъ сводомъ древнихъ липъ, гдѣ дружно сплелись
Темнозеленый плющъ и тополь блѣднолистый,
Гдѣ катится, журча, источникъ серебристый,
Вели связать вѣнковъ, принесть столѣтнихъ винъ,
И пей классически, на зло судьбамъ упрямымъ
И Вакха чествуя: ему тамъ будетъ храмомъ
Навѣсъ деревъ, а гимнъ—отзвучіе долинъ!

(1842).

ЭЛЕГІЯ.

Не назову ея богиней,
Ни идеаломъ красоты:
Ея прелестныя черты
Не небомъ дышатъ, не святыней;
Ея привѣтный, кроткій ликъ
Мнѣ въ сердце солнцемъ не проникъ,
За мной не слѣдовалъ повсюду...
Такъ! Но я долго помнить буду
Игривый звукъ ея рѣчей,
Глаза какъ двѣ звѣзды ночныя,
И кудри, кудри смоляныя,
На блѣдномъ мраморѣ плечей.

(1842).

В. Г. ВЕНЕДИКТОВУ.

Стражи мирной нашей хаты,
Деревенскіе пенаты,
Васъ привѣтствуютъ, поэтъ!
Вы пріймите въ уваженье
Ихъ простое приношенье,
Дружелюбный ихъ привѣтъ.

Гдѣ гремѣлъ, при яркомъ стукѣ
Хрусталя и серебра,
Подъ литавръ воинскихъ звуки,
Праздникъ Третьяго Петра;
Гдѣ, на брегѣ усыпленномъ,
Сѣрыхъ камней дикій сводъ
Лобызаютъ всплескомъ пѣннымъ
Бѣглецы балтійскихъ водъ;
Гдѣ каштаны и сирени

Темной зелени шатромъ
Осѣняютъ сельскій домъ—
Мирный храмъ мечты и лѣни:
Тамъ есть скромный уголокъ,
Аонидамъ посвященный,
Гдѣ готовъ для васъ вѣнокъ,
Чистой дружбой соплетенный.

Не лимонные сады,
Не восточные фонтаны,
Не гесперскіе плоды,
Не гремучіе тимпаны
Съ звукомъ цитры золотымъ
Наши сѣни оживляютъ;
Но, повѣрьте, чаще къ нимъ
Сны веселые слетаютъ,
Чѣмъ къ палатамъ дорогимъ.
Вмѣсто амбры, въ нихъ дыханье
Травъ отъ скошенныхъ луговъ;
Вмѣсто пышнаго блистанья
Златомъ убранныхъ дворцовъ,
Для гостей не слишкомъ строгихъ
Столъ со скатертью въ углу,
Пара стульевъ колченогихъ,
Книгъ вязанка на полу,
Но приволье, но прохлада,
Но весенній ѳиміамъ,
Томный говоръ водопада,
И гулянья по ночамъ.

Вотъ, изъ моря величаво
На златыя облака
Выйдетъ витязь свѣтлоглавый,
И багряная рѣка
Вдоль по морю кровью хлынетъ;
Ночь отъ водъ и отъ береговъ,
Встрепенувшись, отодвинетъ
Свой таинственный покровъ...
Сладко первый лучъ Авроры
Свѣжей грудью принимать,
И безтрепетные взоры
Въ очи солнцу устремлять!
Но когда багрянымъ шаромъ
Въ небеса оно взойдетъ
И лучей палящимъ жаромъ
Воздухъ утренній нальетъ—
Стихнутъ воды, отягченный
Чуть дрожитъ на вѣткѣ плодъ,
Раздается отдаленный
Съ зеленѣющихъ луговъ
Топотъ стадъ и звукъ роговъ;
Здѣсь, въ колосьяхъ пышной нивы,
Серпъ сверкаетъ и стучитъ,
И по рощѣ говорливой
Сталь упругая звенитъ;
Тамъ, у брега, опочило,
Нѣжась, зеркало зыбей,
Рѣютъ бѣлыя вѣтрила,
Будто стаи лебедей,

А за ними въ ткани дымной
Ждетъ ихъ брегъ гостепріимный...
О, отрадно той порой,
Сбросивъ тягостныя платья,
Къ морю кинуться въ объятья,
Свѣжей брызгаться струей!

А когда парчей звѣздистой
Ночь окинетъ горній сводъ,
Въ рощѣ дремлющей вспорхнетъ
Пѣснопѣвецъ голосистый,
Гимнъ его—то арфы звонъ,
То души глубокій стонъ—
Упадетъ и вновь воспрянетъ,
Какъ свирѣль и какъ гроза,
И съ цвѣтка безмолвно канетъ
Серебристая слеза;
Здѣсь, надъ озеромъ стекляннымъ,
Въ гладкой скатерти воды,
Опыленные туманомъ
Дубовъ смотрятся ряды;
Тамъ, сквозь листья ивы дикой,
Серповидный, сребролікій
Сыплетъ мѣсяцъ изъ вѣтвей
Блѣдный дождь своихъ лучей...
О, какъ сладостно трепещетъ
Грудь въ таинственный сей мигъ,
А въ устахъ горитъ и блещетъ,
Замирая, вольный стихъ!

Наши лары и пенаты
Вамъ привѣтъ заздравный шлютъ
И подъ кровъ пустынной хаты,
Низко кланяясь, зовутъ.
Научите, какъ къ союзу
Сельскихъ фавновъ и дріадъ
Вашу доблестную музу
Заманить въ нашъ вертоградъ.

(1842).

Свершай служенье музъ въ священной тишинѣ.
Пускай рожденія гармоніи высокой,
Рожденія стиха не узритъ смертныхъ око.
Ты самъ, творецъ, пріими дитя свое, свой стихъ;
Ты воспитай его, и, въ латахъ золотыхъ,
Ужь мужемъ, не дитей, введи въ арену міра.
Такъ зрѣетъ молнія на пажитяхъ эѳира,
Во чревѣ грозныхъ тучъ: ихъ огнь мутитъ и мчитъ,
Но грянули, и вотъ, стрѣльчатая летитъ,
Огне-змѣистая, струится и сверкаетъ,
И рѣжетъ небеса, и море обагряетъ.

(1842).

СЛАВА.

Какой таинственною силой
Влечешь насъ, дивная, къ себѣ?
Старикъ надъ бездною могилы
Еще мечтаетъ о тебѣ;
Тебя безумно юность ловитъ,
Подъявъ Алкидовы труды,
Тебѣ на жертвенникъ готовитъ
Ихъ многоцѣнные плоды.
Ирисы лентой лучезарной
Предъ ней ты стелешь жизни путь...
Сирена пышная! Коварной
Твоя любовью дышитъ грудь!
Сіяя въ ризахъ тріумфальныхъ,
Въ коронѣ звѣздъ и пальмъ вѣнчальныхъ
Ты передъ жадною толпой
Поешь, прельстительница, пляшешь,
Зеленымъ лавромъ гордо машешь
И ослѣпленныхъ манишь рой

Къ тобой воздвигнутому храму:
Но горе тѣмъ, кто за тобой
Идетъ къ вѣнцу и ѳиміаму
Злаченыхъ терніевъ тропой!
Такъ змѣй, на солнцѣ грѣясь, блещетъ
Сребромъ и златомъ чешуи;
Свиваясь кольцами, трепещетъ
Какъ влаги свѣтлыя струи.
Но не ходи, о, путникъ дальный!
Къ его бронѣ сизокристальной,
Къ его блистательнымъ красамъ:
Тебя приманитъ онъ, а тамъ
Столпомъ подымется, съ размаху
Клубами обовьетъ тебя,
И, жало въ сердцѣ утопя,
Съ тобой покатится по праху.

(1842).

ЛУННАЯ НОЧЬ.

Тихій вечеръ мирно надъ полянами
Сумракъ синій въ небѣ разстилалъ,
Главы горъ одѣлися туманами,
Огонекъ въ прибрежьи засверкалъ,
И сошло молчанье благодатное,
Дремлетъ, нѣжась, зеркало зыбей:
Лишь въ поморьи эхо перекатное
Вторитъ глухо пѣснямъ рыбарей.

Чудный мигъ! Вечернія моленія
Съ ѳиміамомъ скошенныхъ луговъ
День увлекъ къ престолу Провидѣнія,
Будто дань земныхъ его сыновъ.
Ангелъ мира, крыльями звѣздистыми,
Навѣваетъ сонъ и тишину,
И зажегъ надъ долами росистыми
Стражу ночи—звѣзды и луну.

Вотъ пора святая, безмятежная!
Взоръ, блуждая, тонетъ въ небесахъ...

Эта глубь лазурная, безбрежная,
Говоритъ о лучшихъ берегахъ.
Что же тамъ, за гранію конечнаго?
Что вдали сіянье звѣздъ златыхъ?
То не окна ль храма вѣковѣчнаго?
То не очи ль ангеловъ святыхъ?

Не живая ль лѣтопись вселенныя,
Гдѣ начертанъ тайный смыслъ чудесъ?...
Кто постигнетъ руны довременныя
Этой звѣздной хартіи небесъ?
Слышу, грудь восторгъ колеблетъ сладостный,
Вѣетъ на душу безвѣстный страхъ,
Будто зовъ знакомый ей и радостный
Ей звучитъ въ таинственныхъ словахъ...

То не гласъ ли отъ глубокой вѣчности,
Голосъ Божій? то не онъ ли насъ,
Предъ лицомъ туманной безконечности,
Поражаетъ въ полунощный часъ?
Духъ нашъ жаждетъ, въ этотъ мигъ молчанія,
Въ сонмъ святыхъ архангеловъ взлетѣть
И въ вѣнцѣ изъ звѣздъ Отцу созданія
Съ ними пѣснь хвалебную воспѣть.

(1842).

ПѢВЦУ.

Когда поноситъ чернь хулою
Тебя, божественный пѣвецъ,
И святотатственной рукою
Съ главы срываетъ твой вѣнецъ,
Еще ты можешь сладкимъ мукамъ
Ожесточенныхъ грудь открыть,
Священной арфы яркимъ звукомъ
Подъяту длань окаменить,
И, разволнованы и сжаты,
Сердца почуютъ твой напѣвъ,
И, укрощенъ, приляжетъ левъ
Къ твоимъ стопамъ главой косматой.

Но если, буйные, они
Глагола мира и любви,
Какъ гробы хладные, не слышатъ;
Когда, подъ гимнъ молебный твой,

Какъ предъ архангельской трубой,
Они коварной злобой дышатъ:
Въ послѣдній разъ ты обойми
Златую арфу со слезами,
И струны вѣщія перстами
Со звонкимъ грохотомъ порви!

(1842).

КОНЕЦЪ МІРА.

Пируй въ огнѣ и ѳиміамѣ,
Порокъ, вѣнчайся на землѣ!
Витійствуй въ дерзостной хулѣ
Богопротивными устами!
Свой тронъ златой воздвигнулъ ты
Въ обломкахъ падшія святыни:
Въ чаду убійства и гордыни,
До этой грозной высоты
Тебѣ ступени были—трупы!
И ты восшелъ какъ нѣкій богъ
На святотатственный чертогъ,
Попралъ ливанскихъ кедровъ купы;
Къ твоимъ стопамъ повергъ Ѳоиръ
Трудами купленное злато,
Янтарь и пурпуръ гордый Тиръ,
Питомецъ степи и булата
Стада кипучихъ кобылицъ.
Какъ остовъ тлѣющій гробницъ,
Ты отвратительность нагую
Одѣлъ въ виссонъ и ткань златую,

И жертва буйства твоего,
Обрызганъ кровью, стонетъ правый...
Но небо зритъ твой пиръ лукавый
И язвы тяжкія его:
И прійдетъ мигъ—міры вселенной
Вдругъ остановятся въ пути;
Соборъ твореніе мгновенно
Отчетъ великій принести
Предъ ликъ божественный предстанетъ..
О! неожиданно тогда,
Свѣтло, торжественно настанетъ
Святой и грозный часъ суда!
Творецъ речетъ, громоподобно
Архангелъ брани возгремитъ,
Труба усопшихъ пробудитъ,
И камень ринется надгробный
И червь отпрянетъ отъ костей,
И кости вновь соединятся
И вновь изъ праха облачатся
Земною ризою своей...
Блаженъ, подъ знаменемъ любови
Чья ярко блещетъ правота,
Чья риза бѣлая чиста
Отъ жгучихъ пятенъ братней крови!

(1842).

МЫСЛЬ.

Все божество являетъ въ ней,
Въ ея торжественности стройной,
Въ улыбкѣ устъ, въ игрѣ очей
И въ этой гордости спокойной,
Она слетитъ: какъ серафимъ,
Наполнитъ блескомъ все святымъ.
Люблю смотрѣть ей въ ясны очи,
Какъ въ глубь небесъ бездонныхъ ночи,
И видѣть въ нихъ, какъ огнь порой
Въ душѣ горитъ и гаснетъ чистой—
То брезжетъ тихою звѣздой,
То брызжетъ молніей огнистой.

(1842).

O femina, semper mutabile...

Отвергла гордая мой чистый жаръ любви:
На всѣ моленія, на клятвы всѣ мои,
Она улыбкою презрѣнья отвѣчала!.
Но прежде для чего искусно раздувала
Въ горячемъ сердцѣ огнь? Зачѣмъ всегда со мной
Была такъ искренна? Зачѣмъ, на мнѣ порой
Свой взоръ разсѣянный остановивъ случайно,
Смущеніемъ моимъ такъ любовалась тайно?
Зачѣмъ порою рѣчь изъ милыхъ устъ ея
Текла то медленно, то бурно... и меня
Межь юношей ея искали взоры?
Что̀ значатъ скрытый вздохъ и робки разговоры?..
Уловки женскія!.. Но, гордая, прійдетъ
Твоя пора! Твой часъ мучительный пробьетъ!
Узнаешь ты любовь!.. Надъ ложемъ, въ тайномъ мракѣ,

Напрасно будетъ сонъ свои цвѣтисты маки
Бросать тебѣ: сама ты ихъ отвергнешь! Ты
Единый свѣтлый ликъ узришь средь темноты;
Ты станешь, страстная, склонясь на пухъ суровый,
И плакáть, и молить, шептать одно лишь слово;
Въ нѣмомъ томленіи и съ жаждою любви
Прижмешь подушку ты къ пылающей груди,
И будутъ жаркія уста твои, бушуя,
Искать горячаго невольно поцѣлуя!

(1842).

ЗАРЯ.

Замолкъ и рогъ, и топотъ стадъ;
Скирды на пажити стоятъ;
Дымясь, отъ зелени росистой
Курится тихій ѳиміамъ
И съ рощи, пылью серебристой,
По синимъ вьется небесамъ;
А небо облито волнами
Вечернихъ пурпурныхъ лучей,
Скользящихъ ввысь межь облаками
И отраженныхъ зеркалами
Безмолвно дремлющихъ зыбей.
Спѣшитъ все къ нѣгѣ благодатной
Подъ кровомъ мирной темноты...
Чего жь ты медлишь, лучъ закатный?
Зачѣмъ же вдругъ не гаснешь ты?
Иль подъ шатромъ листовъ росистыхъ

Ты не дослушалъ до конца
Напѣвовъ звонко-серебристыхъ
Лѣсовъ пустыннаго пѣвца?

Порою такъ краса младая,
Шнуровку тѣсную скидая
И косу распустивъ на грудь,
Готовясь пышно утонуть
Въ пуху дѣвической постели,
Вдругъ внемлетъ—съ шопотомъ синели
И розы арфы тихій звонъ
Въ окно зефиромъ занесенъ.
«Не онъ ли!..» И рука нѣмѣетъ
Передъ застежкой золотой,
И сонный взоръ ея свѣтлѣетъ,
Утаенъ вздохъ, забытъ покой.

(1842).

МСТИТЕЛЬ.

(Скандинавская баллада.)

Не пускайся въ море сине
За невѣстой, конунгъ мой!
Вѣрь предчувствію—а нынѣ
Море намъ грозитъ бѣдой.
—«Мнѣ ли вѣрить, о мой латникъ,
Бабьимъ сказкамъ! Храбрый ратникъ
Вѣчно твердъ. Гремитъ гроза—
Противъ бурь намъ боги дали
Весла, руль да паруса;
На коварство ль, на врага ли—
Мечъ, да конь, да лукъ тугой;
На охотѣ—роги звонки,
Псы, да стрѣлы, для догонки
Легкихъ ланей въ мглѣ лѣсной».

Готовятся ладьи. Лобзая пяты скалъ,
Вкругъ ропщутъ сумрачныя воды.
Закатъ пурпуровый ихъ главы обливалъ
Златыми искрами; темнѣли неба своды;

Лѣса широкіе синѣлися вдали;
Утесы, и на нихъ Гаральда замокъ черный,
Между зеленыхъ соснъ, обнявшихъ скаты горны,
Дремали у моря, и тихо прилегли
Къ водамъ серебряныя ивы.
Въ воскресшемъ царствѣ зимъ все грозно, молчаливо,
И птицы хищныя однѣ
Между утесами у гнѣздъ своихъ витаютъ
И бури спящія въ пещерной глубинѣ
Зловѣщимъ крикомъ вызываютъ:

«Пробудись, о, вѣтеръ мощный!
Тучи въ небо вызывай!
Край широкій полунощный
Къ брани злой вооружай!
Гдѣ потока валъ кипучій
Въ море синее упалъ,
Тамъ Гаральдъ, орелъ могучій,
Свилъ гнѣздо на гребнѣ скалъ.
Презираетъ васъ онъ, бури!
Васъ на брань зоветъ съ собой.
Взвѣйте тучи по лазури,
Волны вспѣньте вы горой!
Волны бранью заиграютъ,
Строй за строемъ полетитъ
И размоютъ, раскидаютъ
Замка страшнаго гранитъ».

Но дремлетъ шумный вихрь и бури роковыя

Въ ущельяхъ и скалахъ, склонясь на мхи сѣдые.
Гранита ль надобно перунамъ громовымъ?
Онъ, моря колыбель, подъ ними недвижимъ.

«Принесли иныя вѣсти,
Духи спящіе, мы вамъ.
Съ пира брани, съ пира мести,
По ботническимъ волнамъ
Корабли Гаральда мчатся:
Горы злата и сребра,
Горы перловъ въ нихъ хранятся,
Мѣхъ медвѣдя и бобра,
И сигтунская кольчуга,
Поморянъ янтарь и медъ,
Вина фряжскія, и съ юга
Золотой здѣсь чуждый плодъ...
Мигомъ верви оборвите
У летучихъ кораблей,
Ихъ богатства размечите
Въ глубь Одиновыхъ зыбей!»

Все дремлетъ грозный духъ; во мракѣ вихри зрѣютъ;
Предъ нимъ спятъ молніи и громы цѣпенѣютъ.
У моря ль шумнаго сокровищъ нѣтъ на днѣ,
Таящихся въ тиши въ безвѣстной глубинѣ?

«Знаемъ, ты любилъ, бывало,
Съ бѣдной дѣвою играть,
Рвать отъ персей покрывало,
Щеки блѣдныя лобзать

Поцѣлуемъ леденящимъ.
Посмотри! По безднамъ спящимъ
Мчится юная чета:
Гордый врагъ твой мчитъ орлицу
Въ недоступную свѣтлицу
Надъ-утеснаго гнѣзда.
Тамъ ужь древній дубъ пылаетъ,
Скальдъ поетъ и медъ сверкаетъ...
Посмотри, какъ прилегла
Дѣва къ другу головою
И дрожащею рукою
Станъ героя обвила.
Иль не видишь ихъ лобзаній?
Иль не слышишь словъ любви?
Встань, у челна взмахомъ длани
Бѣлый парусъ оборви
И невѣсту молодую
Ты пріими на грудь льдяную,
Заласкай и зацѣлуй!..
Къ мести!.. Взвейся и бушуй!»

Проснулся бури царь, расправилъ крылья сизы,
Сѣдые волосы по вѣтру распустилъ,
Завылъ и засвисталъ, облекся бѣлой ризой,
И къ мести молніи, какъ факелъ, запалилъ.

(1842).

КЛАДБИЩЕ.

Ужь гаснетъ день; пурпурный океанъ
Волнуется надъ синими горами;
Уснулъ заливъ, увѣнчанный соснами,
Одѣянный въ серебряный туманъ.
Густѣетъ мракъ. Все дико и безмолвно,
Замолкъ въ поляхъ трудолюбивый кликъ,
Чуть шелеститъ по берегу тростникъ,
И шепчетъ листъ въ дубравѣ, тайны полной...
Пустынный край!.. Одинъ, въ сѣни деревъ,
Надъ гладкою, какъ зеркало, водою,
Исполненный волшебной тишиною
Блуждаю я вдоль спящихъ береговъ.
Вотъ здѣсь, въ тиши, подъ мракомъ сосенъ смолистыхъ,
Гряда холмовъ песчаная лежитъ;
Тростникъ сухой вокругъ крестовъ ихъ мшистыхъ
И дикій плющъ гирляндами виситъ.

Нашъ бренный прахъ, добыча разрушенья,
Подъ камнями здѣсь мирно схороненъ:
Благословенъ, подъ кровомъ запустѣнья,
Благословенъ почившихъ вѣчный сонъ!
Ничто его, ничто не нарушаетъ—
Ни лучъ зари, ни молній ярый блескъ;
Лишь трепетно здѣсь эхо повторяетъ
Деревьевъ скрипъ, да моря вѣчный плескъ.
Сойдетъ ли май—веселье и свобода
Одушевитъ долины и лѣса,
И зеленью одѣнется природа,
Осыплетъ листъ алмазная роса,
Взыграетъ вѣтръ, катясь по влагѣ зыбкой,
Воспрянетъ хоръ пѣвцовъ... Но здѣсь весна—
Какъ въ траурѣ прекрасная жена,
Въ вѣнкѣ изъ розъ, съ печальною улыбкой!

Привѣтствую тебя, пріютъ святой,
Гдѣ странники землей единой скрыты!
Но чей въ травѣ, чей черепъ здѣсь, открытый
Въ часъ грозныхъ бурь упорною волной?
Съ нимъ миръ или надъ нимъ гремятъ проклятья?
Сошла ль къ нему въ могилу тишина?..
Нашъ розенъ путь, но всѣхъ, но всѣхъ одна
Насъ пріметъ мать въ родимыя объятья!
И этотъ холмъ, покрытый ветхимъ мхомъ—
Святой алтарь надежды и спасенья!
А этотъ крестъ безмолвный надъ холмомъ—
Символъ нѣмой за гробомъ воскресенья!

Такъ! зримаго конца мгновенье
Есть къ новой жизни переходъ.
Есть чудный мигъ перерожденья,
Души къ Предвѣчному полетъ.
Вотъ слышенъ звукъ святого клира...
Вотъ лучезарней блещетъ даль,
И среброкрылый ангелъ мира
Раскрываетъ жизни сей скрижаль...
Порывъ святой! Душа узрѣла
Отчизны берегъ впереди,
Рванулась радостно изъ тѣла
Послѣднимъ трепетомъ въ груди,
Послѣдней искрой въ мутномъ взорѣ,
Послѣдней жизнію тепла...
И вотъ—свершилось! Вотъ вплыла
Она въ торжественное море...
Какъ ей легко! Какъ ей свѣтло!
Ничто ей бѣга не стѣсняетъ,
Ее привѣтно осѣняетъ
Ея архангела крыло!

А здѣсь – сей трупъ. Мгновенно въ немъ погашенъ
Живительный свѣтильникъ божества.
Холодный ликъ его и святъ, и страшенъ,
Недвиженъ взоръ и длань его мертва...
Вотъ нашъ покровъ, нашъ образъ земнотлѣнный!
Пустынный храмъ! Онъ мраченъ и угрюмъ!
Въ немъ совершать еще обрядъ священный
Не пріидетъ, какъ жрецъ, могучій умъ.

—

Вокругъ одра, стенящею толпою,
Почившаго печальные друзья:
Въ волненіи, съ безмолвною слезою,
Они борьбу слѣдили бытія.
«Не стало! Нѣтъ!...» И вопли провожаютъ
Побѣдный духъ въ предверье къ небесамъ...
Безумные! Уже ль они не знаютъ,
Какъ сладостно приплыть къ родимымъ берегамъ?

(1842).

ИТАЛІЯ.

Повита миртами густыми,
Страна искусствъ, страна руинъ,
Подъ звучнымъ говоромъ пучинъ,
Ты, убаюканная ими,
Какъ въ колыбели, мирно спишь...
Твой конченъ вѣкъ!.. Какъ старецъ хилый,
Ты погреблась въ свои могилы...
Но ихъ торжественную тишь
Зачѣмъ, младыя поколѣнья,
Тревожить вамъ? Зачѣмъ съ гробовъ
Срывать послѣдній ихъ покровъ—
Кудрявый плющъ, символъ забвенья?
Хотите ль на обломкахъ тлѣнья
Вы имя, скрытое въ вѣкахъ,
Прочесть въ руническихъ чертахъ?
Тріумфъ гробницъ ли ихъ убавить,
Хозяевъ прежнихъ ихъ изгнать,
Чтобъ послѣ нагло осмѣять
Или безсмысленно прославить?

Страна величья! Мраморъ твой
Давно попралъ пришлецъ чужой
И пыль сѣдая спеленала...
О, гдѣ сыны твои? Зачѣмъ,
Какъ прежде, внявъ угрозамъ галла,
Не вздѣнутъ гордо бранный шлемъ,
Не вскинутъ ржавое забрало?
Гдѣ Цезарь? Кто ихъ кликнетъ въ бой
На за-альпійскіе языцы?
Зачѣмъ старикъ, какъ лунь сѣдой,
Не двигнетъ маніемъ десницы?
Зачѣмъ не выше всѣхъ коронъ
Его духовная корона?
Зачѣмъ, когда выходитъ онъ
И съ ватиканскаго балкона
Благословляетъ міръ и градъ,
Народы въ страхѣ не дрожатъ
Его анаѳемы громовой?...
Умолкли бранные мечи,
Но льются звонкіе ключи
Отъ Альпъ въ ломбардскія дубровы
Поить руинъ твоихъ плющи;
Какъ прежде, вскормленные кровью,
Твои холмы осѣнены
Оливой, съ вѣчной къ нимъ любовью,
И въ виноградъ оплетены.
Но не срывать твой персикъ сочный,
Не ждать верховнаго суда,
Текутъ къ брегамъ твоимъ суда

И съ Альпъ народы полуночны:
Недвижный мраморный народъ
На поклоненье ихъ зоветъ—
Нѣмые памятники славы.
Ихъ много тамъ залито лавой,
Зарыто въ смрадныхъ погребахъ,
Иль въ галереѣ величавой,
Иль въ вѣковыхъ монастыряхъ...
Такъ море, бури въ часъ мятежный,
Набѣгомъ берегъ затопивъ,
Уходитъ, жемчугъ обронивъ
Волной утихшей и небрежной...
Себѣ толпу поработилъ
Тамъ обликъ мальчика лукавый;
Тамъ Леды лебедь сребоглавый,
Тамъ лиры богъ, тамъ полный силъ
Алкидъ, и левъ его немейскій,
Тамъ ликъ Сибиллы чародѣйскій,
Тамъ образъ горней чистоты
Въ небесной дѣвѣ Рафаэля,
И роскошь женской красоты
Въ нагой Кипридѣ Праксителя.

(1842).

ГРУЗИНКѢ.

Еслибъ, полонъ мщеньемъ мрачнымъ,
Несъ я пламя и кинжалъ
Къ берегамъ Арагвы злачнымъ
Съ высоты казбекскихъ скалъ,
Будь лезгинъ я, будь чеченецъ,
Еслибъ мнѣ явилась ты
Безоружна, какъ младенецъ,
Тихій ангелъ красоты,
Я, клянусь Аллы престоломъ,
Позабылъ бы пиръ мечей
И набѣгъ во мглѣ ночей
Къ виноградникамъ и доламъ
Милой Грузіи твоей:
Пристыженъ, потупя взоры,
Тихо бъ въ плѣнъ я отдался,
И не снились бы мнѣ горы,
Ни орлы ихъ черноперы,
Ни пустынны небеса!

(1842).

ОЛИНѢЪ И ЭСѢИРЬ.

ОЛИНѲЪ и ЭСѲИРЬ.

Римская имперія, распространивъ свои владѣнія въ трехъ извѣстныхъ ей частяхъ свѣта, сдѣлалась средоточіемъ и представительницею всего древняго міра. Это былъ огромный бассейнъ, въ которомъ слилось и смѣшалось безчисленное множество ручьевъ. Вмѣсто разныхъ народовъ и государствъ, явилось одно человѣчество подъ названіемъ римскихъ гражданъ: престолъ римскаго императора былъ источникомъ законовъ вселенной, пантеонъ—ея храмомъ.

Вдругъ, посреди этого міра, является малочисленное общество, которое дерзаетъ возстать на колоссъ, воздвигнутый вѣками; возстать безъ меча и войскъ, ополчившись однимъ словомъ, однимъ свѣтомъ истины. То были христіане. Два діаметрально противоположныя начала не могли остаться въ мірѣ: чувственность и духовность, жизнь внѣшняя и внутренняя, явились во враждѣ, въ противодѣйствіи, въ борьбѣ на жизнь и смерть. Чувственность выразилась въ пластическомъ Римѣ, въ его огромности, въ его роскоши, въ его древнемъ форумѣ, ратныхъ станахъ, циркахъ, театрахъ, баняхъ—посреди которыхъ протекала жизнь его гражданъ, жизнь по преимуществу общественная; духовность—въ обществѣ христіанскомъ, въ созерцаніи Божества и духа, въ добродѣтеляхъ мира, въ жизни домашней.

Слѣдующія сцены суть опытъ изобразить противоположность этихъ началъ.

ОЛИНѲЪ и ЭСѲИРЬ.

Римскія сцены временъ пятаго вѣка христіанства.

Di abeunt...

I.

Квиринъ, Олинѳъ.

ОЛИНѲЪ.

Созрѣло доблестное дѣло;
Но, другъ, ни крови, ни огня
Душой теперь не жажду я.
Пришелъ конецъ попытки смѣлой—
Его бъ отсрочить я желалъ!

КВИРИНЪ.

Давно тебя, я замѣчалъ,
Снѣдаютъ тайныя печали.
Послушай, вмѣстѣ мы видали
Съ твоимъ отцомъ и стана дымъ,
И ужасъ битвъ. Отцовъ знамена

Въ дубравахъ дальнихъ Альбіона
Мы водружали вмѣстѣ съ нимъ.
Но, при измѣнѣ Константина,
Поборникъ предковъ удаленъ
Въ изгнанье. Тамъ, кончаясь, онъ
Мнѣ поручилъ младенца-сына.
Ты взросъ при мнѣ; дитя, игралъ
Моимъ мечомъ, стрѣлою бранной;
И, рано къ мести предъизбранный,
Свой духъ ты въ играхъ укрѣплялъ.
И что жь?... Оставить все: и мщенье,
И завѣщаніе отца?

ОЛИНѲЪ.

Нѣтъ... Но и стараго бойца
Въ иные дни мутитъ сомнѣнье.

КВИРИНЪ.

Повѣрь мнѣ, опытность зорка:
Не скрыть отъ взоровъ старика
Движеній юности. Давно ли
Ты бредилъ чудной красотой
Аглаи?.. Какъ орелъ больной
Впервые ты чуждался воли!
А нынѣ... ты ее забылъ.
А отчего? Иль разлюбилъ?

ОЛИНѲЪ.

Не знаю.

КВИРИНЪ.

Милый мой, Аглая
Забыта, и любовь иная
Въ твоей груди.

ОЛИНѲЪ.

Ты угадалъ!

КВИРИНЪ.

О, юность! Женскій ликъ тобою
Играетъ вѣкъ, какъ вѣтръ травою,
Какъ чолномъ прихотливый валъ!

ОЛИНѲЪ.

Да, я люблю. Любви чудесной
Позналъ я гибельную власть.
Но это—не простая страсть:
Огонь таинственный, безвѣстный!
Я прежде женщину любилъ;
Я побѣждалъ, я счастливъ былъ;
Теперь не то: благоговѣю
Предъ этой дѣвою. Ищу
Ее вездѣ, но передъ нею
Въ невольномъ ужасѣ нѣмѣю,
Какъ предъ богиней трепещу.
Напрасно мужество и силы
Зову я: взглядъ, единый взглядъ,
И гнѣвный образъ дѣвы милой,

Какъ льва порывъ мой укротятъ.
Такъ еслибъ скиѳъ, сынъ степи льдяной,
На образъ Весты изваянный
Занесъ бы длань свою, и вдругъ
Богиня гнѣвомъ озарилась,
Рука бъ подъятая склонилась,
Сѣкира бъ выпала изъ рукъ!

КВИРИНЪ.

Повѣрь, Олиѳъ, бывало, страсти
Кипѣли буйныя во мнѣ;
А женщины—всегда однѣ,
Всегда надъ нами ищутъ власти.
Но человѣкъ къ тому ль рожденъ,
Чтобъ трепетать предъ женскимъ взоромъ?
Не забывай, ты воскормленъ
Млекомъ роднымъ тому, которымъ
Волчица дикая въ лѣсу
Двухъ братьевъ царственныхъ вскормила.
Не даромъ силу и красу
Десница Зевсова вручила
Тебѣ, патрицій: нынѣ насъ
Зоветъ отчизна къ мести правой...
Пора острить намъ мечъ нашъ ржавый
И внять боговъ священный гласъ!

ОЛИНѲЪ.

Не вспоминай обѣтъ кровавый:
Я мужъ, я помню долгъ святой.

Клянусь карающей судьбой,
Воспрянетъ свѣтелъ въ бурной сѣчѣ
Орелъ квиритовъ вѣковой!

КВИРИНЪ.

Отрадно мнѣ такія рѣчи
Внимать изъ устъ твоихъ!.. Гордись,
О, Римъ! Сыны твои подъемлютъ
Тебя изъ пепла; боги внемлютъ
Ихъ кликъ. Возстань и оживись!
Они все тѣ жь: въ нихъ духъ свободы
Подъ цѣпью рабства не утихъ;
Все тѣ жь, какъ доблестные роды
Отцовъ, строителей твоихъ.
На твой призывъ они готовы
Предстать предъ ужасъ боевой,
Какъ древле пастыри суровы,
Въ звѣриной кожѣ, съ булавой,
Текли на холмъ Капитолійскій,
Внявъ звонкій рогъ—твой вѣщій зовъ:
И былъ могучъ совѣтъ рамнійскій
Въ тѣни рустическихъ дубовъ!

II.

КВИРИНЪ.

Олинѳъ, Олинѳъ! Ты юнъ и смѣлъ!
Въ твоихъ порывахъ благородныхъ
Достойный предковъ огнь вскипѣлъ.

Но та ль,—увы!—въ сердцахъ народныхъ
Къ отчизнѣ ревность и любовь
Къ богамъ и къ памяти отцовъ?
Что нынѣ Римъ?... Гробницы сѣни!
Широкогранное русло,
Гдѣ море шумныхъ поколѣній
Въ нѣмую вѣчность протекло!
Ихъ нѣтъ: одни слѣды нѣмые
Остались—мраморъ да гранитъ;
А мы, какъ тѣни гробовыя,
Мелькаемъ вкругъ, и въ насъ ихъ видъ
Восторга вновь не пробудитъ.
Одна, въ печальномъ униженьи,
Одна отрада у меня—
Питать восторгомъ пѣснопѣнья
Порывъ душевнаго огня.
Передо мною воскресаютъ
Минувшей славы времена;
Я мыслю—міромъ управляютъ
Квиритовъ древнихъ племена;
Еще витійствуютъ трибуны,
Свобода гражданъ взоръ зажгла,
И грозно-пламенны перуны
Капитолійскаго орла.
О, Римъ! О, родина святая!
Ты позабылъ своихъ боговъ.
Гдѣ власть надъ міромъ вѣковая?
Кто нынѣ твой услышитъ зовъ?
Доспѣхи консуловъ священны

Изъѣла ржавчина; въ пыли
Трофеи бранные твои,
И все, что въ битвахъ со вселенной
Купилъ кровавый твой булатъ,
Все отнялъ самозванецъ—градъ,
Питомецъ дальней Пропонтиды.
Кто жь, местью праведной ведомъ,
Подыметъ знамя Немезиды
И Рима выкупитъ обиды
Предъ торжествующимъ Крестомъ?
Въ твоихъ стихахъ моя услада,
О, дивный Августа пѣвецъ!
Какъ свѣжъ цвѣтущій твой вѣнецъ
Изъ лавра, розъ и винограда!
Но что жь? И ты свой вѣкъ коришь,
Нововведенье ты бранишь...
«Чертоги нынѣ отнимаютъ
«Поля у пахарей, и плугъ
«Забытый въ тунѣ отдыхаетъ
«И грѣшный празднуетъ досугъ;
«На мѣсто маслинъ плодовитыхъ,
«Густые лавры поросли...
«Не то у предковъ знаменитыхъ
«Катонъ и Ромулъ завели.
«Тогда съ республикою въ спорѣ
«Строптивый не былъ гражданинъ;
«Богами замкнутое море
«Не выступало изъ пучинъ;
«Подъ сѣнью портиковъ тѣнистыхъ,

«Къ струямъ фонтановъ серебристыхъ
«Богачъ изнѣженный тогда
«Не убѣгалъ въ часы труда;
«Но людямъ холмы полевые,
«Изъ древа хижины простыя
«Служили кровомъ; руки ихъ
«Взрывали мраморъ колоссальный
«Лишь ради славы квиринальной
«И ларъ, хранителей своихъ»...
И это ты, другъ Мецената,
Уже развратомъ называлъ?...
О, боги! какъ бы я желалъ
Жить въ вѣкъ подобнаго разврата!

III.

Поліонъ, Квиринъ, Олинѳъ.

ПОЛІОНЪ.

Друзья! Отчизнѣ мы несемъ
Любви и доблести дѣянья:
Возобновимъ же возліянья
Богамъ предъ падшимъ алтаремъ!
Теперь, по слову Эпикура,
Чело гирляндами увьемъ
И гимнъ хвалебный воспоемъ
Во имя Вакха и Амура;
Воспомнимъ, други, что̀ твердитъ
Нашъ древній чтитель Аонидъ:

«Мирта Киприды мнѣ дай!
«Что мнѣ гирлянды цвѣтныя?..
«Миртомъ любви увѣнчай,
«Юноша, кудри златыя!
«Мирта зеленой лозой,
«Старцу, вѣнчавшись, отрадно
«Пить подъ бесѣдкой густой,
«Крытой лозой виноградной».
Но отчего, Олинѳъ, ты скученъ,
И ты задумчивъ, старый другъ?

КВИРИНЪ.

Что дѣлать! Грусть такой недугъ,
Который съ старцемъ неразлученъ.
Тоска браздитъ ему чело,
Да и веселье тяжело.
Мы завтра въ бой. Пожара пламя
Вдругъ озаритъ свободы знамя;
Но вѣдь не дремлетъ хитрый врагъ...

ПОЛІОНЪ.

Иной подумаетъ, что страхъ
Тебя мутитъ. Стыдися! Полно!
Намъ дѣло завтра: нынѣ намъ
Прилично пить. Римъ семихолмный!
Привѣтъ твоимъ святымъ стѣнамъ!..
Невольники!.. Гирляндъ! Амфоры!..
Вѣнчайте насъ! Вкругъ по столамъ
Разсыпьте розъ! Ведите хоры,

Какъ въ оны славны времена!..
Достать хіосскаго вина
Еще отъ консула Постума!..
Прочь дѣло! Прочь тоска и дума!
Живи и пей, живи и пой!

КВИРИНЪ.

Безумецъ! Можно ль веселиться,
Когда съ предутренней зарей
Нашъ грозный замыселъ свершится?
Успѣхъ не вѣренъ.

ПОЛІОНЪ.

Милый мой!
Жизнь коротка; за жизнью этой
Грядущее все тьмой одѣто,
Въ утробу бездны роковой
Мы каждый мигъ упасть готовы:
Не лучше ль весело сойти
Намъ въ челюсть пропасти суровой?
Смѣлѣй идемъ мы по пути,
Одѣты въ пурпуръ, умащены
Сидонской миррой, и съ вѣнкомъ,
Оживлены и вдохновенны
Фалерна искристымъ виномъ.

ОЛИНѲЪ.

Что, еслибы убійца скрытый
Тебѣ грозилъ, во тьмѣ таясь,

И зналъ бы ты и день, и часъ
Свершенья кова, ты бъ защиты
Искать, конечно, позабылъ?

ПОЛІОНЪ.

Да, еслибъ часъ избранный былъ
Обѣда часъ: въ такую пору
Моя бы смерть была вѣрна!..
Эй! Скиѳскій рабъ! Еще вина!
Лей, лей въ глубокую амфору!
На пышныхъ ложахъ возлежимъ,
И, за трапезою раздольной,
Теперь свободно огласимъ
Обѣдъ нашъ пѣснею застольной!

ОЛИНѲЪ.

Горація?

КВИРИНЪ.

Нѣтъ, другъ мой, нѣтъ!
Зовутъ поэта какъ, не знаю:
Сарматъ иль скиѳъ онъ, а поэтъ
Не дуренъ. Други! Возглашаю.
«Блеститъ чертогъ; горитъ елей;
Ясминъ и миртъ благоухаетъ;
Фонтанъ, шумя, между огней
Златыми брызгами играетъ.
Греми, волшебный гимнъ пировъ!
Несите, юноши, плодовъ,

И розъ, и листьевъ винограда:
Вѣнчайте насъ! Что въ жизни намъ?
Мы въ жертву суждены богамъ ужаснымъ ада,
А жертва пышная въ богатствахъ вертограда—
Угоднѣе богамъ!
Настанетъ часъ—воззримъ сурово
Мы на гремящій жизни пиръ,
Какъ сей скелетъ бѣлоголовый,
Бѣглецъ могилъ. На звуки флейтъ и лиръ
Онъ безотвѣтенъ, гость гробовый!
Но онъ вѣдь пѣлъ, и онъ любилъ,
И богу гроздій онъ служилъ...
О, други! Сыпьте розъ Горацiева сада
По симъ бѣлѣющимъ костямъ,
И свѣжей кистью винограда
Вѣнчайте черепъ—этотъ храмъ,
Чертогъ покинутый и сирый,
Гдѣ обиталъ животворящій духъ,
Во дни, когда киѳара съ звонкой лирой
Его плѣняли чуткій слухъ,
И пилъ онъ розъ благоуханье,
Любилъ кристаллъ амфоры золотой,
И дѣвъ горячія лобзанья,
И трепетъ груди молодой!»

IV.

Бонифацій *(отшельникъ)*, **Августинъ.**

БОНИФАЦІЙ.

Мнѣ жаль, что Богъ меня послалъ
Не въ вѣкъ суровый испытаній:
Съ какою бъ радостью пріялъ
Я чашу смертную во длани!

АВГУСТИНЪ.

Отецъ, мы видимъ торжество
По всей землѣ Господня слова.
Давно ли заповѣдь Его
Запечатлѣла кровь Христова?
Давно ли съ іудейскихъ горъ
Насъ въ міръ свела Его десница,
Гдѣ ждали насъ позоръ, темница,
Сѣкира, цѣпи и костеръ?
И что же?.. Странниковъ убогихъ
Слова священныя взросли.
Насъ истребляли на земли;
Кровь одного рождала многихъ!
И вотъ узрѣли христіанъ
И сонмъ великаго сената,
Хоругви брани, ратный станъ,
И даже царская палата.

БОНИФАЦІЙ.

О, сынъ мой! Господа судьбы,
Какъ солнце, смертнымъ недоступны.

Мы съ славой вышли изъ борьбы,
Но бойся гордости преступной
И въ самомъ торжествѣ смирись.
Теперь мы ближе обольщеній,
И нынѣ больше берегись
Коварныхъ ада наущеній...
Но гдѣ Эсѳирь? Гдѣ дочь твоя?

АВГУСТИНЪ.

Она сей жизнью скоротечной
Все веселится, какъ дитя,
Все беззаботна и безпечна.

(Слышна пѣсня Эсѳири).

«Колыбель моя качалась
Предъ Сіономъ, и надъ ней
Пальма Божія склонялась
Темной купою вѣтвей;
«Бѣлыхъ лилій Идумеи
Снѣжный вѣнчикъ цвѣлъ кругомъ,
Бѣлый голубь Іудеи
Рѣялъ ласковымъ крыломъ;
«Ангелъ Божій Израиля
Вѣтвь мнѣ пальмовую далъ,
Возложилъ вѣнокъ изъ лилій
На главу—и въ путь послалъ!»

ЭСѲИРЬ.

Благослови святой отецъ!

БОНИФАЦІЙ.

Храни, дитя мое, вѣнецъ
И пальму кроткую Сіона:
Ее даритъ съ святого трона
На подвигъ доблести Творецъ.
Твой голосъ звученъ и прекрасенъ,
Но... берегись, дитя! Опасенъ
Бываетъ намъ веселья часъ.
Нашъ врагъ не дремлетъ, за ловитвой
Сѣтьми опутывая насъ.
Порой, случалось, въ часъ молитвы
Услышать ночью соловья:
Ему невольно мы внимаемъ,
И, грѣшный слухъ свой веселя,
Мы между тѣмъ позабываемъ
Молитву; пѣснью же его
Насъ дьяволъ искони чаруетъ.
Нашъ ангелъ плачетъ и тоскуетъ,
Ему жь въ паденьи торжество.
Ты молода еще. Богъ любитъ,
Хранитъ дѣтей; но дьяволъ злой
Всѣхъ, и дѣтей, и старцевъ губитъ.

АВГУСТИНЪ.

Повѣдай мнѣ, отецъ святой,—
Ты долго жилъ въ странахъ азійскихъ, —
Какъ, посреди степей ливійскихъ,
Антоній искушаемъ былъ
Лукавствомъ хитрымъ духа злаго?

БОНИФАЦІЙ.

О, помню, помню. Допустилъ
Меня Господь узрѣть святаго.
Я Ѳиваиду проходилъ.
Тамъ, подъ скалой, въ пещерѣ дикой,
Мерцая, теплился елей;
Надъ черепомъ, между костей,
Молился праведникъ великій.
Согбенъ и дряхлъ, и полунагъ,
Читалъ Писанье онъ. Къ полночи,
Онъ самъ мнѣ сказывалъ, предъ очи
Ему являлся хитрый врагъ
То змѣемъ, то дракономъ, птицей,
То звѣремъ, гадомъ, то дѣвицей.

АВГУСТИНЪ.

Избави Богъ и сохрани
Своихъ рабовъ!

БОНИФАЦІЙ.

Да, искушеній
Онъ зрѣлъ не мало. Но они,
Какъ рои легкихъ сновидѣній,
Предъ нимъ исчезли. Вотъ, мой сынъ,
Примѣръ и намъ! Какъ цвѣтъ долинъ,
Въ насъ вянетъ духъ среди волненій,
И меркнетъ Господа законъ.
О, Римъ! О, новый Вавилонъ!

Ты вѣрой истинной облекся,
Какъ ризой новой; но... увы!
Все злата съ гордой головы
Ты не совлекъ, ты не отрекся
Отъ шумныхъ игрищъ и пировъ;
Ты, подъ Христовою одеждой,
Все тѣ жь скрылъ язвы, полныя грѣховъ;
Въ твой циркъ, облитый кровью львовъ,
Народъ бѣжитъ... Откройте вѣжды,
Прозрите, горькіе слѣпцы!..
О, горе!.. Внемлю я въ пустынѣ
Смятенный гулъ... Земли концы
Грозятъ блистательной гордынѣ...
Покайся, въ страхѣ смерти жди,
Главу посыпь печали пепломъ,
И въ сердцѣ, въ суетѣ окрѣпломъ,
Священный ужасъ пробуди!
Но, полно! Мнѣ уже пора
Оставить васъ. Не пухъ ковра—
Мнѣ ложе, а песокъ горящій;
Жилище мнѣ—не Римъ шумящій,
Пустыня знойная. Вдали
Отъ обольщеній человѣка,
Въ степи невѣдомой отъ вѣка,
Гдѣ Іорданъ катитъ струи,
Творца премудрость созерцая,
Тамъ жить мнѣ, духъ свой возвышая,
А тѣломъ въ-живѣ умеревъ.
Пустыня мнѣ тамъ ризой будетъ,

А другомъ—степи вольный левъ;
Мнѣ пищу черный вранъ добудетъ
И манны божескій посѣвъ
Господь пошлетъ въ вечернихъ росахъ...
Прости! Гдѣ странничій мой посохъ?

V.

Но отчего къ бесѣдѣ мудрой
Одна Эсѳирь лишь холодна?
Зачѣмъ ея бѣжитъ она
И головою чернокудрой
Склонилась на руки?.. Въ груди
Младая кровь ея пылаетъ.
Чтобъ обмануть мечты свои,
Она молитвенникъ читаетъ;
Но хладенъ ей языкъ святой,
И не библейскія видѣнья
Рисуетъ ей воображенье:
Предъ ней мелькаетъ ликъ иной...
Ей мнится, шумно вдоль арены
Кипитъ народъ въ толпѣ стѣсненной;
Предъ любопытною толпой
Питомцы брани молодые
Свершаютъ игры боевыя;
Ряды блестящихъ колесницъ
Стремятся, будто стаи птицъ
Столбами пыль кругомъ взлетаетъ;
Коней полетомъ управляетъ
Младыхъ патриціевъ рука...

Несутся!.. Цѣль не далека...
Трофеи доблестной потѣхи,
Вѣнокъ и бранные доспѣхи,
Готовъ сорвать ужь нѣкій грекъ.
Но витязь вдругъ, въ одеждѣ бранной,
Крылатый бѣгъ его пресѣкъ,
Явясь какъ вихрь степей нежданный,
И мигомъ, мощною рукой,
Сдержалъ коней. Какъ онъ прекрасенъ,
Сей витязь юный! Тихо онъ,
Вѣнчанный, ѣхалъ. Гордъ и ясенъ
Его былъ взоръ. Какъ Аполлонъ,
На колесницѣ позлащенной
Стремился онъ вокругъ арены,
Толпы хвалами оглашенъ.
Потомъ мечта ей рисовала
Тотъ чудный мигъ, когда предъ ней
Повергъ побѣдный онъ трофей,
Когда она впервой узнала
Языкъ язвительныхъ страстей.
Ей было страшно, и хотѣла
Она отъ витязя бѣжать...
Но дѣвѣ ль сердцемъ управлять?
Оно любить его велѣло!
Но онъ... онъ гордый врагъ Христа.
Напрасно дѣва молодая,
Святой любовью заклиная,
Его звала подъ сѣнь Креста...
Нѣтъ! это демонъ былъ блестящій,

Съ миѳологической красой,
Съ любящей, пламенной душой,
И рѣчью, страстію горящей;
Она же—ангелъ передъ нимъ,
Со взоромъ чистымъ и святымъ!
Вѣнокъ изъ маслинъ темнолистыхъ
И лилій нѣжныхъ и младыхъ
Сіялъ на локонахъ струистыхъ,
Какъ свитая изъ звѣздъ златыхъ
И пальмъ зеленыхъ діадима
Надъ головою серафима.
И ангелъ золотую сѣть
Хотѣлъ порвать и улетѣть
Къ чертогамъ горнимъ, безъ усилій
Расторгнуть сладостный союзъ;
Но для ея блестящихъ крылій
Любовь была какъ тяжкій грузъ;
И ей для темнаго созданья
Не пасть подъ бременемъ борьбы,
И не отвергнуть ей мольбы,
Мольбы послѣдняго свиданья
Въ часовнѣ, подъ вечерній часъ,
Въ послѣдній разъ, въ послѣдній разъ!

VI.

Подъ небомъ темно-голубымъ,
Увѣнчанъ цѣпью Аппенинской,
Властитель міра исполинскій,
Великолѣпный блещетъ Римъ.

Палаты царственныя дремлютъ
При блескѣ утреннихъ лучей;
Колонны пышныя подъемлютъ
Тріумфомъ вѣнчанныхъ мужей;
Далеко мраморомъ сіяетъ
Сереброглавый пантеонъ,
Гдѣ сводъ единый осѣняетъ
Боговъ всѣхъ странъ и всѣхъ племенъ.
Тамъ циркъ: на немъ слѣды кровавы
Недавней битвы ярыхъ львовъ;
Тамъ Тибръ струится величавый,
И въ мутной влагѣ съ береговъ
Глядится цѣпь дворцовъ великихъ.
Рабы всѣхъ странъ къ водамъ его
Коней приводятъ полудикихъ,
И старецъ древній, божество
Его истоковъ, съ бѣлой урной
Лежитъ у брега надъ водой,
И рядъ триремъ съ златой кормой
Бѣжитъ вдоль скатерти лазурной.
Подъ сѣнью римскаго орла
Стоитъ угрюмый Капитолій,
Предъ кѣмъ вселенная, въ неволѣ,
Рабой покорною легла.
Глядитъ онъ на квиритовъ форумъ,
Трибуновъ рѣчи ждетъ; но онъ
Молчитъ: какъ прежде шумнымъ споромъ
Его покой не пробужденъ.
Одни свидѣтели нѣмые

Его блистательныхъ временъ,
Какъ воины сторожевые,
Статуи высятся вокругъ.
Не въ ихъ ли груди благородной,
Среди толпы разнонародной,
Хранится римлянъ гордый духъ?
Лишь ихъ чело объято думой
О благѣ родины; ихъ видъ,
Ихъ взоръ холодный и угрюмый
Потомковъ суетныхъ коритъ;
Они же въ улицахъ широкихъ
Кипятъ межь всѣхъ племенъ земныхъ:
Тамъ черный рабъ степей глубокихъ
И царь развѣнчанный; межь нихъ
Потомокъ консуловъ, сенаторъ
И полудикій гладіаторъ;
Тамъ мчитъ патрицій молодой
Коней по звонкой мостовой;
Тамъ хлѣбъ Этруріи богатой
Въ пыли влекутъ волы рогаты...
Но прочь, народъ! Взвѣвая прахъ,
Несется съ громомъ колесница
На быстро-огненныхъ коняхъ.
Кто въ ней? Чья это багряница?
Предъ кѣмъ сторонится народъ,
И старъ, и младъ, богачъ и бѣдный?..
Не императоръ ли грядетъ?
Не тріумфаторъ ли побѣдный?..
Нѣтъ! Въ ней по поприщу летитъ

Полночныхъ праздниковъ царица,
Кого всемірная столица
Покорно чествуетъ и чтитъ.
Покровъ съ главы ея взвѣваетъ
Клубами вѣтеръ на-лету;
Ея одежда не скрываетъ
Роскошной груди красоту.
Склонясь небрежно въ колесницѣ,
Она, блистательной царицей,
И своенравна, и горда,
Вкругъ на народъ взираетъ праздный.
Ея пурпурныя уста,
Дыша всей роскошью соблазна,
Какъ-будто юношамъ твердятъ:
«Дыханьемъ тирскихъ ароматъ,
«Душистой миррой и алоe
«Мой одръ пуховый напоенъ.
«Блаженъ, предъ кѣмъ въ моемъ покоѣ
«Кисейный завѣсъ устраненъ;
«Кто груди мраморъ раскаленный
«Освободилъ отъ пышныхъ розъ
«И нардомъ умащенныхъ косъ
«Впивалъ амброзію, смущенный!..»
И мыслитъ вѣтреный народъ —
Кого Аглая изберетъ?
Кто вкуситъ съ ней, вслѣдъ шумныхъ оргій,
При плескѣ усыпленныхъ струй,
Любви мятежные восторги,
Любви мятежный поцѣлуй?..

Ловите, юные счастливцы,
Аглаей брошенный вѣнокъ!
Кому, влюбленные ревнивцы,
Назначенъ счастія залогъ?
Онъ предъ Олинѳомъ упадаетъ...
Счастливецъ выборомъ смущенъ...
Но колесница исчезаетъ,
И слышитъ голосъ милый онъ:
«Я жду тебя!»
О, боги, боги!..
Олинѳъ! Ты ль это? На любовь
Ты холоденъ: ея тревоги
Ужель твоя забыла кровь?
Бывало, рабъ любви и нѣги,
Дѣлилъ ты тайные ночлеги
Съ Аглаей пылкой; жаждалъ ты
Одной полночной темноты,
Когда она, въ толпѣ влюбленной
Тебя избравъ, твоей любви
Ввѣряла прелести свои,
И грудь, и станъ разоблаченный.
«Итти иль нѣтъ?—такъ мыслилъ онъ—
«Чему я рокомъ обреченъ?
«Аглая, гордая Аглая,
«Съ своею греческой душой,
«Съ огнемъ полуденнаго края,
«Съ его поэзіей живой,
«Меня любила... жребій мой
«Теперь въ рукахъ иной царицы.

«Она — безъ злата, багряницы,
«Но, тихой святостью чела
«И дѣтской воли дивной силой,
«Аглаи блескъ превозмогла...
«А все царицѣ, прежде милой,
«Готовясь въ тартаръ низойти,
«Хотѣлъ бы я сказать прости!»

VII.

Былъ свѣтелъ полдень золотой.
Между листовъ густого сада
Струилась тихая прохлада;
Фонтанъ, серебряной горой,
На солнцѣ ввысь взвивалъ алмазы,
Подъ портикомъ, между колоннъ,
Съ цвѣтами мраморныя вазы
Благоухали; упоенъ
Дыханьемъ розы и лилеи
Былъ воздухъ утренній; вдали
Высокихъ тополей аллеи
Къ статуямъ греческимъ вели.
Какъ нереида молодая,
Передъ фонтаномъ, на скамьѣ,
Сидѣла пышная Аглая
Съ златою лютнею въ рукѣ.

АГЛАЯ.

А! Это ты, патрицій милый!
Ты такъ послушенъ... я люблю

Такихъ любовниковъ. Свою
Аглаю вспомнилъ ты насилу.
Признайся: ты передо мной
Неправъ, конечно?

ОЛИНѲЪ.

Я съ тобой,
Я вновь у ногъ твоихъ, Аглая!

АГЛАЯ.

Да, еслибы не мой вѣнокъ...

ОЛИНѲЪ.

Аглая!

АГЛАЯ.

Но къ чему упрекъ?
Ты здѣсь... Мой другъ, скажи: мечтая,
Ты вспоминаешь ли тѣ дни,
Дни счастья и любви мятежной,
Когда вдали отъ всѣхъ, одни,
Мы упивались страстью нѣжной,
Когда для красоты иной
Я не была тобой забыта?

ОЛИНѲЪ.

Тѣ дни, когда твои ланиты,
Твои уста еще другой
Не жегъ неистовымъ лобзаньемъ?

АГЛАЯ.

Что, еслибъ прежняя любовь
Воскресла, съ нѣгой и страданьемъ, —
Когда бъ толпа моихъ рабовъ
Была оставлена,—открыта
Тебѣ лишь дверь моя порой
Ночной,—была ли бы тобой
Моя соперница забыта?

ОЛИНѲЪ.

Аглая, полно! Перестань!

АГЛАЯ.

И впрямь, элегіи унылой
Платить не въ модѣ нынѣ дань.
Но... слушай, мой измѣнникъ милый!
Хоть нынѣ ты забылъ меня,
Но я... сказать ли?.. я тебя
Воспоминала. Было скучно
Одной мнѣ.

ОЛИНѲЪ.

Что жь въ толпѣ послушной
Тебя занять не могъ иной?

АГЛАЯ.

О, нѣтъ! Они всѣ такъ ничтожны,
Съ такой отцвѣтшею душой;
А я люблю огонь тревожный,

Порывы страсти молодой.
Въ объятьяхъ огненныхъ покоить
Статую хладную какъ ледъ...
Нѣтъ! Имъ любви моей не стоить,
Мертвецъ ли пылъ ея пойметъ?
Но ты молчишь все?.. Полно, милый!
Такихъ мужей я не люблю,
Какъ нашъ Катонъ, Сенека хилый.
Ласкай красавицу свою
И улыбнись.

ОЛИНѲЪ.

Мой другъ Аглая!
Живи, вовѣкъ заботъ не зная;
Питай въ груди огонь страстей;
Вѣнчай свой кубокъ миртомъ свѣжимъ;
Блаженство жизни шумной пей...
Блаженъ, кто на груди твоей,
Тобой любимъ, тобою нѣжимъ,
Вкушаетъ счастіе! Но мнѣ,
Моя Аспазія, ужь скоро,
Быть можетъ, въ адской глубинѣ,
Не зрѣть твоей улыбки, взора,
Съ тобой не праздновать досугъ.
Быть можетъ... Но скажи, мой другъ:
Когда про мой конецъ нежданный
Узнаешь, принесешь ли ты
На прахъ мой миртъ благоуханный
Своихъ гирляндъ?

АГЛАЯ.

Что за мечты!
Что за вопросъ!.. Мой другъ прекрасный,
Послушай лучше пѣсни страстной,
Лезбійской пѣсни. Мнѣ ее
Поетъ невольница.

НЕВОЛЬНИЦА (*поетъ*).

«Я войду въ тотъ садъ прекрасный,
Гдѣ, царицею цвѣтовъ,
Ты почіешь сладострастно
Межь акацій и дубовъ.

«Тихой страстію волнуемъ,
На тебя я погляжу,
И внезапнымъ поцѣлуемъ
Легкій сонъ твой пробужу».

АГЛАЯ.

Не правда ль, вѣетъ пѣсня эта
Отчизной Сафо?.. Но, мой другъ,
Ты все угрюмъ, и нѣтъ отвѣта
На твой любимый прежде звукъ?

ОЛИНѲЪ.

Прости, прости! Иные звуки
Я слышалъ—клиръ еврейскихъ дѣвъ...
Угрюмъ и мраченъ ихъ напѣвъ;

Онъ слезъ просилъ, какъ плачъ разлуки,
И эти слезы онъ исторгъ!
Такъ! Плакалъ я, клянусь, Аглая!
Безсмысленно благословляя
Души мучительный восторгъ.

VIII.

ЧАСОВНЯ.

Олинѳъ, Эсѳиръ.

ОЛИНѲЪ.

Эсѳиръ! Эсѳиръ! Ужель твой Богъ
Тебѣ любить не позволяетъ?

ЭСѲИРЬ.

Господь любить повелѣваетъ
Всѣхъ ближнихъ. Самъ, въ святой залогъ
Любви, Онъ принялъ крестъ мученій
И насъ омылъ въ Своей крови.

ОЛИНѲЪ.

Зачѣмъ же ты любви моей
Себя не ввѣришь, добрый геній?
Съ тѣхъ поръ, какъ образъ милый твой
Я принялъ пламенной душой,
Я все забылъ: на играхъ славы
Меня не манитъ свѣжій лавръ;
Напрасно, чуя звукъ литавръ,

Мой конь храпитъ: мечей забавы
Не жажду я. Среди пировъ,
Гдѣ Вакхъ ликуетъ и Киприда,
Я мнилъ забыть къ тебѣ любовь, —
Какъ свѣтлый ликъ богини Книда,
Твой ликъ передо мной сіялъ,
Уста твое шептали имя...
Любовью мучимъ, я бѣжалъ
Туда, гдѣ миртами густыми
Сокрытъ Кипридинъ древній храмъ;
Я поднялъ жертвенникъ разбитый,
И вновь алтарь ея забытый
Священный обвилъ ѳиміамъ.

ЭСѲИРЬ.

Безумецъ! Ты молитвы пламень
Кому вознесъ?.. Ужели камень
Твоею тронется мольбой?..
Оставь, забудь кумиръ бездушный,
Предъ виѳлеемскою звѣздой
Склонись, смиренный и послушный:
Тогда...

ОЛИНѲЪ.

Эсѳирь! Бѣги со мной!
Спаси себя и Римъ старинный!
Я все повергну предъ тобой,
Къ твоимъ стопамъ—за взглядъ единый.
Купили злата мнѣ въ бояхъ

Отцовъ изрубленные шлемы;
Воздвигъ я виллы на земляхъ
И гордо врѣзалъ ихъ въ моряхъ,
И карѳагенскія триремы
Предъ ними веслами шумятъ,
Подъ сѣнью портиковъ фонтаны,
Въ чертогахъ тирскій ароматъ,
Толпы рабовъ златоубранны;
Вдоль стѣнъ рога альпійскихъ сернъ
И вепрей темнаго Ардена;
Вкругъ на столахъ кипитъ фалернъ,
Сребромъ горитъ въ амфорахъ пѣна;
Вдоль лѣстницъ статуй дивныхъ строй,
Съ развалинъ Греціи снесенный,
И скиѳъ у врать полунагой,
Какъ левъ, цѣпями пригвожденный.

ЭСѲИРЬ.

Не возмущай мой дѣтскій умъ,
Не обольщай меня словами...
Что злато? Прахъ; что слава? Шумъ.
Они проходятъ вмѣстѣ съ нами.
За злата блескъ, за славы громъ,
Мы духъ свой аду продаемъ.

ОЛИНѲЪ.

Я брошу пышные чертоги —
Наслѣдье праотцевъ—и Римъ.
Пускай сопутствуютъ намъ боги

Черезъ моря, къ странамъ инымъ!
Тамъ, гдѣ по рощамъ Гемонійскимъ
Пеней струи свои катитъ,
Мы камень древнихъ Аонидъ,
Покрытый прахомъ олимпійскимъ,
Цвѣтами свѣжими увьемъ.
Передъ пустыннымъ очагомъ,
Подъ сѣнью щедрой Цитереи,
Мы воскресимъ дни Одиссеи,
Съ любовью къ миру и богамъ.
Бѣжимъ, мой другъ! Звѣзда Киприды
Съ улыбкой кроткой свѣтитъ намъ,
Какъ пастырю пустынной Иды.

ЭСѲИРЬ.

Олинѳъ, Олинѳъ! Оставь меня!
Твоя любовь мнѣ недоступна!..
О, Боже! Огнь любви преступной
Зачѣмъ питаетъ грудь моя?

ОЛИНѲЪ.

Эсѳирь, ты любишь?

ЭСѲИРЬ.

Боже правый!
Разсѣй Ты мракъ его лукавый
И длань Свою простри надъ нимъ!

ОЛИНѲЪ.

Эсѳирь! Внемли мольбѣ священной!

Спаси себя, спаси ты Римъ!
Дай мнѣ обнять твои колѣна,
Дай руку... Боги! Погляди,
Какъ голова моя пылаетъ
И сердце бѣдное сгараетъ
И бьется въ жаждущей груди...
Эсѳирь! Одно, одно лобзанье!..

ЭСѲИРЬ.

О, Боже мой! Что дѣлать мнѣ?

ОЛИНѲЪ.

Оно смиритъ мои страданья...
Лобзай меня!

ЭСѲИРЬ.

Я вся въ огнѣ...

ОЛИНѲЪ.

Одно лобзаніе!

ЭСѲИРЬ.

Дай силы,
О, Боже, мнѣ!

ОЛИНѲЪ.

Эсѳирь! Ты имъ,
Клянусь, избавишь отъ могилы
И разрушенья древній Римъ!

(*Въ часовнѣ гаснетъ одна лампада.*)

ЭСѲИРЬ.

О, Боже! Трепетную дѣву
Предашь ли праведному гнѣву?...
Прочь! Прочь, Олинѳъ! Я не должна,
Я не могу для иновѣрца
Отдать огонь младого сердца:
Я небесамъ обречена.

(Вырывается отъ него и падаетъ предъ иконой.)

ОЛИНѲЪ.

Молись!.. Невѣдомаго Бога
Зови, забывъ своихъ боговъ!..
О, Зевсъ! Отъ горняго чертога,
Вержитель молній и громовъ,
Пошли ты мнѣ свой мечъ горящій
И факелъ мщенія зажги
Своею молніей разящей,
И грудь мнѣ мощью облеки!..
О, Ромулъ! Духъ твой надо мною
Паритъ, суровъ, неукротимъ...
Скорѣй, о ночь, глубокой тьмою
Опеленай невѣрный Римъ!

IX.

Заговорщики, *въ полномъ вооруженіи, вокругъ пустыннаго алтаря Юпитера.*

Клянемся Ромуловой тѣнью,
Клянемся Цезаря мечомъ,

Предать отступниковъ отмщенью
И не робѣть въ бою ночномъ!
Клянемся Рима древней славой
И Капитолія орломъ,
Ему отдать его державу
Съ его потерянным вѣнцомъ!
Клянемся адскими богами,
Богами моря, неба, горъ,
Возжечь имъ огнь предъ алтарями
И кровью съ нихъ омыть позоръ!

Квиринъ *приноситъ жертвы. Вельны склоняютъ копья.*

X.

Спокойна ночь. Сіяньемъ млечнымъ
Подернутъ мраморъ и гранитъ.
Надъ Тибромъ, сномъ объяты вѣчнымъ,
Недвижны сфинксы. Тибръ шумитъ,
Во мглѣ сверкая. Колесницы
Ужь не гремятъ; затушены
Огни, и, въ лонѣ тишины,
Спятъ обитатели столицы.
Лишь свѣтъ украдкою зажженъ
Отшельникомъ въ пустынной кельѣ,
Иль пиръ безумнаго веселья
Елеемъ ярко озаренъ.
Эсенрь, спокоивъ духъ молитвой,
Одна въ обители своей.
О, какъ для сердца тяжки битвы

Льдяного долга и страстей!
Она, въ груди своей лелѣя,
Хранила огненную страсть...
Изгнать ли сладостнаго змѣя
Иль въ сѣть обманчивую пасть?
Но онъ сраженъ. Чего же стоитъ
Побѣда эта!.. Сколько слезъ!..
Вдругъ бросить радость брачныхъ розъ...
Но тернъ ли сердце успокоитъ?
Пускай побѣждена любовь,
Но сонъ, въ лукавомъ обольщеньи,
Опять мутитъ воображенье
И дразнитъ пламенную кровь.
И вотъ, красавицѣ влюбленной
Онъ кажетъ образъ милый ей:
Олиѳъ, подъ пальмою Сіона,
Ее зоветъ; вдали предъ ней
Алтарь, и хоры херувимовъ
И шестикрылыхъ серафимовъ
Имъ пѣсни брачныя поютъ.

Вдругъ шумъ... Пожаръ... Толпы бѣгутъ...
Огонь неистовый сіяетъ.
Эсѳирь въ испугѣ покидаетъ
Мечтаній ложе. Алый блескъ
Ее облилъ. Широко пламя
Развило бѣдственное знамя
И рушитъ. Всюду громъ и трескъ.
Ужель Эсѳирь забыли люди

И гибнуть бросили одну?..
Власы разсыпавъ, крестъ ко груди
Прижавъ, она бѣжитъ къ окну.

Межь тѣмъ разлился пламень жадный,
Далеко моремъ золотымъ.
Чертоговъ зданія громадны
Наполнилъ смрадъ и черный дымъ.
Средь разрушенья змѣй багровый,
Въ объятьяхъ мраморъ обхватя,
Его колеблетъ и, суровый,
Подъ небо прядаетъ, свистя,
И вѣтромъ зыблемый, огромной
Всталъ пирамидой въ ночи темной.
Затопленъ дымомъ небосклонъ,
И мраморъ статуй и колоннъ,
И Тибръ, и вѣчные граниты
Кровавымъ заревомъ облиты...

XI.

Квиринъ, Поліонъ.

ПОЛІОНЪ.

Ну что, Квиринъ?

КВИРИНЪ.

Не говори,
Я самъ себя не понимаю!

ПОЛІОНЪ.

Доспѣхи ржавые свои
И ты надѣлъ?

КВИРИНЪ.

Я воскресаю
Къ свободѣ древней! Да и ты,
Ты промѣнялъ на лавръ побѣды
Вѣнка Кипридина листы?

ПОЛІОНЪ.

Обычай сей хранили дѣды:
Прекраснѣй мечъ нашъ боевой
Подъ виноградною лозой!

XII.

Толпа христіанъ.

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА.

Пришли послѣдни времена!
Господь насъ предалъ чадамъ злобы!
Выходятъ мертвыхъ племена
И разверзаются ихъ гробы!

БОНИФАЦІЙ.

Молчи! Господь своихъ рабовъ
Не позабудетъ, маловѣрный!
Пусть ада полчища безмѣрны:
Безмѣрна Божія любовь!

АВГУСТИНЪ.

Но гдѣ Эсеирь? Гдѣ дщерь Сіона?
Гдѣ дочь моя?

БОНИФАЦІЙ.

Сынъ! Положись
Во всемъ на Бога и молись:
Въ немъ намъ прямая оборона.
Благодарю Тебя, Творецъ!
Пришлось и старцу наконецъ
Увидѣть мучениковъ знамя,
За свѣтлый пальмовый вѣнецъ
Свой бренный трупъ повергнуть въ пламя
И духомъ прянуть къ небесамъ!

НАРОДЪ.

Бѣгите!.. Рѣжутъ!.. Гибель намъ!

XIII.

Но кто сей воинъ?.. Бѣлый конь
Его несетъ сквозь дымъ, огонь.
Онъ статенъ: римская одежда
Временъ республики на немъ;
Безъ перьевъ шлемъ, копье съ щитомъ,
Броня чешуйная. Надежда
Въ его очахъ. Восторгъ живой
Горитъ въ душѣ вольнолюбивой...
Какъ блещетъ мечъ его стальной!

Какъ мощенъ конь его ретивый!
Вокругъ него струится кровь;
Народъ, имъ пораженный, стонетъ...
Такъ левъ степной разитъ и гонитъ
Толпу смятенную ловцовъ.
Но что же льва сразитъ младого?
Желѣзо ль? Пламени ль змѣя?
Онъ самъ разлилъ моря огня;
Не страшенъ мечъ ему суровый.
Онъ зритъ—средь пламени, въ окнѣ,
Съ крестомъ на персяхъ, въ ткани бѣлой,
Младая дѣва. Вкругъ въ огнѣ
Чертогъ пылаетъ опустѣлый.
Ея одежду и власы
Горячій вѣтеръ развѣваетъ;
Огонь свирѣпый озаряетъ
Ея небесныя красы.
Казалось, разъяренный пламень
Коснуться дѣвы не дерзалъ:
Топя металлъ и руша камень,
Онъ передъ нею умиралъ.
Олинеъ глядитъ: любовь и мщенье
Бушуютъ въ немъ... Вотъ торжество
Любви отвергнутой его!..
Но въ жданной мести наслажденья
Въ сей страшный мигъ не видитъ онъ.
Какъ будто свыше озаренъ,
Въ огонь летитъ онъ для спасенья
Эсеири юной...

ОЛИНѲЪ.

Милый другъ!..

ЭСѲИРЬ.

Зачѣмъ ты здѣсь?

ОЛИНѲЪ.

О, умоляю!..

ЭСѲИРЬ.

Оставь меня! Ни слезъ, ни мукъ
Ты не увидишь. Умираю
Я съ вѣрой. Прочь!

ОЛИНѲЪ.

Ко мнѣ скорѣй!
Колонны рушатся. Сильнѣй
Все пламя; гуще тучи смрада...
Не медли! Слышишь, колоннада
Тамъ падаетъ!.. Клянусь твоимъ,
Твоимъ къ тебѣ я посланъ Богомъ!
Онъ велъ меня къ твоимъ чертогамъ.
Спасайся!.. Заклинаю Имъ!

ЭСѲИРЬ.

Да будетъ судъ Его надъ нами!

ОЛИНѲЪ.

Скорѣй ко мнѣ! Обвей руками
Меня сильнѣй... О, боги! Сводъ
Надъ нами пламя раскалило...

На насъ онъ сыплетъ камни... Вотъ
Упала лѣстница... Другъ милый!
Простишь ли ты меня?.. Одна
Надежда намъ.

(Кидается внизъ.)

Ты спасена!
И, мертвъ, низвергнутъ воинъ смѣлый
Съ окровавленной головой;
И на груди его младой
Эсѳирь съ крестомъ, какъ ангелъ бѣлый.
Съ вѣнцомъ небеснымъ вкругъ чела,
При трубахъ арміи незримой,
Архангелъ брани невредимо
Ее провелъ сквозь волны дыма
Подъ сѣнью рдянаго крыла.

ЭПИЛОГЪ.

Между преданьями языческихъ вѣковъ,
Запечатлѣнными на мраморѣ, люблю я
Два мрамора, и въ нихъ двѣ басни. Бичъ годовъ
Ихъ пощадилъ, и умъ, значенье ихъ пытуя,
Въ нихъ два символа зритъ. Безъ воли ихъ творцовъ,
Мнѣ миѳъ таинственный являетъ ихъ статуя:
Въ единой—древности весь блескъ изображенъ,
Въ другой—медлительный конецъ и смертный стонъ.

Блестящій юноша. Съ серебрянаго лука
Лишь-только сорвалась звенящая стрѣла.
Предъ нимъ поверженъ змій. И мщеніе, и мука

Въ его рыканіи съ нимъ вмѣстѣ замерла;
А онъ, богъ красоты, богъ творчества и звука,
Чрезъ трупъ чудовища, съ спокойствіемъ чела,
Вступаетъ гордо въ храмъ. Глаза побѣдой блещутъ,
И музы лаврами ему покорно плещутъ.

Старикъ. Блестящій змій, съ златою чешуей,
Его, какъ кольцами, внезапно обвиваетъ.
И давитъ, и вотще безсильною рукой
Онъ жало острое отъ сердца отвращаетъ:
Нѣтъ! Змій торжественно вознесся головой,
А старецъ уязвленъ и кровью истекаетъ...
Сей змій—не чадо тьмы, не яростный Пиѳонъ,
Но змій пророческій Іаковыхъ племенъ.

Люблю я вызывать изъ области гробницы
Преданья древности, въ ихъ пеплѣ вѣковомъ;
Мнѣ живо чудятся пиры и колесницы,
И юный Эпиктетъ въ вѣнкѣ, за пиршествомъ,
Тимпанъ, и звуки лиръ, и пляшущія жрицы,
И образъ муміи въ нарядѣ гробовомъ;
И веселъ я... Такъ что жь? Прійдутъ иныя лѣта,
И свянутъ для меня гирлянды Эпиктета!

(1842).

ВИДѢНІЕ.

Прійди, товарищъ думъ, мой стихъ благоуханный!
Я вижу нѣкій блескъ чудесно разліянный;
Прійди... Ты видишь ли въ сіяньи семъ кумиръ
Какъ будто мраморный? Ты слышишь горнихъ лиръ
Невѣдомые намъ магическіе звуки?
Вглядись, какъ движутся уста и грудь, и руки,
И кровь вдругъ мраморны ланиты обожгла?
Повязка падаетъ... Съ лилейнаго чела
На плечи хлынули віющіяся волны
Каштановыхъ кудрей... Глаза движенья полны...
Колебля тихо свой холодный пьедесталъ,
Статуя сходитъ внизъ. Я руки простиралъ
Къ нему; но все блѣдѣй, блѣднѣе призракъ странный...
Рисуй его, рисуй, мой стихъ благоуханный!..

(1842).

ЧЕРНОГОРЕЦЪ.

Нѣтъ у меня ни стадъ рогатыхъ,
Ни златокованныхъ коней,
Ни чепраковъ, ни уздъ богатыхъ,
Ни городовъ, ни кораблей;
Ко мнѣ не шлетъ алжирскій бэй
Пословъ съ обильными дарами—
Мечей съ насѣчкой золотой,
Ни бусъ, ни плѣнницы младой
Съ побѣдоносными очами.

Иныя блага у меня:
Подземныхъ родниковъ струя,
Лѣса въ зеленыхъ ихъ уборахъ,
Да песъ на стражѣ ночь и день,
Ружье двуствольное, да порохъ,
Да вѣрно-ввинченный кремень,
Да сводъ пещеръ, да хмель у свода,
Да горы,—а въ горахъ свобода.

1839.

* * *

Внимаю ль я порой словамъ любви,
Такъ искренно ліющимся изъ сердца,
Какой-то духъ мнѣ говоритъ: «Не вѣрь,
Не вѣрь,—во всемъ обманъ жестокій.
Ты придалъ самъ имъ милое значенье,
Вокругъ себя самъ розлилъ чудный блескъ,
Довѣрчивой душой и пылкимъ чувствомъ
Ты чувство далъ тому, въ чемъ нѣтъ его».—
Прочь, адскій духъ, оставь меня въ покоѣ,
Оставь мой сонъ; пройдетъ его волшебство,
И я, сказавъ: все въ мірѣ суета,
Его порой оплачу и скажу:
Какъ я любилъ разрушенный обманъ,
Горячихъ чувствъ волшебное безумье!..

(1842).

ТАЙНА.

Не вамъ, о, юные наперсники любви,
Не вамъ я укажу души моей царицу:
Смутятъ, сынъ праха, взоръ и помыслы твои
Селеній ангельскихъ младую голубицу.
Взгляните на нее, вы, духи горъ, лѣсовъ,
Вы, нимфы легкія дубравы тихогласной,—
Но, чуръ! Не повторять названія прекрасной
Ни хитрому ловцу, ни пастырю дубровъ,
Ни этой вѣтреной жилицѣ гротовъ темныхъ,
Измѣнницѣ всѣхъ словъ и скромныхъ, и нескромныхъ.

1842.

ПРЕВРАЩЕНІЕ.

Я зналъ тебя, когда любви
Твоя душа еще не знала,
И буря сердца не смущала
Сны безмятежные твои;
И грудь твоя, во дни и ночи,
Вздымалась мѣрной чередой,
И не увлаживались очи
Любви загадочной слезой.
А нынѣ?.. Быстрыми очами
Ты искры льешь, полна тревогъ,
И вдохновенными устами
Незримо движетъ нѣкій богъ.
Такъ, древлѣ, жрица Аполлона,
Доколѣ имъ не призвана,
У мрачныхъ кашицъ Геликона
Нѣма, спокойна, холодна.

Но онъ воззвалъ: она трепещетъ,
По жиламъ огнь бѣжитъ струей,
И вдохновенной красотой
Лицо божественное блещетъ;
Въ движеньяхъ косы по плечамъ;
Речетъ—дрожатъ пещеры своды,
И внемлютъ съ ужасомъ народы
Ея пророческимъ рѣчамъ.

(1842).

ПЕРЕРОЖДЕНІЕ.

Немного надобно, чтобъ миръ во мнѣ вселить,
Судьбу и жизнь мою весельемъ озарить!
Давно ли я глядѣлъ съ печалью и тоскою
На свой убогій кровъ?.. Забыта на стѣнѣ
Висѣла арфа; сводъ деревъ, любимыхъ мною,
Мечтанья сладкаго ужь не будилъ во мнѣ;
Меня пугаяся, наяды мнѣ не пѣли
Въ водахъ источника; и листьями деревъ
Внезапно надо мной дріады не шумѣли,
И въ гроты не манилъ ихъ нимфъ незримыхъ зовъ.
Все было чуждо мнѣ: и алый блескъ авроры,
И тайный полумракъ іюльскихъ вечеровъ...
Теперь опять не то: опять лѣса и горы
Проснулися; звучитъ свободно пѣсть моя;
Опять населена природа существами
Знакомыми; опять веду бесѣду я
Съ скалами черными и темными лѣсами,
И имъ передаю, безпеченъ какъ дитя,
Стиховъ таинственныхъ волшебные напѣвы
Про взоры томные явившейся мнѣ дѣвы.

(1842).

ЦЕЗАРЬ.

Море бурно; небо въ тучахъ.
Онъ примчался на конѣ
Прямо къ брызгамъ волнъ кипучихъ.
—«Старый! Челнъ скорѣе мнѣ!»

И старикъ затылокъ чешетъ.
—«Плохо будетъ, господинъ!
Полно, баринъ, бѣса тѣшить.
Нашихъ въ морѣ не одинъ».

—«Пусть ихъ гибнутъ! Подъ водою
Рыбѣ рыбьи и гроба!
Знай, я—Цезарь: а со мною
Мнѣ послушна и судьба!»

(1842).

ПРЕДСКАЗАНІЕ.

Тебѣ пятнадцать лѣтъ. Я вѣрю, ты—ребенокъ.
Румянецъ на щекахъ; твой смѣхъ, твой голосъ—звонокъ.
Но, знай, мой другъ, близка, близка пора любви!
Все говоритъ о ней,—и тайное желанье,
И очи влажныя, и въ дымѣ кисеи
Полуразвитыхъ формъ живое очертанье.

(1842).

ИСПЫТАНІЕ.

Я помню этотъ мигъ... При шумѣ водопада,
Подъ сѣнью миртовой полуденнаго сада,
Я съ милой дѣвою наединѣ сидѣлъ.
Я тихо въ очи ей лазурныя глядѣлъ
И слушалъ дѣтскія ея мечты, признанье,
Младенческой души святое изліянье.
И нѣжность чувствъ ея, порывовъ чистота,
И пылкость страстныхъ словъ, могущество стыда,
Въ которомъ ей была ограда отъ порока,
Надежды ясныя, покой души глубокій,
Довѣрчивость, съ какой она ввѣряла мнѣ
Невинность, дивныя красы наединѣ,—
Смиряя бѣшенство любви моей кипучей,
Меня тревожили... Томимый жаждой жгучей,
Въ волненьи я главой на грудь ея упалъ;
Я не владѣлъ собой и горько зарыдалъ.

О чемъ? Сказать не смѣлъ предъ дѣвой я прекрасной...
Я плакалъ, что не могъ, подобно ей, такъ ясно
Глядѣть на міръ и жизнь; что чувство у меня
Уже такъ замерло; что прежде назвалъ я
Сочувствіе двухъ душъ несбыточной мечтою,
Игрушкой слабости ничтожной и смѣшною;
Что для меня тяжка въ сей мигъ наединѣ
Довѣрчивость, съ какой она ввѣряла мнѣ
Всю будущность свою, свои красы младыя,
Уста и гибкій станъ, и кудри золотыя...

(1844).

НА ПУТИ.

Долинъ альпійскихъ сынъ, хозяинъ мирный мой,
Съ какою завистью гляжу на домикъ твой!..
Не здѣсь ли счастіе? Лишь съ юною весною
Нагорные ручьи журчащею струею
Съ холмовъ межь зеленью младою утекутъ,
Твой столъ обѣденный искусно уберутъ
Младыми розами и почками лилеи
Подруги дней твоихъ игривыя затѣи;
И стадо даръ несетъ, съ полей его собравъ,
Дышащій запахомъ новорожденныхъ травъ;
И голосъ соловья въ саду звучитъ и блещетъ,
И ласточекъ семья подъ кровлею щебещетъ,
И пчелы шумною гирляндою летятъ
Къ цвѣтущимъ яблонямъ въ твой благовонный садъ...
Ты любишь ближняго и гордъ своей свободой:
Ты все нашелъ, чего вѣками ждутъ народы.

(1844).

ЭЛЕГІЯ.

Намъ каждый день приходится оплакать
Не сбывшійся, но праведный порывъ.
Безплоденъ онъ въ грядущемъ остается,
Но чувствуешь, что, потрясенный имъ,
Становишься ты чище, благороднѣй...
О, жизнь, на что же ты? Какую жь дань
Мы принесемъ далекому потомству?
Гдѣ нашихъ рукъ дѣла? И какъ узнаютъ
Потомки имена отцовъ—не славныхъ,
Но чья душа сражалася съ судьбою,
Съ ея двумя оружьями—приманкой
Обѣтовъ лестныхъ и нуждою блѣдной,
Чей духъ окрѣпъ въ святомъ негодованьи
И убивать привыкъ свои надежды?...
Иль мы, несклонные главою падать
Предъ пошлостью, лишь золотомъ могучей,
Лобзать привычную къ злодѣйству руку,

Иль мы насмѣшка демона надъ міромъ?..
Друзья мои, сдержите строгій судъ,
Не называйте робкимъ малодушьемъ
Моей души мучительную думу...
И въ пирѣ молкнетъ шутка у меня,
И кубокъ падаетъ, какъ эта дума
Внезапно сердце холодомъ охватитъ...
Такъ посреди безумства карнавала
Вдругъ падаютъ пестрѣющія маски,
И шарлатанъ, и пестрый арлекинъ
Исчезнутъ, какъ раздастся звонъ печальный,
И межь толпы блѣднѣющей идутъ
Суровые монахи и поютъ
Протяжнымъ голосомъ: «Memento mori».

1844.

ДВУЛИЦЫЙ ЯНУСЪ.

(Отрывокъ изъ «Дневника въ Римѣ».)

Мнѣ снилось, взошелъ я на холмъ, отъ вершины до низу
Покрытый обломками нѣкогда славнаго храма:
Разрушенный мраморъ, низвергнуты своды, аркады,
Священныя урны, алтарь, испещренный ваяньемъ
Жрецовъ, закалающихъ тучныя жертвы, статуи,
Обрубленный торсъ, голова, раздробленные члены,—
Какъ падшихъ воителей трупы на полѣ сраженья...
Люблю любоваться, какъ чудомъ, изящной рѣзьбою
Печальныхъ обломковъ: люблю я коринѳской колонны
Аканѳовые листья, живымъ обвитыя аканѳомъ,
Овна завитые рога, увѣнчанные хмелемъ ползучимъ.
Надъ грудой развалинъ въ пыли и поросшихъ травою
Одинъ возвышался изъ мрамора Янусъ двулицый:
Одно обращалъ онъ лицо къ заходящему солнцу,
На западъ, гдѣ въ темной, глубокой долинѣ, густые
Верхи кипарисовъ на пламенномъ небѣ чернѣлись;

Другое глядѣло на темный востокъ, созерцая
Грядущаго книгу, хранило угрюмую тайну.
Проникнутый вымысломъ дивнымъ, въ священномъ во-
сторгѣ,
Стоялъ я и думалъ, какъ много бъ открылося тайны,
Когда бы изрекъ онъ, что̀ въ будущемъ видитъ.
«Скажи мнѣ, таинственный богъ, проникающій взоромъ
Въ грядущіе вѣки; молю, просвѣти наши очи
И лживыя басни разсѣй нашихъ бѣдныхъ гаданій!
Что̀ ждетъ насъ? Отвѣтствуй! Куда мы стремимся?
Зачѣмъ здѣсь на холмѣ громады камней громоздили,
И кто онъ, откуда, сей зиждущій духъ, въ насъ живущій,
Который въ насъ мыслью пылаетъ и движетъ могучею
дланью,
И зиждетъ, и зиждетъ... чтобъ послѣ разрушить; раз-
рушивъ,
Изъ праха опять созидаетъ?» Безмолвствовалъ идолъ,
Угрюмый, какъ жрецъ, погруженный въ глубокое чтенье
Таинственной книги, невѣдомой черни. Внезапно
Послѣднею вспышкой вечерняго блеска другое
Лицо просіяло и рѣчью уста разомкнулись.
— Ты хочешь проникнуть въ грядущаго тайны; но, вѣдай
Мы связаны оба таинственной силой, и прежде
Прошедшаго голосъ внемли—а потомъ ужь подъемли
Завѣсу съ того, что̀ въ чревѣ грядущаго зрѣетъ.
Во мракѣ гробницъ обитаетъ мой взоръ: тамъ почіютъ
Народы, какъ спятъ у васъ въ памяти мысли и думы—
Спокойно и тихо: я властенъ ихъ вызвать изъ вѣчной
темницы.

Какъ можешь въ душѣ пробудить ты прошедшія мысли...
Какъ образы ихъ предо мною въ тѣни кипарисовъ,
Накрывшихъ могилы, встаютъ исполинскія тѣни
Людей и народовъ, и царствъ, — все умчало всесильное время!..
Я вижу великую рѣку... всечасно я слышу паденье,
Ударъ низверженныхъ волнъ съ высоты величавой...
Пространство міровъ ей русло, и межь нихъ, низвергаясь,
Свергая, снося, обрывая утесы и камни,
Она все несется, подобная вѣчно-живому,
Падущему грозно изъ урны вѣковъ океану...
И гдѣ ей начало, и гдѣ ей конецъ?.. я не знаю...
Но съ бѣгомъ быстрѣй и полнѣе, шумнѣе и шире
Свирѣпыя воды, и мнится, съ паденьемъ ихъ въ бездну,
Обрушится все, что̀ встрѣчалось мнѣ въ бѣгѣ,
Что̀ мчалося съ ними, противясь ихъ силѣ—
Все рухнетъ—и сущіе нынѣ народы, и царства,
Туда же обрушатся въ омутъ, куда уже пали
И Римъ колоссальный, съ всемірнымъ вѣнцомъ и рабами,
Со златомъ палатъ, колесницъ и кровавыхъ ристалищъ,
И Ѳивъ пирамиды, и Мемфиса мраморны стѣны—
И онъ́—Вавилонъ, съ своей донебесною башней...
Я вижу, блѣднѣя, взираешь ты на́ эту рѣку
(И смертный, безплотной душой отрѣшившись отъ тѣла,
Обнять ее взоромъ способенъ), и ужасъ колеблетъ
Твой духъ: оглушенный неистовымъ гуломъ паденья,
Влекомыхъ, низверженныхъ ею громадныхъ обломковъ,
Ты мыслишь, что̀ значишь ты самъ въ семъ безмѣрномъ,
Бездонномъ горнилѣ, средь царствъ и имперій?

И страшно исчезнуть тебѣ въ немъ, какъ легкому пеплу,
Подъ крыльями вѣтра, свой путь не означивъ, гдѣ шелъ ты,
Не бросивши трудъ исполинскій въ всеобщую бездну...
Смѣшное мечтанье!.. Источникъ отчаянья горькій!
Взгляни вкругъ себя на роскошную матерь-природу,
Какъ съ каждой весной она новыя силы являетъ,
Богатства свои измѣняя, какъ новую ризу;
Все такъ же она, какъ и прежде, въ величіи стройномъ
Рождаетъ деревья и травы и льетъ голубые
Ручьи, оглашая ихъ пѣньемъ пернатаго царства.
Но это—одежда, не болѣ, она жь неизмѣнна...
Подобно природѣ живетъ человѣчество: часто
Смѣняются, шумно чредуясь, идутъ поколѣнья:
Они—лишь одежда безсмертнаго, вѣчнаго духа...
Какъ тополь и ландышъ прекрасны въ убранствѣ природы—
Такъ каждому мѣсто свое въ поколѣньѣ;—какъ роза,
Какъ терній, въ природѣ,—въ гармоніи общей всѣ люди
Въ цѣпи человѣчества—всѣ непремѣнныя звенья...
Такъ, тамъ, посреди преходящихъ явленій юдольнаго міра,
Однажды-рожденныя высятся горы,—такъ вѣчно
Останется ясенъ въ потомствѣ не гаснущій геній,
И мысль не погибнетъ въ томъ омутѣ мрачномъ;
Самъ геній не мыслитъ о славѣ,—и зрѣетъ въ трудѣ онъ...
Ты хочешь, чтобъ предъ твоей тріумфальной статуей
Потомокъ съ главой проходилъ обнаженной... Послушай,
Не бѣгай, какъ юноша пылкій за гордою дѣвой,
За славой: трудися. Сама прійдетъ гордая дѣва,
Отыщетъ чело ей любезное, лавромъ накроетъ;
Въ живыхъ не застанетъ— отыщетъ гробницу, украситъ

Вѣнцомъ и тріумфомъ, и если бы кости и прахъ твой
Разсѣялись вѣтромъ, и въ черепѣ нѣтопырь дикій
Гнѣздо свое вилъ,—освятитъ она пепель бездушный,
Вкругъ сторожемъ станетъ и путника вдругъ преисполнитъ
Восторгомъ и слезы, и думу тебѣ посвятитъ онъ...
Такъ жертвуютъ Гвебры могучему Фебу не въ храмѣ—
Въ снѣжныхъ горахъ, подъ шатромъ безконечнаго неба.

1843.

ДВѢ СУДЬБЫ.

ДВѢ СУДЬБЫ.

БЫЛЬ.

„Кто болѣе достоинъ сожалѣнія? Чья судьба ужаснѣе?..
Увы! Я не смѣю произнести приговора...“

Хоръ изъ Софокловой трагедіи:
„Трахиніянки“.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

На креслахъ, предъ растворенным окномъ,
Одинъ сидѣлъ больной Карлино. Сладко
Дыша въ тѣни прохладнымъ вѣткомъ,
Онъ отдыхалъ, избитый лихорадкой.
Онъ снова жизнь улыбкою встрѣчалъ,
Въ ней помня радости, забывши муки,
И весело, какъ будто по разлукѣ,
Знакомые предметы узнавалъ:

II.

Въ углу кумиръ языческаго бога—
Отрытый имъ въ саду, безъ рукъ, безъ ногъ...

«Богъ дастъ,—онъ думалъ,—сыщется знатокъ,
Дастъ пятьдесятъ піастровъ: мнѣ подмога...»
На золотѣ Мадонна со Христомъ,
Сіэнскихъ старыхъ мастеровъ работа,
Рядъ древнихъ копій съ Липпи иль съ Джіотта,
Оставленныхъ ему еще отцомъ.

III.

На полкѣ книги: да, о человѣкѣ
Вы можете навѣрно заключать
По избранной его библіотекѣ,
Въ его душѣ, въ понятіяхъ читать:
Лежали тамъ комедіи Гольдони,
Исторія Мадонны и Святыхъ,
Либретто оперы, стихи Тассони,
Да календарь процессій храмовыхъ...

IV.

Какъ старый другъ, онъ встрѣтилъ ихъ улыбкой;
Потомъ на даль онъ перевелъ свой взоръ...
А что за виды съ Фраскатанскихъ горъ!
Тамъ дерева лозой обвиты гибкой;
Тамъ въ миртовыхъ аллеяхъ пышныхъ виллъ
Статуи, бюсты, мраморныя группы;
Тамъ римскихъ пинъ зонтообразны купы
И кипарисъ, печальный другъ могилъ...

V.

Какъ радъ онъ былъ, что снова видитъ дивный
Въ туманѣ очеркъ купола Петра,

И въ Римъ дорогу лентою извивной
Между руинъ... А ужь была пора,
Какъ солнце гасло, ночь шла отъ востока,
И слышно на долинѣ лишь дроздовъ,
Да караванъ навьюченныхъ муловъ,
Гремушками звенящій издалека.

VI.

Не долго нашъ больной покоилъ взоръ
На дали и долиной любовался;
Заботливо порой онъ обращался
Въ сосѣдній виноградникъ чрезъ заборъ;
Онъ видитъ тамъ, межь листьями мелькая,
Въ корсетѣ аломъ, бѣлою рукой
Пригнувъ лозу, смуглянка молодая
Срываетъ съ вѣтки гроздій золотой.

VII.

Пурпурный лучъ мерцающей денницы
Ея античный профиль озлащалъ,
И смоль косы, и черныя рѣсницы,
И покрывало пышно обагрялъ.
— «Нинета!»—ей кричитъ онъ чрезъ ограду,
И тотчасъ, легче серны молодой,
Съ корзинкою златого винограду
Влетѣла дѣвушка въ его покой.

VIII.

«Проснулся ты? Тебѣ, Карлино милый,
Сегодня лучше?.. Знать, не даромъ я

Поутру въ монастырь святой ходила
Къ обѣднѣ и молилась за тебя.
Я отнесла Мадоннѣ ожерелье».
И цѣловала дѣва-красота,
Рѣзвясь, едва не плача отъ веселья,
Устами алыми его уста.

IX.

«Нинета! Ты все прежняя рѣзвушка!
Будь и всегда такая; и въ тѣ дни,
Какъ будемъ мы, Господь тебя храни!
Я—дряхлъ и хилъ, ты—добрая старушка.
Какъ мнѣ легко! Какъ веселъ я душой!
Я будто вновь родился, и родился
Къ блаженству... Этотъ вечеръ, ты со мной...
Какъ будто ангелъ съ неба мнѣ явился...

X.

«Ахъ скоро ль я женой тебя введу
Въ свой домъ! Пора! Нашъ домикъ будетъ раемъ.
Хозяйкою ты станешь... мы сломаемъ
Докучливый заборъ въ твоемъ саду.
Взгляни: мой виноградъ въ твой садикъ, къ лозамъ
Твоимъ черезъ заборъ перебрался,
Твой олеандръ къ моимъ пригнулся розамъ,
И плющъ мой вкругъ него перевился.

XI.

«Все любится вкругъ насъ! Мы другъ для друга
Назначены судьбой!»—Упоена,

Молчала Нина. Думала ль она
О счастіи, какъ будетъ мать, супруга,
Жалѣла ли дѣвичьихъ вольныхъ дней,
Иль страстныхъ словъ она не понимала;
Но молча имъ, разсѣянно внимала,
Какъ колыбельной пѣсенкѣ своей...

XII.

Такъ слѣдуетъ головкою стыдливой
Цвѣтокъ полей движеньямъ вѣтерка,
Такъ носится струями ручейка
Листокъ заблудшій... Бурные порывы
И бѣсъ любви ея не трогалъ сна,
Въ ея душѣ ключомъ не билъ, не стукалъ;
Къ любви Карлино искренней она
Еще привыкла въ пору игръ и куколъ.

XIII.

Въ ея душѣ читалъ онъ какъ на днѣ
Прозрачнаго ручья: мечты, желанья,
Вся, вся она была его созданье;
Какъ юнаго орленка въ вышинѣ
Отецъ и мать, слѣдилъ онъ мысли Нины,
Лелѣялъ миръ души и сердца сонъ;
А сердце спало въ ней, какъ средь пеленъ
Младенецъ спитъ: про то не зналъ Карлино.

XIV.

Какъ сердце спало? Стало быть она,
Не знавъ любви, Карлино не любила?

Зачѣмъ же въ монастырь она ходила
О немъ молиться? Отчего одна
Она въ дому его? И даже, Боже!
Что жь ничего она не говоритъ,
Какъ онъ ее цѣлуетъ? Что за стыдъ!
Вѣдь ни на что все это не похоже!

XV.

Позвольте, все вамъ вѣрно объясню;
Но разскажите мнѣ, когда угодно,
Зачѣмъ мы часто любимъ такъ свою
Собаку старую, халатъ негодный,
Одну все трубку, няню, старый домъ,
Тетради школьныя?.. А если будемъ
Должны ихъ бросить? Бросимъ и уйдемъ!
Къ вещамъ привычка! Точно то жь и къ людямъ,

XVI.

Покуда ихъ та мысль не потрясла,
И сердца ихъ та страсть не взволновала,
Которая въ душѣ у насъ росла,
Бушуетъ въ ней или отбушевала...
Подобныхъ встрѣчъ не много намъ дано,
И съ близкими мы часто какъ съ чужими...
Иныхъ же встрѣтишь.., кажется, давно
Видалъ ихъ, зналъ, страдалъ и думалъ съ ними.

XVII.

Какъ къ воздуху своихъ Фраскатскихъ горъ,
Какъ къ небесамъ безоблачнымъ Сабины,

Какъ къ амбрѣ розъ, привыкло сердце Нины
Къ слѣпой любви Карлино съ давнихъ поръ.
Въ ней даже мысли не было тревожной,
Что и другихъ любить ему возможно...
А ей?.. Но вотъ ударило кольцо,
Какой-то гость идетъ къ нимъ на крыльцо.

XVIII.

Широкій плащъ свой на плечо закинувъ,
На брови шляпу круглую надвинувъ,
Вошелъ онъ къ нимъ. Овальное лицо,
Высокій лобъ и очи голубыя,
И русый усъ, и кудри золотыя,
Все означало въ немъ, что онъ былъ сынъ
Иной земли, небесъ, иной природы,
Не обожженный солнцемъ Аппенинъ,
Не оживленный дикой ихъ свободой.
Умѣніе собою управлять,
Морщины раннія и думъ печать,
Во всѣхъ пріемахъ легкая небрежность
И благородство, говорили въ немъ,
Что онъ рожденъ и росъ въ краю такомъ,
Гдѣ съ юныхъ лѣтъ души порывъ и нѣжность
Подавлены; гдѣ страсть—раба ума,
Жизнь—маскарадъ, природы гласъ—чума!..

XIX.

Онъ русскій былъ, дитя страны туманной,
И жилъ давно уже въ краю чужомъ...

Его хозяйка, сьора Маріанна,
Бывало, говорила такъ о немъ:
«Онъ малый скромный, платитъ аккуратно,
И добръ: моимъ ребятамъ завсегда
Даетъ гостинца; только иногда
Такъ грустенъ, бѣдный! Впрочемъ, и понятно:

XX.

«Вѣдь онъ язычникъ... Можетъ быть, Господь
Погибшаго печалью посѣщаетъ.
Дай Богъ ему спасти свой духъ и плоть!
Легко ль! Не вѣритъ въ Пашу онъ! Бываетъ,
Что цѣлый день проводитъ онъ какъ тѣнь
За книгами, или въ долинѣ бродитъ,
Иль блажь такая на него находитъ,
Что на конѣ онъ рыщетъ цѣлый день».

XXI.

Владиміръ (такъ мы гостя назовемъ)
Былъ пораженъ сей мирною картиной:
Полубольной Карлино, и при немъ,
Облокотясь на спинку креселъ, Нина;
И мать ея (простите, я забылъ
Вамъ возвѣстить ея приходъ) глядѣла
На юную чету, и какъ яснѣла
Ей будущность!.. А по небу свѣтилъ
Небесныхъ лики ночь разоблачала,
И дымка влажная ночныхъ паровъ
Вилась вокругъ руинъ, гробницъ, холмовъ,
Дышали розы... музыка играла...

XXII.

ВЛАДИМІРЪ.

На югъ лишь сходитъ, только въ этотъ рай,
Подобный вечеръ...

КАРЛИНО.

— А у васъ, далеко
На сѣверѣ не то?

ВЛАДИМІРЪ.

— О, нѣтъ, жестоко
И зло природой нашъ обиженъ край.

КАРЛИНО.

За то, синьоръ, вы сильны, вы богаты?

ВЛАДИМІРЪ.

Да, но ни солнца, ни небесъ иныхъ
Не прикупить за дорогую плату:
И что намъ въ нихъ, въ богатствахъ покупныхъ?
Карлино, вѣрьте, право, я желалъ бы
На вашемъ мѣстѣ быть, клянусь душой.
Я жилъ бы здѣсь спокойно, изучалъ бы
Міръ древности и отдыхалъ порой
Подъ сѣнью моего же винограда;
И умереть была бы мнѣ отрада,
Я зналъ бы, что поплакать, помечтать
Прійдетъ на гробъ мой другъ любимый.

НИНА.

— Боже!
Карлино былъ мнѣ съ дѣтства братомъ...

ВЛАДИМІРЪ.

— Что же?

НИНА.

И только, больше ничего сказать
Я не хочу.

ВЛАДИМІРЪ.

Простите мнѣ, синьора,
Но видъ блаженныхъ южныхъ странъ во мнѣ
Рождаетъ грусть; и о родной странѣ
Во мнѣ болѣетъ мысль, полна укора;
Мнѣ грустно; я хандрю еще сильнѣй,
А тяжко на душѣ, языкъ вольнѣй,
И говоришь о томъ, что такъ тревожитъ.
Но впрочемъ, васъ мой сплинъ занять не можетъ,
Вы счастливы, какъ можетъ быть счастливъ
Здѣсь человѣкъ.
Онъ замолчалъ, сдавивъ
Украдкой грустный вздохъ въ груди. Карлино
Сжалъ руку Нины, тихо обративъ
Къ ней полные восторгомъ свѣтлымъ взоры;
Она молчала, очи устремивъ
На дальнія, темнѣющія горы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Въ дни древности питомцы Эпикура,
Средь мраморовъ, подъ шумъ падущихъ водъ,
Подъ звуки лиръ, въ честь Вакха и Амура,
Здѣсь пиромъ оглашали пышный сводъ.
Толпы невольницъ, розами убранныхъ,
Плясали вкругъ скелетовъ увѣнчанныхъ;
Спѣшили жить они, пока вино
Въ ихъ кубкахъ было ярко и хмельно,
Пока любовь играла пылкой кровью,
И цвѣтъ вѣнокъ, сплетенный имъ любовью.

II.

Они все тѣ жь, Авзоніи сыны!
Ихъ пиръ гремитъ при пѣсняхъ дѣвъ румяныхъ.
Въ виду руинъ—скелетовъ увѣнчанныхъ
Плющомъ и миртомъ огненной весны.
Межь тѣмъ какъ смерть и міра отверженье
Вѣщаетъ имъ монаховъ мрачный клиръ,
Въ землѣ вскипаетъ лава разрушенья,—
Блеститъ вино, поетъ веселый пиръ
И царствуетъ богиня наслажденья!

III.

Какъ я люблю Фраскати въ праздникъ лѣтній!
Лавръ, кипарисъ высокой головой,
И розъ кусты, и миртъ, и дубъ столѣтній

Рисуются такъ ярко на густой
Лазури неба и на дымкѣ дали,
На блѣдномъ перломутрѣ дальнихъ горъ.
Органъ звучитъ торжественно. Соборъ
Гирляндами увитъ. Въ домахъ алѣютъ
Пурпурные ковры изъ оконъ. Тутъ
Съ хоругвями по улицамъ идутъ
Процессіи монаховъ; тамъ пестрѣютъ,
Шумятъ толпы; лучъ солнца золотой,
Прорвавши сводъ аллеи вѣковой,
Вдругъ обольетъ невѣдомымъ сіяньемъ
Покровъ, главу смуглянки молодой:
Картина полная очарованьемъ!
Для пришлеца она какъ пышный сонъ!
Ее любилъ Владиміръ; тихо онъ
Бродилъ; но посреди толпы и шума
Обычная тѣснилася въ немъ дума.

IV.

Любилъ онъ видѣть праздникъ сей живой
И типъ племенъ въ толпѣ разнонародной.
Какая смѣсь! Сыны страны холодной
Сюда стеклись, гонимые хандрой;
Тамъ нѣмецъ жесткій, будто пня отрубокъ,
Съ сигарою и флегмою своей,
И фраскатанка съ нѣгой алыхъ губокъ
И съ молніей полуденныхъ очей;
Французъ, въ своихъ пріемахъ утонченный,
И селянинъ Кампаніи златой

Съ отвагою и ловкостью врожденной;
И важный бриттъ, предлинный, препрямой,
Всѣхъ сущихъ гидовъ строгій комментаторъ,
И подлѣ—огненный импровизаторъ.

V.

А русскіе?.. Тамъ много было ихъ,
Но уклонялся русскій нашъ отъ нихъ.
Какъ сладко намъ среди чужихъ нарѣчій
Вдругъ русское словечко услыхать!
Такъ радъ! Готовъ какъ друга ты обнять
Всю Русь святую въ незнакомой встрѣчѣ!
Захочется такъ много разсказать
И распросить... Но вотъ ударъ жестокій,
Когда въ своихъ объятіяхъ найдешь
Все тѣхъ же, отъ кого бѣжалъ далеко,
Какъ горько тутъ порывъ свой проклянешь!

VI.

Тотъ вывезъ изъ степей все то жь татарство,
Средь пышности ничтожность, пустоту,
Тщеславіе наслѣдственнаго барства
Или вчерашнихъ титуловъ тщету;
Безъ мнѣнья голова, а рѣчь педанта;
Все русское ругаетъ наповалъ;
Все чуждое превыше всякихъ хвалъ;
Всего коснется—отъ червя до Данта;

VII.

Санъ вѣсъ даетъ рѣчамъ его тупымъ;
Осудитъ онъ какъ-разъ Микель-Анджело,

И приговоръ его непогрѣшимъ,
Какъ приговоръ подписаннаго дѣла.
Отчаянный въ рѣчахъ радикалистъ,
Иль демагогъ, иль буйный кондотьери,
А между тѣмъ вчера дрожалъ, какъ листъ,
Вельможъ блестящихъ у пріемной двери.

VIII.

Другого есть покроя молодцы:
Тѣ чужды всѣмъ идеямъ басурманскимъ,
Имъ храмъ Петра ничто передъ Казанскимъ,
И лучше винограда огурцы;
По нимъ, весь западъ сгнилъ въ мечтахъ безплодныхъ,
И Тьеръ, Гизо, О'Коннель—дураки,
. . . . . .
. . . . . .

IX.

На блѣдныя смотря ихъ поколѣнья,
Владиміръ часто думалъ: Боже мой!
Ужели плодъ наукъ и просвѣщенья
Купить должны мы этой пустотой,
Ничтожностью, развратомъ униженья?
О, русскіе, вѣдь былъ же вамъ разгулъ
Среди степей, вдоль Волги и Урала,
Гдѣ воля духъ вашъ въ брани укрѣпляла;
Вѣдь доблестью горѣлъ вашъ гордый взоръ,
Когда вы шли на Ярославовъ Дворъ,
И вдохновенныя отчизной рѣчи

Рѣшили споръ на новгородскомъ вѣчѣ;
Не разъ за честь родной своей земли
Вы города и храмы ваши жгли,
Несклонные нести, въ уничиженьѣ,
Чужую цѣпь и стыдъ порабощенья:
Уже ль когда мессія нашъ возсталъ,
Васъ пробудилъ, и міръ открылъ вамъ новый,
Въ васъ мысль вдохнулъ, вамъ жизнь иную далъ,—
Не вняли вы его живое слово,
И гласъ его въ пустынѣ прозвучалъ?
И, грустные, идете вы какъ тѣни,
Безъ силы, безъ страстей, безъ увлеченій?
Или была наука вамъ вредна?
Иль, дикаго растливъ, въ вашъ духъ она
Не пролила свой пламень животворный?
Иль, лѣнію окованнымъ позорно,
Не по-плечу вамъ мысли блескъ живой?
Упорнымъ сномъ вы платите ль Батыю
Доселѣ дань, и плодъ ума порой,
Какъ лишній соръ, сметается въ Россію?
И не зажгла наука въ васъ собой
Сознанія и доблестей гражданства,
И будетъ вамъ она кафтанъ чужой,
Печальное безличье обезьянства?...

. . . . . .

X.

Родной языкъ, языкъ баяновъ давныхъ,
Боярскихъ думъ и княжескихъ пировъ,

Ты изгнанъ изъ блистательныхъ дворцовъ!
Родной языкъ, богатый какъ природа,
Хранитель слезъ, надеждъ и думъ народа,
Чѣмъ сталъ ты? Чѣмъ? Невѣжества клеймомъ
И рѣчью черни; баринъ именитый,
Увы! Теперь съ тобою незнакомъ,
И русскихъ дѣвъ сердца тебѣ закрыты:
Теперь тебя красавицы уста
Стыдятся, какъ позора убѣгая,—
Что жь будешь ты, о рѣчь моя родная,
Ты, лучшая устъ женскихъ красота?

XI.

Владиміръ создалъ для себя пустыню
Въ своемъ быту. Онъ русскихъ убѣгалъ,
Но родину, какъ древнюю святыню,
Какъ мать любилъ, и за нее страдалъ
И веселился ею. Часто взоры
Онъ обращалъ на снѣговыя горы
И свѣжій вѣтръ вдыхалъ онъ съ ихъ вершинъ,
Какъ хладный вздохъ родныхъ своихъ долинъ.

XII.

Да, посреди полуденной природы,
Онъ вспоминалъ про шумъ своихъ дубровъ,
И русскихъ рѣкъ раскатистыя воды,
И мракъ, и тайну вѣковыхъ лѣсовъ:
Онъ слышалъ гулъ ихъ съ самой колыбели,
И помнилъ, какъ, свои качая ели,

Вся стономъ стонетъ русская земля;
Тотъ вопль былъ свѣжъ въ душѣ его, какъ стоны
Богатыря въ цѣпяхъ. Средь благовонной
Страны оливъ, онъ вспоминалъ поля
Широкія и прудъ позеленѣлый,
Рядъ дымныхъ избъ, домъ барскій опустѣлый,
Гдѣ росъ онъ, домъ, исполненный затѣй
Тогда, псарей, актеровъ, трубачей,
Всѣхъ прихотей россійскаго боярства,
Умѣвшаго такъ славно вѣкъ канать,
Успѣвшаго такъ дивно сочетать
Европы лоскъ и варварство татарства.

XIII.

Какъ Колизей, боярское село
У насъ свою исторію имѣетъ.
Одна у всѣхъ: о домѣ, гдѣ свѣтло
Жилъ дѣдъ его, наслѣдникъ нерадѣетъ.
Платя хандрой дань вѣку своему,
Онъ какъ чужой въ родномъ своемъ дому;
Ища напрасно въ общей жизни пищи,
Не можетъ онъ забыться средь псарей:
Сокрывшися въ отеческомъ жилищѣ,
Ругаетъ свѣтъ, скучая безъ людей.

XIV.

Ахъ, отчего мы старѣемся рано,
И скоро къ жизни холодѣемъ мы!
Вдругъ никнетъ духъ, черствѣютъ вдругъ умы!

Едва восходъ блеснетъ зарей румяной,
Едва дохнетъ зародышъ высшихъ силъ,
Едва зардѣетъ пламень благородный,
Какъ вдругъ, глядишь, завялъ, умолкъ, остылъ,
Заглохъ и сгибъ, печальный и безплодный...
О, Боже! Влей въ жизнь нашу полноту,
Пролей въ пустой сосудъ напитокъ силы,
И мыслію проникни пустоту,
Сознаньемъ укрѣпи нашъ духъ унылый!

XV.

Пошли еще пророка намъ, и мы
Увѣруемъ въ его живое слово;
Пусть просвѣтитъ онъ хладные умы,
Повѣдаетъ, кто мы? Зачѣмъ громовый
Орелъ нашъ сталъ могучъ своимъ крыломъ?
Зачѣмъ на насъ глядятъ въ недоумѣньѣ,
Со страхомъ, всѣ земныя поколѣнья?
Что̀ новаго мы въ жизнь ихъ принесемъ?
Зачѣмъ на насъ, какъ на звѣзду полночи,
Устремлены съ надеждой теплой очи
Печальныхъ нашихъ братіевъ—славянъ,
У снѣжныхъ Альпъ, въ ущеліяхъ Балканъ?

XVI.

Изъ сей главы, печальной и угрюмой,
Изъ этихъ чертъ глубоко-тяжкой думы,
Поймете вы, какъ мыслилъ мой герой—
Въ тѣ дни еще, когда въ груди младой

Есть жизнь, и въ ней волканомъ бродитъ
Все, изъ чего потомъ въ душѣ выходитъ
Осадокъ жалкій—черная хандра!

. . . . . .

XVII.

Сей пустотой душевною, жестокимъ
Удѣломъ нашимъ, мой герой страдалъ.
Онъ дома, видя все одно, скучалъ,
И увлеченъ всеобщимъ былъ потокомъ:
Наполнить жизнь и душу онъ хотѣлъ,
Оставивши отеческій предѣлъ,
Среди иныхъ людей, въ краю далекомъ.

XVIII.

И посѣтилъ онъ новый Вавилонъ,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Нашелъ ли онъ себѣ отраду въ немъ?
Онъ чувствовалъ, средь общаго волненья,
Среди торжествъ, побѣдъ иль пораженья,
Онъ все чужой на праздникѣ чужомъ...
Вкругъ жизнь кипитъ: витійствуютъ палаты,
Рѣшается давно-зачатый споръ,—
Тамъ каждый, въ сей божественной, богатой,
Общественной комедіи актеръ...
А онъ пришлецъ, онъ незванъ и неспрошенъ,
На чуждый пиръ судьбой случайно брошенъ!

XIX.

То завистью, то скорбію томясь,
Жизнь сихъ племенъ кипящихъ, юныхъ вѣчно,
На небеса Италіи безпечной
Онъ промѣнялъ, и думалъ онъ не разъ—
Тамъ, посреди святыхъ ея трофеевъ,
Среди ея руинъ и мавзолеевъ,
Тамъ, въ сумракѣ старинныхъ галерей,
Предъ мраморомъ античнаго ваянья,
Среди святынь ея монастырей,
Библіотекъ ученаго молчанья,
Доступны всѣмъ и пища, и покой,
И царство думъ съ восторгомъ и мечтой...

XX.

Онъ правъ: искусствъ въ глубокомъ созерцаньѣ
Найдешь пріютъ для сердца, головы;
Но здѣсь, среди людей?.. Вотъ праздникъ шумный;
Съ какимъ огнемъ и радостью безумной
Толпы бѣгутъ... Но нашъ пришлецъ, увы!
Ужь новости въ народномъ пульчинеллѣ
Не находилъ; его скрипачъ слѣпой,
Какъ юныхъ дѣвъ собравшихся толпой,
Не призывалъ къ веселой сальтареллѣ.

XXI.

Пускай себѣ подъ небомъ золотымъ
Поетъ народъ за кубкомъ круговымъ.

Пусть пляшетъ тамъ смуглянка молодая,
Какъ вдохновенная передъ кружкомъ,
То топая звенящимъ башмачкомъ,
То тамбуринъ гремучій потрясая...
Онъ поглядѣлъ на нихъ, а тамъ опять
Задумался и снова сталъ скучать.
Въ любимыхъ думахъ тяжкія сомнѣнья
Тѣснились въ немъ. Ища уединенья,

XXII.

Оставилъ онъ пирующій народъ
И на гору направилъ путь. Идетъ,
И вотъ предъ нимъ часовня. Вязъ зеленый
Надъ ней раскинулъ листьевъ темный сводъ,
И теплилась лампада предъ Мадонной.
Двѣ женщины склонились передъ ней:
Старушка Ave Maria читала,
И подлѣ Нина грустная стояла.
Въ ея рукахъ вѣнокъ былъ изъ лилей,
И капли слезъ струились изъ очей...

XXIII.

«У счастія свои есть тоже слезы!»
Владиміръ думалъ: «Боже, какъ бы я
Желалъ такъ плакать! Да! Молись, дитя!
Твоей души младенческія грозы
Такъ сладостны... О, проклятъ будь стократъ,
Кто у тебя отыметъ этотъ кладъ,—
. . . . . .
. . . . . .

XXIV.

О комъ, о чемъ молилася она?..
Не шепчутъ словъ уста полуоткрыты...
Я вѣрю, не была заучена
Ея молитва въ школѣ езуита:
Въ ней не было опредѣленныхъ словъ,
Но теплое и смутное сліянье
И чувствъ, и мысли, страха и желанья...
Пугалъ ли Нину тайный мракъ годовъ?
О другѣ ль дѣтства кроткія молитвы?
Или о томъ, кто вынесъ жизни битвы?
То тайна сердца дѣвы, и она
Владѣетъ этой тайною одна.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Владиміръ не хотѣлъ своимъ явленьемъ
Смутить молитвъ ихъ таинство; какъ бѣсъ
Предъ свѣтлымъ праздникомъ (его сравненьемъ
Я пользуюсь), въ аллеѣ онъ исчезъ.
А тамъ ему навстрѣчу смѣхъ и споры,
И кинулся ему на шею вдругъ
Пріятель, Графъ ***.

ГРАФЪ.

— Здравствуй, другъ!
Скажи, гдѣ ты? Ужь вотъ, недѣля скоро,
Я здѣсь живу и все тебя искалъ.

Былъ у тебя, ни разу не засталъ...
Ты схимникъ сталъ... Имѣю честь поздравить!
Здоровъ ли? Но позволь тебѣ представить...
Попутчикъ: вмѣстѣ ѣхали мы въ Римъ.

ВЛАДИМІРЪ.

— Ахъ, очень радъ.
— Имѣю честь... я статскій
Совѣтникъ, Левъ Иванычъ Таракацкій.
А съ кѣмъ имѣю честь?..

ВЛАДИМІРЪ.

— *** —

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ.

Чинъ?
Изволили служить?

ВЛАДИМІРЪ.

Служилъ.

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ.

Въ отставкѣ?

ГРАФЪ.

Э, послѣ, Левъ Иванычъ, ваши справки
Вы наведете... Какъ живешь?

ВЛАДИМІРЪ.

—Одинъ.
Какъ видишь, хорошо.

ГРАФЪ.

Ты зналъ княгиню
Донскую? Здѣсь она.

ВЛАДИМІРЪ.

Мнѣ все равно.

ГРАФЪ.

Я здѣсь нашелъ родни своей, графиню
Терентьеву.

ВЛАДИМІРЪ.

Ты знаешь, я давно
Не ѣзжу въ свѣтъ.

ГРАФЪ.

Но нѣтъ, вѣдь мы иную
Здѣсь жизнь ведемъ. Я нынче не танцую.

ВЛАДИМІРЪ.

Что жь? Дипломатомъ сталъ?

ГРАФЪ.

Совсѣмъ не то.
Кузина, я, княгиня, м-сье Тертó,
Одинъ французъ, мы вмѣстѣ изучаемъ
Здѣсь древности. Мы смотримъ и читаемъ,
И споримъ... Прелесть этотъ древній Римъ,
Гдѣ Колизей и Термы Каракаллы!
Поэзія! Не то что фински скалы!

Жаль, умеръ Байронъ! Мы бы вѣрно съ нимъ
Свели знакомство! съ Байрономъ бы вмѣстѣ
Желалъ я съѣздить ночью въ Колизей!
Послушалъ, что̀ бы онъ сказалъ на мѣстѣ,
Прославленномъ величьемъ древнихъ дней!
Какъ думаешь? Вѣдь это бъ было чудо!

ВЛАДИМІРЪ.

За неимѣньемъ Байрона, покуда
Я вамъ скажу, что лучше вамъ ѣсть сыръ,
Пить Лакрима, зѣвать на Торденонѣ,
Да танцовать на балѣ у Торлони,
Съ графинями не ѣздя въ древній міръ.

ГРАФЪ.

Нѣтъ, ты жестокъ, и ты меня не знаешь.
Донская ангелъ... Но ужели ты
Такъ золъ? Ужель ты вправду полагаешь,
Что мы не чувствуемъ всей красоты
Италіи? Природа и искусства
Рождаютъ въ насъ совсѣмъ иныя чувства.

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ.

Помилуйте! Я то же испыталъ
И на себѣ. Конечно, мнѣ въ Россіи
Жить дома—лучше: связи и родные,
Карьера вся, почтенье... Но я сталъ
Совсѣмъ иной, и мысли все такія,
Которыхъ не видалъ бы и во снѣ.

Я многое здѣсь очень охуждаю;
Бездомность, жизнь въ café я осуждаю;
Но многаго и нѣтъ въ иной странѣ.
Не нравятся мнѣ торсы, Аполлоны,
Но какъ за то понравилися мнѣ
Здѣсь обелиски! Вѣчныя колонны
Вездѣ однѣ... И мысль есть у меня,
Какъ замѣнить колонну обелискомъ;
И въ Петербургъ писать намѣренъ я,
Подать проектъ... сначала людямъ близкимъ...
Комиссію нарядятъ для того:
Построить портикъ, оперевъ его
На обелиски... Какъ моя затѣя
Вамъ нравится?

ВЛАДИМІРЪ.

Чудесная идея!
Исакій, жаль, къ концу уже идетъ.

ГРАФЪ.

Да, точно.

ВЛАДИМІРЪ.

Жаль, идея пропадетъ.

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ.

Вотъ видите, вліяніе какое
Италія имѣетъ на умы;
Перерождаемся въ ней тотчасъ мы.

ВЛАДИМІРЪ.

О, да, ея вліянье роковое!
Студентъ, совѣтникъ статскій, генералъ,
Чуть воздухомъ подышитъ Буонаротти,
Глядишь, ужь знатокомъ, артистомъ сталъ,
Совсѣмъ иной по духу и по плоти!
Въ Венецію ступайте: тамъ, гдѣ дожъ...

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ.

Поѣду, но въ какомъ же отношеньи
Венеція такъ интересна? Что жь
Особенно въ ней стоитъ осмотрѣнья?

ВЛАДИМІРЪ.

Какъ для кого. Васъ гондолы займутъ,
Быть-можетъ, тамъ; на Ривѣ балаганы,
Паяцы, доктора и шарлатаны,
Иль музыка—по вечерамъ поютъ
На площади—все это такъ пріятно!

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ *(таинственно)*.

Остатки все республики, понятно!

ГРАФЪ.

А женщины! Какая красота!

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ.

Для женщинъ я ужь старъ, не тѣ лѣта,
И ужь пора домой, къ женѣ и дѣткамъ.

ГРАФЪ.

Соскучился ужь Левъ Иванычъ нашъ,
Все просится къ своимъ гусямъ, насѣдкамъ.

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ.

Такъ созданъ я, и не пересоздашь.
Взгрустнется разъ иной: все бъ отдалъ, право,
За свой кружокъ, домашній самоваръ,
Да борщъ, да щи вчерашнія съ приправой,
Да костоломный русской бани паръ.
Что, батюшка? А санки бѣговыя?
Рысакъ въ корню, дугою пристяжныя...
Я радъ, что я чужбину посѣтилъ,
А край родной, какъ худъ ни будь, все милъ.

ВЛАДИМІРЪ.

Прекрасно, Левъ Иванычъ, дайте руку!

ЛЕВЪ ИВАНЫЧЪ.

Что, батюшка, вздохнулъ?

ГРАФЪ.

Ну, вотъ, пошли...
Чуть выѣхавъ изъ варварской земли
Оплакиваютъ скиѳы съ ней разлуку!
О, скиѳство!

ВЛАДИМІРЪ.

Да, мы скиѳы. Много въ насъ
Есть, точно, скиѳскихъ свойствъ.

ГРАФЪ.

Гиперборейцы!
Съ любовію къ лѣсамъ, къ степямъ, для васъ
Ей-ей, ввѣкъ будутъ чужды европейцы.
Нѣтъ, истинно разумный человѣкъ—
Космополитъ. Въ немъ душу восторгаетъ
Развитіе, успѣхъ; онъ наблюдаетъ,
Какъ все впередъ, впередъ стремится вѣкъ,
И гдѣ успѣхъ, онъ тамъ отчизну видитъ.
Отсталое одно онъ ненавидитъ.
Жаль, некогда теперь мнѣ; подожди,
Nous discuterons—рѣшенье впереди...
Но, странно, ты не бросилъ за границей
Патріотическихъ своихъ идей?

ВЛАДИМІРЪ.

Никакъ не могъ: во мнѣ еще сильнѣй...

ГРАФЪ.

Все вздоръ: повѣрь, окончишь ты больницей
Умалишенныхъ... Faut que je te quitte,
Прощай; о, скиѳъ!

ВЛАДИМІРЪ.

Прощай, космополитъ!
Кто жь правъ изъ нихъ? Ей-ей, рѣшить боюсь...
Какая сила въ этомъ словѣ—Русь!
Вдохнешь, его промолвя, глубокò;
И мысль пойдетъ бродить такъ широкò,

Грустна, какъ пѣсни русской переливы,
Безцвѣтна, какъ разгулъ родныхъ равнинъ,
Гдѣ вѣтеръ льнетъ ко груди полной нивы,
Гдѣ все жилье—рядъ избъ, въ тѣни рябинъ,
А далѣ—небо блѣдными краями
Слилось съ землею, съ синими лѣсами...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Когда впервые Нина услыхала
Слова, какимъ дотолѣ не внимала,
Когда нашла больную душу, ей
Казалося безмѣрно разстоянье
Межь ей и тѣмъ, кто эти зналъ страданья.
Сперва зажглось лишь любопытство въ ней;
Потомъ ей втайнѣ сдѣлалось пріятно
Жалѣть о другѣ новомъ; непонятно
Къ нему неслись ея всѣ мысли; онъ,
Казалось ей, достоинъ лучшей доли—
А какъ помочь? Въ ея ли это волѣ?
Быть можетъ, онъ озлобленъ, оскорбленъ,
И рождена она, какъ знать, съ призваньемъ
Вновь помирить его съ существованьемъ...

ВЛАДИМІРЪ.

Что вашъ больной, Нинета?

НИНА.

Ничего,

Гораздо лучше. Нынче понемногу
Онъ сталъ гулять. Припадки у него
Все рѣже.

ВЛАДИМІРЪ.

Стало быть, угодны Богу
Молитвы ваши?

НИНА.

Я за всѣхъ молюсь,
Кого люблю.

ВЛАДИМІРЪ.

Счастливецъ!

НИНА.

Но Карлино...
Онъ не одинъ... Синьоръ, я вамъ кажусь
Простою дѣвочкой;—такъ—бѣдной Ниной;
Вамъ кажется—гдѣ мнѣ васъ оцѣнить...
Но есть у женщинъ въ сердцѣ голосъ ясный;
Что̀ вамъ даютъ науки, можетъ быть,
У насъ врожденное: вѣдь вы несчастны,
Признайтесь?

ВЛАДИМІРЪ.

Кто же вамъ сказалъ?

НИНА.

Вашъ взглядъ
И сердце. Вы несчастны?

ВЛАДИМІРЪ.

Ради Бога,
Оставимъ это. У мужчины много
Есть въ сердцѣ струнъ, которыя молчатъ
И чужды въ женскомъ сердцѣ. Есть заботы,
Недуги есть, безвѣстные для васъ,
А ихъ лѣчить нѣтъ силъ и нѣтъ охоты
Ни у кого.

СЬОРА ТЕТА *(мать Нины)*.

Да, да, неровенъ часъ.
Покойникъ мой былъ свѣжъ: однажды рано
Пришелъ домой, весь блѣденъ, какъ сметана.
Сталъ охать, слегъ. Я къ доктору. Тотчасъ
Пустили кровь. Три доктора собрались—
И всѣ лѣчить бѣдняжку отказались.
Какъ стукнетъ часъ, такъ не уйдетъ никто.

НИНА.

Ахъ, маменька, да это вѣдь не то.

СЬОРА ТЕТА.

Ну какъ не то? Вотъ поживи на свѣтѣ...
Но, впрочемъ, вы себѣ толкуйте, дѣти,
Мнѣ некогда и къ дѣлу своему
Пора.

НИНА.

Скажите мнѣ: я васъ пойму!
У васъ, синьоръ, душевныя страданья?

ВЛАДИМІРЪ.

Какъ вамъ назвать ихъ? Нѣту имъ названья!
Душевной пустотой? Нѣтъ! Иногда
Душа полна восторга и въ волненье
Ее приводитъ доблесть, вдохновенье
И образъ геніальнаго труда...
Иль сномъ ума? Нѣтъ, онъ не спитъ и шумно
Работаетъ, и любитъ онъ труды;
Онъ труженикъ: какъ рудокопъ безумный,
Все роется и ищетъ онъ руды;
Но до нея не можетъ онъ дорыться,
И подрываетъ только то, что въ немъ
Святѣйшаго, небеснаго таится.

НИНА.

Любили ль вы? Любимымъ существомъ
Вы были ль поняты?

ВЛАДИМІРЪ.

Да, *жизни розы*,
Какъ говорятъ поэты, зналъ и я—
И тернъ ея я знаю. Жизнь моя,
Увы! полна поэзіи и прозы
Двухъ страшныхъ словъ: любилъ и разлюбилъ!
Я многое достойно оцѣнилъ!
Была пора: всѣ жребіи земные,
Казалось, я въ рукахъ своихъ держалъ:
Для общества людей я посвящалъ
Всѣ чувства лучшія, мечты святыя,

На благо имъ, я думалъ, я рожденъ —
И могъ бы быть... Смѣшной и глупый сонъ!
Съ горячей головой, горячей кровью,
Въ душѣ къ добру, къ прекрасному съ любовью,
Принесть я думалъ на алтарь любви
Свой трудъ и славу, всѣ мечты свои...
Гражданской доблестью кипѣлъ я рано...
Ахъ, бросимъ это, бросимъ! Это рана
Болящая, и женщинѣ нельзя
Ее понять... Въ груди ее нося,
Я дорожу ей: то знаменованье,
Что я рожденъ былъ жить для лучшихъ дней —
То лучшихъ чувствъ послѣднее дыханье!
Обманутый, весь пылъ моихъ страстей,
Все, что цѣнилъ, я назвалъ пустяками;
Во всемъ тогда вдругъ усумнился я,
Что такъ срослось съ моей душой, съ мечтами.
Я колебался. Адская змѣя
Какъ будто облила мнѣ душу ядомъ.
Бѣсился я, слѣпцомъ себя я звалъ...
Потомъ и сомнѣваться пересталъ,
И равнодушія былъ облитъ хладомъ;
И зло теперь меня не удивитъ,
Добро не поразитъ, не оживитъ —
Что жь мнѣ осталось въ жизни?

НИНА.

Безъ сомнѣнья,
У васъ враги есть?

ВЛАДИМІРЪ.

Нѣтъ ихъ, къ сожалѣнью!
Или когда хотите, самъ себѣ
Я врагъ. Зачѣмъ я раньше пламень чувства
Не утушилъ, покорствуя судьбѣ?
Не изучилъ безстрастія искусство?
Зачѣмъ я пылкій умъ не заморилъ
Въ бездѣйствіи? Тогда бъ, какъ камень вѣчный,
Какъ статуя,—я прожилъ бы безпечно;
И подъ конецъ, конечно бы, вкусилъ,
Всѣмъ прихотямъ судьбы своей покорный,
Нелѣпое блаженство жизни вздорной.
Не понимать, не видѣть; не слыхать,
Безумно лучшей цѣли не искать,
Не чувствовать мнѣ было бы отрадой,
И вѣчный миръ за то бъ мнѣ былъ наградой!
А то теперь всѣ прежнія мечты,
Всѣ высшія души моей начала—
Все злобный образъ демона пріяло!
И демонъ этотъ слѣдуетъ за мной;
Онъ съ красоты срываетъ покрывало;
Онъ между мною и трудомъ моимъ;
Межь мной и другомъ лучшимъ; между мною
И женщиной—скелетомъ гробовымъ
Становится... Насмѣшливостью взоровъ
Спасаетъ ли меня въ грядущемъ онъ
Отъ новыхъ бѣдъ, мученій и укоровъ—
Не знаю, но имъ вѣкъ мой отравленъ.

НИНА.

О, Боже, Боже! Вы мечтатель страстный!
Страдаете вы только потому,
Что вы одни, а волю дать уму,
Живя въ пустынѣ, тяжко и опасно.
Быть можетъ, жизнь веселая недугъ
Излѣчитъ вашъ; иль дружба... Вѣрный другъ
Есть лучшая опора намъ въ страданьѣ...
Любовь... Она должна вамъ посвятить
Все, жизнь свою, мечты, существованье...
И вы ее найдете, можетъ быть...

И бѣдная, закрывъ лицо руками,
Вдругъ залилась горячими слезами.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Вы спросите, предъ дѣвочкой простой
Владиміръ для чего такъ откровенно
Все высказалъ, что̀ было за душой?
То былъ ли въ немъ или порывъ мгновенный,
Иль хорошо расчитанный ударъ?
Хотѣлъ ли повторить онъ съ сердцемъ Нины
Урокъ, давно затверженный въ гостиной,
И этотъ вздохъ, и этотъ чувства жаръ,
И горечь жизни трудной и безцѣльной,

Ужели все фальшиво и поддѣльно?..
Да, трудно дать на то прямой отвѣтъ —
Какъ вамъ сказать... И да, и нѣтъ.

II.

Владиміръ былъ воспитанъ въ школѣ свѣта.
Онъ зналъ любовь—и только разъ любилъ,
Какъ любимъ всѣ мы въ молодыя лѣта;
Потомъ слегка любовію шутилъ...
Онъ разъ любилъ: всѣ, думалъ, совершенства
Заключены въ избранницѣ его;
Потомъ онъ понялъ (и прости блаженство!),
Что онъ любилъ себя лишь самого:
Что въ ней, какъ солнце въ морѣ, отражались
Лучи его мечтаній молодыхъ,
Что видѣлъ въ ней все, что въ мечтахъ своихъ
Хотѣлъ онъ видѣть... Но мечты умчались:
Онъ увидалъ, какъ сбросивъ маски съ лицъ,
Избранницы его преображались
Въ боярынь изъ мечтательныхъ дѣвицъ,
Въ Настасіи Лукьяновны изъ Насти...
Не умеревъ, однакожь, отъ тоски,
Онъ посмотрѣлъ на жизнь, на сердце, страсти,
Анализа въ холодные очки.

III.

Какъ согласить всѣ эти переходы
Изъ нѣжныхъ дѣвъ въ боярынь—онъ не зналъ,
И блѣдностью полунощной природы

Онъ блѣдность лицъ и душъ ихъ объяснялъ.
Онъ овладѣлъ заманчивымъ искусствомъ
Играть, шутить и управлять ихъ чувствомъ;
И даже иногда былъ такъ счастливъ,
Что̀ пробуждалъ къ высокому порывъ
У нашихъ дамъ—сихъ жрицъ роскошной лѣни,
Что̀, погрузясь дивана въ мягкій пухъ,
Покоятся какъ жены ханской сѣни,
Откуда Гименей, какъ злой эвнухъ,
Прогналъ и музъ, и бога пѣснопѣній...
Но съ тѣмъ прости пора волшебныхъ сновъ,
И въ душу пустота легла невольно:

. . . . . .
. . . . . .

IV.

Такъ нашъ герой изъ этой свѣтской школы
Извлекъ урокъ печальный и тяжелый.
Онъ въ главный догматъ кодекса любви
(Любви дѣвицъ и мальчиковъ) не вѣрилъ:
На бытіе двухъ душъ *родныхъ* свои
Не полагалъ надежды; чувство мѣрилъ
Не цѣлой вѣчностью, но онъ цѣнилъ
Минутное, быть можетъ, увлеченье
И, къ горю дѣвъ, давно имъ говорилъ:
Вѣрнѣе вѣчности одно мгновенье.

V.

А здѣсь, теперь? Одинъ въ самомъ себѣ
Свидѣтель внутренней, глубокой драмы,

Одинъ и зритель, и атлетъ въ борьбѣ
Высокихъ чувствъ души съ судьбой упрямой,—
Невольно онъ предъ первымъ, кто спросилъ
Съ участіемъ: «О, другъ мой, что съ тобою»—
Что было въ немъ довѣрчиво излилъ
И лѣтопись печальную раскрылъ
Предъ чистою, невинною душою...

VI.

Разъ встрѣтилъ онъ мать Нины. Смущена,
Какъ полоумная была она.
«Что ваша Нина?»—Нина? Двѣ недѣли
Какъ все больна и не встаетъ съ постели;
Горячка страшная... Я день денской
Все на ногахъ... За что, за грѣхъ какой,
О, Господи, насъ посѣтилъ слезами!
Къ себѣ пускаетъ лишь одну меня.
Карлино не видалъ ея три дня.
Она зоветъ васъ, бредитъ только вами.
Прійдите къ намъ.

ВЛАДИМІРЪ.

Какъ мнѣ?.. Нѣтъ, мнѣ нельзя.
Мое явленье можетъ быть опасно—
Я испугать ее могу. Напрасно
Боитесь вы. Пройдетъ, увѣренъ я,
Ея болѣзнь. Горячки въ эти лѣта
Бояться нечего. Притомъ пора,
Мнѣ ѣхать надо, нынче въ ночь, до свѣта,
Прощайте, я уѣду до утра.

СЬОРА ТЕТА.

Какъ ѣхать? Что вы? Что вамъ торопиться?
У васъ квартира на годъ вѣдь. Что жь такъ?
Куда?..

ВЛАДИМІРЪ.

Еще не знаю.

СЬОРА ТЕТА.

Съ ней проститься
Вы не хотите?

ВЛАДИМІРЪ.

Не могу никакъ.

VII.

Онъ понялъ все... Что жь дѣлать? Надо
Бѣжать; бѣжать отъ новыхъ, тяжкихъ золъ
И, можетъ быть, отъ счастья и отрады...
Кто знаетъ, для него, быть можетъ, цвѣлъ
Въ сѣни оливъ и лавровъ фраскатанскихъ
Сей горный цвѣтъ на камняхъ тускуланскихъ;
За тѣмъ, быть можетъ, *высшая рука*
Его вела чрезъ Альпы снѣговыя,
Въ сей пышный край звала издалека
И дни ему сулила золотые —
Такъ нашъ Владиміръ думалъ и мечталъ.
. . . . . .

IX.

. . . . . .

О, женщинамъ удѣлъ завидный данъ —
Въ несчастіи — покорность и терпѣнье!

X.

И выдвинулъ онъ пыльный чемоданъ,
Сложилъ свои невинныя творенья —
Бумаги, гдѣ описывалъ онъ Римъ,
Десятокъ книгъ, пейзажи и портреты,
Всѣ древности, отысканныя имъ,
И зарядилъ въ дорогу пистолеты.
«Въ путь, въ путь, друзья мои! Въ краю иномъ,
Попрежнему мы съ вами заживемъ!
Въ Россіи мирно лежа на лежанкѣ,
Не въ первый разъ намъ чувство подавлять,
Утѣшимся, а тамъ начнемъ писать
Еще стихи къ прелестной фраскатанкѣ!
Конечно, ихъ, по счастью, не прочтутъ...
Но всѣ меня поэтомъ назовутъ —
Поэтомъ быть—великая отрада!
Всѣ думаютъ, иначе онъ рожденъ,
Иначе чувствуетъ и мыслитъ онъ...
О, жизнь, о, жизнь! Ты даръ небесъ иль ада?

XI.

«Я ѣду. Долгъ и честь мнѣ такъ велятъ.
Но отчего, на *подвигъ благородный*
Рѣшившися, ни грустенъ я, ни радъ

Особенно? Съ рѣшимостью холодной
Мнѣ все равно итти что въ смертный бой,
Что за обѣдъ . . . . . .
Плодъ это сплина или воспитанья?

XII.

«Да, Нину испугала пустота
Моей души. Душа безъ упованья,
Безъ пламенныхъ стремленій и мечтанья!
Исторія жь ея или проста,
Какъ хроника монаха-грамотѣя,
Иль полная, живая эпопея.
Все дѣло въ томъ лишь, какъ ее понять.
Есть случаи, и ихъ ни разсказать,
Ни описать—а сколько въ нихъ значенья,
Думъ сладостныхъ, для сердца вдохновенья!
Хоть наша встрѣча... Какъ тутъ описать?
Съ Наташей... Странная еще отрада
Мнѣ въ имени ея и до сихъ поръ.
Казалось намъ—и съ перваго ужь взгляда—
Что дружны мы давно, и разговоръ
Нашъ былъ какъ бы друзей давнишнихъ; взоръ
Досказывалъ неконченныя рѣчи—
А тотъ восторгъ, а тѣ полуслова,
Пожатье рукъ, условленныя встрѣчи!...
А этотъ вздоръ, которымъ голова
Моя тогда пылала! Жажда славы!
Какъ всюду я кидался на лукавый
Ея привѣтъ... все улыбалось мнѣ;

Науки были ясны такъ, какъ слѣпы
Ученые и книги ихъ нелѣпы;
Какъ подорвать я думалъ въ тишинѣ
Весь хламъ системъ ихъ... Но, наскучивъ ими,
Я бросилъ ихъ, назвавши ихъ смѣшными.
Мнѣ дѣйствовать хотѣлось! . . . .
. . . . . .
Я думалъ, что въ воинственномъ разгулѣ
Есть больше жизни! Браво! На Кавказъ!
Вотъ фактъ простой; случалося не разъ,
Въ какомъ-нибудь разграбленномъ аулѣ,
Въ ущеліи стоишь на карауліѣ.
Гдѣ больше прозы? А какъ заглянуть
Тогда мнѣ въ душу, въ сердце, въ грудь —
Какая тамъ поэма клокотала!
Какая рама ей была!... Потомъ
Все просто: я спѣшилъ въ любимый домъ —
Увы! Кумиръ мой—замужемъ. Сначала
Не вѣрилъ я, а тамъ повѣрилъ. Съ ней
Мы видѣлись—о прошломъ ни полслова,
Какъ будто все въ порядкѣ шло вещей.
Упрека и отчаянья смѣшного
Не обнаружилъ я, и какъ Катонъ
Все перенесъ... А сколько есть Катоновъ?
Что жь это? Плодъ общественныхъ законовъ?
Кто не таковъ, тотъ нынче и смѣшонъ...
Сократы вѣка! Ядъ мы пьемъ послушно,
Не жалуясь, что смертоносенъ онъ —
Живьемъ себя хоронимъ равнодушно!»

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

Такъ онъ сидѣлъ, добыча тяжкихъ мукъ,
Свѣча горѣла тускло у камина;
Стихали вкругъ сосѣди къ ночи. Вдругъ
Открылась дверь, въ дверяхъ явилась Нина.
Она была вся въ бѣломъ. По плечамъ
Вилась коса. Порывъ души смятенной
И сумракъ придали ея очамъ
Чудесный блескъ. Не дѣвою смиренной,
Она была Сибиллой вдохновенной,
Внимающей божественнымъ рѣчамъ...
Огонь любви, огонь негодованья
Прекрасныя черты одушевлялъ;
Румянецъ съ блѣдностью въ лицѣ игралъ,
Вздымало грудь неровное дыханье.

ВЛАДИМІРЪ.

Какъ! Нина здѣсь? Такъ поздно...

НИНА.

О, ты мой!
Ты здѣсь еще!.. Нѣтъ, то обманъ, я знала.
Вѣдь ты не думалъ, не хотѣлъ меня
Убить... Ихъ шутка!.. А какъ я страдала
Отъ этой шутки!

ВЛАДИМІРЪ.

Бѣдное дитя!
Что, что съ тобою?.. Нина, успокойся,
Ты такъ встревожена.

НИНА.

О, нѣтъ, не бойся!

ВЛАДИМІРЪ.

Ты плачешь?..

НИНА.

Нѣтъ, теперь ужь я смѣюсь—
Вѣдь я съ тобой. Пускай прійдетъ міръ цѣлый,
Я вкругъ тебя руками обовьюсь,
Какъ змѣй... Я буду биться львицей смѣлой,
И не отдамъ тебя.

ВЛАДИМІРЪ.

Скажи жь, чего
Боялась ты?

НИНА.

Ты ѣдешь?

ВЛАДИМІРЪ.

До того
Кому нужда?

НИНА.

Ты ѣдешь?

ВЛАДИМІРЪ.

Да... и скоро.

НИНА.

О, есть ли сердце у тебя? Гляди
Въ глаза мнѣ прямо. Что въ моей груди?
Прочти что въ ней?.. Ты понялъ? Приговора
Судьбы ты не прочелъ въ ней?.. Такъ иди,
Прочь камень сѣверный, палачъ жестокій...
Прочь! По свѣту скитайся одинокій!
Но... милый другъ, клянись мнѣ навсегда...

ВЛАДИМІРЪ.

Мой ангелъ, успокойся.

НИНА.

Я тверда,
Я въ памяти. Не глупый бредъ простуды
Мои слова. Послушай, я клялась...
Мнѣ сердце—Богъ; я сердцу отдалась.
Черезъ мой трупъ ты выйдешь лишь отсюда.
Одно лишь слово—и рѣшилась я.
Скажи мнѣ прямо: любишь ли меня?
И взоръ, сверкавшій нѣкой дивной силой,
Она въ него безумно устремила.

Онъ былъ въ борьбѣ съ собой.

НИНА.

Не любишь, нѣтъ?
Знай, гдѣ бъ ты ни былъ, я пройду весь свѣтъ,
Я отыщу... отмщу... Самъ Богъ порука!

ВЛАДИМІРЪ.

Меня ты знаешь, Нина. Жизнь мнѣ мука.
Тебя обречь той мукѣ—нѣту силъ
Во мнѣ. Быть можетъ, я бъ тебя любилъ
Послѣднею любовію моею;
Любилъ бы такъ, какъ, можетъ быть, никто.
Въ моей душѣ вѣдь только заперто,
А не погасло чувство—но не смѣю
Души твоей я отравить собой.

НИНА.

Не думай обо мнѣ. Здѣсь жребій мой—
Любовь. Любовь не есть расчетъ презрѣнный
О благахъ жизни, а законъ священный.
Гдѣ голосъ сердца—голосъ Божій въ немъ!
Нельзя любить и разлюбить потомъ...
Въ послѣдній разъ тебѣ, быть можетъ, нынѣ
Твой жребій ясенъ. Другъ мой, выбирай:
Его отвергнуть хочешь ли? Но знай,
Отказъ твой—смерть твоей несчастной Нинѣ.
Я смерть найду.

ВЛАДИМІРЪ.

Но, Нина, погляди,
Чего ты хочешь? Ко всему презрѣнье
Питаю я; но у меня въ груди
Къ невинности осталось уваженье.
Тебя поймать въ разставленную сѣть
Легко; упиться ласками твоими,

И послѣ къ нимъ остыть, охолодѣть,
И послѣ бросить...

НИНА.

О, клянусь святыми,
Я поняла огонь твоей души
И благородство чувствъ.

ВЛАДИМІРЪ.

Итакъ, рѣши,
Мой ангелъ.

НИНА.

Я тверда.

ВЛАДИМІРЪ.

Семью родную,
Старушку мать и родину святую
Оставить ты должна.

НИНА.

Все знаю я.

ВЛАДИМІРЪ.

Оставить край, гдѣ все—сады, поля
Блистаютъ розами; гдѣ небо пышетъ
Лазурью жаркой, звѣзды такъ горятъ,
Гдѣ съ дѣтства все лелѣяло твой взглядъ,
И промѣнять все то на край, гдѣ дышетъ
Почти весь годъ и вьюга, и морозъ,
Въ нагихъ поляхъ ни миртовъ нѣтъ, ни розъ,
И люди ходятъ—мѣхомъ обвитые!

НИНА.

Я знаю все.

ВЛАДИМІРЪ.

Оставить кругъ друзей,
И промѣнять ихъ... на какихъ людей?
Ты знаешь ли, что́ значитъ свѣтъ? Какія
Тамъ существа? Ты съ ними вѣкъ живешь,
И каковы они—не назовешь.
Въ нихъ скрыто маской чувство и природа,
И даже сердца скована свобода!
Какъ ты войдешь отъ головы до пятъ
Тебя измѣритъ ихъ холодный взглядъ;
Пустой привѣтъ ихъ рѣчи—шипъ змѣиный;
Ихъ пустоту подъ пышною личиной
Ты въ силахъ снесть?

НИНА.

На все готова я,
На все, на все! Въ тотъ мигъ, когда тебя
Я встрѣтила, тогда лишь я узнала,
Что у меня въ груди есть сердце. Ты
Его извлекъ изъ сна и темноты,
И съ той поры мнѣ жизнь понятна стала;
Ты вкругъ меня разлилъ чудесный свѣтъ...
Нѣтъ, я Карлино не любила... нѣтъ!
И какъ звѣзда вечерняя склонила
Она головку ко груди его,
И повторяла, глядя на него:
«О нѣтъ, нѣтъ, я Карлино не любила...»

КАРЛИНО *(входитъ)*.

А онъ тебя, преступница, любилъ,
Неблагодарная, любилъ душою!..

НИНА.

Онъ здѣсь, о, Боже!..

КАРЛИНО.

Здѣсь и слышалъ все.

НИНА.

Ты слышалъ?.. Что жь, ты слѣдуешь за мною?

КАРЛИНО.

Ты думаешь, что счастіе свое
Продамъ такой я низкою цѣною?

(вынимаетъ ножъ).

Молись, въ послѣдній разъ молись! Змѣя!

НИНА.

Владиміръ... Боже! Онъ убьетъ меня...
(Владиміръ беретъ кинжалъ. Нина бросается между ними).

НИНА *(Владиміру)*.

Оставь его: Онъ звѣрь! Онъ звѣрь!.. Карлино!
Отъ дѣтства знала друга я въ тебѣ—
Молю я, выслушай!.. Моей мольбѣ
Отказа ты не зналъ... я та же Нина...

КАРЛИНО.

Та жь Нина!.. Мной пригрѣтый змѣй...
Та Нина! Та, кого отъ дѣтскихъ дней
Лелѣялъ я, какъ мать лелѣетъ сына,
Иль болѣе—вѣдь такъ не можетъ мать,
Какъ я тебя, любить и обожать...
И что жь? Съ другимъ цѣлуясь, все забыла,
Клянется, что меня и не любила!..

(Владиміру).

Оставь ее, оставь: она моя!

ВЛАДИМІРЪ.

Бой съ женщиной... постыденъ бой неровный...
Стыдися! За нее отвѣчу я!
Условимся спокойно, хладнокровно.
Сойдемся за горой съ разсвѣтомъ дня.
Судья намъ будетъ Богъ.

КАРЛИНО.

Изволь, съ тобою
Сойдемся завтра .. нынче съ ней расчетъ.

НИНА.

Не вѣрь ему, Владиміръ, онъ убьетъ,
Обманетъ!

КАРЛИНО.

Замолчи!.. *(Убиваетъ ее).*
Знай, я любить умѣлъ—умѣю мстить!..

Людей пустыхъ угрозъ я не робѣю,
Я жилъ съ людьми: былъ добръ; умѣлъ любить,
И наругаться ими я сумѣю!

НИНА.

Бѣги!.. Ему, о, другъ мой, не ввѣряйся.
Знай, знай, Карлино, я его люблю.

ВЛАДИМІРЪ.

О, Нина...

НИНА.

Другъ... увидимся... спасайся...

ВЛАДИМІРЪ.

Убійца низкій! Я отомщу, злодѣй!

КАРЛИНО.

Увидимъ! *(кидается къ окну).*
Эй! На помощь! Помогите!
Разбой, разбой! Преступникъ здѣсь! Вяжите!
(Вбѣгаетъ народъ).
Вотъ онъ: давно за Нинсю моей
Ухаживалъ и сѣти ставилъ ей.
Онъ заманилъ ее: угрозой, лестью
Онъ обольстить, злодѣй, ее хотѣлъ.
Въ слезахъ она противилась безчестью,
Кричала. Я на вопль ея поспѣлъ.
Вломился въ дверь. Онъ, яростью кипящій,
Ее зарѣзалъ!.. Нина, ангелъ мой!
То ль было намъ обѣщано судьбой?

ВЛАДИМІРЪ.

Онъ лжетъ, онъ лжетъ!..

НАРОДЪ.

Она какъ ангелъ спящій!
Ужели онъ убилъ?
— Онъ былъ всегда
— Такъ добръ.
— Да, добръ; всегда похожъ на волка.
Я говорилъ, не будетъ никогда
Отъ этихъ выходцевъ пути и толка.
— Ахъ, онъ злодѣй!
— Карлино бѣдный! Жаль
Его: они другъ друга такъ любили!
— А мать чего смотрѣла? Были
Совѣты ей.
— Ее убьетъ печаль.
— Да, съ полчаса тому, какъ забѣгала
Она ко мнѣ и дочери искала.
— И къ намъ!—И къ намъ!
— Я только что ложусь,
Карлино въ дверь: вѣдь испугалъ, божусь!

СЬОРА ТЕТА.

— Гдѣ, гдѣ она?.. Дитя мое родное!
Дитя мое!.. Проснися, золотое!
Откликнись! Что я сдѣлала тебѣ?
Нинета! Или ты меня не знаешь?..
За что, о Боже, Ты меня караешь?..

Къ такой ли я готовила судьбѣ
Тебя, мой ангелъ... О, безчеловѣчный,
Я изорву тебя... я кровь твою
Испью... Или убей меня, молю,
Я буду съ ней, съ моею Ниной вѣчно!

КАРАБИНЕРЫ.

Прибрать старуху. Тѣло унести.

НАРОДЪ.

Да, бѣдной ей пришлось теперь плести
На дочкинъ гробъ гирлянды подвѣнечны.

КАРАБИНЕРЫ.

Преступника, свидѣтеля свести
Въ тюрьму. Карлино! Гдѣ онъ? Гдѣ онъ? Скрылся!

НАРОДЪ.

Чтобъ съ горя онъ на жизнь не покусился.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Идутъ года... Съ Адама мы твердимъ
Единодушно эту правду злую.
Оставимте Италію святую,
Оставимте Фраскати, пышный Римъ,
На нашу Русь заглянемте родную.
Я думаю, ужь я наскучилъ вамъ,
Твердя одно: «Италія святая!»

Но вѣдь она не вовсе намъ чужая,
Дары ея завѣщаны и намъ.
И намъ ея отворены чертоги,
И мы званы священствовать во храмъ,
Гдѣ царствуютъ досель, на зло вѣкамъ,
Изъ мрамора изваянные боги;
Гдѣ властвуетъ надъ нѣжною душой,
И красоты и славы мощный геній,
Гдѣ въ золотѣ и въ бронзѣ вѣковой
Повсюду мысль протекшихъ поколѣній
Записана ихъ творческой рукой...
Вкругъ этихъ чертъ бродящіе народы,
Читая ихъ, вы поняли ль ее?
Въ себѣ, въ себѣ узнали ль бытіе
Иной, святой, возвышенной природы
И чувствъ иныхъ біеніе въ груди?
Не поняли? Такъ Богъ ужь васъ суди!

II.

Итакъ, прости, прости на годы многи!
Быть можетъ, я подъ миртъ твой вновь прійду,
Но тотъ же ль буду? Тѣ же ли найду
Здѣсь сердца сны, восторги и тревоги?
Иль постепенно сѣверъ заморитъ
То, что́ меня теперь животворитъ...
Прощай руинъ зеленый плющъ и розы,
И ты, царица спящихъ сихъ долинъ,
Грусть думная, восторженныя слезы...
Пойму ль когда опять языкъ руинъ?

Отвѣчу ль имъ высокими страстями?..
Прощай, о, говоръ вѣчно шумныхъ струй,
И ты, смуглянка, съ яркими очами,
И жаркій нашъ подъ миртомъ поцѣлуй...
О, трудно мнѣ послѣднее прощанье,
Италія, въ слезахъ тебѣ сказать,
Какъ тяжело, о, милое созданье,
О, ангелъ мой, въ послѣднее лобзанье
Отъ устъ твоихъ уста мнѣ оторвать.

III.

Прислушайтесь... звучатъ иные звуки...
Унынье и отчаянный разгулъ...
Разбойникъ ли тамъ пѣсню затянулъ,
Иль дѣва плачетъ въ грустный часъ разлуки?
Нѣтъ, то идутъ съ работы косари...
Кто жь пѣснь сложилъ имъ? Какъ кто? Посмотри
Кругомъ: лѣса, саратовскія степи,
Нужда, да грусть, да думушка...

IV.

Пойдемъ на звукъ волынки полевой.
Какъ вечеръ тихъ! Въ росѣ фіалка дышетъ;
И свищетъ соловей въ глуши лѣсной,
И долго въ ночь заря на небѣ пышетъ.
Вотъ барскій домъ на холмѣ. Вкругъ стоятъ
Пушистыя березы вѣковыя,
Ряды теплицъ, а подъ горою садъ
И прудъ, а тамъ избушки тесовыя
По берегу излучистой рѣки.

V.

Вотъ на̀ гору поднялись мужички,
Все съ пѣснями; но только увидали
Господскій домъ, примолкли, шапки сняли;
Приказчикъ къ барину пошелъ одинъ,
Чтобъ доложить, какъ много десятинъ
Распахано и скошено, и сжато.

VI.

Кто жь баринъ-то?.. Узна̀ете ль вы его,
Читатели?.. Разсказа моего
Онъ былъ герой въ Италіи богатой.
Да полно, онъ ли? Какъ онъ потолстѣлъ,
(Что̀ значитъ вѣдь у насъ—похорошѣлъ)
Румянъ, здоровъ, глаза какъ маслянисты,
И праздничный какой имѣетъ видъ!..
Что жь? Дай Господь! Въ деревнѣ аппетитъ,
Движенье, сонъ, хозяйство, воздухъ чистый...

VII.

Владиміръ! Здравствуй! Какъ-то ты живешь?
Рисуешь, пишешь, классиковъ читаешь?
Остришь надъ всѣмъ? Влюбленъ? Успѣшно?.. Что жь?
О, милый мой, какъ громко ты зѣваешь!..
Посмотримте, какъ онъ проводитъ день.

VIII.

Онъ, возвратясь давно изъ-за границы,
И не заѣхалъ въ русскія столицы,

А въ глушь своихъ забился деревень.
Выписывалъ газеты и журналы,
Сперва читалъ ихъ всѣ, а послѣ мало,
И наконецъ читать ихъ пересталъ.
Онъ Quotidienne и Siècle получалъ,
И прочіе различнаго объема,
Различные умомъ и остротой,
И, наконецъ, Diario di Roma,
Съ его кузиной Сѣверной Пчелой.

IX.

Разъ дождикъ шелъ. Какъ кровлею тяжелой,
Все небо тучею обложено.
Туманъ сокрылъ и холмики, и долы;
И грязь, и сыро, скучно и темно.
Владиміръ поздно всталъ; пилъ чай душистый:
Кольцомъ пускалъ изъ трубки дымъ волнистый;
Насвистывалъ затверженны давно,
Въ Италіи еще, два-три мотива—
Fra poco—изъ Лучіи, Casta diva—
Изъ Нормы, и, свистя, смотрѣлъ въ окно,
Иль въ комнатѣ ходилъ діагонально.
Остановясь передъ окномъ, въ стекло
Сталъ барабанить. «О, климатъ печальный!
«Какая грусть! Ни выйти на село,
Ни на гумно! Чай, озимь пострадаетъ...
Поѣхать на охоту?.. Да хромаетъ
Пегасъ. Къ тому жь я что-то тяжело
И неспокойно ночью спалъ сегодня.

Дай загляну въ какой-нибудь журналъ».
Онъ кипу цѣлую журналовъ взялъ,
Случайно вынулъ нумеръ прошлогодній
Diario di Roma и читалъ:
«Богоотступникъ и злодѣй Карлино,
«Оставивши Абруцци, между скалъ
«Разбилъ свой станъ, подъ самой Палестриной.
«Извѣстный Лордъ *** тутъ проѣзжалъ
«Въ Неаполь и, съ семействомъ и женою,
«Зарѣзанъ былъ разбойничьей толпою.
«Межь жителей распространился страхъ;
«Правительство усиливаетъ мѣры:
«Отправлены туда карабинеры,
«Учреждены конвои на путяхъ».
— Карлино?.. Ужь не онъ ли тотъ Карлино,
Котораго зналъ я?.. Можетъ быть.
Онъ далѣе читалъ:
«Но изловить
«Не могутъ шайки, и отъ Палестрины
«Уже къ Дженсано перешелъ злодѣй.
«Намедни шли въ Альбано капуцины
«И дѣвушка. Презрѣнный извергъ сей
«Заставилъ ихъ плясать, а самъ съ своей...»
Но на бѣду, вошелъ на мѣстѣ этомъ
Павлушка въ дверь (смотритель за буфетомъ).
Ужасно хочется мнѣ въ мой разсказъ
Всего два слова лишнія прибавить
На счетъ Павлушки, чтобъ, шутя, для васъ
Всю біографію его представить.

Онъ бариномъ еще покойнымъ, старикомъ,
Былъ взятъ во дворъ господскій казачкомъ.
Одѣтъ былъ въ казакинъ и панталоны
Широкіе, а на груди патроны.
Донынѣ казакина своего
Онъ не лишилъ нашивки сей. Его
Павлушкой звали дѣвушки-вострушки,
И до сѣдинъ остался онъ Павлушкой.
Вотъ все.

ПАВЛУШКА.

Обѣдъ готовъ-съ.

ВЛАДИМІРЪ.

Что супъ иль щи?

ПАВЛУШКА.

Вы приказали щи.

ВЛАДИМІРЪ.

Еще что будетъ?

ПАВЛУШКА.

Жаркое дичь; съ подливкою лещи...

ВЛАДИМІРЪ.

Скажи-ко повару, не то забудетъ,
Чтобъ онъ въ подливку луку покрошилъ.
Пойти обѣдать.

(За обѣдомъ).

ПАВЛУШКА.

Утромъ приходилъ
Петрушка Чайковскій.

ВЛАДИМІРЪ.

Ну, что жь?

ПАВЛУШКА.

Ишь, баринъ
Его просилъ откушать васъ. Татаринъ
И Лыковъ будутъ.

ВЛАДИМІРЪ.

Что жь мнѣ до сихъ поръ
Не доложилъ?

ПАВЛУШКА.

Онъ былъ часу въ десятомъ,
Вы почивать изволили. Да въ дворъ
Еще наѣхалъ было Ласловъ съ братомъ,
Я отказалъ.

ВЛАДИМІРЪ.

Что жь это? За меня
Распоряжаться стали вы?

ПАВЛУШКА.

Да я
Подумалъ такъ, что будетъ неугодно
Вамъ ихъ принять.

ВЛАДИМІРЪ.

Я могъ бы отказать
И самъ. Какой вы всѣ народъ негодный!
Мнѣ все впередъ докладывать, сказать.
Ты слышишь?

ПАВЛУШКА.

Слушаю. Еще въ то жь время
Приказчикъ былъ и приносилъ вамъ сѣмя
Какое-то, прислали въ образецъ.

ВЛАДИМІРЪ.

Зайдетъ пусть послѣ. Рябчикъ пережаренъ.

Обѣдъ свой жирный кончивъ наконецъ,
Отправился всхрапнуть часокъ нашъ баринъ;
Проснувшись, сталъ пить чай и взялъ
Доканчивать начатый имъ журналъ.
«Посмотримъ, какъ плясали капуцины
Подъ дудочку несчастнаго Карлино;
А дѣвушка?
«Презрѣнный извергъ сей
«Заставилъ ихъ плясать, а самъ съ своей
«Богопротивной шайкой любовался,
«И послѣ распялъ, какъ ужь наругался.
«(На небесахъ награда будетъ имъ:
«Ихъ церковь сопричислила къ святымъ)
«А дѣвушка, обнявъ его колѣни,
«Молила умертвить ее скорѣй.
«Но не внималъ свирѣпый извергъ ей,

«Не тронули его мольбы и пени...
«И обнялъ онъ ее и цѣловалъ,
«И у себя три дня ее держалъ.
«Межь тѣмъ, такой же страстію пылая,
«Озлобленны товарищи его
«Предать вождя рѣшились своего.
«(Ихъ вразумила Дѣва Пресвятая,
«Заступница людей передъ Творцомъ).
«Къ Неттуно перешелъ своимъ онъ станомъ.
«Проснувшись утромъ, поглядѣлъ кругомъ,
«И видитъ—онъ одинъ; предъ атаманомъ
«Исчезъ его разбойничій народъ;
«На мѣсто ихъ карабинеровъ взводъ.
«Онъ взятъ; сидитъ въ Сантъ-Анджело, и скоро,
«По составленьи формы приговора,
«Близъ храма Весты будетъ онъ казненъ.
«На исповѣдь итти не хочетъ онъ».

—«Карлино! Мы съ нимъ встрѣтились однажды.
Былъ въ жизни намъ одинъ урокъ, но каждый
По своему его растолковалъ.
Несчастный! Помню, онъ всегда бывалъ
Такъ скроменъ, тихъ, въ мечтаньяхъ благороденъ...
Я помню... Но я развѣ съ нимъ не сходенъ?
Обманутъ былъ онъ жизнью такъ, какъ я;
Мы оба стали тѣ же мизантропы—
Надъ нимъ гремятъ проклятія Европы,
А я слыву какъ честный человѣкъ...
Да чѣмъ же лучше я? О, жизнь! О, вѣкъ!

«Павлушка! Эй! Приказчику Ивану
Скажи, докладъ я принимать не стану.
За ужиномъ я гуся буду ѣсть
Да сыръ. Въ ѣдѣ спасенье только есть!»

ИЗЪ ДНЕВНИКА ВЪ РИМѢ.

Во мнѣ сражаются, меня гнетутъ жестоко
Порывы юности и опыта уроки.
Меня влекутъ мечты, во мнѣ бунтуетъ кровь,
И знаю я, что все—и пылкая любовь,
И пышныя мечты пройдутъ и охладятся,
Иль къ безднѣ приведутъ... Но съ ними жаль разстаться!
Любя, увѣренъ я, что скоро разлюблю,
Порой, притворствуя, самъ клятвою шалю;
Внимаю ли изъ устъ, привыкшихъ лицемѣрить,
Коварное «люблю», я имъ готовъ повѣрить;
Порой бѣшусь, зачѣмъ я разуму не внялъ,
Порой бѣшусь, зачѣмъ я чувство удержалъ;
За тѣмъ въ душѣ моей, волненіямъ открытой,
Отъ всѣхъ высокихъ чувствъ осадокъ ядовитый.

(1845).

ДИКАРКА.

Дитя свободныхъ горъ и дѣвственныхъ долинъ,
Ты, рощей пальмовыхъ младая голубица,
Глухого острова пустынная царица!
Какъ чудно увидать для бѣгуна пучинъ
Тебя, пустыни перлъ, цвѣтокъ скалы гранитной,
Прекрасное дитя природы первобытной!
Не ты ли образъ тотъ, въ которомъ рождена
Первосозданная отъ Господа жена,
Тщеславья чуждая, не знающая силы
Ни огненныхъ очей, ни устъ улыбки милой?
Такой являлась мнѣ она: ея красы
Одѣты въ пышный шелкъ распущенной косы;
Ни лилій нѣтъ, ни розъ, ни перловой повязки;
Въ очахъ лучъ разума; въ ланитахъ нѣги краски
И непритворнаго невинности слѣда;
Улыбкою любви оживлены уста,
Невѣдомый огонь ей тихо перси движетъ;

Ей птицы гимнъ поютъ, а тигръ ей ноги лижетъ,
И пусто все вокругъ, какъ дикій островъ твой,
И властвуетъ она, какъ ты надъ сей скалой,
Надъ сей природою и дѣвственной, и дикой...
Но что?—У грота ты срываешь павилики,
Ліану съ розами, сплетаешь ихъ въ вѣнокъ—
Вѣнчаешься; жемчугъ надѣвши ожерельемъ,
Ты смотришься въ ручьѣ съ младенческимъ весельемъ.
Подымешь, оторвешь въ вѣнкѣ своемъ листокъ,
Откинешь на плечо искусно локонъ зыбкій,
Глядишь, какъ предъ тобой блѣднѣютъ чаши розъ,
И гордо чувствуешь весь блескъ своей улыбки,
Могущество очей, богатство длинныхъ косъ...

(1845).

ПЕРВЫЙ ПОЦѢЛУЙ.

Что любимъ давно мы другъ друга—мы знали, хоть ясно
О томъ никогда у насъ не было рѣчи. Однажды
Случилось однимъ намъ остаться. Я взялъ ея руку,
И съ жаромъ ее цѣловалъ: покорялась невинная дѣва...
Я въ очи глядѣлъ ей... Влекомый волшебною силой,
Невольно устами къ ея я устамъ прикоснулся,
И долгій, и звонкій тогда поцѣлуй нашъ раздался.
Какъ будто невѣдомымъ звукомъ испугана, дѣва
Вдругъ вырвалась сильно изъ страстныхъ объятій, закрыла
Руками лицо и заплакала горько и горько...
Я тихо привлекъ ее снова въ объятья; она преклонила
Покорно головку къ груди моей, очи потупивъ съ слезою;
И тихо цѣлуя, я клялся впередъ не смущать ея болѣ,
Лаская, просилъ я простить мои дерзкія ласки.

(1846).

Для чего, природа,
Ты мнѣ шепчешь тайны?
Имъ въ душѣ такъ тѣсно,
И душѣ неловко,
Тяжело ей съ ними!
Хочется иль словомъ,
Иль покорной кистью
Снова въ міръ ихъ кинуть,
Съ той же чудной силой,
Съ тѣмъ же чуднымъ блескомъ.
Ничего не скрывши
И отдать ихъ міру,
Какъ отъ міра принялъ!

(1846).

МАШЕНЬКА.

Куда какъ надоѣлъ элегій современныхъ
Плаксивый тонъ; толъ дѣло иногда
Послушать старичковъ-разсказчиковъ почтенныхъ,
Про молодости ихъ удалые года.
Невольно вѣришь имъ, когда, почти съ слезою,
Они, смотря на насъ, качая головою,
Насмѣшливо твердятъ: «То ль было въ старину!»
Теперь изъ ихъ временъ я свой разсказъ начну.
Хоть онъ въ моихъ устахъ теряетъ сто процентовъ;
Хоть нынѣ далеки мы отъ блаженныхъ дней,
Дней буйныхъ праздниковъ, гусарскихъ кутежей,
Уѣздныхъ Аріаднъ, Языковскихъ студентовъ;
Хоть этихъ лицъ теперь почти ужъ болѣ нѣтъ;
Хотя у насъ теперь иные люди, нравы,—
Но все еще поймемъ мы были прошлыхъ лѣтъ
И дѣдовъ старыя проказы и забавы.

МАШЕНЬКА.

Часть I.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Жилъ на Пескахъ одинъ чиновникъ. Звали
Его Василій Тихонычъ Крупа.
Жилъ тихо онъ. Въ дому лишь принимали
По праздникамъ съ святой водой попа;
А братіи своей мелкочиновной
Онъ никогда почти не приглашалъ,
Хоть знали всѣ, что службой безгрѣховной
Онъ тысячу рублишекъ получалъ,
Да домъ имѣлъ; итакъ, квартира даромъ,
Такъ «скупъ старикъ»—всѣ говорили съ жаромъ.

II.

Когда бы вы увидѣли его,
Вы, чуждые чиновничьяго міра,
«Чудакъ, чудакъ!» сказали бъ про него;

И воротникъ высокій вицъ-мундира,
И на локтяхъ истертое сукно,
Уста безъ жизни, волосы клочками,
Глаза тупые съ блѣдными зрачками,—
Да, точно бъ вы сказали: «Въ немъ давно
Все человѣчество умерщвлено».

III.

Онъ двигался какъ машина нѣмая;
Какъ автоматъ писалъ, писалъ, писалъ...
И что̀ писалъ почти не понималъ,
На благо ли отеческаго края,
Иль приговоръ онъ смертный объявлялъ—
Онъ только буквы выводилъ... Порою
Лишь подходилъ къ сосѣду стороною,
Не для того, чтобы прогнать тоску,
Иль сплинъ, а такъ... понюхать табачку.

IV.

Надъ нимъ острился молодой народъ:
«Чай, въ сундукахъ у васъ есть капиталецъ,
А вѣдь, злодѣй, къ себѣ не позоветъ,—
— Что деньги вамъ: вѣдь вы одинъ, какъ палецъ.
— Куда-те? Говорятъ, что дочка есть.
— Скажите! Что, на васъ она похожа?
— Ну, если такъ, вамъ небольшая честь.
— И у нея шафрановая кожа?»
Старикъ молчитъ, или, поднявши глазъ,
Изъ-за пера шепнетъ: «Получше васъ».

V.

Такъ жизнь его ползла-себѣ въ тиши,
Безъ радости и безъ тоски-злодѣйки...
Ни разу не смущалъ его души
Ни преферансъ задорный по копейкѣ,
Ни съ самоваромъ за городъ пикникъ.
Но вдругъ всѣ въ немъ замѣтили движенье,
Сталъ о погодѣ говорить старикъ,
И цѣну спрашивалъ французскихъ книгъ:
Видали, онъ на Невскомъ, въ дождь, въ волненьѣ,
Глядѣлъ въ окно у магазина модъ—
«Ишь, старый чортъ!.. Кого-нибудь да ждетъ».

VI.

Однажды всталъ онъ рано; задыхаясь,
Всю ночь почти онъ глаза не смежилъ.
Вздѣлъ туфли и открылъ окно. Онъ былъ
Тревожимъ чѣмъ-то, такъ что, одѣваясь,
На мѣсто колпака чуть не надѣлъ
Чулокъ. Былъ праздникъ; день свѣтился яркій;
Кругомъ далеко благовѣстъ гудѣлъ;
Тутъ въ берегахъ тесьмой каналъ блестѣлъ;
Въ кружокъ тѣснясь, за миской щей на баркѣ,
За полдникомъ сидѣли бурлаки...
Какое утро съ свѣжестью и жаромъ!
Земля какъ будто дышитъ раннимъ паромъ,
А небеса такъ сини, глубоки!

VII.

Василій Тихонычъ открылъ окошко
Другое, въ садъ—и вѣтерокъ съ кустовъ,
Какъ мальчикъ милый, но шалунъ немножко,
Его тихонько ждавшій межь цвѣтовъ,
Пахнулъ въ лицо ему, въ покой прорвался,
Соръ по полу и легкій пухъ погналъ,
На столикѣ въ бумагахъ пошепталъ,
И въ комнатѣ сосѣдней потерялся.
Василій Тихонычъ глядѣлъ кругомъ
На зелень, на сирень, большимъ кустомъ
Разросшуюся тамъ,—и улыбался.

VIII.

Единственной забавою всегда
И собесѣдникомъ его, и другомъ
Былъ чижикъ. Съ нимъ однимъ между досугомъ
Онъ разговаривалъ, и иногда
Не только о вещахъ обыкновенныхъ,
Но даже о предметахъ отвлеченныхъ.
Почувствовавъ прохладный вѣтерокъ,
Чижъ сталъ скакать по клѣткѣ и забился;
Вдругъ сѣлъ; чирикать началъ и залился
Потомъ такъ громко, чисто, какъ звонокъ.
Василій Тихонычъ, ему съ улыбкой
Грозя, рѣчь началъ: «Что, куда такъ шибко?
Что, Шурочка, распѣлся такъ куда?
«Что веселъ такъ? Иль знаешь развѣ?.. А?

IX.

«А кто сказалъ тебѣ? Подслушалъ, вѣрно,
«Какъ говорилъ вчера Анюткѣ я?
«Подслушать тоже любишь?.. Я тебя!
«Мошенникъ! Наказать его примѣрно!
«Сейчасъ скажу директору!.. Смотри!
«Ну, что ты слышалъ, Шурка? Повтори!
«Что?.. Машенька къ намъ будетъ?.. Знаешь Машу?
«Не знаешь? То-то ты и спалъ всю ночь.
«Полюбишь ли ее, голубку нашу?
«Смотри же—полюби: она мнѣ дочь.

X.

«Она тебя за то полюбитъ тоже...
«Ну, а какъ нѣтъ? А какъ начнетъ скучать,
«И станетъ плакать и худѣть, вздыхать?
«Не пережить мнѣ этого... Эхъ, Боже!
«Въ три мѣсяца, чай, къ роскоши она
«Привыкла у княгини... вѣдь не шутка—
«Балы, театръ... А здѣсь?.. Не сметена
«Вѣдь даже пыль... Что жь дрыхнешь ты, Анютка!
«Да подмети, да пыль сотри. Ишь, садъ
«Заросъ совсѣмъ. Дай заступъ поскорѣе,
«Куртинки пообрѣжу... да въ аллеѣ
«Проклятый подорожникъ вонъ... да съ грядъ
«Крапиву... Ахъ, мой Богъ, какая гадость!
«Что, старый хрычъ, о чемъ же думалъ ты?
«Щавель, крапива—славные цвѣты!
«Вотъ хорошо готовилъ дочкѣ радость!»

XI.

Онъ принялся копать, возилъ песокъ,
Пололъ и рылъ, какъ записной садовникъ.
Ну, глядя на него, никто бъ не могъ
Подумать, что онъ классный былъ чиновникъ...
Ужь полдень былъ. Затихнулъ вѣтерокъ;
Недвижные листы къ землѣ склонились;
Желѣзо крышъ и камни накалились;
На улицахъ все пусто; тишь кругомъ;
Одинъ мужикъ на баркѣ, да собака
На солнцѣ спали; голуби рядкомъ
Подъ крышею, подъ слуховымъ окномъ
Усѣлися, ища прохлады мрака.

XII.

Василій Тихонычъ, кряхтя, отвезъ
Послѣдній соръ. «Ну, этакъ будетъ лихо!»
Сѣлъ на скамью подъ вѣтвями березъ,
Отеръ свой лобъ и любовался тихо,
Какъ макъ, нарцисъ пестрѣли между розъ.
«Ну, лихо будетъ!.. Уфъ, какъ жарко, душно!
«Умаялся». Совсѣмъ не думалъ онъ,
Чѣмъ за свой трудъ онъ будетъ награжденъ:
Лишь не было бъ здѣсь только Машѣ скучно.
«Ну, дождался, голубушка, тебя!
«Цѣлковики копилъ не даромъ я!
«Вотъ поживемъ годокъ-другой, а тамъ ужь
«Какъ разъ пристроимся и выйдемъ замужъ!
«Ухъ! Набѣжитъ пострѣловъ! Кликни кличъ—

«Лука Лукичъ, да что Лука Лукичъ!
«Столоначальники... мое почтенье!
«Бей выше... самъ начальникъ отдѣленья!..
«Анютка, выйдь-ко въ переулокъ,—что?
«Не видно ль тамъ... не ѣдетъ тамъ никто?
Гляди, гляди, послушай-ко, что это?»
— Да ничего не видно... «Врешь, карета...
«Какъ ничего? Гляди... Я слышу стукъ».
— Да, кабы стукъ, такъ слышно бъ... Старый бредитъ.
«Анютка!.. Эй, бѣги, подай сюртукъ,
«Да что жь стоишь ты, дура?.. Ѣдетъ, ѣдетъ!»

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Василій Тихонычъ не могъ довольно
Налюбоваться дочкою своей.
Заботливо показывалъ онъ ей
Садъ, комнаты и, трепеща невольно,
Смотрѣлъ, какъ ей понравится? «Вотъ тутъ
«Гостиная... У насъ пойдутъ балишки;
Ухъ! Гости-то наѣдутъ, набѣгутъ;
«Постарше кто—посадимъ за картишки...
«Въ саду—фонарики со всѣхъ сторонъ...
«А здѣсь, смотри, какой у насъ балконъ;
«По вечерамъ мы будемъ на балконѣ
«Пить чай».
— Ахъ, да! Я буду вамъ читать
Всю ночь, всю ночь! Я такъ люблю не спать!

Какъ весело! Не то что въ пансіонѣ —
Тамъ въ десять ужь извольте почивать!

II.

«Какая ты хорошенькая, Маша!»
Любуясь ею, говорилъ папаша.
«Да поцѣлуй меня еще, дружокъ...
«Эхъ, нѣтъ покойницы Настасьи
«Ананьевны! Знать, не судилъ ей Богъ,
«Какъ мнѣ, дожить до этакаго счастья!..»
Старикъ отеръ слезу и изъ очей
У Машеньки блеснули слезки тоже.
«Эхъ, старый я дуракъ! Ну! Царство ей
«Небесное! Ты мнѣ всего дороже!
«Не плачь, дружокъ, развеселись скорѣй».

III.

Какъ описать вамъ Машу безпристрастно?
Въ ея чертахъ особенности нѣтъ,
Хотя черты такъ тонки и прекрасны,
Заманчивъ щекъ прозрачный, смуглый цвѣтъ
Коса густая, взоръ живой и ясный...
Но не люблю я дѣвъ ея поры:
Онѣ—алмазъ безъ грани, безъ игры;
И я, смотря на дѣву молодую,
Прекрасную, какъ мраморный антикъ,
Твержу—ахъ, еслибъ жизни лучъ проникъ
И освѣтилъ чудесную статую!

IV.

Дѣйствительность, гдѣ страждетъ нищета,

. . . . . .

Гдѣ ищетъ духъ отрады въ усыпленьѣ,
Гдѣ чувство сдавлено, гдѣ жизнь—пуста,
Вся въ кукольной комедіи приличій;
Гдѣ человѣкъ—манкенъ, гдѣ богъ—обычай,—
Была для Маши пламенной чужда,
И называлась *прозою презрѣнной*.
Въ ней разумъ спалъ; за то ея мечта
Работала, какъ зодчій вдохновенный.
Фантазія безъ образовъ, безъ лицъ,
Какъ дивное предчувствіе чего-то,
Творила міръ безъ цѣли, безъ границъ,
Блестѣвшій яркой, ложной позолотой.
То геніемъ хотѣлось ей парить
И человѣчеству благотворить:
Однимъ движеньемъ палочки волшебной
Пролить покой и силою цѣлебной
Больныя раны излѣчать; то въ глушь
Уйти, межь горъ и безднъ; жить въ гротѣ дикомъ
Съ однимъ созданьемъ избраннымъ, великимъ,
И утопать въ гармоніи двухъ душъ...

V.

Для старика не много измѣненья
Въ житьѣ-бытьѣ произошло тогда,
Какъ появилась Маша: иногда
Былъ на гуляньѣ съ дочкой въ воскресенье;

Ложился позже, позже сталъ вставать;
На цыпочкахъ ходилъ, когда читать
Изволитъ Маша... Лиліи, тюльпаны
Въ саду явились; въ залѣ фортепьяны
(Хоть музыкантшей Маша не была)
Да пяльцы у рабочаго стола.
На столикѣ валялось разныхъ книжекъ
Десятокъ—вотъ и все... Ахъ, нѣтъ, забылъ,
Изъ Шурочки вертлявый желтый чижикъ
Повышенъ: Ламартиномъ названъ былъ,
Хоть старику темна была причина—
«Да чѣмъ же хуже Шурочка Мартына?»
Почти не измѣнилось ничего;
Предметы тѣ же, но съ иной душою,
Съ иною жизнью. Свойство таково
У женщины: наполнить все собою!
Вокругъ нея какъ будто разлита
Намъ чуждая, другая атмосфера,
Какой-то свѣтъ, и миръ, и теплота,
Любовь и смѣхъ, спокойствіе и вѣра.

VI.

Прошла недѣля—Маша весела;
Глубокій миръ ея уединенья
Воспламенялъ ея воображенье...
Сердилась лишь, скучна она была,
Когда старикъ опаздывалъ обѣдать,
Да на подругъ роптала—не могла
Никакъ понять—какъ можно не провѣдать?

Не разъ она въ Морскую въ *бель-этажъ*
Посланія по почтѣ отправляла;
Рѣшилась *объясниться* и писала...
Какъ вдругъ гремитъ знакомый экипажъ,
И съ дочерью подъѣхала старушка.

VII.

— Zizine!
— Marie! Вотъ, видишь ли, Marie.
Какъ слово я держу.
— Zizine! Ахъ, душка!
О, мы друзья, и вѣчно? Говори!
— О, вѣчно!..
— У меня такъ было много
Тебѣ сказать...
— И мнѣ!
— О, ради Бога,
Скорѣй!
— Постой. Какъ мило у тебя—
Цвѣты...
— Цвѣты? Все накупилъ папаша.
Ты не повѣришь, душка, какъ меня
Онъ любитъ.
— Твой рара?.. Ахъ, Маша,
Мнѣ кажется, я полюблю его
За то, что онъ тебя такъ любитъ... Право...
Хоть онъ такой...
— Zizine!
— Ахъ, ничего,

Ну, не сердись. Что это за кудрявый
Цвѣтокъ?
— Простой.
— А этотъ вонъ, большой
Высокій, желтый? Вѣрно, дорогой!
— Подсолнечникъ.
— Милашка! Ахъ, конечно,
Я для себя велю купить... Marie,
Завидовать тебѣ я буду вѣчно!
Какъ хорошо тебѣ здѣсь, посмотри,
Счастливица! Аллея! Сколько тѣни!
Какой чудесный запахъ отъ сирени...
Какъ весело здѣсь цѣлый день гулять,
Мечтать и думать, думать и мечтать.
— Конечно... Но одной, безъ друга, скучно!
— А я-то что жь? Ты только напиши,
Вѣрь, я явлюсь. Мы были неразлучны
И въ классахъ. Ты—ты часть моей души.
— Ахъ, добрая Zizine!
Смѣясь сквозь слезы,
Подруги обнялись. Какъ вешни розы
Пылали щеки ихъ; рука съ рукой;
Головка Маши смуглой и живой
Лежала на груди блондинки Зины.
У Греза есть подобныя картины.

VIII.

Маша.—Я многое обдумала одна,
О, Боже! Для чего я не богата!

Ты знаешь, душка, я вѣдь не жадна,
И, вѣрь, презрѣннаго металла злата
Желала бъ я для счастія людей.
Пренебрегла бы я законы свѣта:
Нѣтъ, гдѣ-нибудь, въ лачугѣ, безъ друзей,
Въ страданіяхъ—нашла бы я поэта;
Къ нему бъ пришла я ангеломъ любви;
Сказала бы: «Ты удрученъ судьбою,
Но я даю тебѣ, своей рукою—
Любовь мою и золото: живи!
Живи!.. Ему была бъ я вдохновеньемъ;
Онъ міру бы слова небесъ вѣщалъ;
И цѣлый міръ ему бъ рукоплескалъ...
Какъ я бъ была горда своимъ твореньемъ!
— «Когда бъ, Marie, была поэтомъ я,
Я бъ выбрала тебя своею музой!
Но вѣдь поэты—гадкіе мужья;
Бракъ, говорятъ, имъ тягостныя узы...
Кто это, погляди, Mimi, скорѣй!
Кавалеристъ и на конѣ... Вотъ чудо!
Вообрази: знакомый! Точно: онъ
Бывалъ всегда у Вѣрочки Посуды.
— Противный! Какъ онъ былъ всегда смѣшонъ!
Я презираю!
— Что же онъ здѣсь скачетъ?
Ахъ, погляди, какой чудесный конь!
А латы, каска блещутъ, какъ огонь!
Ахъ, душка— каска! Что же это значитъ?
Зачѣмъ онъ здѣсь?

— Какъ смѣть?
— Скорѣй уйдемъ.
Подумаетъ, что мы нарочно ждемъ.
— Заговоритъ, пожалуй!.. Фи, какъ стыдно!
— Ахъ, Боже! Маменька, за мной... Прощай,
Marie!
— Прощай, Zizine; не забывай!
— Ахъ, quelle idée! Мнѣ, право, преобидно!
— Нѣтъ, поклянись!
— Я разъ ужь поклялась.
— Такъ мы друзья?
— Ахъ, Боже мой, конечно!
— И вѣчно?
— Да! Карета понеслась,
И дѣвушки разстались съ крикомъ: «Вѣчно».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Чуть освѣжась холодною водой,
И наскоро свернувши косу змѣйкой,
Въ капотѣ легкомъ, съ обнаженной шейкой,
Красавица являлась въ садикъ свой,
Къ своимъ цвѣтамъ, то съ граблями, то съ лейкой.
Потомъ въ тѣни, среди семьи цвѣтовъ,
Какъ ихъ сестра, садилась и читала.
О, какъ тогда ея кипѣла кровь!
Изъ рукъ порою книга выпадала.
И въ сладкомъ забытьи неслась тогда
Душа ея... Богъ вѣдаетъ куда...

II.

Кавалеристъ межь тѣмъ являлся чаще...
То будто вихрь промчится на конѣ
Въ красивой каскѣ, въ блещущей бронѣ;
То такъ идетъ, разстроенный, молящій.
Онъ Машеньку немножко занималъ—
(Такъ крошечку! Предметъ ея мечтаній
Все былъ поэтъ—дитя святыхъ страданій).
«А этотъ что? Быть можетъ, проигралъ!
Вѣдь эти гадкіе мужчины, право,
Богъ знаетъ, какъ живутъ!.. Противный онъ!
Обкрадывать другъ друга имъ забава!»
Она ушла, захлопнувши балконъ;
Но на себя потомъ досадно стало.
«Кто право далъ его мнѣ оскорблять;
Могу ль я людямъ запретить гулять
По улицѣ? Имъ нравится—пожалуй!
Пускай и онъ... привыкла я давно;
Быть можетъ... О, мнѣ, впрочемъ, все равно!»

III.

Какъ звѣзды средь небеснаго селенья,
Онъ совершалъ обычное теченье.
Такъ медленно идетъ, усы крутитъ,
Вздыхаетъ, въ садъ задумчиво глядитъ.
Разъ, встрѣтивъ взоры Маши, поклонился,
Но такъ былъ блѣденъ, грустенъ и угрюмъ,
Что въ этотъ мигъ ей не пришло на умъ,
Что надо разсердиться. Онъ сокрылся.

IV.

Другой, быть можетъ, бросилъ бы письмо.
Но сей герой писалъ не очень шибко—
Онъ размышлялъ—въ письмѣ одна ошибка
Испортитъ дѣло: вѣчное клеймо!
. . . . . .
. . . . . .

V.

Остановясь однажды за рѣшеткой,
Заговорилъ онъ такъ печально, кротко,
Что Маша испугалася его.
«Сударыня, вамъ ничего не стоитъ
Страдальца осчастливить.
— Мнѣ, кого?
Что вамъ угодно?
— Если безпокоитъ
Васъ просьба—я, пожалуй, замолчу.
— Что вамъ угодно?
— Ахъ, прошу... позвольте...
Изъ сада вашего имѣть хочу
Цвѣтокъ я непремѣнно.
— Вотъ, извольте.
— Нѣтъ, нѣтъ, не этотъ.
— Розанъ?
— Нѣтъ, не тотъ.
— Который же? Скажите, я не знаю.
— Ахъ, еслибъ могъ я указать... Ну, вотъ
Что подлѣ лиліи...

— Не понимаю;
Тутъ былъ нарциссъ—его я сорвала.
— Нѣтъ, не нарциссъ... Вы имъ такъ любовались!
Тюльпанъ, гдѣ, помните, еще ползла
Букашка; вы сначала испугались...
— Не знаю, гдѣ же мнѣ его найти?..
— Позвольте на минуточку войти?
— Какъ это можно? Папеньки нѣтъ дома.
— Такъ что жь, ему разскажете потомъ,
. . . . . .
Что жь тутъ дурного?
— Вы вѣдь незнакомый!
И думала она, какъ Гамлетъ—*быть*
Или не быть—впустить иль не впустить?
— Ахъ, что вы? Что вы? Боже мой, уйдите!
Я закричу.
— Уйду-съ . . . . . .
. . . . . .
Вы ледъ: душа въ васъ какъ гранитъ жестка.
Вы слезы лить готовы надъ романомъ.
А человѣкъ предъ вами хоть умри—
Вамъ все равно. Какимъ-нибудь тюльпаномъ,
Который свянетъ нынче жь до зари,
Вы дорожите... Это вѣдь ужасно!
— Возьмите, я хоть всѣ цвѣты отдамъ;
Мнѣ ихъ не надо... Но зачѣмъ же вамъ
Тюльпанъ такъ нуженъ?
— Ангелъ мой прекрасный,
И можете вы спрашивать зачѣмъ?

Глядѣть и знать, что вы его касались,
Что вы ему съ любовью улыбались—
А я слезами оболью... Затѣмъ,
Чтобъ онъ всегда мнѣ вспоминалъ мгновенье,
Когда отъ васъ теперь, изъ сожалѣнья,
Онъ данъ мнѣ... Вы не знаете, вашъ ликъ
Какъ ангела Господня я встрѣчаю,
Съ тѣхъ поръ, какъ васъ увидѣлъ, я постигъ
Всѣ ваши совершенства.

— Я не знаю,
Чего же вы хотите?

— Иногда
Позвольте видѣть, слышать васъ, хоть тайно,
Хоть издали; улыбку, хоть случайно,
Мнѣ искупить цѣною слезъ моихъ—
Позволите? О, я вамъ благодаренъ
За жизнь. Ахъ, дайте ручку!..

Въ этотъ мигъ
Анютка изъ окна шепнула: «Баринъ!»
— Ахъ, папенька! Пустите,

— Я прійду
Сюда же завтра.

— Боже мой, скорѣе
Уйдите!

— Машенька, гдѣ ты! Въ саду?
Анютка, собирай обѣдъ живѣе!
Здорово, Маша, ангелочикъ мой.
Не знаю, право, другъ мой, что со мной?
Я съ молоду трезовъ былъ въ поведеньи;

И нынче развѣ что для дня рожденья
Сотерну рюмку. Я, вотъ видишь, всталъ;
Ну, къ должности пришелъ; дѣла сыскалъ—
Все хорошо. Кузьма Ильичъ Батыевъ
Перебѣлить мнѣ предписанье далъ
Въ палату въ Могилевъ, нѣтъ, прежде въ Кіевъ—
Все хорошо—окончилъ—написалъ.
Сѣлъ за другое: тутъ меня схватило
Подъ ложечкой, въ глазахъ ажь помутило.
Да, слава Богу, тутъ случись со мной
Ошлепниковъ, Панталеонъ Иванычъ,
«Что съ вами, говоритъ, вы бъ шли домой,
Да выпили чего-такого на ночь».
Насилу вышелъ—тутъ ужь отлегло,
И слава Богу, вотъ совсѣмъ прошло».
—«Ахъ, бѣдненькій! Ахъ, добрый мой папаша!»
Какъ коршуна избѣгшій голубокъ,
Къ отцу прижавшись, зарыдала Маша.
— «Эхъ, дурочка! Прошло вѣдь. Съ нами Богъ!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Какъ тонкій ядъ, въ взволнованную кровь,
Прокралась въ сердце Машеньки любовь;
И мощно вдругъ въ душѣ проснулись юной
Живымъ аккордомъ дремлющія струны.
Ей чудный міръ открылъ врата свои,
Міръ—сладкихъ тайнъ, плѣнительныхъ мечтаній,

Міръ съ нѣгою блаженства и страданій,
Со всею милой глупостью любви.

II.

О, не бѣги любви, дитя мое!
Пусть розы цвѣтъ лицо твое утратитъ,
За то твой духъ, все бытіе твое
Такою полной жизнію охватитъ!
Вокругъ тебя пока міръ цѣлый спитъ;
Потомъ проснется вдругъ, заговоритъ;
Въ блаженствѣ ты душою съ нимъ сольешься;
Тогда найдешь ты друга въ немъ себѣ:
Онъ засмѣется, если ты смѣешься,
Заплачетъ, если плачется тебѣ.
И звѣзды вечера тебѣ укажутъ
Свой тайный смыслъ; поймешь внезапно ты,
Что̀ шепчутъ ночью листья и цвѣты;
И слезы дивныя глаза увлажутъ;
Услышишь—міръ шепнетъ тебѣ «люблю»—
И этотъ звукъ проникнетъ грудь твою,
И грудь твоя, уста и очи скажутъ
«И я люблю»...

III

У Машеньки въ глазахъ
Все измѣнилось: будто на крылахъ
Какой-то геній, духъ неуловимый,
По комнатѣ ея порхалъ незримо,
Надъ нею вился, жилъ въ ея цвѣтахъ.

Какъ часто вдругъ, себя не понимая,
Невольно остановится она;
Глядитъ и внемлетъ, втайнѣ замирая,
Какъ будто бы она тамъ не одна:
Въ ея окно ворвавшіяся вѣтки
Черемухи, сирени и березъ,
И вѣтерокъ, дышавшій нѣгой розъ,
И чижикъ, рѣзво прыгавшій по клѣткѣ,
Какъ будто съ кѣмъ-то были заодно,
И видѣли невидимое ею...
И Маша думала: «Душа его
Является бесѣдовать съ моею»...

IV.

Теперь, въ часы волшебныхъ вечеровъ,
Когда заря полнеба обнимала,
Понятною, торжественною стала
Ей музыка. Языкъ ея безъ словъ
Такъ ясенъ былъ, такъ полнъ душевной боли;
И въ этомъ царствѣ воплей, бурь и слезъ
Неосязаемый рѣдѣлъ хаосъ,
Міръ возникалъ велѣньемъ высшей воли,
Но книга—прежде вѣрный, милый другъ,
Теперь у ней ужь падала изъ рукъ:
Казалось ей тамъ все такъ глухо, нѣмо...
Что ей Омиръ и Шекспиръ, если въ ней
Творилася великая поэма,
Всѣхъ эпопей громаднѣй и живѣй?

Какъ ни возись съ октавой иль сонетомъ—
Все будешь передъ ней плохимъ поэтомъ!

V.

Какія жь пѣсни пѣла муза ей?
Какой она заслушивалась лиры?
Въ величіи героевъ древнихъ дней,
Строителей Бабеля и Пальмиры:
Иль рыцаремъ креста, любви и дамъ,
Иль музыкальнымъ странникомъ Прованса,
Ея герой предсталъ ея мечтамъ?
Въ его рѣчахъ—то нѣжный стихъ романса,
Исполненный любви, и слезъ, и нѣгъ,
У оконъ замка, съ арфой, ночью лунной;
То вопли Байрона, землѣ перуны,
Угрозы небу; мощный, гордый смѣхъ,
Великій, злой—хоть женски-малодушный.
И чувству новому во всемъ послушно
Вся отдалась она своей душой;
Участія хоть въ комъ-нибудь искала;
И, наклонясь надъ розой молодой,
Какъ другу, тайно ей она шептала
Событія романа своего.
Тоску любви и трепетъ ожиданья,
Восторгъ и робость тайнаго свиданья,
И долгаго лобзанья волшебство...

VI.

Онъ говорилъ—«Мы будемъ неразлучны,
Поѣдемъ въ полкъ; возьмемъ отставку; тамъ

Пространствуемъ по разнымъ городамъ,
Въ Италію—о, намъ не будетъ скучно!
Но мой отецъ—онъ человѣкъ крутой,
Меня женить онъ хочетъ на другой,
Но пусть меня оставитъ онъ безъ крова—
Лишь сердце можетъ друга указать...
Но надобно до времени молчать
И папенькѣ не говорить ни слова.
Ужь онъ кому-нибудь словцо ввернетъ:
Разскажетъ—ну, хоть чижику, а тотъ
Анюткѣ; Аннушка кумѣ Θеклушѣ,
И прокричатъ по улицамъ кликуши».

VII.

О, Боже мой! Все есть въ его словахъ,
Чтобъ поширять фантазіи летучей:
Гонимъ отцомъ,—ему душой могучей
Противусталъ; онъ презрѣлъ *тлѣнъ* и *прахъ*
(Касательно наслѣдства); какъ изгнанникъ
Скитаться онъ пойдетъ, печальный странникъ;
Но съ нимъ она—подъ небомъ голубымъ
И аліи; тамъ гондолы и Брента;
Тамъ міръ искусствъ; Феррара и Соренто,
Везувій, море, Колизей и Римъ!!!

ГЛАВА ПЯТАЯ

I.

Василій Тихонычъ имѣлъ привычку,
Обѣдъ окончивъ, поласкавши птичку,

Пойти всхрапнуть.
Однажды той порой
Въ ближайшей къ дому улицѣ глухой,
Остановилась страннаго размѣра
Извощичья карета. У угла
Въ шинеляхъ два стояли офицера,
И бойкая у нихъ бесѣда шла.

II.

Одинъ изъ нихъ былъ давній нашъ знакомецъ—
Кавалеристъ и маменькинъ питомецъ;
Хоть лѣтопись боярской ихъ родни
Давно хранила имена одни
Прокофія, Егора и Ивана,
Но вслѣдствіе какого-то романа
Обычая порядокъ измѣненъ—
И Клавдій—Клавдіемъ былъ нареченъ.

III.

Другой—его я имени не знаю;
Да врядъ ли кто и зналъ, я полагаю.
Онъ вышелъ самъ изъ строевыхъ чиновъ,
Его всѣ звали—просто Гвоздаревъ.
Онъ слылъ всегда отчаяннымъ рубакой,
Лихимъ товарищемъ, а оттого
Не обходилось дѣло безъ него,
Грозившее опасностью иль дракой.

IV.

Гвоздаревъ.—Ну, братъ, поддѣлъ! Ужь если ты не врешь —
Забавная исторія!

— Прекрасно!
Изо всѣхъ лжей, въ такихъ вещахъ, братъ, ложь—
Гнуснѣйшая, порокъ, братецъ, ужасный!
Скажи, совралъ ли я когда-нибудь?
Ты помнишь Соню—прелесть что такое!
Вѣдь не совралъ? Я не могу надуть
Товарища. Потомъ, княгинѣ Зоѣ
Не самъ ли ты записки отдавалъ?..
Да что тутъ говорить—увидишь скоро.
— Ну, молодецъ! Вѣдь дѣло не изъ спора.
Вотъ Вьюшкинъ, фу, ты чортъ, какъ вретъ! сказалъ,
Что подцѣпилъ посланницу—да только
Посланница-то просто...
— Ну, нашелъ!
Понравится онъ женщинѣ: оселъ!
— Посланница!.. Вѣдь правды ни на столько!
Я только такъ тебѣ теперь сказалъ;
Не знаю, что за стать тебѣ возиться
Съ дѣвчонками; и изъ чего тутъ биться—
Слезъ... Господи! Навяжутся... Пропалъ!
Я не могу—расплачусь самъ какъ дура.
Что дѣлать, братецъ,—скверная натура!
Нѣтъ, женщинъ я люблю, да вотъ такихъ,
Какъ кто-то написалъ стихи про нихъ:
«Блаженъ кто могъ, о дѣва ночи»...
— Эге! давно ль ты сталъ читать стихи?
— Читалъ, братецъ, да много чепухи.
— Такъ дѣвочки...
— Ни на что не похожи.

— И я тебѣ скажу стихами тоже,
Старинные: какъ въ корпусѣ я былъ,
Еще тогда ихъ какъ-то затвердилъ—
Съ дѣвицами мнѣ очень пригодилось.
Какъ, знаешь, брякнешь вдругъ—«*Постыли мнѣ*
Всѣ дѣвы міра!» Смотришь—и склонилась
Головкою и таетъ, какъ въ огнѣ;
А я себѣ реку, какъ жрецъ искусства,
«*Ты рождена воспламенять...*» Фу, чортъ!
Соперникъ тутъ—капутъ и à la porte!

. . . . . .

— Да, хорошо въ стихахъ, а такъ-то гадко,
Поплачешься. Ей-Богу, никогда
Не буду брать я на себя труда
Вамъ помогать. Бьетъ точно лихорадка.
— Эхъ, баба, трусъ! Тебѣ бъ гусей пасти;
Да если ты боишься, такъ поди.
— Нѣтъ, что! Ужь обѣщалъ.
— Чего жь ты трусишь?
— Да, какъ заплачетъ, такъ языкъ прикусишь.
Смотри, мелькнуло что-то тамъ, въ саду.
— Ну, жди меня, я тотчасъ съ ней прійду.
— Ступай, ступай! Ужь эти мнѣ интрижки!

. . . . . .

. . . . . .

Добро бъ мѣщанка—ну, туда-сюда,
Ну, нѣмка, швейка или хоть цыганка,
А то вѣдь все, какъ ни было бъ, дворянка.
Чай, у нея и связи, и родня...

V.

КЛАВДІЙ, МАША.

— Ну, ангелъ мой, давно я жду тебя;
Что, наконецъ, успѣла ты собраться?
— Куда же, другъ мой?
— Какъ куда? Вѣнчаться.
— Послушай, Клавдій, нынче я всю ночь
Проплакала.
— Что такъ?
— Мнѣ страшно было...
— Пожалуйста, дурного не пророчь.
— И не было во мнѣ день цѣлый силы
Глядѣть на папеньку; зачѣмъ скрывать
Отъ старика?
— Ну, разскажи, пожалуй—
А онъ пойдетъ по городу болтать.
И планъ нашъ, счастье—все какъ не бывало!
Нѣтъ, ты меня не любишь. Для тебя
Я бросилъ все... Что жь, этого все мало?
Нѣтъ, это не любовь.
— Ахъ, полно! Я твоя...
— О чемъ же плачешь ты, душа моя?
— Не знаю... Такъ... Мнѣ въ этотъ мигъ казалось,
Что будто бы навѣкъ я разставалась
И съ домикомъ, и съ садомъ...
— Пустяки!
Мы завтра же сюда какъ разъ подкатимъ.

Папà намъ будетъ радъ—вѣдь старики
Посердятся, а тамъ, глядь, въ три ноги
Ударятъ сами... Но мы время тратимъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

Прошло три дня. Поутру Гвоздаревъ
Шелъ къ Клавдію. «Чортъ знаетъ что со мною!
Вѣдь, кажется, натурой боевою
Я надѣленъ, и двадцать пять годовъ
На линіи чуть съ чортомъ не сдружился.
А тутъ теперь съ дѣвчонкой повозился...
Сталъ самъ не свой, и гадко, чай, взглянуть.
Ужь не болѣзнь ли это? Ноетъ грудь...
Нѣтъ, не болѣзнь, а просто скверность. Тò-то,
Все думаешь затылкомъ. Помогать
Чортъ знаетъ въ чемъ припала вдругъ охота!
Да не подумалъ къ рожѣ ль, есть ли стать!
Эй, Куликовъ, ну что, не принимаютъ?
— Да, нѐ звали; должно быть, почиваютъ.
— Здоровы?
— Слава Богу.
— А она?
— Кто-съ, барыня? Да что имъ?
— Очень плачетъ?
— Извѣстно, плачутъ.
— Чай, она больна?
— Да, то больна, а то поетъ и скачетъ.

— А баринъ что?.. Онъ крѣпко полюбилъ?
— На счетъ того не слышно разговора,
Да мы не долго вѣдь—наскучитъ скоро.
— Ну, ты скажи, что я, молъ, приходилъ.

II.

А Клавдій, съ трубкой длинною въ рукахъ,
На канапэ сидѣлъ какъ падишахъ,
Въ халатѣ шитомъ, въ узорочной фескѣ.
Лучъ солнечный, скользя сквозь занавѣски,
Прозрачный дымъ разрѣзавъ, заклубивъ,
По комнатѣ лился златой струею;
И мимоходомъ, ярко озаривъ
Тальони бюстъ, хрусталь съ живой игрою,
Онъ упадалъ на голову, на грудь
Маріи спящей.

III.

Милое созданье!..
Кто на нее, въ волшебномъ обаяньѣ
Не заглядѣлся бы, боясь дохнуть?
Какъ живописно, какъ небрежно-ловко
Она раскинулась: одна рука
Заброшена за милою головкой;
Къ другой прижалась жаркая щека;
И косы, пышныя какъ шелкъ развитый,
Бѣгутъ, блестя, съ подушки пуховой;
Тамъ ножки такъ заманчиво открыты,
И очеркъ формъ прекрасныхъ... чудный видъ...

Устами бы коснулся упоенный,
Холодныхъ плечъ, щеки воспламененной!..
Но эта мысль, которая не спитъ,
И спящею красавицей играетъ,
То пурпуромъ лицо ей обагряетъ,
То блѣдностью въ ланитахъ пробѣжитъ,
То сдавитъ грудь, и грудь ея заноетъ,
Какъ будто крикъ обиды въ ней замретъ,
То ужасомъ уста ея раскроетъ,
То въ поцѣлуй горячій ихъ сомкнетъ:
Нѣтъ, эту мысль, ту дѣющую душу
Въ ней чувствуя и съ трепетомъ слѣдя,
Ты очарованъ, скажешь: «Спи, дитя,
Сна таинства я дерзко не нарушу».
И Клавдій думалъ: «Пусть она поспитъ,
Покуда самоваръ не закипитъ».

IV.

— «Ну, розанчикъ, насилу встала ты,
Лѣнивица. А я ужь приступаю
Къ чаямъ.
— Зачѣмъ же ты, не понимаю,
Не разбудилъ?
— У васъ вѣдь все *мечты*.
Особенно подъ утро—о, я знаю!!!
Скажи же, что ты видѣла во снѣ?
А покраснѣла!
— Вамъ какое дѣло?
— Признайся, все мечтала обо мнѣ?

— Вотъ вздоръ какой! Ни мало.
— Покраснѣла!..
Мадамъ прислала шляпку и бурнусъ.
Когда не такъ—прошу ужь извиненья—
Я виноватъ: я выбралъ на свой вкусъ.
— Ахъ, шляпка бѣлая... я въ восхищеньи!
Вотъ именно какой хотѣлось мнѣ.
— Да не ее ль ты видѣла во снѣ?
— Пожалуйста!.. Ахъ, какъ сидитъ чудесно!
Бурнусъ прекрасный. Этотъ цвѣтъ небесный
Ко мнѣ идетъ. Вѣдь я всегда блѣдна,
И брови черныя, глаза большіе,
Ну, погляди, я, право, недурна.
Я выпущу тутъ локоны: густые
И черные на голубомъ—charmant.
Вся завернусь въ бурнусѣ съ гладкой спинкой,
На шеѣ съ легкой палевой косынкой,
Въ атласныхъ башмачкахъ—mais c'est piquant!
— У! Божество мое!
— И мы съ тобою
Поѣдемъ за́ городъ, гдѣ нѣтъ людей.
— Хоть за сто верстъ.
— Я жажду всей душою
Увидѣть небо, лѣсъ, просторъ полей.
Вѣдь я почти природы не видала;
Разъ только лѣтомъ съ папенькой гуляла:
За нашимъ домомъ поле и ручей—
Какъ весело... Ахъ, что-то мой папаша!
Что съ нимъ теперь! Ахъ, Боже мой, гдѣ онъ?

Онъ не проститъ меня!.. Онъ раздраженъ,
Онъ такъ любилъ меня!..
— Что это, Маша,
Опять ты плачешь—скучно! Я сказалъ,
Что онъ намъ дастъ свое благословенье,
Но надо ждать. Священникъ не вѣнчалъ
И не хотѣлъ вѣнчать безъ позволенья
Родителей, но послѣ обѣщалъ,
. . . . . .
Меня ты сердишь глупостью своею.
— Прости меня. Я вѣрю, я о томъ
Не буду даже думать.
— И прекрасно!
И вотъ она опять съ улыбкой ясной,
Исчезла мигъ сверкнувшая слеза;
Она глядѣла такъ ему въ глаза
Довѣрчиво, какъ смотрятъ только дѣти.
— «Послушай, Клавдій, ты мнѣ все на свѣтѣ,
Ты счастливъ ли какъ я?
— А могъ ли бъ быть
Я меньше счастливъ?
— О, какъ жизнь прекрасна!
А жизнь въ одномъ лишь словѣ—вѣкъ любить.
А вѣдь живутъ и безъ любви... Ужасно!
Не вѣрю я—жить безъ любви—страдать.
Но знаешь ли, когда бъ меня спросили,
Какъ я люблю и сколько—отвѣчать
Я бъ не могла... Ужели бъ заключили,
Что не люблю я? О, какъ свѣтъ смѣшонъ!..

— «Эге, такъ вотъ, не въ этомъ ли твой сонъ?
— «Ахъ, ты все шутишь!.. Помнишь ли, объ этомъ
Ты говорилъ со мной давно ужь, лѣтомъ;
Ты помнишь ли, сказалъ мнѣ, что любовь
Безъ жертвъ не есть любовь; я этихъ словъ
Значеніе теперь лишь угадала.
Хоть я тебѣ покорна, какъ судьбѣ,
Все кажется, что сдѣлала я мало,
И что ничѣмъ не жертвую тебѣ».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Какъ опустѣлъ нашъ домикъ на Пескахъ!
Закрыты ставни, заросли травою
Дорожки, и крапива въ цвѣтникахъ.
Недавно бурей сломаны ночною
Лежали вѣтви желтыя деревъ;
Никто прибрать не думалъ ихъ съ дорожки,
Ни подвязать попорченныхъ кустовъ,
Ни вставить стеколъ выбитыхъ въ окошки:
Василій Тихонычъ лежалъ больной,
Безъ памяти, въ горячкѣ. День-денской
При немъ была сидѣлка нанятая,
Гадавшая спокойно при больномъ,
Что скоро ли ея докука злая
Окончится какимъ-нибудь концомъ,
И вымещавшая на кофеишкѣ
Заботы о проклятомъ старичишкѣ.

II.

Нѣтъ, время не старикъ. Нѣтъ, въ старцѣ умъ
Спокоенъ, мудръ, безгнѣвенъ, твердъ, угрюмъ.
Нѣтъ, время—женщина, дитя: ревниво,
И легкомысленно, и прихотливо;
Капризное—вдругъ радость унесетъ,
За мигъ блаженства вырветъ злыя слезы,
Сорветъ съ чела цвѣтущій миртъ и розы
И терніемъ колючимъ обовьетъ;
Но вдругъ потомъ пробудится въ немъ жалость,
И выкупить свою захочетъ шалость—
Тутъ явится оно опять какъ другъ,
И исцѣлитъ мучительный недугъ.
Василій Тихонычъ, чуть-чуть, по малу,
Сталъ поправляться, въ комнатѣ бродить
И иногда на солнце выходить,
Гулять одинъ въ сосѣдствѣ, по каналу.

III.

Осенній день былъ ярокъ. Громкій звонъ
Гудѣлъ далеко. Было воскресенье.
Василій Тихонычъ всталъ рано. Онъ
Всю ночь не спалъ. Тяжелыя видѣнья
Его терзали, отгоняя сонъ.
Онъ вышелъ на крыльцо. Цыплята, куры,
Кудахча, тамъ стѣснилися къ пшену.
Онъ ихъ ласкалъ при этомъ въ старину,
А нынче отошелъ, сказавши: «дуры».
Онъ въ залу. Солнцемъ оживленный, тамъ

Веселый чижикъ пѣснью заливался,
Какъ въ дни, когда, бывало, по утрамъ
Здороваться старикъ къ нему являлся
И говорилъ, что́ было за душой.
Теперь онъ сталъ съ поникшей головой;
Особенно теперь онъ вспомнилъ ясно
Иные дни, которыхъ не вернешь...
А чижикъ пѣлъ все такъ же звонкогласно...
«Да что, дуракъ, ты горло-то дерешь,
Да замолчи, сверчокъ, ушамъ вѣдь больно!»
Онъ отошелъ, сердитый, недовольный.

IV.

По службѣ былъ пріятель у него.
Ужь двадцать лѣтъ они сидѣли рядомъ;
Вѣрнѣе—двадцать лѣтъ другъ къ другу задомъ
Они сидѣли... Боже мой! Чего
Не дѣлаетъ судьба на свѣтѣ бѣломъ!
Пріятели по днямъ сидѣли цѣлымъ
Другъ друга слыша, чувствуя, слѣдя,
Почти въ лицо другъ другу не глядя.

V.

Давно Иванъ Петровичъ въ службѣ высохъ.
Но, можетъ быть (не знаемъ мы того),
У множества головъ сихъ странныхъ, лысыхъ,
Какъ кажется, умершихъ для всего,
Которыхъ міръ такъ жалко обезличилъ,
Все есть одно, куда живымъ ключомъ

Прорвалась жизнь и съ чувствомъ, и съ умомъ...
Такъ узникъ былъ, который паукомъ
Всю жизнь ума и чувства ограничилъ.

VI.

— Василій Тихонычъ, пойдемъ гулять.
— Гдѣ мнѣ гулять!
— На острова поѣдемъ.
— Эхъ, полно вамъ.
— Да что же вамъ лежать
Весь день въ берлогѣ этакимъ медвѣдемъ...
Поѣдемте, надѣньте вицъ-мундиръ.
— Ахъ, знаете ль, не хочется, ей-Богу!
— Ну, полно же, живѣй, маршъ-маршъ въ дорогу!
Въ трактиръ зайдемъ пить чай.
— Ну, ужь въ трактиръ
Я не пойду. Тамъ, чай, народу много,
И въ публику мнѣ страшно выходить.
— Вотъ то-то, все сидитъ, да дома тужитъ!
. . . . . .
. . . . . .
— Нѣтъ, не пойду, Иванъ Петровичъ.
— Что жь?
— Такъ, не могу.
— Ужь вы надѣли брюки?
— Все не могу.
— Васъ, право, не поймешь.
Да ну, скорѣй мундиръ да шляпу въ руки!
— Меня какъ будто лихорадка бьетъ,

Такъ на сердцѣ нехорошо.
— Пройдетъ!
— Нѣтъ, не пройдетъ; ужь развѣ Богу душу
Отдамъ, тогда пройдетъ. Такъ не *пройтить*.
— Охота вамъ такъ страшно говорить,
И всякій смертенъ.
— Смерти я не трушу.
— Берите шляпу.
— Что мнѣ смерть теперь?
— Да полно, говорятъ.
— Такъ околѣю,
Какъ песъ, какой-нибудь поганый звѣрь,
Глазъ нѣкому закрыть мнѣ, какъ злодѣю.
— Ну, ну, пойдемъ. Ну, запирайте дверь.

VII.

Чиновники скромненько ваньку взяли
И поплелись рысцой на острова.
«И лѣтомъ былъ денекъ такой едва ли,
Смотрите-ко, вѣдь будто спитъ Нева».
Василій Тихонычъ хранилъ молчанье,
За то Иванъ Петровичъ говорилъ.
«Какъ пыльно! Уфъ! Дышать почти нѣтъ силъ!
Да слѣземъ тутъ, пройдемте до гулянья.
Смотрите-ка народу что идетъ,
Чай, всякіе—держитесь за карманы,
Кто ихъ теперь въ толпѣ-то разберетъ...
Глядите-ко, присталъ какой-то пьяный
Къ купчихѣ, знать: повязана платкомъ.

Здоровая, ей-ей, кровь съ молокомъ!
Чай, ѣстъ за трехъ! Ишь, жирная какая!
Эге, ругнула! Вотъ люблю, лихая!

Да это что, смотрите-ка сюда—
Здѣсь прежде будки не было. Когда
Поставили? Спросить бы часового...
Ахъ нѣтъ, была, да выкрашена снова.

Послушаемъ шарманки. Ишь какой
Тальянецъ—мальчикъ, а ужь черномазый.
Чай, сколько онъ проходитъ день-денской!
Какъ вертится! Ахъ, дьяволъ пучеглазый!
Ѣсть нѣчего въ своей землѣ у нихъ,
И суются куда бы ни попало.
Да. Ну, у насъ бы припугнули ихъ.
Вотъ нѣмецъ—тоже честный надувало:
Я чай, сигаръ изъ браку наберетъ,
А тутъ, поди-ка, сунься, такъ сдеретъ,
За штучку гривенникъ, да пятьалтынникъ.
Вотъ что! И знай.
Подвинемтесь туда,
Къ каретамъ. Ты, сѣдая борода,
Слышь, не толкай! Посторонись, аршинникъ!
Не видишь, что чиновники... Скорѣй,
Василій Тихонычъ, не пропустите,
Директорша. Да шляпу-то снимите.
Проѣхала. Директоръ не при ней.
А вонъ коляска... Да кто въ ней, глядите--

Не знаете? Вѣдь стыдно и сказать...
Вся въ кружевахъ теперь и блондахъ... Танька,
Та, что̀ жила у Прохорова нянькой!
И шляпка внизъ торчитъ... Тожь лѣзетъ въ знать!
Чуфарится! Туда жь съ осанкой барской!..
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Василій Тихонычъ, что жь вы стоите?
Пойдемъ пить чай!»
— Глядите-ко... глядите...
— Кто тамъ?
— Глядите...
— Кто?
— Она, она!..
Разряжена... Какъ весела... смѣялась...
— Пойдемте прочь, вамъ просто показалось,
— И онъ верхомъ... Мерзавецъ!.. Какъ жена
Съ нимъ говоритъ... Да что вы, не держите.
— Василій Тихонычъ! Уйдемъ, молчите!
Вы въ публикѣ... вниманье обратятъ.
Подумаютъ, что вы... свести велятъ
Въ полицію...
— Она того хотѣла,
Такъ на же, пусть въ полицію сведутъ!
Пускай при ней и свяжутъ, и возьмутъ!
Пусти меня!..
— Опомнись, это тѣло
И кровь твоя...

— Ну, тѣло, кровь, пусти!
Отца забыть! Съ любовникомъ уйти,
Отецъ—онъ старъ, дуракъ! Какое дѣло,
Есть или нѣтъ отецъ... Пускай реветъ...
Оставила... Пускай съ ума сойдетъ,
Что жить ему: околѣвай, собака!
Смотрите всѣ: вонъ, вонъ она, вонъ та—
Анаѳема! Будь вѣки проклята!..
— Уфъ, страхъ какой!
— Что тутъ за шумъ?
— Что? Драка?
Старикъ умолкъ. Дрожащія уста,
Казалось, говорить еще хотѣли,
Но голосъ замеръ, ноги ослабѣли,
И онъ упалъ. Коляска понеслась
Какъ вихрь. Толпа кругомъ еще тѣснилась.
— Я съ духомъ все еще не собралась.
Вотъ ужасти! Она, моя родная,
Какъ взвизгнула!
— Да блѣдная такая!
— Что тутъ такое?
— Проклялъ дочь отецъ.
— Да, проклялъ; да за что же? Злая доля
Тому, кто проклятъ... Ишь вѣдь молодецъ!
— Ахъ, батюшка! Родительская воля!
— Ишь, проклялъ!..
— Онъ вѣдь какъ безумный самъ.
Смотрѣли бы за нимъ всѣ по пятамъ—
Воды-то много тутъ. Чтобъ не случился

Съ нимъ грѣхъ какой...
— Ты слышалъ, тутъ одинъ
Порядочно-одѣтый господинъ,
Чиновникъ, проклялъ дочь и утопился?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I.

Пришла весна. Свѣтлѣютъ неба своды;
Свой бѣлый саванъ сдернула зима,
Дома темны, какъ древніе дома;
По улицамъ, журча, струятся воды;
Нева блеститъ и дымчатой волной
Играетъ съ жемчугомъ зеленой льдины.
Я Петербургъ люблю еще весной.
Какъ будто есть движенье: цѣпью длинной,
Въ грязи шумя и плеща колесомъ,
Стремятся экипажи; по колѣно
Въ водѣ еще кой-гдѣ, вертя кнутомъ,
Съ санями ванька тащится, рядкомъ
Съ лошадкою, покрытой бѣлой пѣной;
И тротуаръ на Невскомъ оживленъ;
Толпы ползутъ туда со всѣхъ сторонъ;
Людей, какъ мухъ, живитъ весны дыханье;
И раздаются шумно восклицанья:
«Что̀, братъ, весна! Я просто въ сюртукѣ—
И ничего!»—«Я тоже налегкѣ».
Лишь скептикъ, жертва мѣстнаго недуга,
(Зараза эта такъ у насъ сильна),

Замѣтитъ: «Да, пожалуй и весна,
А все, гляди, ужо потянетъ вьюга».—
Ну, словомъ жизни уличной просторъ!
Точь-въ-точь Парижъ: кофейни, лавки, клубы,
Трактиры, моды, книги, шляпы, шубы,
Журнальныхъ даже множество конторъ—
. . . . . .
. . . . . .

II.

Пойдемте вслѣдъ за яркою толпой.
Вотъ, пышными нарядами пестрѣя,
Двѣ барыни и баринъ съ бородой,
И съ ними сзади красная ливрея.
— Какъ Петербургъ нашли вы, мосье Paul?
Довольны ли вы сѣверной столицей?
— Что дѣлать? Возвратясь изъ-за границы
Невольно старую играешь роль—
Роль Чацкаго.
— Ахъ, это, право, мода!
— Кто странствовалъ, тотъ любитъ наблюдать
Въ лицѣ толпы особенность народа,
Души его оттѣнки подмѣчать.
Одинъ народъ угрюмъ, спокоенъ, важенъ;
Тотъ вдохновеньемъ блещетъ; а другой
Въ лохмотьяхъ—гордъ, безпеченъ, но отваженъ.
Тамъ югъ, здѣсь сѣверъ съ скукой и хандрой;
Куда ни взглянешь—видъ полубольной,
И мутные глаза безъ выраженья.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

— Ну, признаюсь, чудесный разговоръ
На улицѣ!.. Давно ль, съ которыхъ поръ
Вы бойки такъ, совсѣмъ другіе стали!
Я помню васъ студентомъ...
— Я созрѣлъ;
Въ два года много я узнать успѣлъ.
— Ужели сердцемъ вы не трепетали,
Когда родной языкъ вы услыхали?
— Какой языкъ, и какъ здѣсь говорятъ!
Французскія слова на русскій ладъ!
Не тотъ языкъ, что̀ искрится алмазомъ,
И радуетъ, и поражаетъ разомъ
Въ устахъ француза; нѣтъ, совсѣмъ другой,
Сухой, дипломатически-пустой,
Какая-то привычка къ мертвымъ фразамъ.
Вы, женщины, вы корень зла всего.
Одушевить языкъ своей улыбкой,
Сроднить его съ своей природой гибкой,
И женскимъ сердцемъ воспитать его
Вы не хотите... Грубая ошибка:
Какъ ни возись съ упрямымъ языкомъ

Писатели—прозаики, поэты,
Онъ будетъ сынъ, воспитанный отцомъ,
Не знавшій ласкъ сестры и не согрѣтый
Улыбкой матери.
— Кто жь виноватъ?..
Вы точно Чацкій... Желчь и злость—что слово.
Вы нынче вечеръ съ нами?
— Очень радъ...
Я такъ увлекся... Тетушка здорова?
— Mercі.
— А дядюшка?
— Онъ очень хилъ.
— Кузины?
— Васъ увидѣть будутъ *ради.*
Додо ужь замужемъ... и послѣ дяди
Получитъ много мужъ... онъ очень милъ.
— А ваши всѣ друзья?.. Мими?
— Какая
Мими?
— Брюнетка, помните, живая,
Вашъ другъ.
— Fi donc!
— Вы вышли вмѣстѣ съ ней
Изъ пансіона...
— Боже мой, молчите!
— Мими... вашъ другъ?
— Ахъ, что вы говорите!
— Вотъ дружба-то!
— Нѣтъ у меня друзей.

— Жива ль она?
— Да, умерла... для свѣта...
Maman, maman, чудесная карета,
Что привезли изъ Лондона Sophie...
— А гдѣ Sophie?
— Вонъ тамъ.
— А съ ней мосье Fifi?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I.

Но гдѣ она, гдѣ героиня наша,
Гдѣ бѣдная, гдѣ любящая Маша?..
Убита ли нечаянной грозой?
Иль чистая душа и съ ней сроднилась?
Изъ устъ отца проклятье разразилось
Какъ громъ небесъ надъ юной головой;
Надменный свѣтъ, ласкающій невѣжду
И мытаря, грабителя, шута,
Для ней навѣкъ закрылъ свои врата
Съ ужасной надписью: «Оставь надежду»...
(Ты палъ—такъ падай глубже; не мечтай
Когда-нибудь опять увидѣть рай,
Гдѣ человѣкъ блаженъ, безукоризненъ,—
Такъ скучно чистъ, такъ чопорно-безжизненъ).

II.

Марія все, увы! пережила...
Пережила: она какъ прежде любитъ.
Пусть страсть ее гнететъ, терзаетъ, губитъ,

Ея любовь подъ бурею была
Еще сильнѣй и пламенѣй. Казалось,
Что дивная душа проснулась въ ней;
Какъ подъ грозой прекрасный цвѣтъ полей,
Она въ слезахъ, казалось, укрѣплялась.
Пусть свѣтъ ее караетъ и разитъ,
Пусть страшный остракизмъ на ней лежитъ:
Что̀ судъ толпы посильно безпорочной,
Ругающей непризнанную страсть,
Хотя о ней мечтающей заочно
И каждый мигъ готовой втайнѣ пасть?

III.

А Клавдій? О, какъ ей мечталось сладко
Всю жизнь свою ему лишь посвятить,
Смягчать его, исправить недостатки,
Врожденное добро въ душѣ раскрыть.
Любовь надѣется... Однако нынѣ
Недѣля; какъ исчезъ онъ. Живъ ли онъ?
И цѣлый міръ для Маши сталъ пустыней.
Онъ вспыльчивъ, онъ, быть можетъ, завлеченъ
Въ дуэль... быть можетъ, кровью истекаетъ,
И не она какъ другъ при немъ была...
Ахъ, лучше пусть убитъ, чѣмъ измѣняетъ—
Вопило сердце, но она ждала.

IV.

Звонятъ. «Онъ, онъ!» И молніей блеснула
Ей радость. Взоръ мгновенно просвѣтлѣлъ,

По крикъ, напрягшій грудь, вдругъ излетѣлъ
Глубокимъ вздохомъ; сердце обмануло—
То былъ не онъ.

Вьюшкинъ.

— Я къ вамъ... я посланъ къ вамъ
Отъ Клавдія.
— Отъ Клавдія? О, Боже,
Онъ живъ?.. Ахъ, гдѣ онъ?
— Живъ-то живъ.
— Такъ что жс?
— Какъ вамъ сказать, не знаю, право, самъ;
Довольно трудно, хоть всего два слова.
— Ахъ, говорите, я на все готова!
— Онъ въ полкъ уѣхалъ: срокъ сталъ выходить...
— Уѣхалъ? Безъ меня? Не можетъ быть,
Я васъ не понимаю.
— Очень ясно:
Уѣхалъ въ полкъ.
— И я пойду за нимъ.
— Послушайте, отъ васъ скрывать напрасно.
Отецъ его суровъ, неумолимъ,
И Клавдій... васъ оставилъ.
— Нѣтъ, вы лжете!
— Съ чего жь мнѣ лгать пришла охота вдругъ?
Вотъ вамъ письмо.
— Подложное!
— Прочтете,
Того не скажете.

«Любезный другъ,
«Чтобъ избѣжать несносныхъ объясненій,
«Мнѣ тягостныхъ, а также и тебѣ,
«Беру перо. Оставь всѣ слезы, пени,
«Сообрази и покорись судьбѣ.
«Пора, мой другъ, намъ наконецъ разстаться.
«Ты—умница; ты все сама поймешь;
«Ты хороша, одна не пропадешь;
«Итакъ, прощай, счастливо оставаться!
«Вѣрь, не забуду я любви твоей—
«На первый разъ вотъ тысяча рублей».
— Вотъ видите каковъ онъ?
— Боже, Боже!..
— Я говорилъ: ни на что не похоже
Ты, братецъ, дѣлаешь; а онъ свое,
Что надоѣла, надобно ее
Оставить.
— Извергъ!
— Извергъ и ужасный!
Да что вы плачете? Ей-ей напрасно!
Слезинки бъ я не пролилъ за него.
Въ его душѣ—святого ничего!
Онъ говоритъ, что женщинъ только любитъ,
Пока ему противятся онѣ;
Что вопль и слезы только въ немъ сугубятъ
Презрѣніе... Марія, вѣрьте мнѣ,
Ни вашихъ слезъ, ни мыслей онъ не стоитъ...
Не знаю, право, что васъ безпокоитъ.
Да плюньте на него. Несправедливъ

Онъ къ вамъ; да вы ужель его не знали?
Онъ эгоистъ безкровный и едва ли
Когда любилъ—быть можетъ, и счастливъ
Онъ оттого бывалъ у женщинъ въ свѣтѣ.
Хотите ль знать, каковъ онъ? Въ немъ все ложь,
И добраго, и чести ни на грошъ;
Письмо—все вздоръ; резоны эти
Все выдумки, все тѣ же въ сотый разъ.
. . . . . .
. . . . . .
Я очень радъ, что онъ избавилъ васъ
Отъ объясненій—это трудъ напрасный.
Вы стали бы тутъ плакать, онъ курить
И въ потолокъ пускать колечки дыма...
Послушайте... вы будете любимы.
Нельзя васъ видѣть мигъ, и такъ уйти,
Не полюбить... клянусь, вы такъ прекрасны...
Не плачьте. Вѣрьте, вы не такъ несчастны,
Какъ кажется... Клянусь, вамъ впереди
Такъ много въ жизни... Маленькая тучка
Примчалась и чрезъ мигъ пройдетъ гроза,
И эти косы, дивные глаза,
И эта ножка, пухленькая ручка...
Марія! Дайте вашу ручку мнѣ...

(*цѣлуетъ руку*)

Ахъ, ручка, ручка! Только вѣдь во снѣ
Такую видишь... Ангелъ черноокій,
У вашихъ ногъ клянусь любить всегда,
Всю жизнь свою любить, какъ никогда

Онъ не любилъ... Не будьте же жестоки,
Позвольте мнѣ любить васъ, вѣкъ любить!..
И онъ рукой старался охватить
Маріи станъ. Его прикосновенье
Вдругъ вывело ее изъ онѣмѣнья.
— Стыдитесь, что̀ вы?
— Ангелъ милый мой!
Отдайтесь мнѣ.
— Пустите!
— Ангелъ милый!
Отчаянье въ ней пробудило силы,
Глаза зажглись обиды полнотой,
И—хлопъ пощечина... Но нашъ герой
Нашелся.
— Ну, теперь ужь расцѣлую!
— Подите вонъ!
— Нѣтъ, расцѣлую!
— Вонъ.
Я васъ убью!
— Ты шутишь шутку злую!
Но полно, миръ воюющихъ сторонъ,
И руку! Вы не въ духѣ?
— Прочь подите!
— Вы шутите?
— На шагъ лишь подступите,
Я разможжу вамъ голову!
— Уйду-съ...
Экъ подняла какую вѣдь тревогу!
Нѣтъ, Клавдій, ты надулъ меня, ей-Богу!

Бѣсенокъ! Право, лучше уберусь...
— Ахъ, Клавдій, Клавдій! Гдѣ ты?.. Что со мною?
Что сдѣлалъ ты?

IV.

И голосъ ослабѣлъ,
Румянецъ, вызванный обидой злою,
Угасъ и ликъ какъ будто помертвѣлъ.
Недвижная, поникши головою,
Она, казалось, силилась понять,
Что было съ ней... Хваталася руками
За голову, какъ будто удержать
Стараясь разумъ; мутными глазами
Искала все кого-то... Давитъ грудь
Стѣсненное, тяжелое дыханье...
О. хоть бы слезы... но,—увы!—въ страданьѣ
И слезы даже могутъ обмануть...
Потомъ, какъ бы вернулась сила снова,
И вырвались изъ устъ и стонъ, и слово:
«Онъ обманулъ!.. Я всѣмъ теперь чужда...
Онъ правъ, всѣ скажутъ, онъ вѣдь никогда
И не любилъ: она одна любила...»
И горькое рыданье заглушило
Ея слова...

V.

Что жъ думала она?
Какая мысль въ душѣ свинцомъ лежала?
Что изъ груди разбитой исторгали

То стонъ, то плачъ, то хохотъ, то порой
Въ очахъ сіяло тихою слезой?
Одно: «онъ разлюбилъ»... Въ ней сердце, разумъ,
Вся жизнь ея, казалось, были разомъ
Убиты этимъ словомъ роковымъ.
«О, еслибъ хоть увидѣться мнѣ съ нимъ!
Вотъ деньги... О, палачъ безъ состраданья!
Онъ выкупъ далъ позора моего!
Ахъ, гдѣ онъ самъ, гдѣ низкое созданье?
Я бъ бросила ему въ лицо его
Червонцами... Одно, одно осталось!»
И будто свѣтлой мыслію чело
Вдругъ просіяло; точно отлегло
Отъ сердца. Что-то страшное, казалось.
Она задумала.

VI.

Марія шла дрожащею стопой,
Одна съ больной, растерзанной душой.
«Дай силы умереть мнѣ, правый Боже!
Весь міръ—чужой мнѣ... А отецъ?.. Старикъ...
Оставленный... и онъ... онъ проклялъ тоже!
За что жь? Хоть на него взглянуть бы мигъ,
Все разсказать... а тамъ—пусть проклинаетъ!»
Она идетъ; сторонится народъ,
Кто молча, кто съ угрозой, кто шепнетъ:
«Безумная!», и въ страхѣ отступаетъ.
И вотъ знакомый домикъ; меркнулъ день,
Зарей вечерней небо обагрилось,

И длинная по улицамъ ложилась
Отъ фонарей, деревъ и кровель тѣнь.
Вотъ садъ, скамья, поросшая травою,
Подъ вѣтвями широкими березъ.
На ней старикъ. Послѣдній клокъ волосъ
Давно ужь выпалъ. Блѣдный онъ казался
Однимъ скелетомъ. Ветхій вицъ-мундиръ
Не снятъ: онъ, видно, снять не догадался,
Придя отъ должности. Покой и миръ
Его лица былъ страшенъ: это было
Спокойствіе отчаянья. Уныло
Онъ только ждалъ скорѣй оставить міръ.
Вдругъ слышитъ вздохъ, и листья задрожали
Отъ шороха. «Что, ужь не воры ль тутъ?
«А пусть все крадутъ, пусть все разберутъ,
«Вѣдь ужь они... они ее украли...»
Старикъ закрылъ лицо и зарыдалъ,
И чудятся ему рыданья тоже,
И голосъ: «Что̀ я сдѣлала съ нимъ, Боже!»
Не зная какъ, онъ дочь ужь обнималъ,
Не въ силахъ слова вымолвить.—Папаша,
Простите!—«Что, я развѣ звѣрь иль жидъ?
— Простите!—«Полно! Богъ тебя простить!
А ты... а ты меня простишь ли, Маша?..»

(1846).

СКУЛЬПТОРУ.

Былъ грубъ когда-то человѣкъ:
Младенцемъ жилъ и умеръ грекъ.
И въ простотѣ первоначальной,
Что̀ слышалъ въ сердцѣ молодомъ,
Творилъ довѣрчиво рѣзцомъ
Онъ въ красотѣ монументальной,
Творилъ, какъ пѣснь свою поетъ
Рыбакъ у лона синихъ водъ,
Какъ дѣва въ грусти иль веселье,
Въ глуши альпійскаго ущелья...
И вкругъ священныхъ алтарей
Народы чтили человѣка
Въ созданьяхъ дѣвственнаго грека...
А ты, художникъ нашихъ дней,
Ты. аналитикъ и психологъ,
Что̀ въ нашемъ духѣ отыскалъ?

Съ чего снимать блестящій сколокъ
Ты мрамору и бронзѣ далъ?
Ты прежнихъ силъ въ немъ не находишь,
И, мучась тяжкой пустотой,
Боговъ Олимпа къ намъ низводишь,
Забывъ, что̀ было въ нихъ душой.
Какъ ликъ Гамлета колоссальный
Актеръ коверкаетъ шальной
Предъ публикой провинціальной.

(1847).

АНАХОРЕТЪ.

Двадцать лѣтъ въ пустынѣ,
На скалѣ я прожилъ,
Выше тучь, тумановъ
И громовъ, и молній

Изгнанный изъ міра,
Горько міръ я бросилъ,
Но забыть съ нимъ трудно
Порванныя связи.

И когда вдругъ солнце
Облака разгонитъ,
Города въ долинѣ
Заблестятъ какъ искры,

Мнѣ на мысль приходитъ —
Въ двадцать лѣтъ, быть можетъ,

Все давно свершилось,
Изъ чего я бился:

Бѣдный свергъ оковы:
Сильны и прекрасны,
Разумомъ и волей
Племена земныя...

Лжи не воздвигаютъ
Пышныя кумирни,
Ловкаго злодѣя
Не честятъ какъ бога...

Иль... быть можетъ, нынѣ
Люди и забыли,
Чѣмъ во дни былые
Доблестны мы были!..

(1847).

Думалъ я, что небо
Ясное полудня,
Сѣнь оливъ и мирта,
Музыкальный голосъ,
Жаркія лобзанья
Женъ высокогрудыхъ
Исцѣлятъ недуги
Страждущаго сердца;
Думалъ я, что сила
Строгаго искусства,
Вѣковая почва —
Прахъ святой героевъ,
Хоть забвеньемъ сладкимъ
На душу повѣютъ;
Что въ ней хоть замолкнутъ
Жажда теплой вѣры
И безвѣрья муки,
Жажда дѣлъ высокихъ
И тоска безсилья;

Разума гаданья,
И надъ нимъ насмѣшки...
За порывъ восторга
Платишь горькой мукой:
Старая проснется
Прежняго острѣе,
Какъ хозяйка злая,
За одинъ взглядъ бѣглый
На красу чужую,
Встрѣтитъ бранью злѣе,
Старое припомнитъ
И язвитъ, и колетъ...
Хоть бѣги со свѣта!

(1847).

Люблю въ тебѣ веселье юныхъ лѣтъ,
И рѣчь, блестящую порывами живыми;
Слѣжу за легкими движеньями твоими:
Подымешь ли кувшинъ съ сверкающимъ виномъ,
Мнѣ взора не отвесть отъ пальцевъ бѣлоснѣжныхъ.
Отъ мраморной руки съ поднятымъ рукавомъ,
Отъ обнаженныхъ плечъ и ихъ изгибовъ нѣжныхъ...
Блѣднѣешь ты?.. Не слышишь ли вдали
Шаговъ завистливыхъ льдяного подозрѣнья?
Брось ихъ, не отравляй минуты наслажденья
И праздника украденной любви.
Дверь замкнута... Одинъ я твой властитель!..
Гирлянды, свитыя заботливо тобой,
Воспламененною я дерзко рву рукой...
Прочь пирные огни! Пускай въ твою обитель
Войдетъ глухая ночь: пусть видитъ лишь луна,
Скользя черезъ стекло высокаго окна,
Сребро и золото сосудовъ осушенныхъ,
Цвѣты твои, запутанные мной
Въ распущенныхъ косахъ, и мраморъ снѣговой
Какъ воскъ прозрачныхъ плечъ, отъ ризъ освобожденныхъ.

(1847).

Боишься ты прослыть глупцомъ
И средь пирушки откровенной
Хранишь упорно видъ степенный
И смотришь важнымъ мудрецомъ.
Ты критикуешь очень здраво,
Что Вакхъ внушаетъ намъ лукавый...
Но извини—все зло въ винѣ!—
Что вдругъ пришелъ на память мнѣ
Одинъ хористъ синьоръ Скоттини,
Который тщился показать
Всегда, что онъ-то могъ бы дать
Урокъ безсмертному Рубини,
Когда тотъ плакалъ и рыдалъ,
И, имъ глубоко потрясенный,
Ему, очнувшійся мгновенно,
Въ слезахъ театръ рукоплескалъ.

(1853).

Полно притворяться
Юноша счастливый!
Повинись, признайся:
Что ты такъ встревоженъ
И хитришь неловко?
Я попалъ некстати?
Видѣлъ я, мелькнуло
Бѣленькое платье
Посреди деревьевъ;
Изъ саду да къ дому
Убѣжала Нина,
По цвѣтамъ ступая,
Портя и ломая
Милыя ей розы,
Макъ и гіацинты...

Знаешь ли ты, вѣтеръ
Вьется вокругъ розы,
Вдругъ, какъ бы спугнулъ кто,
Отъ нея умчится,

Все еще исполненъ
Запахомъ чудеснымъ
Благовонной розы:
Что же ты стыдишься?
Очи блещутъ нѣгой,
На душѣ такъ ясно,
Голова весеннимъ
Счастіемъ сіяетъ—
Не бывалъ ты лучше!
Годы страсть уносятъ,—
И, повѣрь, успѣешь
Ты еще быть старцемъ...
А ужь что̀ за юность
Безъ любви и счастья!

(1853).

ВСТРѢЧА.

Случается порой, въ весенній ясный день,
Когда къ намъ вѣтерки съ полудня прилетаютъ,
Съ крышъ капли быстрыя какъ золото мелькаютъ,
И на душѣ твоей томленье, сонъ и лѣнь;
И смотришь, какъ народъ идетъ толпой шумящей,
Какъ вздулось синее стекло замерзшихъ рѣкъ,
Какъ скачутъ вороны, копая рыхлый снѣгъ...
Вдругъ посреди толпы, какъ метеоръ блестящій,
Идетъ красавица... внезапно предъ тобой
Какъ будто бы пахнётъ цвѣтами и весной,
И словно обожжетъ тебя, какъ гордо взглянетъ
Въ лицо тебѣ, и ждетъ, что ты потупишь взоръ
И, какъ царицѣ, дашь стопамъ ея просторъ:
О, какъ тутъ хорошо и вмѣстѣ стыдно станетъ!
Вся жизнь въ груди въ тотъ мигъ воспрянетъ ото сна,
И знать хотѣлось бы, что думаетъ она--

Межь тѣмъ, какъ ослѣпленъ, потерянъ и встревоженъ,
Ты кажешься такъ малъ, незначущъ и ничтоженъ...
Стоишь какъ вкопанный, а взоръ за ней слѣдитъ
Въ толпѣ, во множествѣ мелькающихъ нарядовъ,
И все въ душѣ твоей какъ струнный гулъ дрожитъ
Подъ электричествомъ двухъ встрѣтившихся взглядовъ...
Вотъ такъ рождается и мысль твоя, поэтъ,
Какъ образъ пламенный, какъ мимолетный свѣтъ,
И только силишься, при трепетѣ блаженства,
Запомнить рѣзкихъ чертъ красу и совершенство,
Покуда не прошла та творческая дрожь
И душу не объялъ художническій холодъ:
Прочь, зодчій! Планъ готовъ, размѣрянъ и хорошъ,
И плотничать иди пила, топоръ и молотъ!

(1854).

ВЕСЕННІЙ БРЕДЪ.

(М. П. З....у).

Здорово, милый другъ! Я прямо изъ деревни!
Былъ три дня на конѣ, двѣ ночи спалъ въ харчевнѣ,
Усталъ, измучился, но какъ я счастливъ былъ,
И какъ на счетъ костей я душу освѣжилъ!
Ужь въ почкахъ яблони; жужжатъ и вьются пчелы;
Ужь свѣжей травкою подернулась земля...
Вчера Егорьевъ день—какой гурьбой веселой
Деревня выгнала стада свои въ поля!
Священникъ съ причетомъ, крестомъ и образами
Молебенъ отслужилъ предъ пестрыми толпами
И, окропивъ водой, благословилъ стада—
Основу счастія и сельскаго труда.
И къ морю я забрелъ: что плещется уклейки!
Въ бору застигъ меня весенній первый громъ,
И первымъ дождикомъ облитый какъ изъ лейки,
Продрогши, ввечеру согрѣлся я чайкомъ

Въ трактирѣ съ чухнами, среди большой дороги.
Но сколько испыталъ я въ сердцѣ новыхъ чувствъ!
Продумалъ сколько думъ о мірѣ и о Богѣ,
Провѣрилъ наши всѣ теоріи искусствъ,
Все перебралъ, о чемъ съ тобой мы толковали,
Искали истины—и безпощадно врали!
Повѣришь ли, мой другъ, что на конѣ верхомъ,
Или ворочаясь въ ночи на сѣновалѣ,
Межь тѣмъ какъ вкругъ шумѣлъ весь постоялый домъ,
Проѣзжіе коней впрягали, отпрягали,
И подлѣ же меня до утреннихъ лучей
Я слышалъ чавканье коровъ и лошадей,—
Я, другъ мой, нашу всю науку пересоздалъ!
Ученымъ и тебѣ—всѣмъ по заслугамъ воздалъ!
Я думалъ: Боже мой! Ну, вотъ, межь тѣмъ какъ я
Съ душою, раннею весною обновленной,
Такъ ясно вижу все, и разумъ просвѣтленной
Отвагой дышитъ, полнъ сердечнаго огня,
Ты, въ душной комнатѣ, боясь сквознаго вѣтру,
О мірѣ, можетъ быть, систему сочинилъ...
О, вандалъ! Ты весну не сердцемъ ощутилъ-
Прочелъ въ календарѣ, узналъ по барометру!
Вѣдь такъ и съ истиной въ наукѣ-то у васъ!
Вы томы пишете, начнете свой разсказъ
Съ ассиріянъ, мидянъ и кончите Россіей,—
И что жь? Толкуя намъ, какъ думали другіе,
Сказали ли хоть разъ, какъ думаете вы?
Ну, что бы подойти къ предмету просто, прямо,
Чѣмъ споры древнихъ лѣтъ поддерживать упрямо

Съ надменной важностью безсмысленной совы?
О, эрудиція! О, школьныя вериги!
Да что за польза намъ, что поняли вы книги!
Нѣтъ, дайте истины живое слово намъ,
Какъ видѣлась она старинным мудрецамъ
Еще блестящая восторгомъ вдохновенья
И окропленная слезами умиленья!
Она—дитя любви и жизни,—не труда!
Ученость вѣдь еще не мудрость, господа!
Системы, сшитыя логически и строго —
Хитро созданный храмъ, въ которомъ нѣтъ лишь—Бога!

Но, впрочемъ, вы враги восторга и мечты!
Вы—положительны! Для васъ въ наукахъ точность
Ручательство за ихъ достоинство и прочность,
И, изучая жизнь, что вамъ до красоты!
«Все бредъ, что̀ пальцами ощупать не возможно!
«Намъ греки не примѣръ: они учились жить
«И міръ невидимый старались объяснить;
«Мы цѣнимъ только то, что̀ твердо, непреложно»,—
И въ цыфрахъ выразить готовы вы весь міръ!...
Что̀ я пойму, когда, описывая пиръ,
Ты скажешь столько-то бутылокъ осушили?
Нѣтъ, было ль весело, скажи, и какъ вы пили?
И въ грязномъ кабакѣ бутылкамъ тотъ же счетъ,
Что у дворецкаго въ Перикловомъ чертогѣ,
Гдѣ пировалъ Сократъ и поучалъ народъ
О благѣ, красотѣ и о единомъ Богѣ.
И много стоитъ вамъ и му̀ки и трудовъ,

Найти у грековъ счетъ ихъ селъ и городовъ
Или республикъ ихъ опредѣлить доходы...
О, близкіе еще къ младенчеству народы!
Вѣдь о грамматикѣ не думали они,
А пѣли ужь стихи великой Иліады,
И эта пѣснь жива еще по наши дни
И служитъ намъ еще, какъ ключъ въ степи, отрадой...

Я каюсь, милый мой, брани меня, ругай,
Иль дѣйствіемъ весны на разумъ объясняй,
Но мысли странныя въ умѣ моемъ рождались,
Представилъ живо я нашъ непонятный вѣкъ,
Все, что̀ мы видѣли, чѣмъ жили, вдохновлялись
И, какъ игрушкою наскучивъ, въ быстрый бѣгъ
Отъ стараго впередъ все далѣ устремлялись;
Припомнилъ лица я, и страсти, и слова,
И вопль паденія, и клики торжества,
Что̀ вырывалося внезапно, вдохновенно,
Что̀ было жизнію, казалось всей вселенной,
Въ чемъ каждому изъ насъ была и роль, и честь, —
И вдругъ подумалъ я—пройдетъ столѣтій шесть,
И кинется на насъ ученыхъ вереница!..
Я думалъ—Боже! какъ ихъ вытянутся лица,
Когда въ громадѣ книгъ, что̀ нашъ оставитъ вѣкъ,
Ища съ трудомъ у насъ Сократовъ и Сенекъ,
Найдутъ какія-то печальныя замѣтки —
Сухого дерева раскрашенныя вѣтки!
Увидятъ кипы книгъ, истлѣвшія въ пыли,
Гдѣ правила ремеслъ въ науки возвели;

Тамъ сочиненіе, подъ коимъ гнется полка —
«О цѣнности вещей въ правленье Святополка».
Увидятъ, что у насъ равно оцѣнены
За остроту ума и реалистъ, и мистикъ;
Тамъ цифры мертвыя безжизненныхъ статистикъ,
Романы самые статистикой полны...
Найдутъ, какъ тщился тугіе корнесловы
Языкъ нашъ подвести подъ чуждыя оковы;
Откроютъ критиковъ и важныхъ, и смѣшныхъ;
Грамматиковъ — и, ахъ! несходство между нихъ!
Историковъ идей, историковъ событій,
Историковъ монетъ, историковъ открытій...

Но, изчисляя тутъ познаній нашихъ кругъ,
Одну припомнилъ я науку, милый другъ,
И такъ захохоталъ среди ночного мрака,
Что спавшая въ сѣняхъ залаяла собака.
Вѣдь мало намъ наукъ и сложныхъ, и простыхъ!
Намъ мало даже книгъ, хоть перечесть ихъ мука!
Для насъ еще нужна еще особая наука —
Исторія... чего?... Да этихъ самыхъ книгъ!...

Но мой шутливый смѣхъ и грустію смѣнялся,
И съ горемъ пополамъ, ей-Богу, я смѣялся,
Покуда крѣпкій сонъ меня не уломалъ.
Когда жь проснулся я, востокъ зарей сіялъ,
Летѣли облака съ зардѣвшими краями,
Какъ полчища, пройти предъ царскими очами
Готовыя на смотръ; и несся паръ сѣдой

Надъ сталью озера; земля ночнымъ морозомъ
Была окрѣплена съ подмерзнувшей травой,
И тонкій ледъ звенѣлъ, дробяся подъ ногой.
Пора ужь двигаться ночевщикамъ-обозамъ!
Взъерошенный мужикъ ужь вылѣзъ на крыльцо
Расправить холодкомъ горячее лицо
И мрачно чешется... Тамъ мальчуганъ пузатый
Съ просонковъ поднялся и выскочилъ изъ хаты,
И сталъ какъ Купидонъ извѣстный у ключа...
Весь домъ задвигался, зѣвая и ворча.
Пора на рынокъ въ путь лѣнивому чухонцу...
Телѣги тронулись... И мнѣ коня! И въ путь!
Куда?.. Куда-нибудь! Да хоть на встрѣчу солнцу!
О, радостная мощь мою подъемлетъ грудь!
Дыханье такъ свѣжо и вылетаетъ паромъ!
И мысль во мнѣ кипитъ, свѣтлѣе и горя,
Какъ будто глянула и на нее заря,
Пылающая тамъ, по небесамъ, пожаромъ!
Какъ будто кто-то мнѣ таинственно шепталъ,
Когда вчерашній бредъ я свой припоминалъ,
И—«радуйся! вѣщалъ, что ты рожденъ поэтомъ!
«Пускай ученые трудятся надъ скелетомъ!
«Пусть строютъ, плотники, науки прочный храмъ!
«Мысль зданья имъ чужда, — но каждый пусть келейникъ
«Несетъ соломинку на общій муравейникъ!
«Ты жь избранъ говорить грядущимъ племенамъ
«За вѣкъ, за родину! Тебѣ предъ свѣтомъ цѣлымъ
«Глаголомъ праведнымъ и вдохновенно смѣлымъ
«Ихъ душу возвѣстить потомству суждено!

«Ученымъ— скорлупа! Тебѣ, пѣвецъ, зерно!
«Въ тебѣ бьетъ свѣтлый ключъ науки вѣчно новой!
«Въ тебѣ живая мысль выковываетъ слово —
«Пусть ловятъ на-лету грамматики его:
«Оно лишь колыбель созданья твоего!
«Пускай родной языкъ непризванные мучатъ,
«На чуждый образецъ его ломаться учатъ,
«Клеймятъ чужимъ клеймомъ и гнутъ въ свое ярмо:
«Ты видишь, точно конь онъ дикій не дается
«И въ пѣнѣ ярости и бѣсится, и бьется,
«И силится слизать кровавое клеймо.
«Но какъ онъ вдругъ дохнетъ родныхъ степей разгуломъ
«Подъ ловкимъ всадникомъ! Какъ мчится по полямъ!
«Вѣдь только пыль змѣею вьется по слѣдамъ,
«И только полнится окрестность звонкимъ гуломъ!»

(1854).

Бывало, уловить изъ жизни мигъ случайный
И въ стихъ его облечь—блаженство для меня!
Меня гармоніи тогда плѣняли тайны,
И самъ своихъ стиховъ заслушивался я.
Я ими тѣшился, ихъ мѣрно повторяя
Украдкой, какъ скупецъ, который по ночамъ
Червонцы по столу горстьми пересыпая,
Какъ бы невѣдомымъ внимаетъ голосамъ.

Теперь не служитъ стихъ мнѣ праздною забавой.
Онъ рвется изъ души, какъ откликъ боевой
На зовъ торжественный отечественной славы.
Широкій горизонтъ открытъ передо мной.
Рукою вѣрною берусь теперь за лиру,
И, обновленная, привѣтствуетъ она
Намъ новыхъ дней зарю... Ударила война,

Россія вызвана на созерцанье міру,
На судъ Исторіи: міръ гордый да поймет,
Что тотъ же мощный духъ и доблесть въ насъ живетъ,
Которыя мы чтить умѣемъ въ иностранцахъ—
Въ защитникахъ Креста, въ римлянахъ и спартанцахъ!

Благодарю Тебя, Творецъ, благодарю,
Что мы не скованы лжемудростію узкой!
Что съ гордостью я всѣмъ сказать могу: я русскій!
Что пламенемъ однимъ съ Россіей я горю!
Что слезная о ней въ душѣ моей забота!
Что тотъ же мощный вѣтръ расправилъ парусъ мой,
Которымъ движимы неслися подъ грозой
Громады кораблей Нахимовскаго флота!

7 декабря 1854.

ПАМЯТИ ДЕРЖАВИНА.

При полученіи извѣстія о побѣдахъ при Синопѣ и Ахалцыхѣ.

—

Что слышу? Что сердца волнуетъ?
Что веселится Царскій домъ?..
Опять Россія торжествуетъ!
Опять гремитъ Кагульскій громъ!
Опять временъ Екатерины,
Я слышу, встали исполины...
Но мой восторгъ не полонъ! Нѣтъ!
Нашъ вѣкъ великъ, могучъ и славенъ;
Но гдѣ жь, Россія, твой Державинъ?
О, гдѣ пѣвецъ твоихъ побѣдъ?
И гдѣ кимвалъ его, литавры,
Которыхъ громъ внималъ весь міръ?..
Неполны воинскіе лавры

Безъ звона неподкупныхъ лиръ!
Кто днесь стихомъ монументальнымъ
Провозвѣститъ потомкамъ дальнымъ,
Что мы все тѣ же, какъ тогда,
И что жива еще въ Россіи
О христіанской Византіи
Великодушная мечта!
Къ тебѣ, Державинъ, какъ въ молитвѣ,
Къ тебѣ зову! Услышь мой гласъ,
Какъ слушалъ бардъ о чудной битвѣ
Простого пахаря разсказъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ жреческій твой голосъ
Умолкнулъ,—много Русь боролась
Со злымъ врагомъ и клеветой.
Въ насъ силъ твоихъ недоставало
Къ нимъ стать лицомъ, поднять забрало
И грянуть рѣчью громовой.
Пора забыть навѣты злые,
Пора и намъ глаза открыть,
И перестать намъ о Россіи
Съ чужого голоса судить.
Пора! Завѣса разорвалась!
Въ насъ сердце Русское сказалось!
Мы прозрѣваемъ наконецъ
Въ самосознаніи народномъ---
Намъ не въ Парижѣ сумасбродномъ,
Не въ дряхлой Вѣнѣ образецъ.
Въ Европѣ слишкомъ много кровью
Сама земля напоена;

Враждой упорной, не любовью
Взростила чадъ своихъ она;
Тамъ человѣка гордый геній
Зрѣлъ средь насильствъ и потрясеній;
Духъ партій злобу тамъ таитъ;
Всѣ живы старыя обиды;
Надъ каждымъ мрачной Немезиды
Тамъ мечъ кровавый тяготитъ.
А мы за нашими царями,
Душою вѣруя Петру,
Какъ за искусными вождями
Пошли къ величью и добру.
Они одни лишь угадали,
Какая мощь и разумъ спали
Въ богатырѣ земли родной,
Лишь бы монгольскихъ золъ заразу
Съ него стряхнуть, и какъ алмазу
Дать грань душѣ его младой.
Чѣмъ быть во изумленье міру –
Ему впервой разоблачилъ
Тотъ, кто сложилъ съ себя порфиру,
И какъ матросъ и плотникъ жилъ;
За Русь пошелъ страдать, учиться,
Кто восхотѣлъ переродиться,
Чтобъ свой народъ переродить!
Познай, нашъ врагъ хитроугрозный!
Съ ея Царемъ дороги розной
Россіи ввѣкъ не можетъ быть.
И пусть она еще ребенокъ,

Но какъ глядитъ уже умно!
Еще чуть вышла изъ пеленокъ—
Но сколько ею создано!..
Державинъ! Бардъ нашъ сладкострунный!
Ты возвѣщалъ Россіи юной
Все, чѣмъ великъ здѣсь человѣкъ;
Ты для восторга далъ ей клики,
Ты огласилъ ея, великій,
Трудовъ и славы первый вѣкъ!
Востань же днесь и виждь—какъ снова
Родныя плещутъ знамена!
Во славу имени Христова
Кипитъ священная война,
И вновь Россія торжествуетъ!..
Пускай Европа негодуетъ,
Пускай коварствуетъ и лжетъ:
Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья,
Враговъ безсильное шипѣнье
Народный духъ въ насъ не убьетъ!
У насъ есть два врага—мы знаемъ!
Одинъ—завистниковъ вражда:
Не усмиривъ ихъ, не влагаемъ
Меча въ ножны мы никогда,
Другой нашъ врагъ—и врагъ кичливый—
То духъ невѣжества строптивый!..
О, Русь! Ихъ купно поражай!
Однихъ мечомъ, другихъ сатирой,
И бранный мечъ съ правдивой лирой
Единымъ лавромъ обвивай!

Въ ряду героевъ Измаила
Да узрятъ наши имена,
Да знаютъ—съ ними въ насъ одна
Мощь разума и длани сила;
Да глубже мысль намъ ляжетъ въ грудь,
Что нашъ великъ въ грядущемъ путь,—
И тѣнь пѣвца Екатерины
На наше кликнетъ торжество:
— «Они все тѣ же исполины,
И помнятъ барда своего!»

3 декабря 1853.

ПОСЛАНІЕ ВЪ ЛАГЕРЬ.

—

Межь тѣмъ, какъ вы, друзья, въ рядахъ родныхъ полковъ
Идете Божьею грозою на враговъ,
О, какъ хотѣлось бы, хоть знакъ подать вамъ, братья,
Чтобъ видѣли вы къ вамъ простертыя объятья,
Чтобъ знали чувства вы, бушующія въ насъ,
Чтобъ мощь оставшихся вся въ васъ перелилась!
Мой стихъ есть тоже мечъ—и съ вашими мечами
Ужели не блеснетъ за Русь онъ подъ грозой?
Ужели можетъ онъ молчать передъ врагами?
Къ вамъ шлю его, друзья, въ вашъ лагерь боевой,
Въ немъ вся моя душа помчится съ вами въ битвѣ.
Я чувствую, что въ немъ есть сила, какъ въ молитвѣ.
Въ немъ блещетъ идеалъ Россіи молодой,
Который свѣтитъ намъ водительной звѣздой,
Тотъ гордый идеалъ, который окрыляя
Любовію нашъ духъ въ годину горькихъ бѣдъ,
Все осязательнѣй и ярче тридцать лѣтъ
Осуществляется подъ скиптромъ Николая.

(1854).

О ТОМЪ,
КАКЪ ОТСТАВНОЙ СОЛДАТЪ ПЕРФИЛЬЕВЪ
ПОШЕЛЪ ВО ВТОРИЧНУЮ СЛУЖБУ.

—

Ну, послушай-ко, старуха,
Да смотри, не поперечь.
Надо мнѣ съ тобой, Мавруха,
Повести отъ сердца рѣчь.
Мы съ тобой пять лѣтъ въ отставкѣ;
Я хотя маленько сѣдъ,
Наведи, однако, справки—
Много ль отъ роду мнѣ лѣтъ?
Оказалось: сорокъ восемь,
То-есть, съ хвостикомъ. Такъ вотъ,
Если жь мы себя вдругъ спросимъ,
Что годимся ль мы въ походъ?

Такъ, примѣрно. Вѣдь подковку
Мы и нынче разогнемъ.
Встарь, за силу и снаровку,
Слылъ въ полку я молодцомъ.
Самъ великій князь, бывало,
(Онъ солдатушекъ любилъ!)
Потѣшался мной не мало,
И на счетъ меня шутилъ.
Разъ сказалъ онъ, разсуждая:
«Крѣпостей не нужно намъ—
Вотъ у насъ стѣна живая—
Такъ ли?»—и взглянулъ къ рядамъ.
«Точно такъ!» я первый грянулъ
Полкъ за мной—и до сихъ поръ
Помню—на меня князь глянулъ
И съ усовъ слезу отеръ.
Говорю тебѣ я это
Въ разсужденіи того,
Что для насъ въ такія лѣта
Даже врозь жить ничего!
Вѣдь не вышло бы худого,
Я смекаю про себя,
Еслибъ я на службу снова
Отпросился у тебя.
Видишь—что жь ты испугалась?
У меня всѣ эти дни
Такъ душа растосковалась,
Что хоть въ-живѣ хорони!
Просто совѣсть не на мѣстѣ,

Какъ пришлось услышать мнѣ
Въ Высочайшемъ манифестѣ
Объявленье о войнѣ.
Войны разныя бываютъ,
Иногда про что идемъ
По начальству только знаютъ,
Намъ и дѣла нѣтъ о томъ.
Нынче жь—развѣ что медвѣдямъ
Все равно, что есть война.
Обѣги-ко по сосѣдямъ —
Толковня вездѣ одна
Ишь: полсвѣта на полсвѣта
Поднялися—чья возьметъ?..
Оттого вся штука эта,
Что силѣнъ сталъ нашъ народъ.
Гдѣ ни сунутся—Россія!
Гдѣ нюхнутъ—анъ русскій духъ!
«Кто жь вы, русскіе, такіе?»
Спохватилися всѣ вдругъ.
«Дай-ко, сломимъ ваше царство,
Да отгонимъ за Москву!»
То-есть, хуже ихъ коварства
Свѣтъ не видѣлъ на яву!
Вотъ теперь и подступаетъ
Къ намъ отвсюду сила ихъ—
Государь и призываетъ
Тутъ, вотъ видишь, отставныхъ.
Отставной-де нюхалъ порохъ,
Ужь обстрѣленъ, и притомъ,

Въ обхожденьѣ, въ разговорахъ,
Не ударитъ въ грязь лицомъ.
Къ явкѣ, знаешь, нѣтъ приказу,—
А ужь лучше бы приказъ!
Зналъ по крайности бы сразу,
Поняла бъ и ты тотчасъ.
Безъ того жь—выходитъ дурно!
Ночью—чуть вздремну слегка—
Снится—вотъ идетъ дежурный
И толкаетъ подъ бока.
«Эй,—кричитъ онъ:—бьютъ тревогу!»
И вскочу я какъ шальной;
Жилки всѣ дрожатъ, ей-Богу,
Лобъ въ поту... ну, самъ не свой!
Я и такъ, и сякъ метался—
Тотъ же сонъ опять. Побрелъ,
Объ товарищахъ справлялся—
Тотъ ушелъ, и тотъ ушелъ.
И гляди жь, что̀ тутъ случится:
Всѣ сберутся наконецъ
Въ Петербургъ. Тутъ смотръ. Явиться,
Значитъ, надо во дворецъ.
Государь въ лицо всѣхъ знаетъ—
И когда къ нему придутъ,
Всѣхъ вѣдь вспомнитъ, обласкаетъ,
Спроситъ вдругъ—Перфильевъ, тутъ?!
Что?—Вѣдь дыбомъ станетъ волосъ,
Какъ дадутъ одинъ отвѣтъ,
Такъ, во весь солдатскій голосъ,

Разомъ хватятъ—«никакъ нѣтъ».
Въ цѣломъ свѣтѣ гласно будетъ
Государево словцо.
«Гдѣ жь онъ?—всякій тутъ засудитъ: —
«Какъ же онъ не на лицо?
«Али въ немъ пропала сила?
«Али—чтобъ нелегкій взялъ,
Скажутъ—«баба не пустила,
Или самъ онъ бабой сталъ?»
Показать нельзя вѣдь рожи
Къ добрымъ людямъ... А потомъ,
Какъ къ угодникамъ въ храмъ Божій
Я пойду съ такимъ стыдомъ?
Всю вѣдь жизнь обезобразимъ;
Здѣсь—ужь чести намъ не ждать,
А умру—съ великимъ княземъ
Встрѣчи тамъ не миновать.
«Такъ-то, братецъ,—скажетъ строго: —
«Ты домкомъ сталъ поживать,
«Такъ забылъ свой долгъ и Бога,
«И своихъ сталъ выдавать—
«Я такихъ, ступай, не знаю!»
То-есть, какъ не кину я,
Къ одному все натрафляю—
Что остаться мнѣ нельзя.
Что я?.. Бьюсь какъ рыба объ-ледъ!
Придираюся къ другимъ,
Въ сердцѣ—точно кошки скоблятъ:
Такъ и тянетъ все къ своимъ!

Ты меня, Мавруша, любишь,
Но въ увѣренности будь,—
Не отпустишь, такъ погубишь:
Выйдетъ грѣхъ какой-нибудь!..
Подойди-жь ко мнѣ. Дай ручки...
Ручка въ ручку посидимъ...
Плачутъ очи, плачутъ тучки,
Суждено, знать, плакать имъ!
Да вѣдь слушать слезъ нельзя же!
Не совѣтчицы онѣ!
Я вѣдь, видишь, парень рàжій,
Грудь въ крестахъ, бывалъ въ огнѣ,—
А поди, куды какъ жутко
Васъ оставить! Сыновья
Малы, глупы; дочь-малютка;
Въ нихъ души не чаю я...
Иногда себя поймаешь—
Какъ дитя шалю, старикъ...
Не разстался бъ, понимаешь,
Съ вами просто ни на мигъ—
Да нельзя! Пора такая!
Руки надобны Царю!
Всякій будь на мѣстѣ, зная
Каждый долгъ и честь свою.
Такъ ли?.. Ну, и ты вѣдь тоже,
Службу знать свою должна;
Первымъ дѣломъ мы въ храмъ Божій
Сей же часъ пойдемъ, жена.
Дважды смерть не приключится,

А одной не миновать.
Такъ живи, чтобъ тамъ явиться
Какъ на смотръ, безъ фальши стать.
Наипаче, помни строго,
Что ты первое—есть мать.
Научай дѣтей чтить Бога,
Насъ и старшихъ уважать.
Сѣчь—такъ рѣдко, да ужь мѣтко!
А и думать не моги
Поминутно, какъ сосѣдка,
Имъ давать тычки, пинки.
Если я паду въ сраженьѣ,
(Я жь не дамся, какъ дуракъ!)
Говори имъ въ поученье,
Что отецъ молъ—такъ и такъ...
Понимаешь?.. Ну, да будетъ
Воля Божья!.. Маршъ въ походъ!
Васъ начальство не забудетъ,
Есть приказъ на этотъ счетъ.
И постой, годокъ ли, два ли,
Какъ въ порядокъ все войдетъ,
Жизнь безъ горя и печали
То-есть, вотъ какъ потечетъ!
Выходи тогда съ поклономъ,
Какъ полки пойдутъ къ домамъ,
И встрѣчать съ церковнымъ звономъ
Будутъ насъ по городамъ:
Пѣсни, музыка, веселье!
Зададимъ тогда мы пиръ,

Такъ—что мѣсяцъ отъ похмелья
Не очувствуется міръ!
Такъ ли? Разсмѣялась, баба!
Ну, такъ къ дѣлу поскорѣй—
Пироговъ пеки живѣй,
Чтобъ хватило ихъ до штаба,
До казенныхъ сухарей!

(1854).

ПАСТУХЪ.

Охъ, дорога ль моя, ты дороженька!
Ты меня на добрый путь наставила,
Дурака меня оболванила,
Добрымъ молодцомъ въ люди вывела.
Какъ я былъ еще младъ-младешенекъ,
А потомъ какъ былъ и на возрастѣ,
Нерадивый былъ, непонятливый.
Возьмусь за̀ соху—полоса крива,
Возьмусь за̀ косу—изъ рукъ валится.
Только пѣсни пѣть умѣлъ дѣвкамъ я,
Да разжалобить хмель кабацкую
Въ старикахъ умѣлъ я по праздникамъ.
Долго ждалъ-глядѣлъ и грозилъ отецъ,
Да и грянулъ вдругъ что по небу громъ,

И что гулъ въ бору мать поддакнула.
Отобрали мой новый синь-кафтанъ,
Шляпу съ пряжкою, поясъ шелковый,
Дали въ руки кнутъ, да дырявъ-зипунъ,
Въ пастухи меня, дурня, отдали.
И пастухъ-то я нерадивый былъ:
Пасъ въ лѣсу сперва—да соскучился,
Сталъ въ луга гонять—закручинился,
Норовилъ потомъ на дороженьку
На проѣзжую, на шоссейную.

Охъ, дорога ль моя, ты дороженька!
Какъ пришло тебѣ твое времечко
Не дорогой ты, стала улицей:
Разлетѣлися галки, вороны,
По березничку въ сторонѣ сидятъ:
Сѣрый заинька въ кустикъ спрятался,
Приложилъ ушки, самъ дрожитъ какъ листъ;
Господа ль катятъ, шестерикъ валитъ,—
Въ сторонѣ и тѣ дожидаются;
Тройка ль бойкая несетъ купчика,
Пьянъ ямщикъ стоитъ, гонитъ что есть силъ—
Да и ты, купецъ, поворачивай:
Ровно птицы снуютъ все фельдъегери.
Только утро-свѣтъ замерещится,
Ужь скрипучъ обозъ безъ конца ползетъ,
Все добро везутъ, кладь казенную.
Вслѣдъ полки идутъ,—ѣдетъ конница,
Кони фыркаютъ, сабли звякаютъ,

Усачи сидятъ, подбоченились,
Говорятъ-шумятъ добры-молодцы,
Пастуха корятъ рохлей-ўвальнемъ,
Дураку кричатъ: «на кобылу сядь,
Сядь на пѣгую, да лицомъ къ хвосту,
Мы съ собой возьмемъ, прямо въ вахмистры!»
А потомъ идетъ артиллерія;
Пушки мѣдныя, все сердитыя,
Фуры крашены съ сизымъ порохомъ;
Офицеръ идетъ хоть молоденькій,
Только быстрый взглядъ, носикъ вздернутый.
Пастуха опять дразнятъ мо̀лодцы,
Дурака корятъ рохлей-ўвальнемъ,
И съ собой зовутъ позабавиться:
«Эй, деревня, слышь! Зубки бѣличьи!
Погрызи, поди, въ сласть и до̀ сыта—
У насъ фуры вонъ все съ орѣшками,
Все съ орѣшками, все съ чугунными».
Имъ пѣхота вслѣдъ: впередъ музыка,
Съ запѣвалами, съ пляской, съ гиканьемъ;
Ружья—что твой лѣсъ! Каски мѣдныя
Полы загнуты, сапоги въ пыли:
Идутъ—стонетъ долъ! Чуешь—сила валитъ.
Проучила меня зѣвать конница,
Проучила глазѣть артиллерія:
Ужь пѣхотѣ я въ поясъ кланялся,
Съ головы скидалъ шапку старую,
Заслужилъ пастухъ слово доброе.
Бралъ я удали, заговаривалъ,

Провожалъ солдатъ семь и восемь верстъ;
Разузналъ отъ нихъ, на чемъ свѣтъ стоитъ,
Сколько въ свѣтѣ есть городовъ и селъ,
И которые христіанскіе,
И которые басурманскіе;
Какъ задумали злые нехристи,
Полонить пришли землю Русскую,
Наругаться пришли надъ иконами,
Обижать пришли Царя Бѣлаго;
Да легко сказать, надо съ бою взять,
А на то пошло—такъ не выдадимъ:
Съ нами Богъ и Царь, дѣло правое.

Охъ, дорога ль моя, ты дороженька!
Ты не долго была битой улицей,
И прошло твое красно времечко,
Поосѣла пыль, позатихла молвь,
Тишина легла безотвѣтная.
Пріосмѣлился заяцъ, выглянулъ
На дороженьку, сталъ осинку драть;
Галки, вороны почали скакать,
И одинъ пастухъ одинешенекъ,
При дороженькѣ сиротинушка;
Онъ стоитъ—глядитъ въ дальню сторону:
Словно всѣхъ родныхъ проводилъ съ двора,
Проводилъ на пиръ, самъ не прошенъ былъ.
И брала его тоска лютая,
И привидѣлся небывалый сонъ.
Словно буря идетъ, съ громомъ, съ молніей;

Съ трескомъ небо, гляжу, разорвалося,
И въ сіяньѣ стоитъ высока̀ жена
Красоты въ очахъ неописанной.
Громкимъ голосомъ на всѣ стороны
Говоритъ она, мать дѣтей зоветъ:
«Подымайтеся, дѣтки милыя!
Обижаютъ меня, охъ, соколики!»
И по слову ея, что ковыль-трава
Колыхается, подымается
Съ четырехъ сторонъ рать великая;
И что лебеди по зарѣ кричатъ,
По поморью кричатъ камышовому,
Дѣтки матери откликаются:
«Слышимъ, матушка! Не бойсь, выручимъ!»
И отколь возьмись, бѣлый конь летитъ,
На меня пахнулъ изъ ноздрей огнемъ;
И схватилъ коня я за гривоньку,
На коня вскочилъ храбрымъ витяземъ—
И на мнѣ доспѣхъ—воронёна сталь,
Полетѣлъ какъ вихрь, засверкалъ мечомъ,
И откликнулся звонкимъ голосомъ,
Какъ откликнулись храбры полчища:
«Слышимъ, матушка! Не бойсь, выручимъ!»

А какъ крикнулъ я, то и сонъ пропалъ,
И вскочилъ, гляжу—а и нѣтъ коня,
Не доспѣхъ на мнѣ, а дырявъ-зипунъ,
Не булатъ въ рукѣ, пастуховскій кнутъ.
И швырнулъ я кнутъ, залился слезьми,

На-земь ринулся, рвалъ сыру-траву.
Въ сердцѣ зла-тоска пуще прежняго.
«Али хуже я да честныхъ людей?
Аль что плохъ пастухъ—такъ нѣтъ удали?
Да хоть пѣсни пѣть молодецкія
Пригожуся я, какъ пойдутъ на бой!..»
Трое сутокъ я пропадалъ съ села,
Трое сутокъ я не гонялъ коровъ.
На четвертые поздно вечеромъ,
Я пришелъ съ степи къ отцу, къ матери,
До земли челомъ поклонился имъ,
Заклиналъ забыть гнѣвъ родительскій,
Что я самъ нашелъ свою долюшку,
Безъ отцовскаго позволенія.
Грѣхъ съ души сними, родна матушка,
Отпусти вину, родной батюшка—
Сплю и вижу я—мнѣ въ походъ идти.
Испужалася родна матушка,
Почала корить, горьки слезы лить.
Сердце рвалося, да не сдалося!
Что надумалось во сыромъ бору,
Что подъ благовѣстъ намолилося,
(Самъ дивлюсь теперь, отколь рѣчь взялась)
Пошелъ сказывать, перепархивать
Сперва птенчикомъ низко по-земи,
А потомъ пошелъ что орелъ гулять,
Что въ своей водѣ рыба вольная.
Все ей выложилъ: разсуди сама,
Коль губить—губи! Въ пастухахъ держи,

Лыко драть, лапти плесть, да коровъ гонять!
Молча слушалъ отецъ, на печи лежалъ;
А и вижу, съ печи опускается,
Сѣдъ, какъ лунь, старикъ, прямо къ образу,
На колѣни палъ: замолчала мать.
Былъ грозёнъ-умёнъ родной батюшка.
«Не кори,—сказалъ:—не вопи жена.
Не по глупости говоритъ дитя,
Онъ добро сказалъ, и добру быть такъ!
Ты зажги свѣчу передъ образомъ,
Осѣни дитя, какъ быть слѣдуетъ,
Нерушимымъ вѣкъ крестнымъ знаменьемъ:
Самъ свезу чѣмъ свѣтъ, и сдамъ въ рекруты».

Просбирала мать во всю ночь меня,
Просидѣлъ отецъ до зари со мной.
Съ солнцемъ впрягъ коней, словно къ празднику,
Съ росписной дугой, сбруя съ бляхами.
Дѣвки, молодцы всѣ сбѣжалися,
Какъ съ роднымъ, со мной попрощалися.
Гордой поступью вышелъ батюшка:
Шапки снялъ народъ, разступилися.
Помолясь еще, тронулъ вожжи онъ —
Кони взвилися, люди ахнули,
Завопила мать, на-земь грянулась,
Подхватили ее люди добрые.
Понеслись мимо насъ избы съ клѣтями,
Зелены луга, ходуны-мосты,
Съ громомъ въѣхали мы въ губернію.

Тутъ и жизнь моя пошла сызнова.

Охъ, дорога ль моя, ты дороженька!
Не видалъ я, гдѣ ты начинаешься,
А ужь знаю теперь, гдѣ кончаешься.
Привела меня ты, дороженька,
Къ славну-городу, къ Севастополю —
Отстоять его, коли Богъ судилъ,
Или лечь костьми во честномъ бою.

(1854).

МОЛИТВА.

Шла туча съ запада, другая отъ востока.
Сошлись, ударились: гремитъ въ раскатахъ громъ,
И свищетъ молнія — и на землѣ кругомъ
И звѣрь, и человѣкъ замолкъ въ тоскѣ глубокой.
Лишь пастырь душъ одинъ, грозою осіянъ,
Подъемлетъ длань къ Тому, кто властвуетъ вселенной,
Колеблетъ твердь земли и движетъ океанъ.
Одинъ онъ, мудростью библейской просвѣтленный,
Смиренно молится: Да судъ свершится Твой,
И міръ, десницею Твоею обновленный,
Возблещетъ радостнѣй! Твоя намъ скрыта цѣль,
Но благъ еси, Господь! Долинамъ шлешь Ты грозы—
Да утучняются! Даешь Ты людямъ слезы—
Да перстъ познаютъ Твой! Кровавую купель
Народамъ — да ярмо грѣховное съ нихъ канетъ,
И новый человѣкъ изъ стараго возстанетъ!

(1854).

МОСКВѢ.

(Въ день столѣтія Московскаго университета).

—

Давно цари Россіи новой,
Оставивъ стольный градъ Москвы,
Въ равнинахъ Ингріи суровой
Разбили лагерь у Невы;
Но духомъ ты, Москва, не пала
И, древнею блестя красой,
Ты никогда не перестала
Быть царства нашего душой.
Твой духъ въ одно его скрѣпляетъ.
Любовь къ отчизнѣ, какъ струя,
Отъ сердца къ сердцу пробѣгаетъ
По цѣлой Руси изъ Кремля.
Но ту любовь, съ которой дикой
Пустыню любитъ,—ты слила
Съ огнемъ науки и великой

О Руси мыслью облекла.
Связавъ минувшее съ грядущимъ,
Забвенье съ предковъ ты сняла,
И поколѣньямъ нынѣ сущимъ
Ты мысль отечества дала.
Оно—въ той вѣрѣ величавой,
Что Русь живетъ въ моей груди;
Что есть за мной ужь много славы,
И больше будетъ впереди,
Что въ долѣ темной или громкой
Полезенъ родинѣ мой трудъ,
И что дѣла мои—потомки
Благословятъ иль проклянутъ...
Москва! Въ слезахъ подъемлю руки
Къ тебѣ, какъ къ матери дитя,
Въ день драгоцѣнный для науки
Въ день присно-славный для тебя!
О, пусть кричатъ трибуны злые —
Мы вѣримъ сердцу своему —
Жива Москва—сильна Россія,
И Божій свѣтъ разсѣетъ тьму!

(1854).

АРЛЕКИНЪ.

Меня всю ночь промучилъ сплинъ.
Передо мной къ стѣнѣ прибитый,
И видно, няней позабытый,
Висѣлъ бумажный арлекинъ.
Едва хочу я позабыться —
Вдругъ арлекинъ зашевелится,
Начнетъ приплясывать, моргать,
И точно хочетъ что̀ сказать.
Я ободрилъ его. Онъ началъ:
У васъ мнѣ просто нѣтъ житья.
Здѣсь для дѣтей забава я,
А то ли я въ Европѣ значилъ?
Тамъ всѣ ужь знаютъ и твердятъ,
Что нынче вѣкъ арлекинадъ.
Мы маскируемся, хлопочемъ,
Кутимъ, жуируемъ, морочимъ,

И свѣтъ волнуя и губя,
Тишкомъ смѣемся про себя.
Но ты меня не понимаешь...
Не мудрено! Ты знаешь свѣтъ
Изъ книгъ французскихъ да газетъ;
И, вѣрно, все воображаешь,
Что арлекинъ—острякъ и шутъ,
Философъ жизни, умный плутъ,
Другъ Бахуса и всякой снѣди —
Есть вымыслъ площадныхъ комедій.
Такъ было прежде, въ старину.
Тогда насъ въ строгости держали,
Тогда мы роль свою играли
Исправно... даже не одну
Услугу людямъ оказали...
Скажу не обинуясь: міръ
Впередъ мы двигали чудесно,
Когда какой-нибудь безвѣстной
Намъ роли сочинялъ Шекспиръ.
Такихъ Шекспировъ было много
Во всѣхъ родахъ. Ихъ здравый умъ
Всѣмъ и всему судья былъ строгой.
Ихъ смѣхъ былъ плодъ глубокихъ думъ...
На площади за ширмой пестрой
Мы зло язвили шуткой острой,
И къ намъ ѣзжала даже знать,
Чтобъ каламбуръ у насъ занять —
Инкогнито!... Мы безпристрастно
Тартюфовъ ставили на смѣхъ;

Критиковали даже тѣхъ,
Кого критиковать опасно:
Извѣстный взяточникъ и воръ
Боялся насъ какъ привидѣнья;
Въ дѣлахъ правленья самый дворъ
Насъ принималъ въ соображенье.
А шарлатановъ-докторовъ,
Сластолюбивыхъ старичковъ,
И легкихъ модниковъ аббатовъ,
Скупцовъ и плутовъ-адвокатовъ,
Старухъ—охотницъ до интригъ—
Держалъ въ острасткѣ нашъ языкъ.
Такъ въ нашемъ смѣхѣ и злословьѣ
Нашли орудье короли,
Чтобъ соръ мести съ лица земли;
И насъ любили всѣ сословья:
Въ нихъ силы наша болтовня
Возобновляла какъ лѣкарство,
Тѣмъ въ равновѣсіи храня
Всѣ элементы государства.
Плѣнясь критическимъ умомъ
И нашей рѣчи бойкой солью,
Насъ свѣтъ иной, важнѣйшей ролью
Рѣшился наградить потомъ.
«Вы гнать умѣете пороки, —
Сказалъ — подайте же вы намъ
«Высокой мудрости уроки!
«Какъ дѣти ввѣримся мы вамъ.
«Всей государственной машинѣ

«Вы чудный сдѣлали разборъ —
«Такъ перестройте жь насъ вы нынѣ—
«Да новый міръ пойдетъ съ сихъ поръ!»
Въ насъ умъ всегда былъ смѣлъ и скоръ.
Въ мигъ планъ готовъ—и ухватились
За трудъ съ увѣренностью мы.
Мы къ той порѣ ужь поучились,
И наши бойкіе умы
Ужь въ философію пустились;
Пьеро надѣлъ уже парикъ,
И точно—царь былъ въ царствѣ книгъ!
И мы пошли ломать. Трещало
Все, что̀ построили вѣка...
Грядущее издалека
Намъ средь руинъ зарей сіяло...
Но вдругъ средь нашихъ сладкихъ сновъ,
Средь нашихъ пламенныхъ теорій —
Мы слышимъ черни ярый ревъ:
Какъ будто вдругъ изъ береговъ,
Бушуя, выступило море!...
Мы въ ужасѣ глядимъ кругомъ,
И что жь? Какъ демоны въ потемкахъ,
Одни стоимъ мы на обломкахъ;
Добро упало вмѣстѣ съ зломъ!
Всѣ наши пышныя идеи
Толпа буквально поняла,
И ужь кровавые трофеи,
Вопя, по улицамъ влекла...
Но это все тебѣ извѣстно;

Ты знаешь, какъ одни изъ насъ,
Противу черни ополчась,
Погибли праведно и честно:
Но ты не знаешь одного —
Что многимъ голову вскружило,
Господство, власть и торжество,
А съ тѣмъ и деньги... Да, мой милой!
Кто разъ ужь сладко ѣлъ и пилъ,
Тотъ аппетитъ ужь наострилъ!
Мы взять попробовали силой —
Да не смогли: «Ну, такъ постой»,
Мы думали, — «народъ пустой!
«Подобье вѣчное Сатурна!
«Мы какъ-нибудь найдемъ лафу,
«И такъ поддѣнемъ, на фу-фу!
«Половимъ рыбки: море бурно!...
«Міръ самъ пойдетъ своимъ путемъ,—
«А мы съ него свое возьмемъ —
«И вотъ какъ: рѣшено, что дурно
«Все старое, какъ сгнившій плодъ;
«Ну, такъ возьмемъ наоборотъ —
«Перевернемъ все на изнанку;
«Взболтаемъ цѣлый міръ какъ склянку—
«Чему на днѣ быть—упадетъ,
«Чему вверху—на верхъ всплыветъ!...
«То, что̀ считалось безобразнымъ,
«Мы совершенствомъ назовемъ;
«Что̀ искони казалось грязнымъ,
«Мы въ томъ высокое найдемъ...»

Но впрочемъ эти штуки мелки,
И занимаютъ лишь дѣтей
Литературныя продѣлки.
Тутъ были вещи покрупнѣй.
Притомъ у насъ литература
Была неважная фигура
Одинъ слезами тѣшилъ дуръ,
Другой ругался черезчуръ,
Такъ что открылась штука эта,
И міръ смекнулъ, стряхнувши сплинъ,
Что въ маскѣ чахлаго поэта,
Румяный крылся арлекинъ.
Нѣтъ, вотъ гдѣ болѣе отваги!
Смотри-ко дерзость какова!
Мы появилися какъ маги,
Вѣщали чудныя слова;
Со всѣмъ величіемъ пророка
Провозглашали: «Нѣтъ порока!
«Для плоти наступилъ свой вѣкъ!
«Стыдъ, совѣсть—робкихъ душъ тревога!
«Въ страстяхъ познайте голосъ Бога,
«И этотъ богъ—есть человѣкъ!»...
Благоуханными словами
Навербовали мы толпами
Жрецовъ, а особливо жрицъ
Изъ женъ, скучающихъ мужьями,
И неутѣшенныхъ вдовицъ.
Въ своемъ безсовѣстномъ ученьѣ
Открывъ всѣмъ мерзостямъ прощенье.

Пустили по-свѣту гулять
Мы Мессалинъ и Донъ-Жуановъ,
И куча мелкихъ партизановъ
Пошли ихъ роль перенимать.
Они взялись за дѣло прочно,
И, предъ испуганной толпой,
Плевали, съ наглостью тупой,
Въ лицо весталки непорочной,
Имъ недоступной, имъ чужой!
Прикрывши граціей безстыдство,
Они всѣмъ блескомъ сибаритства
Ловили въ сѣти и дѣтей,
Ихъ развращая въ цвѣтѣ дней...
Тутъ было чистое злодѣйство,
Но наши новые жрецы
Втирались въ мирныя семейства
И утучнялись какъ тельцы...
Но все же этимъ аферистамъ
Не такъ продѣлка удалась,
Какъ арлекинамъ-журналистамъ.
Въ нихъ оцѣнить ты можешь насъ.
Вотъ знаютъ, гдѣ и какъ ударить!
Вотъ мастера-то, чортъ возьми!
На счетъ умовъ въ карманахъ шарить,
И слыть честнѣйшими людьми!
Сбирая дани съ музъ и грацій
Натурой, деньгой, тѣмъ и тѣмъ,
Они для вѣрныхъ спекуляцій
Какихъ не строили системъ!

Ужь въ чемъ другихъ не увѣряли,
Не вѣря ровно ничему!
Казалось всѣмъ—они лишь знали,
Что неизвѣстно никому,
Родъ человѣческій такъ падокъ
Вѣдь на таинственность: они,
Какъ сфинксы, полные загадокъ
Являлись черни въ оны дни!
Отъ нихъ услышать голосъ Божій
Къ нимъ собиралися толпы
Великодушной молодежи,
Чуть не цѣлуя ихъ стопы.
И сфинксъ, въ нихъ разжигая страсти,
Себѣ прокладывалъ въ тиши
На ихъ плечахъ дорогу къ власти,
И съ благородства ихъ души
Сбиралъ тихонько барыши.
Такъ шарлатанствомъ и коварствомъ
Опять вступили мы въ почетъ,
Опять правленье государствомъ
Вручилъ намъ вѣтреный народъ,—
И—мы попали въ депутаты...
О, еслибъ видѣлъ ты палаты!
Вотъ маскарадъ-то! Шумъ и гамъ!
Куда ни взглянешь—тутъ и тамъ
Все арлекинъ на арлекинѣ
Въ патріотической личинѣ!...
Ну, тутъ пошелъ такой кутежъ,
Что ужь теперь не разберешь!

Во имя братства и свободы
Мы взбаламутили народы,
Имъ обѣщая дать уставъ,
Какъ жать не сѣявъ, не пахавъ.
Хоть правда, два-три человѣка
Наладить думали ходъ вѣка, —
Да гдѣ имъ? Главная-то часть
Была у насъ—казна и власть,
Въ рукахъ—голодной черни стая,
Толпа фанатиковъ слѣпая
Да бѣглецы со всей земли.
Такъ мы въ республику сыграли,
Потомъ имперію создали,
Въ парламентъ англійскій вошли...
И два враждебные народа,
Сдруживъ для Крымскаго похода,
На помощь туркамъ повели...
Все бъ это ничего, конечно,
Когда бы въ то, что̀ мы творимъ,
О чемъ мы пишемъ и кричимъ,
Мы вѣрили чистосердечно, —
Нѣтъ, вѣры нѣтъ въ насъ на алтынъ!
Вѣдь смѣхъ: почтенный господинъ
Громитъ съ трибуны—плещутъ массы,
А подо всѣ его возгласы,
Въ душѣ витіи арлекинъ
Толпѣ коверкаетъ гримасы!
Я самъ... Да что и поминать!
Увы! Nessun maggior dolore,

Какъ вспоминать про счастье въ горѣ!
Насъ стали тамъ ужь понимать.
Народъ—не тотъ, что̀ пьетъ и пляшетъ,
А тотъ, который жнетъ и пашетъ,
Сталъ дѣло, кажется, смекать;
А этихъ пахарей печальныхъ,
Отцовъ семействъ патріархальныхъ,
Возросшихъ средь лѣсовъ и горъ,
Мы очень трусимъ съ давнихъ поръ...
Къ тому жь еще ударъ жестокой:
Оскорблена въ душѣ высокой
Ужь видитъ наша молодежь,
Что силы, умъ ея, здоровье
Погибли, защищая ложь,
Въ великолѣпномъ пустословьѣ:
И многіе въ душѣ своей
Даютъ обѣтъ—отъ критиканства,
Отъ пустоты и шарлатанства
Предохранить своихъ дѣтей...
Я думалъ—ужь не дать ли тягу,
Да здѣсь въ Россіи покутить...
Но какъ наказанъ за отвагу!
Не знаю, какъ и пережить!
Вѣдь вы одни для насъ и грозны.
Вы слишкомъ вообще серьезны.
Я здѣсь безъ вѣсу, безъ гроша.
Иначе тѣшится Россія!
У ней и въ смѣхѣ есть душа,
И въ шуткахъ—думы вѣковыя!

У васъ есть вѣра въ вашу Русь —
А вѣдь и камни движетъ вѣра!
Нѣтъ, я ошибся. Признаюсь,
Ужь вотъ урокъ-то! Вотъ карьера!
Мальчишка дергаетъ шнурокъ,
А я и прыгай что есть ногъ,
Пока не пуститъ онъ шнурочка!..
Послушай, сжалься надо мной!
Пусти меня! Сними съ гвоздочка!
Мнѣ, право, надобно домой!
Идетъ къ концу арлекинада —
Такъ приготовиться мнѣ надо
Собой украсить мавзолей
Великихъ тамошнихъ людей.

(1854).

КОЛЯСКА.

Когда по улицѣ, въ откинутой коляскѣ,
Передъ безпечною толпою ѣдетъ Онъ,
Въ походный плащъ одѣтъ, въ солдатской мѣдной каскѣ,
Спокойно грустенъ, строгъ, и въ думу погруженъ,—
Въ Немъ виденъ каждый мигъ державный повелитель,
И вождь, и судія, Россіи промыслитель,
И первый труженикъ народа Своего.
Съ благоговѣніемъ гляжу я на Него,
И грустно думать мнѣ, что мрачное величье
Въ Его есть жребіи: ни чувствъ, ни думъ Его
Не пощадилъ нашъ вѣкъ клеветъ и злоязычья!
И рвется вся душа во мнѣ ему сказать
Предъ сонмищемъ Его хулителей смущеннымъ:
«Великій человѣкъ! Прости слѣпорожденнымъ!
Тебя потомство лишь сумѣетъ разгадать,
Когда Исторія предъ міромъ изумленнымъ
Плодъ слезныхъ думъ Твоихъ о Руси обнажитъ,
И сдернувъ съ истины завѣсу лжи печальной
Въ ряду земныхъ царей Твой образъ колоссальный
На поклоненіе народамъ водрузитъ».

Марта 5, 1854.

18-го ФЕВРАЛЯ 1855 ГОДА.

Когда межь насъ являлся Онъ,
Какъ ратникъ вѣчно на походѣ,
Всегда какъ будто удрученъ
Заботой о своемъ народѣ;
Когда свой взоръ Онъ къ намъ склонялъ,
Насквозь имъ душу проницая,
И въ сердцѣ каждаго читалъ,
Или коря, иль ободряя:
Смущался каждый передъ Нимъ.
Въ Немъ подъ наружной простотою
Былъ виденъ мужъ, Своей рукою
Повергшій міръ къ стопамъ Своимъ;
Несокрушимый въ дни невзгоды,
Съ Кѣмъ въ споръ вступая, всей земли
Соединилися народы
И переспорить не могли;
Мужъ Божьей правды вѣчно полный,
Предъ Коимъ замыслы враговъ

Въ пыль сокрушалися какъ волны
У первозданныхъ береговъ...
И что жь?... Россіи Самодержецъ,
Который честь ея хранилъ,
А на враговъ какъ Громовержецъ
Очами ужасъ наводилъ,
Онъ—палъ!... Онъ палъ... языкъ нѣмѣетъ!
Въ испугѣ вѣрить умъ не смѣетъ!..
Онъ палъ во цвѣтѣ силъ, красы,
Труда не кончивъ начатова—
И равновѣсья міровова
Ужель не дрогнули вѣсы?...
Онъ палъ—но палъ какъ жилъ. Мгновенья
Не оробѣлъ предъ смертью Онъ.
Покоренъ волѣ Провидѣнья,
Презрѣвши боль, сдавивши стонъ,
Преемнику бразды правленья
Спокойно, твердою рукой
Одну вручалъ Онъ за другой.
Съ послѣднимъ царственнымъ урокомъ,
Съ отчетомъ царство Онъ сдавалъ,
И предъ концомъ отцовскимъ окомъ
Еще Россію обнималъ.
Онъ ей пророчилъ вѣки славы,
Когда дастъ плодъ, что сѣялъ Онъ,
И миромъ вслѣдъ войны кровавой
Край Русскій будетъ обновленъ;
Онъ зналъ, что Тотъ, Кто росъ предъ нами,
Кого съ младенчества сердцами

Привыкли мы благословлять,—
Сынъ, обливающій слезами
Его походную кровать,
Что Онъ Россіи не уронитъ,
И какъ Отецъ передъ врагомъ
Главы вѣнчанной не преклонитъ,
И твердъ пойдетъ Его путемъ.
Онъ зналъ, что Русь, усердьемъ къ вѣрѣ
Единодушно съ Нимъ горя,
Ожесточенная потерей
Несокрушимаго Царя,
Къ Его возлюбленному Сыну
Съ сугубымъ рвеніемъ примкнетъ
И, съ Нимъ питая скорбь едину,
Въ ней силы новыя найдетъ.
Ты правъ, о, Труженикъ Великій!
Съ рыданьемъ нашимъ надъ Тобой
Звучатъ воинственные клики.
Да слышитъ врагъ земли родной—
Подъ похоронныя молитвы,
Гремя мечами, мы зовемъ:
«Царь! Повели: мы жаждемъ битвы
Подъ Александровымъ орломъ!»

(1855).

ВИХРЬ.

(Отрывокъ).

Полнъ черныхъ думъ, я въ полѣ проходилъ,
И вдругъ, среди истомы и тревоги,
Неистовымъ настигнутъ вихремъ былъ.
Средь тучи пыли, поднятой съ дороги,
Древесные кружилися листы,
Неслись снопы, разметанные стоги,
Деревьевъ вѣтви, цѣлые кусты.
Стада, блѣя и головы понуря,
Помчались; ревъ и вой средь темноты
Такой поднялся, что, глаза зажмуря,
Я побѣжалъ и думалъ, что разбить
Иль вымести хотѣла землю буря.
Мгновенно думъ моихъ порвалась нить.
Попавши въ круть и силяся напрасно
Запорошенные глаза открыть,
Я вспомнилъ Дантовъ адскій вихрь ужасной,
Который гналъ, крутя, какъ листъ въ лугу,

Тѣней погибшихъ вѣчно сонмъ злосчастной.
И что же? Вдругъ я слышу на-бѣгу,
Что не одинъ я схваченъ адской кручей
И волочусь въ безвыходномъ кругу.
На мигъ открылъ глаза, сквозь вихорь жгучій,
Я множество узрѣлъ головъ и лицъ,
Одеждъ, какъ парусъ бившихся летучій,
Взбѣсившихся коней, въ пыли возницъ,
Дѣтей и женщинъ, подымавшихъ руки
Изъ-подъ колесъ разбитыхъ колесницъ.
Лишь по устамъ, открытымъ въ страшной мукѣ,
Я понималъ, что всѣ они вопятъ,
Но вихорь вырывалъ изъ устъ ихъ звуки,
И мчалъ онъ ихъ, какъ щепки водопадъ...
Я вдругъ попалъ въ затишье за скалою,
И провожать бѣгущихъ могъ мой взглядъ.
И видѣлъ я: тяжелою стопою,
Какъ мчатся въ страхѣ по полю быки,
И между нихъ телята—хвостъ строкою—
Бѣжали юноши и старики.
Надъ ними вихрь кружилъ листы бумаги
И рвалъ съ головъ сѣдые парики...
Педантовъ вмигъ узналъ я въ сей ватагѣ:
Ихъ жалкій кругъ когда-то охранялъ
Наукъ святыню и, въ слѣпой отвагѣ,
Дорогу къ ней народу преграждалъ...
За ними вслѣдъ—исчадье канцелярій—
Дѣльцовъ, пройдохъ печальный сонмъ бѣжалъ...
Тутъ были мопсовъ морды, волчьи хари,

И головы ушастыхъ лошаковъ,
И Зевсъ міровъ подъяческихъ, и парій.
Ихъ точно гналъ незримый рой бѣсовъ.
Одинъ толстякъ упалъ, изнемогая,
Но вихрь его, средь пыльныхъ облаковъ,
То внизъ, то вверхъ кидалъ, какъ мячъ швыряя;
Другому же блудница на плеча
Повисла, какъ вампиръ, его кусая:
Онъ билъ ее, губами скрежеща...
За ними дамъ толпы, въ нарядѣ бальномъ,
Въ вѣнкахъ изъ розъ, въ гирляндахъ изъ плюща,
Какъ будто плыли въ вальсѣ музыкальномъ,
Подобныя летящимъ лебедямъ
Надъ синей степью къ озерамъ зеркальнымъ.
И франтовъ рой бѣжалъ по ихъ слѣдамъ,
Толкаясь и руки простирая
За улетающей толпою дамъ:
Такъ спугнутыхъ домашнихъ утокъ стая
Бѣжитъ по пруду, шлепая крыломъ,
И взвиться въ воздухъ силы напрягая...
Но вихорь сталъ еще сильнѣй потомъ,
Опять толпы помчались въ ураганѣ,
Какъ арміи въ дыму пороховомъ.
Какъ въ разноцвѣтномъ, огненномъ фонтанѣ,
И голубыхъ и алыхъ лентъ цвѣта
Передо мной мелькали, какъ въ туманѣ.
И чувствовалъ, страшна та высота,
Съ которой вихрь низвергнулъ сихъ несчастныхъ...
Но вдругъ, смотрю, яснѣетъ темнота,

И пыли столбъ, и съ нимъ толпа безгласныхъ
И жалкихъ жертвъ въ клубящемся пескѣ,
Весь просіялъ въ отливахъ свѣта красныхъ
И въ бѣлой ризѣ, крестъ держа въ рукѣ,
Маститый старецъ сталъ передъ толпами,
Какъ каменный утесъ въ упоръ рѣкѣ.
Онъ вопіялъ: «Покайтесь!» и перстами
Указывалъ на городъ... Я взглянулъ,—
И онѣмѣлъ... Огонь, клубясь волнами,
Надъ городомъ все небо обогнулъ.
Изъ дыма искры сыпались, какъ сѣмя
Отъ вѣяла—и вдругъ, сквозь трескъ и гулъ,
Съ небесъ раздался гласъ: «Приспѣло время!
Се Тотъ, Кого забыли вы! Долой,
О, блудное и вѣтреное племя!»
Я въ ужасѣ упалъ полуживой.

1856.

Все вокругъ меня какъ прежде:
Пестрота и блескъ въ долинахъ,
Лѣсъ опять тѣнистъ и зеленъ,
И шумитъ въ его вершинахъ!..

Отчего жь такъ сердце ноетъ,
И стремится, и болѣетъ,
Неиспытаннаго проситъ,
И о прожитомъ жалѣетъ?

Не начать вѣдь жизнь сначала...
Даромъ сила растерялась,
Да и попусту растратишь
Ту, которая осталась...

А вокругъ меня, какъ прежде,
Пестрота и блескъ въ долинахъ;
Лѣсъ опять тѣнистъ и зеленъ,
И шумитъ въ его вершинахъ!..

(1857).

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.

Давно ль была она малютка!
Давно ль вся жизнь ея была
Лишь смѣхъ, да бѣганье, да шутка,
Какъ утро майское свѣтла!
Теперь—ласкаясь и безгласно
Она глядитъ ему въ глаза
Съ такой довѣрчивостью ясной,
Какъ смотрятъ дѣти въ небеса...
А онъ—ребенокъ милый вѣка—
Лепечетъ вдохновенно ей
Про назначенье человѣка,
Про блескъ и славу нашихъ дней;
Про пальмы дальняго Востока,
Про рафаэлевыхъ Мадоннъ...
Но о любви своей намека
Не смѣетъ выговорить онъ!
Ихъ милый лепетъ, ихъ мечтанья
Порой подслушиваю я—
И точно розъ благоуханье
Пахнетъ внезапно на меня.

(1857).

Въ юдоли плача и порока
Поэтъ въ душѣ своей слагаетъ
Невольно вѣщій гласъ пророка—
И міръ иной сооружаетъ.

Въ томъ мірѣ Истина: блистаетъ
Въ ея щитѣ глава Медузы;
Передъ ней порокъ свой мечъ роняетъ,
И ниспадаютъ съ скорбныхъ узы.

Она идетъ: предъ ней крушатся
Повсюду монументы злобы,
И розы пышныя родятся
Тамъ, гдѣ страдальцевъ были гробы;

И вкругъ все дивное творится:
Пигмей низвергнулъ исполина,
И благодушный рабъ садится
На мѣсто злого господина.

Все, что̀ страдало, что̀ боролось
Противу зла, изнемогая,
Отвсюду возвышаетъ голосъ,
Господень судъ благословляя;

И люди такъ же благи снова,
Какъ тѣ, которые внимали
При Галилейскомъ морѣ слово,
Съ ихъ душъ снимавшее печали...

Такъ за ночными облаками,
Сквозь ихъ серебряныя пятна,
Ты небо чувствуешь съ звѣздами,
И съ глубиною необъятной.

1857.

Жизнь еще передо мною
Вся въ видѣніяхъ и звукахъ,
Точно городъ дальній утромъ,
Полный звона, полный блеска!..

Всѣ минувшія страданья
Вспоминаю я съ восторгомъ,
Какъ ступени, по которымъ
Восходилъ я къ свѣтлой цѣли...

1857.

СНЫ.

ПОЭМА.

СНЫ.

Поэма въ IV пѣсняхъ.

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Ужь въ зелени березъ есть вѣтки золотыя;
По небу рыхлыя, какъ комы снѣговые,

Отъ сѣвера плывутъ грядами облака;
Все ясно говоритъ, что осень ужь близка;

Выходятъ старики, поля обозрѣвая,
И колосъ шелушатъ, про умолотъ смекая,

Пытаясь вынести изъ годовыхъ трудовъ
Крупицу опыта для будущихъ годовъ...

И въ жизни такъ пора приходитъ: разумъ строгій
Велитъ ужь подводить подъ прожитымъ итоги,—

И память повела его, какъ чародѣй
Въ волшебный лабиринтъ, средь темныхъ галлерей,

И рядъ картинъ предъ нимъ во мракѣ озаряетъ...
На все, что̀ предо мной она разоблачаетъ,

Уже взираю я съ спокойною душой.
Ужь все такъ далеко, все кажется мечтой!

Фигуры движутся, какъ въ дымкѣ ѳиміама,
Уже на все легла̀ эпическая рама,

И свѣтъ таинственный, и муза въ тишинѣ
Все взоромъ обняла и пѣсни шепчетъ мнѣ...

О, сынъ мой, милый сынъ, какъ рѣзвый и живой
Малютка розовый, играешь ты со мной!

Тебѣ по вечерамъ я сказываю сказки,
И вдругъ ты тяжело дышать начнешь, и глазки

Блеснутъ слезинкою... Задремлешь ли порой,
Задумываться я люблю передъ тобой,

И губокъ подвижныхъ въ измѣнчивомъ движеньѣ
Угадывать твои невинныя видѣнья...

И вотъ ты выростешь... Быть можетъ, для тебя
Судьба не дасть сказать мнѣ сказку про себя:

Вотъ *Сны* тебѣ мои... въ нихъ все, что̀ хладный опытъ
Открылъ мнѣ, проведя чрезъ слезы, скорбь и ропотъ.

Свидѣтель будешь ты уже поры иной:
Быть можетъ, наши *Сны* сочтешь уже мечтой

И сказкой нашъ удѣлъ и нашихъ дней страданья...
Молю—да будетъ такъ! . . . . . .

ПѢСНЬ ПЕРВАЯ.

Есть домикъ—онъ теперь глядитъ ужь старцемъ сирымъ,
Но нѣкогда онъ мнѣ казался цѣлымъ міромъ!

Уютно онъ стоитъ между березъ и липъ;
У дома спускъ крутой, а тамъ—рѣки изгибъ,

И за рѣкою лучъ, сквозь дождевую тучу,
Блеститъ на городкѣ, на домахъ, сбитыхъ въ кучу.

Веселый смѣхъ дѣтей, какъ въ рощѣ пѣнье птицъ,
Звучитъ въ томъ домикѣ; въ немъ нѣтъ угрюмыхъ лицъ,

И видимо на всемъ благословенье Бога,
Хоть бѣдность не чужда была его порога;

За то тамъ былъ пріютъ простыхъ и добрыхъ чувствъ
И билися сердца при имени искусствъ.

Искусства труженикъ, безъ жажды славы лживой,
Отецъ мой тамъ обрѣлъ пріютъ себѣ счастливый.

Что въ жизни вынесъ онъ, какимъ достигъ путемъ
Житейской мудрости—не знали мы о томъ..

Вокругъ его друзья немногіе сбирались;
Всѣ вмѣстѣ старились... лишь смертью разлучались...

Намъ свято имя ихъ: они учили насъ...
Но онъ, божественный, бывало, углубясь,

Какъ бы исполненный душевнаго видѣнья,
Онъ пишетъ въ мастерской святыхъ изображенья—

Все изъ саду къ нему заглядываемъ мы...
Все было чудно намъ средь влажной полутьмы

Въ пространной мастерской—болѣзненная дума
Въ лицѣ художника, творящаго безъ шума,

Въ самозабвеніи, статуи возлѣ стѣнъ,
Холодныя какъ смерть, и подвижной манкенъ

Съ румяной маскою, съ горою кудрей жесткихъ,
Сидящій какъ пророкъ на плотничьихъ подмосткахъ.

Но бросилъ кисть отецъ, и «дѣти» крикнулъ намъ,
И мы со всѣхъ сторонъ бѣжимъ по цвѣтникамъ,

Всѣ, даже меньшіе, къ нему, привставъ на-цыпки,
Руками тянутся и ждутъ его улыбки...

О, много я часовъ въ той мрачной мастерской,
Провелъ потомъ, носясь Богъ знаетъ гдѣ душой!..

Изъ братьевъ я хоть былъ всѣхъ старѣе годами,
Но разумъ спалъ во мнѣ какъ дзимь подъ снѣгами...

Когда сбирались мы въ кружокъ по вечерамъ,
И мать изъ Библіи урокъ читала намъ,

Тяжелый сонъ меня одолѣвалъ при чтеньѣ...
Но помню, разъ она о первыхъ дняхъ творенья

Разсказывала намъ по книгѣ Бытія,—
Впервые изумленъ, внималъ прилежно я,

И послѣ чтенія, какъ братья шли ужь въ спальни,
Тихонько убѣжалъ я сада въ уголъ дальній

И, взоры устремивъ на звѣздный сводъ небесъ,
Казалось, понялъ смыслъ прочитанныхъ чудесъ.

Съ тѣхъ поръ ума во мнѣ Господень перстъ коснулся,
И онъ отъ празднаго бездѣйствія очнулся.

И много лѣтъ потомъ я помнилъ этотъ мигъ,
И посвятилъ ему свой первый дѣтскій стихъ.

Когда же мать моя нашла его случайно,
Я, вспыхнувъ, убѣжалъ, стыдясь за трудъ свой тайный,

И плакалъ я, когда она меня нашла,
И кудри гладила, и съ лаской обняла,

Стараясь мнѣ взглянуть въ потупленныя очи...
Я точно вышелъ вдругъ на свѣтъ изъ мрака ночи,

И въ чудномъ блескѣ мнѣ являются всегда
И отрочества дни, и школьные года,

Когда безпечно пѣлъ я солнце, моря волны,
Волною на песокъ закинутые челны,

И дѣвъ невидимыхъ, которыхъ посвящалъ
Я въ красоты лѣсовъ, пустынь и дикихъ скалъ.

Но городъ, гдѣ я росъ, мой даръ считалъ юродствомъ.
Хоть люди въ немъ цвѣли отъ праздности дородствомъ,

Но праздность видѣли въ занятіяхъ моихъ
И кару—въ худобѣ моей за чтенье книгъ.

И лишь немногіе и близкіе знакомцы
Да бурсы городской смиренные питомцы

Мои творенія читали—кто бранилъ,
Кто неумѣренной хвалой превозносилъ.

Но я почувствовалъ, что ихъ суда мнѣ мало.
Иное поприще мечта мнѣ открывала.

Къ намъ быстрая молва за вѣстью вѣсть несла,
Что въ мірѣ поднялась борьба добра и зла,

И каждое ловилъ я огненное слово,
И жаждалъ искусить свой духъ въ борьбѣ суровой...

Такъ въ замкѣ, на скалѣ, на днѣ сырой тюрьмы,
Вдругъ слышно узнику, среди глубокой тьмы,

Что съ моря выстрѣлы несутся боевые,
Все ближе... вотъ дрожатъ граниты вѣковые,

Вотъ парусъ какъ пятно въ окнѣ его мелькнулъ
И вѣтръ къ нему занесъ и дымъ, и криковъ гулъ;

Кругомъ шипятъ въ водѣ и бьютъ о камень ядры;
Онъ слухомъ лишь слѣдитъ, какъ движутся эскадры,

И кинулся бъ къ окну—да окна высоки!
И проклиная цѣпь, онъ плачетъ отъ тоски...

И я рѣшилъ отцу открыть свои мученья,
И на далекій путь просить благословенья.

Спокойно выслушалъ слова мои старикъ,
И, помню, просіялъ какъ юноша въ тотъ мигъ.

«Тебѣ не мѣсто здѣсь», сказалъ онъ вдохновенный,
И къ матери повелъ въ покой уединенный.

И говорилъ я ей, что гибну я въ глуши;
Что даръ коснѣетъ мой въ бездѣйствіи души;

Что славное пришло для человѣка время;
Что новое Господь на землю бросилъ сѣмя;

Что въ душу избранныхъ его Онъ насадилъ,
И страждущимъ раздать велѣлъ, и—часъ пробилъ—

Сіяетъ и для нихъ надежды свѣтъ любезный,
Какъ Ною радуга надъ безпредѣльной бездной;

Что зданья стараго дрожитъ уже скелетъ,
И въ трещины его ужь новый блещетъ свѣтъ;

Что нѣкій мужъ, въ ночи являясь, мнѣ глаголетъ:
«Гдѣ посохъ твой! Вставай!» и въ путь идти неволитъ...

«Пусти, я умолялъ, я буду утѣшать
«Надеждой скорбнаго и добрыхъ прославлять!..»

Все выслушавъ, она промолвила мнѣ строго:
«Но гдѣ же знаменье, что это голосъ Бога?

«Намъ сказано: не всѣ внушенья—отъ небесъ
«И образъ ангела пріемлетъ часто бѣсъ».

А я: «Нѣтъ, не земнымъ подвигнутъ я внушеньемъ;
«Его провѣрилъ я молитвой и сомнѣньемъ.

«Кто знаетъ? То, надъ чѣмъ и старецъ изнемогъ,
«Нерѣдко лепетомъ младенца скажетъ Богъ!

«О, не держи меня и дай благословенье,
«Да чистый шествую я ближнимъ во служенье».

И голову склонилъ къ ея колѣнамъ я.
И взоръ то на отца стремя, то на меня,

Сказала дивная дрожащими устами:
«Тебѣ отвѣтствовать могу я лишь слезами!

«Останешься ль у насъ—ты будешь тосковать,
«И скрытой скорбію мнѣ душу надрывать!..

«Уйдешь... о, для чего тебя я породила!..»
Но больше говорить ей сила измѣнила,

И плакала она, склонясь ко мнѣ главой,
И тихо молвила: «Иди! Господь съ тобой!»

Досель, о дивная, мнѣ образъ твой сіяетъ!
Слеза безмолвная съ рѣсницы упадаетъ...

Покорно говорятъ уста твои: «иди!»
А руки жмутъ меня къ взволнованной груди...

Но вотъ отецъ развелъ твои тихонько руки
И обнялъ онъ тебя, свои скрывая муки,

Мнѣ подалъ знакъ уйти, а самъ тебѣ шепталъ
Слова святыхъ надеждъ и въ очи цѣловалъ...

И я оставилъ сѣнь отеческаго дома.
И дни прошли въ пути. Душевная истома

Меня лишала силъ. Осенній вѣтеръ вылъ...
Впервые понялъ я, какъ домъ отцовскій милъ.

Я всюду видѣлъ мать: душа ея болѣла,
Все что-то высказать, казалось, мнѣ хотѣла...

Изъ сердца моего, Богъ вѣдаетъ куда,
Мечты умчалися, какъ птички изъ гнѣзда...

Я на горы взошелъ. Долины въ мглѣ тонули
И звѣзды въ небесахъ холодныя блеснули...

И страшнымъ сномъ въ ту ночь мой духъ былъ возмущенъ.
То былъ пророческій, тревоги полный сонъ.

Онъ возвѣстилъ мнѣ все, что̀ послѣ совершилось...
Но поздно мнѣ его значеніе раскрылось.

ПѢСНЬ ВТОРАЯ.

Мнѣ снилось, что я все въ горахъ еще бродилъ.
Всечасно на пути мой шагъ межь плитъ скользилъ.

Лопухъ, чертополохъ за платье мнѣ цѣплялись,
И будто духи, въ нихъ дремавшіе, взвивались

И били крыльями, какъ птицы. Грудь мою
Сжималъ пустыни страхъ. Вдругъ вижу, на краю

Обрыва горъ стоитъ почтенный странникъ, рѣзко
Рисуясь статуей на небѣ, полномъ блеска.

Я радостно, узрѣвъ живое существо,
Какъ младшій старшаго, привѣтствовалъ его.

Онъ поднялъ голову, какъ будто съ неохотой
Прощаясь съ думою и тяжкою заботой.

«Куда стремишься ты?» спросилъ онъ. Я въ отвѣтъ:
«Ищу я истины, иду туда, гдѣ свѣтъ».

Онъ на слова мои такъ горько улыбнулся,
Что я потупилъ взоръ и духомъ содрогнулся.

Но тотчасъ прежній видъ спокойствія принявъ,
Онъ молвилъ кротко мнѣ: «Да, юноша, ты правъ.

«Иди за мной. Тебѣ я славный путь открою».
Сказавъ, онъ до меня дотронулся рукою,

И полетѣли мы въ пространствѣ голубомъ,
Какъ два орла летятъ, не двигая крыломъ.

Воздушный сей полетъ мнѣ не казался страннымъ.
Долъ скрылся. Мѣсяцъ всплылъ надъ облакомъ туманнымъ,

Какъ будто снѣжную мятель въ немъ серебря,
И духъ мой веселъ былъ. Когда жь зажглась заря,

Обширный увидалъ я городъ. Въ немъ, какъ ленты,
Шли улицы. Кругомъ дворцы и монументы,

И башни, и мосты. Народъ вездѣ кишилъ,
Какъ въ муравейникѣ, и къ площади валилъ,

Гдѣ цѣльные быки на вертелахъ вращались,
Пылали маяки и знамена качались.

И сталъ я различать, спускаясь, звукъ трубы,
И стонъ, и вой, и крикъ, и частый трёскъ пальбы.

У городскихъ воротъ спустились мы на землю,
И я едва успѣлъ опомниться, какъ внемлю,

Что по полю на насъ толпа людей валитъ,
Какъ туча черная, и дико голоситъ.

Какъ пухъ во облакѣ поднятой вихремъ пыли,
Помчался съ ними я. Они въ крови всѣ были,

И я гляжу—на мнѣ одежды не мои!
Я тронулъ ихъ рукой—смотрю, рука въ крови;

Я крикнуть къ спутнику хотѣлъ, но вижу: краснымъ
Онъ машетъ колпакомъ и голосомъ ужаснымъ

Передъ толпой вопитъ, какъ звѣрь свирѣпъ, косматъ...
«То онъ ли?» думалъ я и страхомъ былъ объятъ.

Но онъ, схвативъ меня рукой—«Бѣснуйся съ ними!
«Кричи! сказалъ, и—прочь съ сомнѣньями пустыми!»

Вбѣжали въ городъ мы. Дома одни горятъ,
Другіе грудою дымящейся лежатъ;

Повсюду битвы слѣдъ. Размощены дороги,
Объ мертвыхъ, что ни шагъ, то путаются ноги.

Тамъ съ шпагою въ рукѣ, патрицій молодой,
Лежитъ, упавъ навзничь, съ разбитой головой.

Тамъ женщина: съ одеждъ струею кровь лѣется,
А на груди ея живой ребенокъ бьется;

За горло двое тамъ схватясь, разинувъ зѣвъ,
Валялись мертвые, въ борьбѣ окостенѣвъ.

Тамъ груды цѣлыя, и мы чрезъ нихъ неслися,
И выбѣжали вдругъ на площадь, гдѣ стеклися

Несмѣтныя толпы и точно ждали насъ
Вокругъ большихъ костровъ, крича и веселясь.

И начали кидать въ костеръ сокровищъ груды.
Со звономъ лопались хрустальные сосуды.

Церковной утвари расплавленный металлъ
Съ костра горящими ручьями ниспадалъ.

На куклу вздѣвъ вѣнецъ и царскіе доспѣхи,
Ее повергли въ огнь при сатанинскомъ смѣхѣ.

«Воспой ихъ торжество!» мой спутникъ мнѣ вопилъ,
Но новый шумъ меня сильнѣй того смутилъ.

Я вижу—женщину везутъ на колесницѣ,
И честь ей воздаютъ, какъ слѣдуетъ царицѣ,

То полная была, румяная жена.
Чело въ вѣнкѣ изъ розъ, до чреслъ обнажена,

На клики и почетъ, что̀ чернь ей расточала,
Ругательствомъ она и смѣхомъ отвѣчала.

Вокругъ танцовщицы шли, бубнами стуча,
Жрецы, и трубачи, и вѣстники, крича:

«Раздайтесь! Се Любви богиня, Мать-Природа!»
Какъ змѣй ползетъ въ нору, вся вереница хода

По лѣстницѣ во храмъ ушла. И я толпой
Туда же вдвинутъ былъ. Тутъ духъ смутился мой

Инымъ позорищемъ. Весь храмъ сіялъ огнями.
Отъ верху до низу, какъ въ циркѣ, ступенями,

Шелъ помостъ, какъ цвѣтникъ, толпой мужей и женъ
Пестрѣя. Посреди былъ идолъ водруженъ—

Сатиръ, при хохотѣ вакханки богомерзкой,
Срывающій покровъ съ весталки лапой дерзкой.

У ногъ кумира сонмъ жрецовъ стѣной стоялъ
И въ пламенныхъ рѣчахъ собранью возглашалъ:

«Возрадуйтесь! Конецъ насильству и работѣ:
«Мы міръ преобразить грядемъ во имя плоти!»

Въ отвѣтъ, при стукѣ чашъ, при кликахъ торжества,
Вокругъ раздался взрывъ хуленій божества,

И съ наглостью мужи и жены предъ собраньемъ
Являли свой восторгъ безстыднымъ лобызаньемъ.

Мой спутникъ тихо мнѣ: «Сегодня конченъ бой.
«За власть на утро же подымется другой.

«Покуда—твой черед. Мгновеніе приспѣло,
«И слава—твой удѣлъ, лишь что скажу я—дѣлай!»

Сказавъ, явился онъ въ кругу жрецовъ другихъ,
Какъ ихъ верховный жрецъ, въ одеждахъ дорогихъ.

Предъ голосомъ его ихъ крики были малы.
Такъ предъ рыканьемъ льва смолкаютъ вдругъ шакалы,

И хоръ болотныхъ жабъ, и крики птицъ ночныхъ,
И всякій звукъ въ степи замретъ на краткій мигъ.

Ругаясь надъ трудомъ, надъ тропомъ, надъ святыней,
Онъ чернь превозносилъ и, призывая нынѣ

Ее къ великому свободы торжеству
И наглымъ образомъ уподобляя льву,

Который, цѣпь разбивъ и надышавшись волей,
Отъ гнѣва отдыхать улегся на престолѣ,

Воззвалъ ко мнѣ: «Пѣвецъ! Вотъ наше божество!
(На идолъ указавъ) «Воспой же намъ его!»

И подалъ съ высоты мнѣ золотую лиру.
Но любострастному въ лицо взглянувъ сатиру,

Негодованія не могъ я превозмочь
И лиру срамную отбросилъ гнѣвно прочь.

«Свобода,—я вскричалъ:—не пиръ, не рабство крови,
«А духа торжество и благодать любови!

«Отъ сердца пѣснь моя; а сердцемъ чуждъ я вамъ,
«И гимна не спою разнузданнымъ страстямъ!»

Мой спутникъ съ высоты меня окинулъ взоромъ,
И взоръ его блеснулъ, какъ молнія, укоромъ.

Но я, трепещущій, далеко былъ. Въ тотъ мигъ
Видѣнья чистыя моихъ пустынь родныхъ

И профиль матери, предъ образомъ стоящей,
Мелькнули предо мной... Такъ путникъ, весь дрожащій,

Въ грозу, при молніи увидитъ предъ собой
Вдругъ церковь бѣлую средь темноты густой.

Но то былъ мигъ одинъ. По храму гулъ промчался.
И, точно громъ въ горахъ, ужасный крикъ раздался:

«Въ огонь его, въ огонь поборника цѣпей!»
И все задвигалось. Жрецы отъ алтарей,

Съ подмостокъ вся толпа, какъ лютыхъ тигровъ стая,
Рванулась на меня, все на пути ломая...

Я схваченъ, поднятъ былъ и, слыша дикій вой,
На звѣрскихъ лицахъ вкругъ конецъ читая свой,

Я бился, выскользнуть стараясь на свободу,
Какъ угорь пойманный скользитъ и рвется въ воду

Изъ рукъ дѣтей, въ весну шумливою гурьбой
Пришедшихъ на расплёсъ, оставленный рѣкой.

Но выбившись изъ силъ, уже я помню смутно,
Что съ хохотомъ слился народа ревъ безпутный,

И я надъ бездною туманною стою,
И подлѣ путникъ мой, личину снявъ свою,

Какъ прежде, важенъ, тихъ, и съ кротостью благой
«Прощай,—мнѣ говоритъ:—мы встрѣтимся съ тобою.

«Но помни: океанъ, бушуя, илъ со дна
«Подъемлетъ, но потомъ уляжется волна,

«И берега цвѣтутъ отъ брошеннаго ила».
Значенье этихъ словъ тогда мнѣ тайной было.

Отъ ужаса едва сознаніе храня,
Я смутно понималъ, что вождь мой спасъ меня.

И онъ исчезъ. И тутъ отъ скорби и смятенья
Я сталъ переходить въ холодное забвенье.

Лишь чувствовалъ, что мракъ вокругъ меня густѣлъ,
Сырой, ужасный мракъ... и я летѣлъ, летѣлъ...

ПѢСНЬ ТРЕТЬЯ.

Когда заблудшійся въ ночи, въ лѣсу густомъ,
Вдругъ слышитъ шопотъ струй и, слухомъ лишь ведомъ,

Приходитъ къ озеру, и вдругъ, на влагѣ спящей,
Увидитъ—огонекъ плыветъ къ нему дрожащій;

Понявъ, что то ладьи вдоль берега кружатъ,
Что раковъ ловятъ тамъ иль сонныхъ щукъ багрятъ,

Онъ мыслитъ, что спасенъ отъ голода и звѣря;
И дышитъ радостно, въ свое спасенье вѣря,

Такъ жизни свѣтъ въ душѣ я снова ощутилъ.
Еще безъ голоса, но очи ужь открылъ,

И приходя въ себя, былъ радъ, что сердце билось,
И все понятнѣе кругомъ мнѣ становилось.

На лѣстницѣ дворца лежу я недвижимъ
Въ иномъ ужь городѣ. Патруль прошелъ. Но имъ

Я не замѣченъ былъ. Заря межь тѣмъ вставала,
И блѣдная лазурь на небѣ оживала.

Я всталъ и въ путь пошелъ. Все тихо. Ни собакъ,
Ни запоздавшихся по улицамъ гулякъ.

Вотъ зданье—все темно, но ужь надъ нимъ зарею
Сіяла статуя, держа вѣсы рукою.

Тамъ первые лучи заискрилися вдругъ
На буквахъ золотыхъ. Прочелъ я: «Храмъ Наукъ».

Я дальше. Вотъ чертогъ. Ужь оконъ верхній ярусъ
Горитъ какъ жаръ. Лѣсъ мачтъ, кой-гдѣ алѣвшій парусъ,

Меркурій и Нептунъ мнѣ дали разумѣть,
Что то торговли храмъ. Успѣлъ лишь оглядѣть

Его, какъ пантеонъ узрѣлъ я величавый
«Гражданскихъ доблестей и дѣлъ воинской славы».

На солнцѣ онъ ужь весь сіялъ. Къ нему пути
Уставлены людьми, литыми изъ мѣди.

Съ гранитной лѣстницы, опершись о перила,
Смотрѣлъ я внизъ—и духъ мой радость окрылила.

Столбъ солнечныхъ лучей забрызгалъ по рѣкѣ;
Съ церквей понесся звонъ. Вблизи и вдалекѣ

Задвигался народъ; суда пошли, обозы...
«О, вотъ счастливый край!» воскликнулъ я сквозь слезы.

Тутъ двинулись полки, литаврами гремя.
Народъ въ какой-то храмъ бѣжалъ. За нимъ и я.

«Алтарь отечества», прочелъ я у фронтона.
Войска туда несли развитыя знамена.

Явился царь. Какъ левъ спокоенъ былъ онъ, тихъ;
Какъ солнце онъ сіялъ средь подданныхъ своихъ,

Среди сподвижниковъ цвѣтущихъ и маститыхъ,
Широкой лентою черезъ плечо повитыхъ.

Съ явленіемъ его въ строю блестящихъ ротъ
Раздался звучный кликъ, и шапки снялъ народъ.

Мнѣ въ душу ясный ликъ царя запалъ глубоко,
И я для сей страны сталъ гимнъ слагать высокой.

Попарно ужь стихи рождались въ головѣ;
Виднѣлась бездна рифмъ, какъ по лугу, въ травѣ

Блестящіе цвѣты, и ими прихотливо
Сталъ мысль я убирать и стихъ ловить счастливой,

Какъ праздникъ кончился, и говора полна,
Отъ храма хлынула народная волна.

Я съ нею двинулся. Но духъ мой умиленный
Смущенъ картиною нежданною мгновенно.

. . . . . .
. . . . . .

. . . . . .
. . . . . .

Вотъ городъ кончился, вотъ поле вкругъ глухое,
А все въ ушахъ «бѣги!» звенѣло роковое,

«Бѣги!» но скоро я упалъ, изнеможенъ,
Вцѣпяся въ спутника, но гнѣвно рвался онъ...

Такъ утопающій товарища хватаетъ,
Который самъ терять ужь силы начинаетъ,

И въ ужасѣ, презрѣвъ несчастнаго мольбу,
Въ богопротивную вступаетъ съ нимъ борьбу...

Но мигъ—и вырвался вожатый мой и скрылся...
Широкій горизонтъ вдругъ мракомъ обложился...

Въ тупомъ безсмыслiи глядѣлъ я, какъ исчезъ
Послѣдній лоскутокъ лазуревыхъ небесъ,

И показалось мнѣ, что Богъ во глубь эфира
Уходитъ, отвратя лицо свое отъ міра,

А сумрачный Князь Тьмы, съ тіарой на челѣ,
Побѣдно шествуетъ владыкой по землѣ,

И съ нимъ его сыны, какъ псовъ голодныхъ своры,
Трибуны и жрецы, клеветники и воры...

И вотъ ужь съ грохотомъ тяжелыхъ колесницъ
Все ближе визгъ и вой... я палъ на землю ницъ,

Слова младенческихъ молитвъ припомнить тщился,
И только «Отче нашъ» сказалъ и—пробудился.

ПѢСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Съ тѣхъ поръ прошли года... Обманутъ вѣрой страстной,
Я въ жизни изнемогъ... Сбылся мой сонъ ужасный!..

Повсюду пламеннымъ мечтамъ моимъ въ отвѣтъ,
Въ судьбахъ народовъ я читалъ: «Надежды нѣтъ!»

Съ презрѣніемъ въ душѣ къ безсилью человѣка,
Всѣ боли раздѣливъ обманутаго вѣка,

Равно я поражалъ насмѣшкою своей
И вѣру стариковъ, и страстный пылъ дѣтей.

Сомнѣнье стало мнѣ и гордостью, и мукой,
И имъ кичился я надъ чернью близорукой.

Лишь тотъ, кто слышалъ разъ, какъ падая стучитъ
Земля о хладный гробъ, гдѣ трупъ любезный скрытъ,

Поймётъ, какъ тяжело душѣ, въ порывѣ къ благу,
Съ горячей вѣрою терять на жизнь отвагу;

Пойметъ, какъ тяжело, стуча рукою въ грудь,
Въ отчаяньи стонать: «Все тщетно! конченъ путь!

«Нѣтъ! съ жизнью нѣчего мнѣ больше лицемѣрить,
«Въ ней нѣчего любить, и нѣ во что въ ней вѣрить!»

Болящею душой въ забвеньи потонуть
Хотѣлось мнѣ, и вотъ опять я вышелъ въ путь...

Дохнуть мнѣ воздухомъ пустынныхъ мѣстъ хотѣлось,
Гдѣ сладко нѣкогда мнѣ думалось и пѣлось...

Я шелъ—и каждый мигъ яснѣй мнѣ образъ былъ,
Какимъ я тотъ же путь когда-то проходилъ.

Тотъ образъ точно шелъ теперь со мною рядомъ,
Какъ мальчикъ съ старцемъ, то допрашивая взглядомъ

Иль словомъ старика, то мчась за мотылькомъ,
То лепеча съ собой, Богъ вѣдаетъ о чемъ.

И душу умилилъ мнѣ спутникъ мой незримый,
Святымъ невѣдѣньемъ и вѣрою водимый.

Вонъ церковь вдалекѣ—и онъ свернулъ съ пути
Туда вечернія молитвы принести;

Колодезь—тамъ стоитъ крестьянка молодая,
Толпятся овцы вкругъ, у пойла ожидая,—

Онъ дѣву мысленно Ревеккою зоветъ.
Тамъ жатва; трудъ кипитъ, сверкаетъ серпъ, и вотъ--

Изъ книги Руѳи стихъ, какъ рожь, благоуханный,
Твердитъ онъ, запахомъ колосьевъ обаянный...

И вотъ на рубежѣ лѣсовъ и горъ родныхъ
Благословенный сонъ коснулся вѣждъ моихъ.

Мнѣ снилось: сквозь туманъ ищу я все дорогу.
Но вотъ густая мгла рѣдѣетъ по немногу;

Долина чудная открылась предо мной;
Сады цвѣтутъ вдоль горъ алѣющихъ зарей;

Озера розовымъ вдали сіяютъ блескомъ,
И воды нѣжатъ слухъ, какъ арфы, звучнымъ плескомъ.

Прохладный вѣтерокъ на голову и грудь
Порхнулъ мнѣ, и едва я имъ успѣлъ дохнуть,

Какъ вижу—предо мной та Муза, что̀ слетала
Ко мнѣ въ тѣ дни, какъ мать намъ Библію читала,

И та же у нея звучала пѣснь въ устахъ,
И въ этой пѣснѣ все, какъ въ утреннихъ лучахъ

Дышало свѣжестью—святыя сердца грёзы,
Молитвой тихою исторгнутыя слезы,

И счастья, и добра высокій идеалъ...
И, слушая ее, я тихо зарыдалъ.

Она жь мнѣ ласково: «Мечтатель одинокій!
«Какъ смертный, какъ слѣпецъ свершилъ ты путь далекій!

«Изъ жизни міра ты единый видѣлъ мигъ:
«Его не обнялъ ты и смысла не проникъ!

«Послѣдуй же туда, гдѣ смертныхъ судъ смолкаетъ».
И вотъ—Небесная мнѣ руку простираетъ,

И какъ двѣ горлицы, теряяся въ лучахъ
Златого утра, мы помчались въ небесахъ.

Въ странахъ заоблачныхъ полетъ нашъ удержала
Она и молча внизъ рукой мнѣ указала.

Святая на землѣ царила тишина.
Я жадно узнавалъ, гдѣ городъ, гдѣ страна,

Въ которыхъ я бывалъ, гдѣ тщетно тратилъ силы,
Гдѣ лучшихъ сверстниковъ оплакивалъ могилы...

Но—чудо! Города, которые кляня,
Въ слезахъ отчаянья навѣкъ покинулъ я,

Въ которыхъ, думалъ я, все гибнетъ безъ возврата
Отъ беззаконія, слѣпотства и разврата—

Блистаютъ и цвѣтутъ! На всемъ печать труда!
Какъ чайки къ нимъ плывутъ крылатыя суда...

Вонъ слышны молотовъ удары, вздохи машинъ,
И рогъ пастушескій, и пѣснь съ луговъ и пашенъ,

И, изумленіемъ проникнутъ, я спросилъ:
«Какой же это міръ? Откуда столько силъ?

«Вотъ край. Онъ сдавленъ зломъ, но рвется жизнь отвсюду,
«Какъ сочная трава сквозь каменную груду.

«А это что?.. Смотри: тамъ люди строятъ храмъ...
«Ужель то зодчій ихъ?.. Да, точно!.. То онъ самъ!..

«Его я видѣлъ разъ... онъ былъ тогда ужасенъ!..
«Какъ онъ задумался! Какъ силенъ! Какъ прекрасенъ!..»

Она жъ: «На время духъ пытливый усмири.
«Я трепещу сама. Всѣ силы собери,

«Какъ бы готовяся на подвигъ чрезвычайный...
«Я подыму покровъ теперь съ великой тайны».

И вотъ—клубясь съ земли промчался ѳиміамъ.
Какъ въ арфѣ струнный гулъ, послышалося намъ,

Что звуки носятся по горнему чертогу.
И Муза: «То летятъ мольбы народовъ къ Богу!

«Внимай!» И трепеща, въ мольбахъ земныхъ племенъ,
Услышалъ я слова: «Отецъ! Ты совершенъ—

«Да будемъ, яко Ты, и мы всѣ совершенны!»
Тутъ точно съ глазъ моихъ покровъ совлекся тлѣнный,

Но Муза мнѣ: «Молись отъ сердца полноты!
«Предъ человѣчествомъ глубоко грѣшенъ ты.

«Знай, къ свѣту жизнь его стремится шагомъ твердымъ.
«Въ ней страсти розныя звучатъ однимъ аккордомъ,

«И слышитъ полноту и мощь его лишь Богъ.
«Мысль не проходитъ міръ безъ жертвы и тревогъ,

«И зло въ рукѣ Творца есть жезлъ вождя желѣзный,
«Вамъ указующій на пропасти и бездны.

«Ты человѣчества таинственный удѣлъ
«Лишь жизнью смертнаго измѣрить захотѣлъ...

«Нѣтъ, поколѣнья въ немъ, событія и люди,
«Какъ цвѣтъ одинъ, какъ мысль, какъ вздохъ могучей груди,

«Идетъ оно впередъ, безмолвно какъ судьба,
«Ступаетъ на цвѣты, ступаетъ на гроба,

«Упавшихъ жертвъ въ средѣ своей не замѣчая,
«То рушa то творя и каждый мигъ мужая...

«Безумецъ, подыми въ веселіи чело!
«Въ самомъ въ немъ сила есть врачующая зло:

«Тамъ—грянетъ вдругъ она торжественнымъ ударомъ
«Войной и ужасомъ, и кровью, и пожаромъ;

«Здѣсь—всходитъ, какъ заря, въ предъизбранныхъ мужахъ
«Нерѣдко съ царскою порфирой на плечахъ...

«Ты плачешь... То слеза любви и умиленья!..
«Но вижу я въ тебѣ еще одно сомнѣнье.

«Какъ созерцаньемъ звѣздъ, ты мыслію одной
«О человѣчествѣ подавленъ и съ тоской

«Ты мыслишь: что же ты въ безгранномъ этомъ морѣ?
«Былинка, прахъ, ничто? Что трудъ твой? Слезы, горе?

«Изъ малыхъ капель слитъ могучій океанъ:
«Такъ съ человѣчествомъ, о смертный, ты слiянъ!

«Ты—часть его, ты—лучъ единаго свѣтила!
«Твой жребій съ нимъ одинъ, въ тебѣ одна съ нимъ сила!

«Стремися лучшимъ быть, трудись, иди впередъ—
«И вѣруй: чистый трудъ во благо всѣхъ идетъ...

«И ты, пѣвецъ,—блаженъ, блаженъ, что зналъ страданья!
«Ты утвердишь на нихъ души своей созданья!

«Терновый путь ведетъ пѣвца до высоты,
«Откуда ясенъ міръ—ея достигнулъ ты,

«И пусть изъ царства зорь, изъ міра благовоній,
«И вѣчной юности, и свѣта, и гармоній,

«На землю падаетъ святая пѣснь твоя,
«Какъ въ знойный день роса, свѣжащая поля,

«Какъ лучшей жизни вѣсть, какъ пѣнье вольной птицы
«Мелькнувшей узнику въ отверстіи темницы.

«Блаженствомъ чистыхъ слезъ смягчивъ сердца людей,
«Та пѣснь ихъ возродитъ для новыхъ, лучшихъ дней..»

О, рѣчи чудныя!.. И я впивалъ ихъ жадно,
Какъ нива въ засуху впиваетъ дождь отрадный...

Мой жребій просіялъ. Мгновенно новый свѣтъ
Мнѣ разомъ озарилъ событья многихъ лѣтъ...

Какъ шумъ незримыхъ водъ, въ грядущемъ, въ то мгновенье
Почуялъ я тоску и радость вдохновенья...

И полнъ восторга, въ путь я снова поднялся...
И вотъ—они шумятъ, родимые лѣса!

Вотъ старыхъ липъ верхи, и вотъ, меня встрѣчая,
Визжитъ домашній песъ... Вотъ домъ, вотъ мастерская,

И у треножника сидитъ сѣдой старикъ
И пишетъ, прослезясь, Скорбящей Дѣвы ликъ.

Знакомымъ голосомъ встревоженъ, кисть бросаетъ...
Вотъ съ воплемъ мать бѣжитъ, смѣется и рыдаетъ,

И къ сердцу жметъ меня, и шепчетъ въ тишинѣ:
«На горе ты рожденъ... но тѣмъ и милъ ты мнѣ!»

Корветъ «Баянъ».
1856—1858.

СМЕРТЬ ЛЮЦІЯ.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЛИРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ

ТРИ СМЕРТИ.

СМЕРТЬ ЛЮЦІЯ.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЛИРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ

ТРИ СМЕРТИ.

(Посвящается Николаю Аполлоновичу Майкову).

Первая часть этой поэмы была написана мною одиннадцать лѣтъ тому назадъ и еще тогда распространилась въ рукописи подъ разными названіями. Въ однихъ спискахъ ее озаглавили: «Выборъ смерти», въ другихъ: «Три смерти». Авторъ же имѣлъ въ виду одну поэму въ двухъ частяхъ, съ названіемъ: «Смерть Люція». Вторая часть не удавалась мнѣ, и я оставилъ ее совсѣмъ, а первую часть напечаталъ съ однимъ изъ помянутыхъ названій. Осенью 1861 года принялся я опять за оставленную идею, и теперь представляю свой трудъ на судъ читателя въ томъ видѣ, какъ онъ былъ задуманъ, хотя, конечно, въ этой второй части сказалось многое такое изъ прожитаго авторомъ, что дается только жизнію и опытомъ.

Дѣйствіе въ палатахъ Люція, на одномъ изъ холмовъ Рима.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Давусъ, дворецкій Люція, и **Ювеналъ** (около 25 лѣтъ).

ДАВУСЪ.

Я двадцать лѣтъ ему служу.
Весь домъ на мнѣ лежитъ. Слѣжу

За управленіемъ помѣстій—
Вѣдь за сто тысячъ тамъ рабовъ!
Однѣхъ цѣпей для этихъ бестій
Что надо!.. Да корми скотовъ!
Къ тому жь я славный чтецъ стиховъ, —
Читаю какъ никто Гомера!..
Тебѣ не надобно примѣра,
Ты знаешь!.. Ну, и онъ цѣнилъ
Меня всегда, да вдругъ облаялъ
Передъ концомъ-то! Такъ честилъ,
Какъ не слыхалъ я и не чаялъ!
«Ты, говоритъ, такой, сякой!
«И плутъ, и съ рабскою душой!
«Прощаться созвалъ мнѣ полъ-Рима!
«Льстецовъ, обжоръ, шпіона, мима!
«Я разумѣлъ однихъ друзей!»
Друзей!.. Да гдѣ ихъ взять? Вотъ Кней
Сервилій просто отозвался,
Что не слыхалъ онъ, отродясь,
Кто этотъ Люцій,—а у насъ
Почти что день, то обжирался!
Теперь друзей-то къ намъ позвать—
Ихъ значитъ просто выдавать.
Схватился самъ—быть плоху дѣлу,
Отказъ послалъ къ тебѣ, къ Марцеллу
И Тациту.

ЮВЕНАЛЪ.

Я не уйду!

Другого Люція межь нами,
Я знаю, ввѣкъ я не найду!

ДАВУСЪ.

Онъ добръ-то, добръ! На что съ рабами —
Вѣдь онъ не знаетъ ихъ! Горстями
Имъ сыплетъ золото!.. Я жду
Всегда бѣды! И такъ ужь двое
Хотѣли разъ его убить!
Самъ чуть отбился, а ловить
Не приказалъ! «Оставь въ покоѣ
Ихъ, говоритъ: въ другой ужь разъ
У нихъ рука бъ не поднялась...»
Да я сыщу мерзавцевъ! Право,
И то сказать, теперь расправа!
Казнятъ-казнятъ людей у насъ,
Да все казнятъ-то изъ-за вздора...
А для мошенника и вора
Просторъ—изволь себѣ гулять!

(*Входитъ Люцій.*)

ЛЮЦІЙ (*къ Давусу*).

Когда готово, мнѣ сказать!

(*Давусъ уходитъ.*)

ЛЮЦІЙ (*къ Ювеналу*).

Ну, милый мой! Теперь сатирѣ
Никто, какъ я, конечно, въ мірѣ
Такой не можетъ пищи дать!

Мудрецъ, почти что съ сѣдиною,
Со всеобъемлющей душою,—
Вдругъ размечтался какъ дитя
И думалъ умереть шутя!
Увы! Всю жизнь съ толпою шумной,
Слѣпцами, носимся безумно
Вкругъ сфинкса мы, покуда «стой!»
Не прогремитъ надъ головой.
Тутъ на чудовище и взглянешь—
Кровь хлынетъ къ сердцу, камнемъ станешь,
Его глаза блеснутъ огнемъ,
И только тутъ, передъ концомъ,
Когда спускается завѣса,
Поймешь, къ чему клонилась пьеса!

ЮВЕНАЛЪ.

Въ какое время мы живемъ!

ЛЮЦІЙ.

Мы вѣчно что-нибудь клянемъ,
Философъ—роскошь, рабъ—неволю;
Гдѣ ни послушай—тотъ же стонъ
У всѣхъ народовъ и племенъ
Про вѣкъ, имъ выпавшій на долю,
Что хуже не было временъ!
Мы повторяемъ пѣсню ту жс.
Но ты подумалъ ли хоть разъ,
Что въ нашей жизни губитъ насъ,
Чѣмъ намъ-то вѣкъ достался хуже?..

Ты молодъ. Сила есть въ тебѣ,
Ты жаждешь въ честной стать борьбѣ,
Готовъ рвануться первый въ пламя,
Бѣжишь къ вождямъ, бѣжишь къ жрецамъ,
Бѣжишь подъ древнее ихъ знамя,
И просишь—дѣла дайте намъ!
И что жь въ отвѣтъ на рвенье наше?
Ни вождь въ свой долгъ, ни жрецъ въ боговъ —
Давно не вѣрятъ!

Средь пировъ
Я часто съ поднятою чашей
Стоялъ и словъ не находилъ,
Чтобы придумать тостъ разумный!
А тостъ разумный на пирахъ
То знамя поднятое шумно,
То мысль прочтенная въ сердцахъ!

Когда-то тоже легіоны
Водилъ я наши... Тамъ тевтоны,
Которымъ дѣла нѣтъ до насъ,
Какъ намъ до нихъ, съ другимъ народомъ
Столкнулись какъ-то мимоходомъ:
Я посланъ былъ... И что жь? Рубясь
Въ лѣсахъ, по страшнымъ переходамъ
Людей теряя и губя,—
Изъ-за чего? Вѣдь сумасбродомъ,
Клянуся, я считалъ себя!—
Тріумфа послѣ удостоенъ!—
Цвѣты на консульскомъ пути!—
И въ Капитолій, храбрый воинъ,

Героемъ долженъ былъ войти!
Хорошъ герой!.. И принимали
Меня наборомъ громкихъ фразъ
Въ сенатѣ, чуть что не смѣясь...
Мы всѣ другъ друга понимали!
Всѣ въ свой чередъ тріумфовали!
Когда-то тоже «Римъ спасли»
Тѣмъ, что до моря добрели
И въ морѣ раковинъ набрали!...
Что жь было дѣлать мнѣ? Слѣпцомъ
Идти съ общественнымъ потокомъ?
Что зломъ зовутъ, звать тоже зломъ?
Что всѣ кругомъ зовутъ порокомъ—
Порокомъ звать, хотя бы въ томъ
Ты видѣлъ честь?.. Весь вѣкъ лукавить,
И, вмѣсто праведной хулы,
Безумство, ложь хвалить и славить,
Сбирая дань съ своей хвалы?
И ужь зажить сатрапомъ! Счастье
Въ тупомъ лишь видѣть сладострастьѣ?..
Съ Кипридой кончивши потомъ,
Ужь добивать остатокъ смысла,
Всѣмъ погрузившись существомъ
Въ астрологическія числа?
Наполнить магами свой домъ,
Ходить къ оракуламъ, къ сивилламъ,
И все, въ чемъ толку больше нѣтъ,
Что гнить должно бы по могиламъ,
Опять вытаскивать на свѣтъ?

Но въ этой мглѣ заснуть не можетъ
Покорно тотъ, хоть бы хотѣлъ,
Чей умъ и сердце вѣчно гложетъ
Святая жажда славныхъ дѣлъ!
Заснешь и вскочишь вдругъ въ потемкахъ...
«Нашелъ, нашелъ!» воскликнешь вдругъ,
Свѣчу зажжешь,—и что же вкругъ?
Опять стоишь ты на обломкахъ!
Сверкнувшей правды грустный свѣтъ
Лишь говоритъ тебѣ съ тоскою
Что въ роли, созданной тобою,
Ни нужды нѣтъ, ни смыслу нѣтъ!..
Потомъ все рѣже эти бури,
Но и сквозь броню мудреца
Тебя бичи незримыхъ фурій
Язвить все будутъ до конца!
И чуть душой порой воспрянешь,
Чуть оживишься ты на мигъ,
Въ груди услышишь тотъ же крикъ:
«И, полно, милый, не обманешь!..»

ЮВЕНАЛЪ.

Ахъ, Люцій! Ты—ты все постигъ!
Ты мнѣ казался полубогомъ
Всегда, въ которомъ всѣ вѣка
Слились блистательнымъ итогомъ!
И на тебѣ лежитъ рука
Какой-то все мертвящей силы!
Но что же сдѣлаетъ поэтъ

Въ такое время? Сколько лѣтъ
Я декламирую въ честь Силлы,
Кидаю громы въ Карѳагенъ,
И утѣшаю Поликсенъ,
И Андромахъ—межь тѣмъ какъ ядомъ
Душа полна и желчь кипитъ,
А за тобой межь тѣмъ слѣдитъ
Шпіонъ своимъ змѣинымъ взглядомъ!..
О, лебедь Мантуи! И онъ,
Пѣвецъ Тибура вдохновенный!
Какъ часто ими умиленный,
Я плакалъ, тихо потрясенъ
Одной гармоніей пѣвучей
Стиховъ ихъ сладостныхъ! Весной
Въ нихъ вѣетъ юностью кипучей!
Все, даже скорбь, звучитъ могучей
Весенней бурей золотой!..
И подлѣ нихъ моя сатира
Мнѣ ненавистна и гадка,
Какъ крикъ всполоха въ шумѣ пира,
Какъ ропотъ злого старика!

ЛЮЦІЙ.

Да, жаль мнѣ васъ! На вашу лиру
Изъ міра нечему пахнуть,
Чтобы аккордомъ звучнымъ міру
Ей отозваться какъ-нибудь!
У дикихъ скиѳовъ и тевтоновъ
Видалъ ночные я пиры.

Среди глухихъ лѣсныхъ притоновъ
Зажгутъ они свои костры,
Въ кругу усядутся въ долинѣ,
И пьютъ меды,—а по срединѣ
Поетъ пѣвецъ. Напѣвъ ихъ дикъ,
Для насъ, пожалуй, непріятенъ,—
Но какъ могучъ простой языкъ!
Какъ жестъ торжественъ и понятенъ!
И кто тамъ больше былъ поэтъ—
Пѣвецъ иль слушатели сами?
Но этотъ лѣсъ и ночь съ кострами,
И между листьевъ лунный свѣтъ,
И въ лихорадочной тревогѣ
Кругомъ косматый этотъ людъ,—
Все,—даже самые ихъ боги,
Что въ вихряхъ мчатся, тоже тутъ,
Съ высотъ внимаютъ,—все дышало
Въ тѣхъ пѣсняхъ пламенныхъ... Но въ нихъ
Пѣвецъ вливалъ въ свой звучный стихъ
То, что толпа ему давала!..
А мы? Куда насъ повлекутъ,
И что намъ слушатели скажутъ?
Какія цѣли намъ укажутъ?
И въ наши пѣсни что вольютъ?

ЮВЕНАЛЪ.

И Римъ такой же былъ когда-то!
Такая жь пѣснь и въ немъ жила!
Онъ пѣлъ Виргинію, дѣла

Коріолана, Цинцината!
Ахъ, эти пѣсни! Гдѣ онѣ?
Уже ль въ надутой болтовнѣ
Теперь у Ливія бъ узнали
Ихъ наши бабки, что пѣвали
Ихъ съ вѣчной прялкою своей,
Иль старики среди дѣтей
Подъ тѣнью Ромулова вяза?
Ты любишь грековъ, Люцій! Самъ
Ты полу-грекъ: отъ нихъ зараза!
Отъ нихъ погибель вышла къ намъ!

ЛЮЦІЙ.

Нашъ вѣчный споръ!

ЮВЕНАЛЪ.

Нѣтъ, онъ рѣшится!
Я душу грѣковъ обнажу!
Въ комъ римскій духъ еще таится—
Я кликну кличъ, я разбужу!
Онъ содрогнется, онъ проснется...

ЛЮЦІЙ.

Да къ чечевицѣ и вернется!
Мы вѣкъ за предками брели,
Давно забывъ куда пошли,
Съ пути сбивались понемногу—
И потеряли ужь дорогу!
Найди ее! Кричи vivat!

Встань поперекъ теченья смѣло,
И если ты вернешь назадъ
Необозримый водопадъ,
Герой, ты выиграешь дѣло!..
О, юность!.. Впрочемъ, выступай
На подвигъ! Если вѣришь,—благо!
Одно лишь помни, другъ, и знай:
Сатиры гордая отвага
Тогда лишь будетъ не мертва,
Когда ты самъ стоишь высоко!
Стрѣла тогда лишь бьетъ далеко,
Когда здорова тетива...

(*Появляется Давусъ.*)

Но вотъ мой Давусъ. Все готово!
Прощай, мой другъ. Къ моимъ гостямъ
Ты не ходи... Пускай я самъ
Плачу за вѣтреное слово!..
Друзей тамъ тщетно бъ ты искалъ!
Луканъ, Пизонъ, Сенека—пали!
Марцеллъ и Тацитъ... я послалъ
Сказать, чтобъ тѣ не рисковали...
Кого же Давусъ мой созвалъ,—
Толпы ханжей, льстецовъ, шпіоновъ,
Весь этотъ гнусный дворъ Нероновъ...
Ты между нихъ не долженъ быть!
Мнѣ не возможно отступить.
Хоть дорожа родствомъ Катоновъ—
Пойду на зрѣлище я къ нимъ...
Что̀ дѣлать! Эти люди—Римъ!

ЮВЕНАЛЪ.

О, Люцій!

ЛЮЦІЙ.

Нѣтъ, уйди, прощай,
Я требую!.. (*Обнимаетъ его и уходитъ*).

ЮВЕНАЛЪ (*уходя*).

O tempora, o mores!

СЦЕНА ВТОРАЯ.

ПИРЪ ВЪ БРУТОВОЙ ЗАЛѢ*).

Великолѣпно убранная зала: главная въ ней статуя, по правую сторону, огромнаго размѣра, на высокомъ бронзовомъ пьедесталѣ, изображаетъ Брута; множество другихъ, меньшаго размѣра, около стѣнъ. По срединѣ залы роскошно накрытый столъ, съ ложами вокругъ. Высокіе канделябры на столѣ и на полу, вокругъ стола. Все золото, серебро, слоновая кость. Прямо, противъ зрителя, большая арка въ садъ, гдѣ видны верхи кипарисовъ, небо, море, луна. Направо большая нишь, устроенная въ утесѣ, къ которому прислоненъ домъ.

(*Гости прохаживаются по залѣ. Въ одной группѣ: два ритора и нѣсколько молодыхъ патриціевъ, между ними всадникъ* (*eques romanus*) *въ блестящемъ костюмѣ, нѣ-*

*) *Брутова зала.* Въ большихъ дворцахъ у древнихъ залы иногда назывались по имени главной статуи: зала Аполлона, Лаокоона, и пр. Эта статуя была обыкновенно больше всѣхъ и помѣщалась на самомъ видномъ мѣстѣ, на высокомъ пьедесталѣ, смотря по вышинѣ залы.

сколько сенаторовъ и проч. Они осматриваютъ статуи и картины).

1-й РИТОРЪ.

Ну, домикъ! Да! Изъ всѣхъ угловъ
Глядятъ милліоны! Эка сила!..
Взять серебро съ однихъ столовъ—
И былъ бы домъ, была бы вилла!
Вотъ этотъ маленькій божокъ—
Вѣдь въ немъ помѣстье!.. Да, знатокъ
Нашъ Люцій, чуть ли не единый
Изъ кровныхъ римскихъ-то волчатъ,
Кому такъ впрокъ пошли Аѳины!

2-й РИТОРЪ.

Оставь, любезный, ты картины
И статуи: ихъ не ѣдятъ!
Вотъ въ кухняхъ—тамъ чудесъ собранье!
Тамъ все, какъ есть, естествознанье!
Одни ужь запахи кричатъ
Тебѣ за милю: «Стой прохожій!»

1-й РИТОРЪ.

Жаль, какъ ни лѣзь себѣ изъ кожи,
Все съѣшь за одного!

ВСАДНИКЪ.

Ну, да!

Два пальца въ ротъ, и вся бѣда!

(Входитъ Харидемъ, важная фигура, въ пышной тогѣ. Борода и длинные волосы мелко завиты. Съ нимъ ученики. Риторы бросаются къ нему на встрѣчу, припадаютъ къ груди его и цѣлуютъ. Ни авансцены провинціальный преторъ и квесторъ)

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЙ ПРЕТОРЪ.

Кто этотъ мужъ? Глядитъ Платономъ!

КВЕСТОРЪ.

Да, милый, риторы къ нему
Не даромъ кинулись съ поклономъ.
Пророчатъ всѣ теперь ему
Сенеки мѣсто... Это славный
Философъ Харидемъ! Недавно
Его трактатъ «Безсмертье Душъ»
Надѣлалъ шуму: Важный мужъ!
Мудрецъ по знаньямъ и на дѣлѣ!
Всю ночь съ лампадою сидитъ;
Не знаетъ сна онъ и постели,
И домъ его для всѣхъ открытъ.

(Входитъ, ведомый подъ руку двумя рабами, старый проконсулъ Публій, безъ бороды, черепъ голый. Съ нимъ нѣсколько кліентовъ. Молодые патриціи, сенаторы бросаются къ нему на встрѣчу, припадаютъ на его грудь и цѣлуютъ).

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЙ ПРЕТОРЪ.

А! Публій!.. Этого мы знаемъ
И всѣмъ народомъ поминаемъ!
Весь край, злодѣй, въ пять лѣтъ, совсѣмъ
Какъ губку, выжалъ!

КВЕСТОРЪ.

Мастеръ дѣла!

ПУБЛІЙ (*увидя Харидема*).

Великомудрый Харидемъ! (*Идетъ къ нему*).

ХАРИДЕМЪ (*предупреждая его*).

Здоровье?

ПУБЛІЙ.

Старость одолѣла!
Вотъ всю недѣлю плохо ѣмъ!
А ты, ты все съ ученичками?

ХАРИДЕМЪ (*важно*).

Моя обязанность! Предъ нами
Сегодня жь, тутъ, произойдетъ
Души торжественный излетъ
Изъ тѣла...

ПУБЛІЙ (*вдругъ вспомнивъ*).

Да! Вѣдь онъ умретъ!..
Ты что-нибудь при этомъ скажешь?
Послушаемъ! Я радъ! Я радъ!..
Что молодежь-то? А? Развратъ?

ХАРИДЕМЪ.

Каковъ наставникъ! Что̀ укажешь!..

ПУБЛІЙ (*не слушая его, ко входящему другому старому проконсулу*).

А ты откудова? Срамецъ!..

(*Общій шопотъ*).

Миртиллъ!

(*Всѣ въ почтительной позѣ. Проконсулы и Харидемъ спѣшатъ на встрѣчу и припадаютъ на грудь къ вошедшему евнуху Миртиллу, въ блестящей одеждѣ, съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ*).

ПУБЛІЙ.

Божественный пѣвецъ!

ХАРИДЕМЪ.

Здоровье кесаря?

МИРТИЛЛЪ.

Изволилъ
Уснуть и отъ себя уволилъ
Меня сегодня.

ХАРИДЕМЪ.

Подарилъ
Сегодня намъ!

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЙ ПРЕТОРЪ (*квестору*).

А это кто же?

КВЕСТОРЪ.

Тсс! Тише! Если только кожей
Ты дорожишь! Евнухъ Миртиллъ—
Пѣвецъ и мимъ,—да вотъ въ чемъ сила:
Въ ногахъ у кесаря лежитъ
Весь міръ, а кесарь самъ сидитъ
У ногъ вотъ этого Миртилла.

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЙ ПРЕТОРЪ (*въ испугѣ*).

Такъ вотъ оно!..

КВЕСТОРЪ.

Да, да,—оно!
Такъ, въ среднемъ родѣ...

(Гости все прибываютъ. Миртиллъ, Харидемъ и проконсулы удаляются въ глубину сцены. Два сенатора подходятъ къ авансценѣ).

СЕНАТОРЪ АСПИЦІЙ.

Онъ ядъ принять давно сбирался.
Да нынче циркъ, а завтра—бѣгъ,
А тамъ—заѣзжій риторъ грекъ,
Да Лиды, Фрины... не рѣшался
И вѣрно радъ, что тутъ помогъ
Ему Неронъ, назначивъ срокъ.

СЕНАТОРЪ СИМПЛИЦІЙ.

Да! Онъ не разъ меня обидѣлъ,
Но человѣка я въ немъ видѣлъ

Всегда великаго! И вотъ—
Вдругъ посмотрѣть, какъ онъ умретъ!—
Вѣдь гладіаторскаго боя—
Конечно, стóитъ смерть героя!
Сказать по правдѣ, напередъ
Я тоже справился, какъ станутъ
Смотрѣть на это? Ничего!
Миртиллъ здѣсь: значитъ, и не взглянутъ!

Молодые патриціи.

ОДИНЪ.

У насъ, вотъ видишь, съ нимъ родство,
Такъ, можетъ быть...

ВСАДНИКЪ.

Изъ родового
Не завѣщаетъ ли чего?
Понятно, братецъ, и не ново!
Однако—чтò жь? Чего онъ ждетъ?
Все подано, а самъ нейдетъ—
Вонъ даже рвотное готово!..
Но между этихъ чашъ одна
Должна быть съ ядомъ... Гдѣ жь она?
Вотъ эта, вѣрно: золотая,
Съ волчицей крышка... небольшая,
Но...

(Входитъ Люцій. Всѣ устремляются къ нему на встрѣчу.)

ПУБЛІЙ.

А! Вотъ и нашъ амфитріонъ.

СЕНАТОРЪ СИМПЛИЦІЙ.

Я такъ смущенъ и огорченъ,
Что скорбь разсудокъ помрачаетъ!

РОДСТВЕННИКЪ.

Я какъ услышалъ, поспѣшилъ...

ХАРИДЕМЪ.

Одно изъ міровыхъ свѣтилъ
Надъ Римомъ нынѣ угасаетъ!

ЛЮЦІЙ.

Благодарю васъ, господа!
Я васъ просилъ, чтобъ навсегда
Окончить жизнь веселымъ пиромъ,
Чтобъ навсегда проститься съ міромъ
Въ бесѣдѣ съ вами, средь всего,
Что̀ украшаетъ лишь его.
Теперь прошу васъ, дайте волю
Своей фантазіи, уму,
И я скажу—едва ль кому
Завиднѣй жребій палъ на долю!

(Даетъ знакъ. Являются невольницы съ золотыми чашами для омовенія рукъ гостямъ. Помѣщаются на ложа. Остается нѣсколько пустыхъ мѣстъ.

Входятъ двое, плохо одѣтые и полупьяные. У одного черная всклокоченная

борода и волосы копной. На плечѣ мѣшокъ, въ рукахъ дубина. Онъ обращается къ пріятелю, говоря съ несовсѣмъ трезвымъ выговоромъ.)

ГОСТЬ.

Ну, такъ и есть! Вотъ видишь—ужинъ!
(Къ гостямъ.)
Мы, проходя, вдругъ слышимъ духъ
Жаркова, дичи! Ну, мой другъ,
Я говорю, здѣсь будетъ нуженъ
Гостямъ хорошій аппетитъ;
Я захватилъ его съ собою!
Пойдемъ, предложимъ! Кто и сытъ,
Проголодается со мною!

ЛЮЦІЙ.

Прошу,—но кто же?..

ГОСТЬ.

Видишь самъ—
Философы!

ЛЮЦІЙ.

Такимъ гостямъ
Вдвойнѣ я радъ.

ГОСТЬ.

Тѣмъ лучше. Впрочемъ—
Какъ ты тамъ знаешь... радъ, не радъ,

А глотку мы себѣ промочимъ.

(Осматриваетъ вина.)

Гдѣ тутъ получше-тв стоятъ?
Конечно, тамъ, гдѣ самъ хозяинъ...

(Наливаетъ и пьетъ.)

«И онъ пришелъ незванъ, нечаянъ...
И всѣхъ плѣнилъ!» *(Къ пріятелю, подавая ему вина.)*
Вотъ, ты не шелъ,
И упирался какъ оселъ...
Заѣшь теперь... вонъ смоква, финикъ...

(Къ Люцію.)

Рекомендую! Спутникъ мой—
Изъ архискептиковъ! Я—циникъ!
Ужь дальше этого нейдетъ
Умъ человѣческій! По малу
Свой циклъ свершилъ, пришелъ къ началу,—
И больше некуда впередъ!..
Мое почтенье!

ПУБЛІЙ *(другому проконсулу, сидящему подлѣ него).*

Гость забавный!
Какая челюсть у него!

ПРОКОНСУЛЪ.

Сатиръ! А ѣстъ-то какъ исправно!
Вонъ похваталъ уже всего!..
Охъ, аппетитъ!.. Ужь стары стали,
А встарину и мы ѣдали!

(По знаку Люція, архимагиръ беретъ со стола амфору, чтобы сотворить возліяніе богамъ.)

ЦИНИКЪ *(останавливаетъ его).*

Не тронь! Я это пью вино!
Богамъ, вѣдь, братецъ, все равно!
И тратить доброе къ чему же?
Плесни, которое похуже!

(Архимагиръ беретъ другую амфору. Первая смѣна блюдъ. Хоръ. Танцовщицы, представляя собою двадцать четыре часа, пляшутъ, кидая цвѣты на пирующихъ, и поютъ:)

ХОРЪ.

Ловите, ловите
Часы наслажденья;
Спѣшите, спѣшите
Пожить хоть мгновенье!
Какъ мошки на солнцѣ
Въ эѳирѣ роями
Кружатся и блещутъ,
Мы, Оры, блистаемъ
Мгновеніе въ мірѣ!
Ловите, ловите,
Не то улетимъ!

(Входитъ среднихъ лѣтъ блѣдный и тощій патрицій.)

ПАТРИЦІЙ.

Я слышалъ, Люцій,—говорятъ—
Ты умираешь? Очень радъ!
Я общей скорбью самъ страдаю
И тоже скоро умираю,..
Но выбираю только ядъ.
О всѣхъ почти самоубійцахъ
Я перечелъ, и списокъ имъ
Составилъ на семи страницахъ,—
Но недоволенъ ни однимъ!
Я смерти все ищу пріятной...

СКЕПТИКЪ *(циннику).*

Онъ—сумасшедшій!

ЦИНИКЪ.

Или шутъ.

СКЕПТИКЪ.

Что такъ они охотно мрутъ?

ЦИНИКЪ.

Богаты очень!

СКЕПТИКЪ.

Непонятно!

ЦИНИКЪ.

А впрочемъ, дѣло ясно тутъ...
Вонъ, видишь, подъ глазами пятна!
(Къ Люцію.)
Да ты, пріятель, въ честь чего
Затѣялъ нынче торжество?

ЛЮЦІЙ.

Я нынче въ полночь умираю:
Такъ кесарь повелѣлъ Неронъ.

ЦИНИКЪ.

Такъ вотъ что̀!.. Значитъ... понимаю!..
(Пріосанясь.)
Ты—про свободу видѣлъ сонъ!
Пиръ значитъ: ты смотри какіе
Герои мрутъ!.. А тѣ... другіе,
Что̀ ихъ морятъ—того!.. Резонъ!
Эхъ, вы, патриціи, вельможи!
Туда же рвутся вонъ изъ кожи!
Свободы вамъ!.. Эхъ ты, Катонъ!
Лишь Діогенова свобода
Прямая! Прочее все ложь!
Будь счастливъ тѣмъ, что̀ дастъ природа!
Родился голъ и голъ умрешь!
Въ природѣ жь, въ этой общей чашѣ,
Нѣтъ ярлыковъ—мое и ваше!
Бери что̀ хочешь! Все твое,
На что̀ глаза лишь разбѣжались!
А чтобы люди не кусались—
Кусайся самъ! Вотъ вамъ и все!
А то, глядишь, нагромоздили
Понятій, тонкостей, интригъ,—
Да и не въ мочь пришлось! Уныли,
И ходятъ высунувъ языкъ!

МОЛОДЫЕ ПАТРИЦІИ.

Отлично! Вѣрно! Браво! Браво!

ПУБЛІЙ *(къ Харидему).*

Онъ—пресмѣшной!

ХАРИДЕМЪ *(торжественно).*

Я не смѣюсь!
Я слезы лью! И какъ, дивлюсь,
Онъ можетъ вамъ служить забавой!
Онъ рушитъ все, семейство, нравы!
Какъ отрицанье всякихъ узъ
Ученье этихъ оборванцевъ
Опаснѣй всѣхъ республиканцевъ!
Онъ проповѣдуетъ порокъ,
И вотъ—ужь юность онъ увлекъ,
Она вся вторитъ тихомолкомъ!

ЦИНИКЪ.

Молчалъ бы лучше, педагогъ!

ВСАДНИКЪ.

Стравить бы ихъ—лисицу съ волкомъ!

ХАРИДЕМЪ *(къ Миртиллу).*

Ты близокъ къ кесарю, Миртиллъ!
Ты слышалъ, что онъ говорилъ?
Основы нравственности руша,
Онъ тронъ колеблетъ!

ЦИНИКЪ.

Мы съ тобой
Поспоримъ послѣ, милый мой;
А ты вотъ сказочку послушай.
Я всѣхъ потѣшу!.. Ты слыхалъ—
Есть островъ Кипръ... ну, знаешь, вина
Отличныя! Разъ проживалъ
Тамъ риторъ, славный былъ дѣтина,
Да нищъ, и голоденъ, и голъ!
Одинъ архонтъ его нашелъ
И взялъ учить сынишку. Дѣло
Пошло на ладъ. Вошелъ онъ въ тѣло,
Въ почетъ въ дому у всѣхъ вошелъ,—
Да какъ-то разъ, конечно, въ шутку,
Такъ цѣловать онъ сталъ малютку,
Что мать... открылося, что мать
Имѣла право ревновать—
А съ ней вся женская прислуга,
И поднялись,—пошло писать,—
Всѣ на него и другъ на друга!

ХАРИДЕМЪ *(съ благороднымъ негодованіемъ).*

Что жь это, Люцій? Вонъ его!

ПУБЛІЙ.

За что жь? Теперь онъ ничего!
(Смѣясь:) Вотъ былъ пѣтухъ-то!

ЦИНИКЪ.

Аль завидно?

ПУБЛІЙ.

Да онъ—безцѣнный!

ЛЮЦІЙ.

Что жь потомъ?

ВСАДНИКЪ.

Открылось что-нибудь съ отцомъ?

ЦИНИКЪ.

Отцу-то стало, вишь, обидно!
Взревѣлъ что звѣрь! Анъ тотъ бѣжалъ,
Да къ христіанамъ и попалъ...
Вотъ мудрецы, скажу вамъ, тоже!

СЕНАТОРЪ АСПИЦІЙ *(задумчиво)*.

Да, мудрецы!.. Я разъ сказалъ,
Что это волки въ овчей кожѣ—
И это буду вѣкъ твердить.

КВЕСТОРЪ.

А ихъ ужь велѣно ловить
И въ циркѣ травлю учинить.

АСПИЦІЙ *(мрачно)*.

Все это—временныя мѣры!
Они работаютъ во мглѣ,
Повсюду, какъ ручьи въ землѣ,
И всевозможныя химеры

Вбиваютъ въ головы рабамъ!
Чего же ждать, примѣръ имѣя
Въ Спартакѣ? *) И найти ли намъ
Другого Красса и Помпея—
Чтобы порядокъ поддержать!

СЕНАТОРЪ СИМПЛИЦІЙ.

Пугать и страхи создавать—
Что въ немъ за страсть—не понимаю!
Невиннѣйшіе чудаки!..

ПУБЛІЙ.

Кто—христіане? Знаю, знаю!

(Вдругъ одушевляясь.)

Открытые бунтовщики!
Двоихъ судилъ я всенародно:
Ишь, поклониться не угодно
Имъ лику кесаря: не Богъ,
Молъ, кесарь!.. я внушалъ какъ могъ,

*) Въ Римѣ, какъ извѣстно, были частыя возстанія рабовъ; въ короткое время они сбѣгались сотнями тысячъ подъ знамя смѣлаго предводителя. При усмиреніи ихъ въ Сициліи, гдѣ ихъ скопилось до 200.000, и которою они овладѣли, въ 135 до Р. Х., ихъ было распято 20.000. Спартакъ съ 120.000 рабовъ угрожалъ даже самому Риму. Его разбилъ Крассъ: при этомъ 6.000 рабовъ были распяты по дорогѣ изъ Капуи въ Римъ (въ 71 до Р. Х.). Изъ массы бѣглыхъ рабовъ образовалось страшное разбойничество на Средиземномъ морѣ; они имѣли до 1.000 кораблей и 400 укрѣпленныхъ мѣстъ. Чтобъ уничтожить ихъ, Кнею Помпею было дано до 120.000 войска, 200 кораблей и 5.000 конницы. Онъ уничтожилъ разбойниковъ (67 до Р. Х.).

Хоть я не жрецъ и не ученый...
И, признаюсь, жаль было ихъ!..
Но дѣлать нечего—законы!
И—кожу содрали съ живыхъ!

ХАРИДЕМЪ *(поднимая чашу)*.

Но кесарь насъ отъ нихъ избавитъ!
Онъ зла не можетъ попустить!
Душить ихъ надобно, давить!..
Во здравье жь кесаря! Да славитъ
Его весь міръ!..

(Всѣ встаютъ съ чашами.)

ЦИНИКЪ *(взлѣзаетъ на столъ)*.

Хвалу ему,
Что всѣхъ онъ душитъ васъ и давитъ!

(Молчаніе. Всѣ переглядываются съ ужасомъ между собою и съ яростію смотрятъ на циника.)

ХАРИДЕМЪ.

Онъ правосуденъ!

ЦИНИКЪ.

Потому
И душитъ васъ, и давитъ!.. Что же
Не пьете?... Бунтъ? На что похоже?
Пить такъ «за кесаря»—ужь простъ
И слишкомъ голъ выходитъ тостъ.

Безъ смысла тостъ все дѣло рушитъ!..
Кричите жь всѣ: за то, что душитъ...

(Оглядываетъ всѣхъ и ждетъ.)

НѢСКОЛЬКО ГОЛОСОВЪ *(нерѣшительно)*.

За то, что душитъ...

ЦИНИКЪ.

И давитъ насъ!..

ВСѢ *(кромѣ Люція)*.

И давитъ насъ!..

ЦИНИКЪ.

Ну, пейте жь! Разъ,
Два, три!..

(Общій крикъ: Да здравствуетъ кесарь! *)

ЛЮЦІЙ.

Всѣ пьютъ! Невыносимо!

ЦИНИКЪ.

Не поперхнулся ль кто, друзья?
Какъ будто кашель слышу я?..

ЛЮЦІЙ.

А молодецъ!

*) По поводу этого тоста нѣкоторые мнѣ замѣчали, что никакое общество не можетъ такъ глубоко пасть, чтобы принять его. Оставляя отвѣчать за меня Тацита и Светонія, я напомню только одно — что это то самое общество, которое перенесло, напримѣръ, назначеніе лошади Геліогабаловой въ сенаторы. Со стороны лучшихъ людей протестъ былъ одинъ—самоубійство.

ЦИНИКЪ.

Граждане Рима!
Теперь, позвольте, пью за васъ!
За васъ, сыновъ достойныхъ Брута!
Вотъ онъ, вотъ статуя его!
Брутъ! Съ пьедестала своего
Воззри и радуйся! Минута,
Ей-ей, торжественна! Ура
Вамъ, мужи чести и добра!

(Опорожнивъ чашу, циникъ сваливается на свое мѣсто. Молчаніе.)

ПУБЛІЙ *(тихо сосѣду)*.

Онъ дичь несетъ... и пустословитъ...
И самъ хохочетъ... Глупъ и пьянъ!
И какъ никто не остановитъ!..

(Откашливаясь и громко къ циникy.)

Что жь риторъ твой у христіанъ?

ЦИНИКЪ.

Мой риторъ? Да! Съ нимъ было много...
Но я другимъ ужь развлеченъ!
А ты спроси у педагога!
Я знаю только то, что онъ
Ихъ обокралъ... А какъ ужь скрылся,
Пусть скажетъ этотъ Цицеронъ!
Онъ самъ, быть можетъ, съ нимъ водился!

ХАРИДЕМЪ *(запальчиво)*.

Я не знакомъ съ нимъ!

ЦИНИКЪ.

Иногда
Видалъ, какъ въ зеркало глядѣлся!

ХАРИДЕМЪ.

Лжешь, лжешь безъ всякаго стыда,
Песъ мерзкій!

ЦИНИКЪ.

Что, братъ, завертѣлся?
А самъ наушничать!

ХАРИДЕМЪ.

Хорошъ
Ты самъ, герой добра и чести!
Лизалъ, чай, руки у вельможъ,
Да понялъ—дерзость лучше лести,
Беретъ вѣрнѣе?

ЦИНИКЪ *(издѣваясь)*.

Ну такъ что жь?
Не я имъ страхи сочиняю.
На ихъ же дудочкѣ играю—
Вольно плясать!.. По мнѣ плевать
На ваши тонкости!..

ХАРИДЕМЪ.

Молчать!
Не то *(замахивается тарелкой)*.

ЦИНИКЪ (*замахиваясь дубиной*).

А вотъ!

ВСѢ (*кромѣ Люція подымаютъ тарелки*).

Долой собаку!

ЦИНИКЪ.

Какъ? Что? Да слово мнѣ сказать—
И вы тю-тю!.. Полѣзли въ драку
За то, что тостъ не вкусенъ былъ?

(*Всѣ остаются неподвижны.*)

ЛЮЦІЙ (*вставая съ своего мѣста*).

И это римляне! Нѣтъ силъ
Терпѣть ихъ долѣ!..

(*Въ саду раздаются звуки тимпановъ, и вакханки вторпаются въ залу.*)

1-Й РИТОРЪ.

Охъ, отлегло!.. Ну, самъ Кронидъ
Надъ нами сжалился!..

ВСАДНИКЪ.

Паулина, Туллія, Метелла...
Весь цвѣтъ двора!..

(*Вакханки окружаютъ пирующихъ, наливаютъ чаши. Клики, хохотъ, оргія.*)

ЦИНИКЪ (*бросивъ дубину*).

Мясцо живое!
Ко мнѣ, ко мнѣ! Эванъ, эвоэ!..

(Гоняется за женщинами, качаясь изъ стороны въ сторону, прищелкивая пальцами и напѣвая:)

Вакханочки, вакханочки,
Смугляночки, бѣляночки!
Ужель я вамъ не милъ?
Я старенькій, я гаденькій,
Да вотъ поѣлъ говядинки
И юность ощутилъ!

СЕНАТОРЪ АСПИЦІЙ (*въ сторонѣ къ Симплицію*).

Ну, тостъ! И этакаго гада
Терпѣть!

СЕНАТОРЪ СИМПЛИЦІЙ (*разводя руками*).

Что дѣлать? Жить вѣдь надо!

АСПИЦІЙ.

Кто жь этотъ циникъ? Подученъ
Былъ Люціемъ или шпіонъ?

СИМПЛИЦІЙ (*пожимая плечами*).

Все можетъ статься!..

(Посреди кликовъ, спора, пѣсенъ, хохота, музыки и танцевъ, нѣсколько вакханокъ окружаютъ Люція.)

ОДНА ВАКХАНКА (*отстраняя другихъ*).

Онъ не любезенъ вовсе съ нами!
Да брось же ты своихъ вралей!

Пойдемъ на воздухъ! Ночь звѣздами
Горитъ!.. Иди, иди скорѣй!
Здѣсь гадость! Пьяные! Дерутся!
А тамъ прохлада! Тишина!
Иди же... такъ ли разстаются
Съ друзьями?

ЛЮЦІЙ.

Хороша, умна,
И какъ всегда неотразима!
Идемъ!..

ВАКХАНКА.

На память о тебѣ
Я твой аграфъ беру себѣ.
Тебѣ не жаль?

ЛЮЦІЙ.

Всѣ перлы Рима
Къ твоимъ ногамъ!

ВАКХАНКА.

Ты льстецъ! Скажи
Серіозно, только безо лжи,
Съ чѣмъ для тебя всего труднѣе
Разстаться въ жизни?

ЛЮЦІЙ.

Можетъ быть,
Съ мгновеньемъ тамъ въ пустой аллеѣ,

Иль въ гротѣ, гдѣ съ тобой забыть
Могу я жизнь и смерть!

ВАКХАНКА.

Вотъ мило!
И какъ глядитъ притомъ уныло!

ЛЮЦІЙ.

Ты и всему конецъ!

ВАКХАНКА (*смѣясь*).

Еще!
Еще!.. (*Задумчиво*). А ты вѣдь горячо
Простишься съ жизнью?

ЛЮЦІЙ.

Всею силой!

ВАКХАНКА.

Гдѣ жь твой аграфъ? Идемъ же въ садъ!

ДРУГІЯ ЖЕНЩИНЫ (*окружая ихъ*).

А намъ на память не дарятъ?

ЛЮЦІЙ.

Рабъ! Драгоцѣнности, каменья,
Принесть сюда... все вамъ дарю!
(*Къ ней.*)
Итакъ, счастливое мгновенье...

(*Рабы берутъ одинъ ящикъ, потомъ приносятъ другой, третій и высыпаютъ на столъ золото, камни, и проч. Всѣ кидаются на нихъ.*)

ВАКХАНКА.

Я только, Люцій, посмотрю...

ЛЮЦІЙ.

Изъ рукъ какъ змѣйка ускользнула...
Ее задавятъ тамъ... ой-ой,
Какъ циника она толкнула!

ВЪ ТОЛПѢ (*около драгоцѣнностей давка и клики*).

Мое! Я прежде взялъ! Разбой!

РИТОРЫ (*переглянувшись между собою*).

Забрать да тягу! И домой!.. (*Пробиваются въ толпу.*)

ПУБЛІЙ (*мгновенье колебавшійся*).

На память внучкѣ развѣ... (*Протискивается въ толпу.*)

ВЪ ТОЛПѢ.

Стой!
Задавятъ! Да не все ты хапай!
А ты опять съ своею лапой!

(*Циникъ, совсѣмъ пьяный, вылетаетъ, вытолкнутый изъ толпы, и падаетъ на ложе въ углу комнаты. Въ глубинѣ сцены появляются Марцеллъ и Лида.*)

ЛЮЦІЙ (*смотря на давку*).

О, боги! Что за кутерьма!
Вѣдь это звѣри! тигровъ стадо
Надъ мерзкой падалью!

МАРЦЕЛЛЪ (*вдали*).

О, тьма!
О, снѣдь клокочущаго ада!

ЛЮЦІЙ.

Да вы не спорьте! Все добро,
Вся эта вилла, все здѣсь ваше!
Тащите вазы, кубки, чаши,
Все золото и серебро!
(*Къ рабамъ.*)
Все открывайте! Все ломайте!
Всѣ кладовыя, сундуки!
Всѣ двери настежь! Прочь замки!
И вы себя не забывайте!

(*Толпа хватаетъ со стола все, что̀ можетъ, серебро, чаши и проч., опрокидываетъ канделябры, и оставивъ комнату въ полумракѣ, бѣжитъ за рабами, восклицая:*)

Ура! Ура! Ты, Люцій,—богъ!..

ЛЮЦІЙ.

Стократъ проклятье вамъ! И могъ
Съ ватагой этой ненасытной
Однимъ я воздухомъ дышать!..

ЦИНИКЪ (*который тщетно пробовалъ идти за толпою, упадаетъ опять на ложе и кричитъ*).

Хозяинъ! Будешь умирать,
Такъ разбуди!.. Прелюбопытно!

(Засыпаетъ.)

ЛЮЦІЙ.

О, Римъ, о, Римъ!.. Нѣтъ! жить нельзя!

(Быстро подходитъ къ своему мѣсту и беретъ кубокъ съ отравленнымъ вѣномъ.)

ЛИДА *(бросается къ нему и удерживаетъ).*

Постой, о Люцій!

ЛЮЦІЙ.

Лида! Ты ли?
Марцеллъ? Друзья мои, друзья!
О, боги, мнѣ не измѣнили!
Вы здѣсь!...

ЛИДА.

Мы здѣсь!.. Есть время!.. Ты спасенъ!

ЛЮЦІЙ.

Спасенъ?.. Но что̀ съ тобою, Лида?
Какъ ты блѣдна? Какой нарядъ?
И эта темная хламида,
Покровъ твой бѣлый!.. Какъ горятъ
Твои глаза!.. Гдѣ ты скрывалась?..
Въ послѣдній разъ передо мной
Ты по ристалищу промчалась

На колесницѣ золотой...
Сама конями управляла,
И оглянулась на меня—
Весельемъ, розами сіяла,
Мнѣ въ даръ улыбку уроня!

ЛИДА.

Съ тѣхъ поръ все, Люцій, измѣнилось,
Вся жизнь моя!.. Да! я нашла
Чего искала, чѣмъ томилась, —
И это счастье принесла
Тебѣ: я христіанка!

ЛЮЦІЙ.

Боги!
Ты? Лида?

ЛИДА.

Жизнь моя была
Полна безумствъ, полна тревоги
Пустой, ничтожной!.. Ты уменъ,
О, Люцій!.. Ты тщету мірскую
Давно постигъ... Жизнь эта сонъ!.

ЛЮЦІЙ.

Что ты лепечешь?

ЛИДА.

Жизнь иную

Христосъ открылъ намъ! Онъ велѣлъ
Все бросить! Жить одной душою!..

ЛЮЦІЙ.

Философъ милый! Что съ тобою?

ЛИДА (*въ отчаяньи*).

Да говори, Марцеллъ!

ЛЮЦІЙ (*съ удивленіемъ*).

Марцеллъ?

ЛИДА.

Онъ—нашъ! Христіанинъ!..

ЛЮЦІЙ (*серіозно*).

Смѣяться
Вы надо мной пришли, друзья?..

ЛИДА.

Нѣтъ, Люцій! Истина скрываться
Не можетъ! Римъ, и міръ, и вся
Вселенная познаетъ Бога,
Который намъ велитъ любить
Другъ друга и добро творить.
И скоро! Насъ теперь ужь много...
И здѣсь... между рабовъ твоихъ...
Взгляни, вотъ тутъ стоитъ ихъ трое:
Они не грабятъ! Нѣтъ! Земное
Ничто сокровище для нихъ!

Вотъ тотъ старикъ былъ поднятъ нами,
Чуть живъ, избитый... (*къ рабу:*) Ближе, Титъ!

(*Титъ упадаетъ къ ногамъ Люція и плачетъ, склонивъ голову къ его колѣнямъ.*)

ЛИДА.

Ахъ, Люцій! Язвами покрытъ,
Онъ не ругался надъ врагами!
Простилъ и твоему отцу.
Которымъ взятъ былъ и къ кольцу
Прикованъ... Часто со слезами
Онъ вспоминаетъ, какъ ходилъ
Къ нему дитей ты и любилъ
Его разсказы... Скиѳъ суровый
Утѣшенъ былъ, и сталъ иной,
Младенецъ чистый, полнъ одной
Святой любовію Христовой!..

ЛЮЦІЙ (*положа руку на голову Тита*).

Мой старый пѣстунъ!

ТИТЪ (*тихо и искренно*).

Обратись,
Дитя мое! Проснись, проснись!
Свѣтъ возсіялъ! *Мы* ходимъ въ свѣтѣ—
Мы—неразумные! *Мы*—дѣти!
А ты такъ мудръ!

ЛИДА.

Вотъ, Люцій, тутъ
Вотъ эти двое..., что̀ хотѣли
Тебя убить... И только ждутъ,
Чтобъ ты простилъ ихъ... Неужели
Ты не простишь?

(*Рабы становятся на колѣни въ нѣкоторомъ отдаленіи.*)

ЛЮЦІЙ.

Я все успѣлъ
Давно забыть!.. Ну, встаньте! Будетъ!

РАБЫ (*удаляясь*).

Господь тебя не позабудетъ
Во царствіи своемъ!

ЛЮЦІЙ.

Марцеллъ!
Марцеллъ! Какое ослѣпленье!
Пусть Лида—пылкія мечты!
Рабы—они рабы!.. Но—ты!
Нѣтъ, я тебя не понимаю!
Я христіанъ видалъ и знаю.
Въ ихъ головахъ какой-то сбродъ
Фантазій дикаго востока,
Слеза въ глазахъ, и рѣчь пророка,
И казнь—ихъ счастіе!..

МАРЦЕЛЛЪ.

И вотъ
Насъ это счастье завтра ждетъ!

ЛЮЦІЙ.

Патрицій! Вождь! Стратегикъ славный!
Марцеллъ, проведшій жизнь свою
Въ походахъ, въ лагерѣ, въ бою,—
Одинъ, быть можетъ, предкамъ равный,
И вдругъ идетъ—смѣшно сказать!
Изъ отвлеченнаго понятья,
Чтобъ доказать, что люди братья,
Что духъ безсмертенъ - умирать!

МАРЦЕЛЛЪ.

Для вашихъ риторовъ, конечно,
Смѣшно, что люди вдругъ идутъ
На смерть, какъ армія, безъ смутъ,
И сами, изъ-за мысли вѣчной!
Не то еще увидятъ: сынъ
Оставитъ мать, братъ кинетъ брата,
Не будетъ праздненъ ни одинъ!
Мечъ въ міръ внесенъ, и нѣтъ возврата!
Вѣрь, говорю я не въ бреду.
Ты знаешь, взглядъ мой въ битвѣ вѣренъ:
Я зналъ всегда, куда иду...
Для васъ, мой милый, бой потерянъ!
Когда увидитъ въ циркѣ Римъ,

Какъ мы за истину стоимъ,
Узнать захочетъ, что̀ за люди?
Какая сила въ нихъ живетъ?
И изъ гонителей и судій,
Вѣрь, не одинъ къ намъ перейдетъ!
Со мной самимъ все такъ случилось.
Въ аренѣ видѣлъ я двухъ дѣвъ;
Когда на нихъ рванулся левъ,
Лицо ихъ свѣтомъ озарилось!
Я даже вскрикнулъ! А вѣдь кровь
Видалъ!.. Да, да! Родиться вновь
Должны мы всѣ!.. Когда, бывало,
Ѣзжалъ изъ стана я сюда,
Отъ омерзенья и стыда
Душа во мнѣ изнемогала!
Не разъ я думалъ и тогда—
Привесть свои бы легіоны,
Да этотъ Римъ раззолоченый
Весь разнести бы по клочкамъ!
И разнесли бъ!.. А что̀ же тамъ?
Потомъ?.. Ты, Люцій, ты купался
Самъ въ этомъ омутѣ! Плѣнялся
Искусствомъ, красотою женъ!
Ты славой предковъ ослѣпленъ!
Изнѣженъ лѣнью и покоемъ,
И съ Римомъ такъ связалъ себя,
Что быть въ глазахъ его героемъ
Еще такъ важно для тебя!..
Не предкамъ вывесть насъ изъ грязи!

Нѣтъ! Съ ними порваны всѣ связи!
Нѣтъ, отрекись ото всего
На чемъ они сооружали
Величье Рима своего!
Они лишь въ цѣпи заковали
Весь этотъ міръ,—и для чего?
Чтобъ прочнымъ онъ служилъ подножьемъ
Величью евнуховъ, вралей,
Со всѣмъ ихъ чванствомъ и безбожьемъ
Всего боящихся дѣтей!

ЛЮЦІЙ.

Постой, Марцеллъ!.. Жизнь нынче—бремя!
Самоубійство въ наши дни—
Вся наша доблесть, но они
Пройдутъ! Настанетъ лучше время!
Поймемъ и глубже примемъ мы
Тотъ свѣтъ, который дали міру
Великой Греціи умы...
Давно ль взялися мы за лиру,
Платона знаемъ?

МАРЦЕЛЛЪ.

И объ немъ
Кричимъ и споримъ за виномъ!

ЛЮЦІЙ.

Сначала солнце озаряетъ
Верхушки горъ..,

МАРЦЕЛЛЪ.

Гдѣ ледъ сіяетъ!
Жизнь—тутъ, внизу! Нѣтъ, ты сойди
Съ своихъ высотъ и не гляди,
Что тутъ темно порой и тѣсно,
И про Платона неизвѣстно!..

ЛИДА.

Живи для бѣдныхъ и простыхъ!
Иную жизнь въ душѣ пробудишь!
Умаль себя для блага ихъ,—
И больше ты, и лучше будешь!
И все давно ужь началось!
Вездѣ, вездѣ прошелъ Христосъ!
Смотри, отъ моря и до моря
Тебѣ предъ именемъ Христа
Открыты двери! Нѣту горя,
Нигдѣ слеза не пролита,
Чтобъ на другомъ концѣ вселенной
Не отозвались ей сердца!
Забудь величье мудреца!
Смири въ себѣ свой умъ надменный!..

ЛЮЦІЙ.

Великодушныя мечты,
Но все, Марцеллъ, мечты пустыя! (*Одушевляясь и рѣшительно.*)
Нѣтъ, не сойду я съ высоты!

И что̀ за дѣло, что чужіе
Мнѣ будутъ неучъ и глупецъ!
То, что̀ умомъ я постигаю,—
Одно мое! И тѣмъ, я знаю,
Я выше ихъ, простыхъ сердецъ!
И если есть душа вселенной,
Есть божество,—оно во мнѣ,
Въ моемъ умѣ, и вѣкъ въ войнѣ
Съ твоей толпой непосвященной!

МАРЦЕЛЛЪ.

О, гордость, гордость!

ЛЮЦІЙ.

Можетъ быть,
Въ угоду имъ я долженъ буду
Все—чѣмъ горжусь я—позабыть!
Повѣрить лжи! Повѣрить чуду!..

ЛИДА *(перебивая Люція, въ крайней степени одушевленія говоритъ быстро, неудержимымъ потокомъ).*

Нѣтъ, Люцій, въ насъ не ложь! Не трать
Противорѣчій попустому!
Что̀ могъ Христосъ равно сказать
Рабу и нищему простому,
И мудрецамъ, и богачамъ,
И чистой дѣвѣ, и несчастной,

Для всѣхъ одно, для всѣхъ такъ ясно,
Понятно, близко всѣмъ сердцамъ,
То, Люцій, быть не можетъ ложью!
Христосъ зналъ всѣхъ, ко всѣмъ входилъ
Въ дома, со всѣми говорилъ...
Онъ пробуждалъ лишь правду Божью,
Что въ насъ жила, во всѣхъ сердцахъ!
Ко всѣмъ страдающимъ и сирымъ,
Ко всѣмъ убитымъ гордымъ міромъ,
Одинъ, съ участіемъ въ очахъ,
Пришелъ Онъ и открылъ объятья,
И всѣмъ сказалъ Онъ: всѣ вы братья!
И всюду съ вами буду Я!
И всюду, гдѣ Его семья,
Какъ добрый пастырь между паствы,
Онъ тамъ—ты чувствуешь—Онъ тамъ!
Благословляетъ питья, яствы,
Самъ раздаетъ ихъ бѣднякамъ...
Въ темницѣ, въ мглѣ, гдѣ только муки
И ярости былъ вѣчный стонъ,
Гдѣ тысячи страдаютъ, Онъ
На всѣхъ распростираетъ руки,
Всѣхъ утѣшаетъ—и злодѣй
Душой смягчается своей!..
Ахъ, Люцій! Выше нѣту счастья
Какъ вызвать ласкою участья
Слезу у тѣхъ, кто слезъ не лилъ
Еще ни разу въ умиленьи!
Какъ воскъ онъ будетъ, и душой

Къ тебѣ прильнетъ, и за тобой
Пойдетъ какъ агнецъ въ путь спасенья,
Какъ за Христомъ пошелъ бы ты самъ!
Но нѣтъ! Я чувствую, все блѣдно,
Что̀ я скажу, все мало, бѣдно!..
Послушай! Подъ землею, тамъ,
У насъ есть храмы... все аркады!..
Тамъ цѣлый го́родъ! Все лампады,
Гробницы!.. Много-много слезъ
За всѣхъ тамъ, Люцій, пролилось!
Тамъ—наши старцы!.. Тѣ видали
Христа, какъ я тебя, слыхали,
Какъ Онъ училъ... Послушай ихъ!
Они слова Христовы знаютъ!
Все помнятъ, свято сохраняютъ...
Что̀ за слова, о Люцій!.. Въ нихъ
Такая сладость! Упадаютъ
Они на сердце какъ роса
На травы! какъ елей на раны!
Влекутъ, влекутъ на небеса,
Гдѣ самъ Онъ, славо́й осіянный,
Какъ царь вселенной, чистый свѣтъ,
Насъ ожидаетъ съ пальмой!.. Нѣтъ!
Узнавъ Его, ты будешь рваться,
Чтобъ слиться съ нимъ!.. Въ немъ потеряться
Какъ въ океанѣ капля!.. Міръ
Покажется тюрьмою тѣсной,
Гдѣ ты тоскуешь, нищъ и сиръ,
По свѣтлой родинѣ небесной,

И какъ на пиръ пойдешь въ тюрьму,
На смерть, чтобъ вырваться къ Нему!

ЛЮЦІЙ.

Ахъ, Лида, Лида!.. Гдѣ ты, Лида?
Въ какихъ лучахъ твоя душа
Голубкой рѣетъ?.. Чуть дыша
Тебя я слушаю... изъ вида
Теряю... Какъ ты хороша!
О, да, клянусь! Одна бъ ты нынѣ
Могла мнѣ дать желанье жить!
Одна могла бы мнѣ въ пустынѣ
Путеводительницей быть!
Да! Какъ въ пустынѣ караваны
За вереницей лебедей
Идутъ въ невѣдомыя страны
Искать прохлады и ключей, —
Я вслѣдъ пошелъ бы за тобою —
Хоть любоваться на тебя,
И твоего Христа, душою,
Въ тебѣ, быть можетъ, полюбя!

МАРЦЕЛЛЪ.

О, Люцій! Женщиной безсильной
Пренебрегали мы! Но Онъ
Дѣла великія обильно
Творитъ руками слабыхъ женъ!
Иди за ней! Ея устами
Онъ самъ зоветъ тебя! Иди!

Мы новобранцы! Тамъ—вожди!
Мы смотримъ все еще очами
Земными! Но для тѣхъ мужей
Земли ужь нѣтъ! Свободно, смѣло,
Надъ бурнымъ моремъ жизни сей
Паритъ ихъ духъ, какъ голубь бѣлый!
Послушай ихъ!.. И Люцій, вотъ —
Смотри—вотъ здѣсь же, въ этомъ залѣ,
Въ подземный городъ нашъ есть ходъ...

(Отворяетъ потайную дверь въ нишѣ.)

ЛЮЦІЙ.

Какъ? тайный ходъ? И это знали
Одни рабы?..

ЛИДА.

Изъ всѣхъ домовъ,
Изъ тюрьмъ, изъ цирковъ, изъ садовъ
У насъ такіе жь ходы!

ЛЮЦІЙ *(смотря въ катакомбы).*

Боги!
Тамъ свѣчи... цѣлые чертоги...
Толпа людей...

МАРЦЕЛЛЪ *(торжественно Люцію, который неподвижно смотритъ въ катакомбы).*

Весь Римъ подрытъ!
Подъ старымъ Римомъ, Римъ ужь новый,

Преобразить его готовый,
Во всеоружіи стоитъ!..
Тамъ нѣтъ рабовъ! Тамъ нѣтъ богатыхъ!
Тамъ другъ предъ другомъ всѣ равны!
Тамъ нѣтъ презрѣнныхъ и проклятыхъ!
Тамъ падшіе обновлены!
Тамъ чудеса любви увидишь —
И имъ повѣришь ты!

ЛИДА.

И выйдешь
Потомъ на смерть у насъ въ рядахъ,
Съ улыбкой свѣтлой на устахъ,
На небо очи устремляя!..
Ты слышишь гимнъ... они поютъ —
Подъ цѣлымъ Римомъ ждутъ лишь знака
И отовсюду, вдругъ, изъ мрака
На смерть съ веселіемъ пойдутъ!

ЛЮЦІЙ *(самъ съ собою).*

Весь Римъ подрытъ!.. Глазамъ не вѣрю:
На казнь идти и гимны пѣть,
И въ пасть некормленному звѣрю
Безъ содроганія глядѣть!
Ужь тутъ не бунтъ... *(Къ Марцеллу).*
Но кто жь вы, кто вы?

(Съ строгимъ упрекомъ.)

Марцеллъ? Вѣдь Римъ готовя новый,

Ты гуонишь старый! Римъ отцовъ!
Созданье дѣлъ ихъ! Центръ вселенной,
Свѣтило міра... для презрѣнной
Толпы безсмысленныхъ рабовъ!..
Рабы!.. Марцеллъ!.. Да гдѣ мы? Гдѣ мы?
Для нихъ вѣдь камни эти нѣмы!
Что намъ позоръ, имъ не позоръ!
Они предъ этими мужами
Не заливался слезами
Съ стыдомъ не потупляли взоръ!
И ты, ты смѣешь отказаться
Ото всего, чѣмъ ты съ пеленъ
Вспоенъ и вскормленъ! Оторваться
Ото всего съ чѣмъ ты рожденъ!
Я пью отраву: гражданину
Одинъ остался долгъ святой...
Но тѣмъ лишь вызовъ къ внукамъ кину,
И Римъ не кончится со мной!

МАРЦЕЛЛЪ.

Пусть не одни лишь камни Рима,
А Ѳивъ, Аѳинъ, Ерусалима
Повсюду вопіютъ тебѣ,
Какія слезы тамъ пролиты,
Какія жертвы тамъ убиты!
Признай подобнаго себѣ
Въ угрюмомъ варварѣ, въ рабѣ,
Люби весь міръ, какъ Римъ ты любишь,
И ты тогда—христіанинъ!..

ЛЮЦІЙ.

Марцеллъ, Марцеллъ! Вѣдь Римъ одинъ!

МАРЦЕЛЛЪ.

Одинъ! Ты тѣмъ его и губишь!
Одинъ, какъ міръ на раменахъ
Атланта! Міръ неправдъ! Но, время!
Тотъ, Кто одинъ лишь мудръ и благъ,
Съ него снимаетъ это бремя,
И горе тѣмъ, кого врасплохъ
Найдетъ судить грядущій Богъ!..

(*Бьетъ полночь.*)

ЛЮЦІЙ (*очнувшись*).

Послѣдній срокъ!

МАРЦЕЛЛЪ.

И нашъ онъ тоже!..

ЛИДА.

Ты гибнешь, Люцій! Вѣчный ждетъ
Тебя огонь!.. О, Боже! Боже!

ЦИНИКЪ (*который спалъ въ углу на ложѣ, просыпается*).

Хозяинъ умеръ? Полночь бьетъ!

МАРЦЕЛЛЪ.

Вотъ онъ, твой Римъ, тебя зоветъ!

ЦИНИКЪ *(привставъ).*

Да ты въ компаніи... съ дѣвицей...
Ну, братъ, и видно, что патрицій...

(Идетъ къ Люцію, но останавливается, услышавъ раздавшееся изъ катакомбъ пѣніе. Взоры всѣхъ обращаются туда.)

ЛИДА *(восторженно).*

Идутъ! Идутъ! Желанный часъ!

(Къ Люцію.)

О, Люцій! Неужель отстанешь
Одинъ, во мракѣ, ты отъ насъ!
И міру съ нами не предстанешь
Сказать—кто мы?

(Христіане въ бѣлыхъ одеждахъ и вѣнкахъ выходятъ изъ катакомбъ, и не обращая вниманія на присутствующихъ, погруженные въ себя, идутъ къ выходу въ садъ. Они поютъ унисономъ гимнъ, который начинается подъ землею и теряется во мракѣ сада.)

ЦИНИКЪ.

Да что̀ я? Сплю?
Изъ-подъ земли выходятъ люди...
Ну, этихъ лицъ я не люблю!

ЛЮЦІЙ.

Всему чужіе... точно къ пиру
Идутъ на смерть они—въ вѣнкахъ!

Презрѣнье къ мукамъ, къ смерти, къ міру...
И въ комъ же? Въ варварахъ! Въ рабахъ!
О, Римъ! О, Римъ!..

(Смотритъ на христіанъ съ нѣмымъ отчаяніемъ).

ГИМНЪ ХРИСТІАНЪ.

Будьте, братья, день и ночь готовы къ битвѣ!
Стойте, не гася лампады, на молитвѣ!
Онъ подкрадется какъ тать ночной—день судный;
Горе тѣмъ, кто спалъ дотолѣ непробудно!
Вострубятъ въ трубу архангелы святые,
Встанутъ мертвые, возымутъ страхъ живые.
Потухающія солнца узрятъ въ страхѣ
Тварь земную, цѣпенѣющую въ прахѣ.
Узрятъ новый свѣтъ, очамъ невыносимый,
Онъ пріидетъ—Судія неумолимый!
И предстанутъ всѣ, рабы и властелины,
И одна всѣмъ будетъ мзда и судъ единый...
Горе обуяннымъ міра славой тлѣнной,
Васъ поглотятъ нѣдра огненной геенны!
Радуйся, слезами путь свой окропившій,
Въ суетномъ семъ мірѣ чашу мукъ испившій!
Радуйся, пріявшій свѣтъ Христовъ съ любовью,
Вѣчное блаженство искупившій кровью...

ЛИДА.

О, Люцій! Этотъ гимнъ святой
Ты слышишь... Міръ съ его красой

Пройдетъ! Одинъ лишь Бога полный,
Христомъ спасенный, вѣченъ духъ!..

ЛЮЦІЙ.

О томъ, что̀ будетъ, милый другъ,
Мои оракулы безмолвны!

МАРЦЕЛЛЪ.

Итакъ, ты, Люцій, противъ насъ?
Не съ нами?

ЛЮЦІЙ *(тщательно и вставая).*

Противъ, противъ васъ!
Я римлянинъ! Я умираю
За Римъ...

МАРЦЕЛЛЪ.

А мы—за міръ!..

ЦИНИКЪ.

Чего?
За Римъ? За міръ? Ужь тонко, право!
Гдѣ жь смыслъ-то тутъ, скажите, здравой!..
(Къ Лидѣ.) А ты, дѣвица, за кого?

ЛИДА.

И за тебя, быть можетъ!

ЦИНИКЪ.

Браво!
Чтобъ не было обидно!..

ЛЮЦІЙ.

Нѣтъ, я не вашъ, Марцеллъ!.....
Все, чѣмъ великъ мой духъ, чѣмъ разумъ
Могучъ и свѣтелъ—далъ мнѣ Римъ!
И пусть идутъ всѣ боги разомъ,
Онъ презритъ ихъ, какъ, полный имъ,
Я презираю смерть!..

(Выпиваетъ чашу и склоняется на ложе.)

ЦИНИКЪ.

Брр! Кисло!..

ЛИДА *(хлопочетъ около Люція).*

Люцій! Бѣдный Люцій!..

МАРЦЕЛЛЪ *(внѣ себя).*

Безумецъ! Гордъ, упрямъ и слѣпъ!
Искалъ, голодный, вѣкъ свой хлѣба,
И хлѣбъ ему приносятъ съ неба,
И онъ бросаетъ этотъ хлѣбъ!..

ЛИДА *(умоляя).*

Марцеллъ! Онъ умираетъ!

МАРЦЕЛЛЪ.

Что же
Мнѣ дѣлать съ нимъ?

ЛЮЦІЙ *(слабѣющимъ голосомъ).*

Онъ весь какъ былъ—
Все тотъ же воинъ! Тотъ же пылъ!

МАРЦЕЛЛЪ.

Вѣдь я любилъ тебя!.. О, Боже!
Когда жь совсѣмъ съ души моей
Ярмо грѣха, ярмо страстей
Ты снимешь!

ЦИНИКЪ.

Изъ чего хлопочутъ!?
И вѣдь не плуты, не морочутъ!..
Не понимаю—хоть убей!

ЛЮЦІЙ.

А мы съ тобой, Марцеллъ, другъ друга
Мы понимаемъ ли?.. Я—сынъ
Своихъ отцовъ и вѣка... Знаю
Я только Римъ... Я гражданинъ...
И я... за Римъ свой умираю—
Какъ ты за своего Христа!..
Кто правъ изъ насъ... другіе скажутъ!..
Намъ не узнать ужь... никогда!..
И, можетъ быть... на всѣхъ укажутъ
Какъ на глупцовъ... И изъ чего
Мы хлопотали—также спросятъ
Какъ этотъ циникъ... *(Умираетъ.)*
1863.

ДРУГУ ИЛЬѢ ИЛЬИЧУ

Илья Ильичъ! Позволь, пока еще я смѣю
Гордиться дружбою высокою твоею,
Позволь воспѣть звѣзду всходящую твою!
Покинешь скоро ты друзей своихъ, семью,
И потеряешься для нихъ въ сіяньѣ свѣта—
Недосягаемомъ для бѣднаго поэта!
Позволь мнѣ хоть сказать, какъ я люблю тебя,
Какъ милъ ты мнѣ, когда гаванскій дымъ клубя,
Прихлебывая, пьешь ликеръ ты благовонный,
Иль сельтерской водой клико остепененный;
И въ этотъ сладкій часъ, между ѣды и картъ,
Въ бюрократическій приходишь вдругъ азартъ,
И перестроивать, съ верховъ до основанья,
Все заново начнешь общественное зданье!
О, какъ мы слушаемъ! Какъ нашъ ученый Шмитъ—
Сей нигилистовъ бичъ—отъ счастія пыхтитъ!
А юный правовѣдъ—сей баловень фортуны —
Какъ будто ловитъ онъ рѣчей своихъ перуны

И прячетъ ихъ въ карманъ, чтобъ ими, можетъ быть,
Въ бумагахъ дѣловыхъ эфектно погромить!
А Петръ Петровичъ! Титъ Ѳомичъ! И я-то, грѣшный,
Мы таемъ, учимся, и, вѣрь—не безуспѣшно!
Какіе новые пружины и винты
Въ гражданскій механизмъ искусно вводишь ты!
Какой изъ рукъ твоихъ, въ жизнь дикаго народа,
Ручной голубкою влетѣла бы свобода!
Я слушаю, лежу спокойно на софѣ,
Й вижу, что и я, въ особенной графѣ,
Въ теоріи твоей стою, и также точно
Всѣ—пирамидою, осмысленно и прочно,
Сложились шестьдесятъ мильоновъ русскихъ душъ!
И какъ мы всѣ цвѣтемъ! О, Богомъ данный мужъ!
Все—даже дикая, шальная эта дура,
Вдругъ стала умницей такой—литература!
Не бьетъ изъ пустяковъ отчаянно въ набатъ,
А стала вѣжливо указывать развратъ,
И можетъ господинъ солидный преспокойно
Дать все читать женѣ и дочкѣ—все пристойно!..
Мнѣ даже кажется, что стали наѣзжать
Ужь нѣмцы къ намъ твое созданье изучать,
Дивясь, какой судьбой, на «свинской» почвѣ русской
Вдругъ стало пахнуть все идилліей французской!
Конечно, иногда меня смущаетъ тутъ
Одно сомнѣніе: народецъ русскій—плутъ:
Не споритъ никогда, но всюду, какъ по стачкѣ,
Какъ въ яму спустить вдругъ, глядишь, по-одиначкѣ,
Созданья лучшія ученѣйшихъ головъ,

И какъ ты ни пиши, что̀ съ нимъ ни трать ты словъ,—
Онъ отъ тебя бѣжитъ подъ сѣнь родного мрака,
Какъ отъ нѣмецкаго намордника собака!
Но ты—ты сладишь съ нимъ... вотъ только бъ проложить
Тебѣ тропинку-то!.. Вотъ, только бъ обратить
Вниманье... знаешь... тамъ!.. Лишь тамъ бы захотѣли
Понять твои мечты, способности и цѣли!
Тогда бъ ты сладилъ, да! Вѣдь ты не то, что̀ былъ,
Ну, хоть твой папенька!.. Ахъ, вижу, разсмѣшилъ
Тебя сравненьемъ я! Хохочешь?.. Слава Богу!
Мнѣ лестно! Очень! Да!.. Вспадетъ же на языкъ!
И въ самомъ дѣлѣ былъ забавный онъ старикъ!
Полжизни на плацу вытягивалъ онъ ногу,
Былъ губернаторомъ, здѣсь чѣмъ-то управлялъ...
Застегнутъ, вытянутъ, какимъ-то дикобразомъ
Старался выступать—казалось, свѣтъ вотъ разомъ
Пугать всегда хотѣлъ—и вовсе не пугалъ!
Въ немъ, знаешь, не было—руководящей нити...
А ты—учтивъ всегда, безъ этой лишней прыти,
И, не поморщивъ бровь, сгоняешь со двора
Безъ объясненія, лишь почеркомъ пера,
Всѣхъ этихъ паріевъ и самоукъ несчастныхъ,
Съ великой мыслію твоею несогласныхъ!
Не слушаешь мольбы ни женъ ихъ, ни дѣтей...
А папенька? Смѣшно и вспомнить-то, ей-ей!
Воришку мелкаго, на сотенномъ окладѣ,
Бывало, призоветъ, кричитъ, самъ весь въ надсадѣ,
Раздавитъ, кажется... Анъ смотришь, покричитъ—
И самъ расплачется, да тутъ же и проститъ!

Закона—не любилъ! Его боялся даже,
Всегда въ немъ видѣлъ то, противъ чего на стражѣ
Быть должно всякому, и встрѣтясь съ нимъ въ пути,
Съ нимъ только вѣжливость старался соблюсти...
Вотъ въ чемъ все горе-то! Въ мундиръ весь вѣкъ рядился,
Но сквозь мундиръ его халатъ всегда сквозился!..
Вотъ ты,—такъ и въ пальто, безъ звѣздъ и безъ крестовъ,
А точно, кажется (я, впрочемъ, это слышалъ
Отъ маменьки твоей), на свѣтъ въ мундирѣ вышелъ!
Конечно, память твой рара у стариковъ
Оставилъ добрую—и ставятъ предъ иконы
И нынче за него свѣчу; но, милый мой,
Тебя благословятъ—не тотъ, и не другой,
Не Прохоръ, не Кузьма, не Сидоръ,—а мильоны!
И пусть кричатъ слѣпцы: ты деспотъ! Ты тиранъ!
Не слушай! Это толкъ распущенныхъ славянъ,
Привыкшихъ къ милостямъ и грозамъ деспотизма!
Тиранъ ты—но какой? Тиранъ либерализма!
А съ этимъ можешь ты—все будетъ міръ прощать—
Не только вороха бумаги исписать,
Но, тиская подъ прессъ свободы,—половину
Всего живущаго послать на гильотину!

1862—64.

ПРАЗДНОСЛОВЫ.

Кумиры старые разбиты
И ихъ разогнаны жрецы,
И разныхъ вѣръ сошлись левиты,
И разныхъ толковъ мудрецы.
Сошлись во всеоружьи бранномъ,
Въ тіарахъ, въ пудрѣ, въ колпакахъ,
Востокъ и Западъ въ братствѣ странномъ
Усѣлись рядомъ на скамьяхъ.
И толкъ пошелъ—широко, пышно,
Но съ каждымъ мигомъ все сильнѣй,
И наконецъ уже не слышно
Совсѣмъ за криками рѣчей:
Другъ друга каждый лишь порочитъ
И громко бога своего
На мѣсто свергнутаго прочитъ,
И счастья ждетъ лишь отъ него...

А міръ, отъ гнета вѣкового
Межь тѣмъ свободный, засіялъ,
И прыснуть жизнь вездѣ готова,
И листъ ужь почку завязалъ...
И туча пыли, мглы и смрада
Ушла съ ликующихъ небесъ,
И зданья новаго громада
Стоитъ ужь, полная чудесъ...
И передъ Тѣмъ, Кто далъ спасенье,
Предъ Кѣмъ разодралася тьма—
Уже встаетъ изъ разрушенья,
Живая, Истина сама...
Но, хоть у всѣхъ глаза открыты,—
Ея не узрятъ гордецы,
И не поймутъ ея левиты,
И не узнаютъ мудрецы!

1864.

„4-Е АПРѢЛЯ 1866 ГОДА".

Все, что̀ въ груди есть русскаго у насъ,—
Оскорблено!.. Уста молчатъ, нѣмѣя
Отъ ужаса!.. Рукой безвѣстнаго злодѣя
Едва святая кровь Царя не пролилась...
Царя—блюстителя строжайшаго законовъ...
И гдѣ же? Между насъ, среди своей семьи...
Царя—строителя земли,
Освободителя мильоновъ!..
Кто жь тотъ злодѣй? Откуда вышелъ онъ?
Мы тщетно ищемъ между нами!
Изъ русскихъ—у кого нетлѣнными чертами
Любезный ликъ Царя въ душѣ не впечатлѣнъ?..
Кто жь тотъ? Откуда онъ? Изъ шайки ли злодѣйской,
Что̀ революціей зовется европейской,
Что̀ чтитъ свободою—одну свободу смутъ,
И какъ проклятіе, какъ страшный Божій судъ,
Стоитъ страшилищемъ безсмѣннымъ
За старые грѣхи надъ Западомъ надменнымъ?..
Кто жь онъ? Изъ русскихъ ли несчастныхъ бѣглецовъ,
Что̀, позабывъ родныя всѣ преданья,

Изъ-за́ моря, въ землѣ своихъ отцовъ
Играть затѣяли въ возстанья
И злятся, что земля идетъ своимъ путемъ,
Не такъ, какъ бы они хотѣли,
А одномышленно, къ своей великой цѣли,
И во главѣ—съ своимъ Царемъ?
О, нѣтъ, несчастный, нѣтъ, не русской онъ стихіи!
Кто бъ ни былъ онъ,—онъ намъ чужой!
И нѣтъ ему корней ни въ нынѣшней живой,
Ни въ исторической Россіи!
Но если онъ врагомъ подосланъ, чтобъ вселить
Межь нами другъ ко другу подозрѣнье,
И въ Русскомъ царствѣ водворить
Междоусобье и смятенье,—
Смотрите: самъ Господь, хранившій Русь средь всѣхъ
Ея невзгодъ, и въ браняхъ, и въ опалахъ,
Опять воздвигъ «единаго отъ малыхъ»—
Да не свершится грѣхъ!
Сомкнемся жь вкругъ Царя, съ довѣріемъ другъ къ другу,
И смѣло глянемъ въ даль, чтобъ дружный дать отпоръ
И ковамъ недруговъ, въ насъ сѣющихъ раздоръ,
И всякому наносному недугу!
Да узритъ старый міръ, возросшій на крови,
Что къ жизни насъ призвавшая свобода
Была не гибелью для русскаго народа,
А свѣтомъ Истины и царствіемъ Любви.

1866.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ГИМНЪ О СПАСЕНІИ ЖИЗНИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 4-ГО АПРѢЛЯ 1866 Г.

(Слова на музыку К. Н. Лядова въ концертъ В. А. Кологривова 1-го мая).

ХОРЪ.

Сохранилъ Ты намъ, Господи,
Государя любимаго
Отъ бѣды отъ великія!
Оберегъ землю Русскую
Отъ грѣха, отъ погибели!
Слава Тебѣ, Господи, слава!

ОДИНЪ ГОЛОСЪ.

Пошли ему, о, Боже правый,
И дней, и славы безъ конца!
Да всякій врагъ и ковъ лукавый
Исчезнетъ отъ Его лица!
Да все заблудшее прозрѣетъ,
Какъ за вождемъ пойдетъ за Нимъ!

Да все яснѣетъ и яснѣетъ
Призванье наше намъ самимъ:
Зачѣмъ, средь бурь, взросла Россія,
А отъ купели приняла
Ее—не Римъ—а Византія,
И православной нарекла?
Всѣ угнетенные народы
Хранятъ пророчества объ ней:
Какихъ задачъ, какой свободы,
Какихъ судебъ—разгадка въ ней?
Уже грядущихъ дней мерцанье,
Какъ на вершинахъ горъ заря,
Легло на мудрыя дѣянья
Тобой намъ даннаго Царя.
Храни жь Его! Какъ добрый геній,
Россіи посланный Тобой,—
Пусть Онъ въ вѣнцѣ благословеній
Стоитъ надъ Русскою землей!
Да подъ Его десницей смѣлой
Умирена, укрѣплена,
На предстоящее ей дѣло
Преображается она!

1866.

THE EMPRESS OF INDIA.

Зовись—преемницей Пророка,
Зовись—избранницей боговъ,—
Не быть царицею Востока
Тебѣ въ глазахъ его сыновъ!
Тамъ живы древнихъ лѣтъ вѣщанья,
Они, какъ бы изъ нѣдръ земли,
Сквозь вѣковыя испытанья
Въ сердцахъ народовъ проросли...
Тамъ вѣрятъ искони завѣту,
Что вотъ—близка, близка заря,
И царство тьмы уступитъ свѣту,
Господству Бѣлаго Царя.

1877.

ПРОЗА.

ПРОГУЛКА ПО РИМУ

СЪ МОИМИ ЗНАКОМЫМИ.

... E il più gentile
Terren non sei di quanti scalda ilsole?
D'ogni bell' arte non sei madre, o Italia?
Polve d'eroi non è la polve tua?..
«Не лучшая ли ты страна
Изо всѣхъ странъ, согрѣваемыхъ солнцемъ?
Не ты ли матерь прекраснаго искусства, о Италія?
Прахъ героевъ не есть ли твоя почва?
Silvio Pellico. Francesca di Rimini.
«Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ!»

Въ Римѣ ведется обычай къ полудню кончать всѣ дѣла, какого бы роду они ни были, и обѣдать. Можно навѣрное сказать, что въ двѣнадцать часовъ тамъ прекращены всѣ занятія и все населеніе Рима питается, величая вовсе неправильно процессъ своего питанія обѣдомъ, ибо со словомъ обѣдъ сопряжено понятіе объ изящности и нѣкоторомъ разнообразіи вкушаемыхъ яствъ, нѣкоторой утѣшительной торжественности въ отправленіи этого процесса, что, разумѣется, какъ даръ вмѣстѣ и фортуны, и природы, то-есть, даръ

средствъ и даръ умѣнія обѣдать, доступно не всякому... Въ двѣнадцать часовъ всѣ присутственныя мѣста закрыты: раздача писемъ прекращена; босоногіе монахи исчезаютъ со стогновъ всемірнаго града и поютъ предобѣденный канонъ, умильно посматривая на длинные столы, растянутые въ трапезной. Блистательные франты, которыхъ пріѣзжія сѣверныя дамы принимаютъ за графовъ и князей, потомковъ гвельфовъ и гиббелиновъ, стремятся въ подземелья трактирщика Таббіони и услаждаютъ потребность пищи за нѣсколько мѣдныхъ байоковъ. Красавицы, работающія въ магазинахъ у француженокъ, выбѣгаютъ изъ разныхъ угловъ, спѣшатъ по гладкой мостовой Корсо, мѣняются быстрыми огненными взглядами и бѣглыми улыбками со встрѣчающимися имъ паинами, римскими денди, въ синихъ альмавивахъ, или съ художниками въ черныхъ бархатныхъ кватроченгахъ и бѣлыхъ широкополыхъ шляпахъ, и потомъ исчезаютъ въ какой-нибудь темный, узкій переулокъ, гдѣ сторонятся, давая дорогу худому, вислоухому ослику, несущему на спинѣ своей двѣ огромныя корзины съ апельсинами и лимонами, легко перепрыгиваютъ между разнымъ хламомъ, беззаботно валяющимися по улицѣ орудіями ремесленниковъ, работающихъ на воздухѣ, стружками, кучами дровъ, кучами сору, листьевъ капусты, салата-латуги, обрѣзковъ игловатыхъ брокколей и ярко-суриковой моркови съ желтой сердцевиной, выглядывающей изъ-за клочка мокраго сѣна или раздавленной неосторожно шагающимъ осломъ. Даже самое, повидимому, свободное существо въ мірѣ—художникъ, хотя и рожденный подъ другимъ небомъ и воспитанный въ другихъ обычаяхъ, да и по самой натурѣ своей несклонный

къ регулярности въ образѣ жизни, ибо для него все значитъ счастливый моментъ, — а когда этотъ моментъ выдается, передъ обѣдомъ или послѣ обѣда—неизвѣстно, — художникъ тоже, живя въ Римѣ, долженъ подчиниться всемогущему обычаю. Неизбѣжный его идеалъ и цѣль, къ которой стремится его искусство, — природа, олицетворенная для него въ образѣ натурщика или натурщицы, къ двѣнадцати часамъ уже начинаетъ страдать позывомъ на пищу. Увѣщанія и прибавка платы ничего не значитъ: громоносный Юпитеръ, цѣлые два часа удерживавшій поднятою рукою громъ и съ презрѣніемъ взиравшій на копирующаго съ него художника (безпрестанно спрашивая: «такъ ли, довольно ли я величественъ?» и отъ времени до времени разсказывая собранные на-лету сплетни и анекдоты), къ двѣнадцати часамъ забываетъ о громѣ и сходитъ со стола, изображавшаго Олимпъ. Тѣло только-что убитаго Гектора, лежавшее цѣлое утро въ самой изломанной, но для мертвеца весьма естественной позитурѣ, къ 12 часамъ оживляется, разверзаетъ уста словами: Signor, e il tempo di *mangiar*. Мальчишка-нищій, натурщикъ, котораго вы взяли съ площади, обожженный солнцемъ, черный, дикій, нечесанный, сверкающій глазами, къ 12 часамъ оставляетъ свою позу на колѣняхъ передъ чернобровой Лауретой и говоритъ вамъ: «Da mi duo paoli, ho fame». Аскетъ аравійской пустыни къ 12 часамъ взалчетъ, и являющіеся ему демоны во образѣ длинныхъ, длинныхъ макаронъ, окончательно надъ нимъ торжествуютъ. Начинаютъ приходить въ безпокойство роскошные члены какой-нибудь Венеры или Галатеи, доселѣ неподвижные, какъ бы каменные, съ которыхъ писалъ или

лѣпилъ художникъ, съ трудомъ сдерживая дыханіе въ расширенной груди, съ сильно біющимся сердцемъ, и усиленно напрягающій зрѣніе, готовое каждый мигъ помутиться—по моему, болѣе въ самомъ себѣ, нежели въ своемъ произведеніи, представляющій торжество искусства надъ природою... Но, конецъ вдохновенью! Конецъ труду! Галатея идетъ обѣдать, Юпитеръ идетъ обѣдать, аскетъ идетъ обѣдать, тѣло Гектора идетъ обѣдать, а вслѣдъ за ними и художникъ покрываетъ мокрой тряпкой вылѣпленную изъ глины фигуру или сдаетъ кисти неизвѣстно откуда являющемуся факину, уже обѣжавшему десятокъ мастерскихъ и отобравшему вездѣ кисти,—и тоже отправляется обѣдать.

Я сидѣлъ въ трактирной комнатѣ, за чашкою чернаго кофе, за которой уже два раза прибѣгалъ слуга изъ кофейной: онъ съ неудовольствіемъ возвращался назадъ, вѣроятно, не понимая, что̀ за наслажденіе долго сидѣть послѣ обѣда, куря сигару и попивая простывшій кофе. Комната уже почти опустѣла; художники всѣхъ націй, въ двѣнадцать часовъ являющіеся къ обѣденному столу, разошлись по своимъ мастерскимъ; оставались только: англичанинъ на одномъ концѣ стола, четыре раза спросившій себѣ бифстексу и на вопросъ слуги: «что прикажетъ еще, eccelenza», отвѣчавшій: «еще бифстексъ», я и одинъ художникъ, Ферязевъ, засидѣвшійся тутъ потому, что не предполагалъ болѣе работать, да еще другой... не то художникъ, не то туристъ, во всякомъ случаѣ другъ художествъ, а еще болѣе художниковъ, оставшійся за столомъ потому, что еще не всѣ ушли: онъ выходилъ не иначе, какъ послѣднимъ. Роль этого милаго господина была престранная: его звали не иначе какъ Ѳе-

дей, онъ былъ со всѣми на ты, искусствомъ никакимъ особенно не занимался, цѣли въ путешествіи не имѣлъ никакой, но самымъ фактомъ своего пребыванія въ одномъ и томъ же обществѣ получилъ значеніе необходимости: посреди артистовъ, народа большей частью эксцентрическаго, онъ былъ олицетворенная идея внѣшняго приличія и порядка. Припомнить праздники, торжествуемые православною церковью и при перемѣнѣ календаря, и при счисленіи времени по другому стилю, легко забываемые, высокоторжественные дни, даже чьи-нибудь именины или день рожденья, устроить проводы отъѣзжающему соотечественнику, приказать подать по сему случаю шампанскаго, начать говорить спичъ и, не кончивъ вступленія, провозгласить тостъ—это было его дѣло и исполнялось имъ съ примѣрною торжественностью, дружескимъ, трогательнымъ выраженіемъ, смотря по роду случая. Если безпокойный Вакхъ поссоритъ двоихъ, впрочемъ, всегда весьма дружныхъ товарищей, возникаетъ споръ, за споромъ брань, обоюдные улики и доводы, впрочемъ, въ вещахъ совершенно постороннихъ спорному пункту, а затѣмъ ругательства, яростные взоры, угрозы и движенія, вызывающія на ратоборство, онъ является примирителемъ, со слезами на глазахъ становится на колѣни передъ каждымъ изъ ссорющихся, поодиночкѣ у каждаго проситъ прощенія за другого, сноситъ съ примѣрною кротостью выходки противъ себя самого съ обѣихъ сторонъ... и, наконецъ, слезами, увѣщаніями, насильственнымъ сталкиваніемъ враждующихъ въ объятія, успѣетъ примирить, говоря: «Хоть только для меня помиритесь: пусть онъ такой-сякой, пусть и ты тоже, или хоть ты только такъ скажи,

и ты тоже скажи, вѣдь мы знаемъ, что вы славные ребята; ну, и помиритесь, хоть для меня». Соперники стихаютъ, отъ брани и яростныхъ взоровъ переходятъ только къ жесткимъ взорамъ; онъ велитъ подать шампанскаго на свой счетъ; враги, съ обѣихъ сторонъ искажавшіе біографію другъ друга чернѣйшими красками и взводившіе одинъ на другого чуть не уголовныя преступленія, увѣнчиваютъ его старанія, потъ, слезы и издержки дружескими объятіями, поцѣлуями, слезами и клятвами въ вѣчной любви и дружбѣ.

Если же вино одолѣетъ какую-нибудь крѣпкую натуру или вступитъ въ законныя права свои надъ слабою, и жертва его не въ состояніи держаться на ногахъ, что̀ при большомъ стеченіи молодежи разныхъ націй случалось нерѣдко, то отводилъ его домой никто иной, какъ Θедя. Даже еслибъ онъ не былъ вмѣстѣ съ другими, а былъ въ театрѣ или въ гостяхъ, то, возвращаясь домой, онъ непремѣнно дастъ два большіе крюка, а ужь зайдетъ въ три трактира, открытые до двухъ часовъ ночи, посмотрѣть, не надобно ли кого отвести. Если тамъ случится компанія трезвая или пьяная, онъ останется съ нею, зѣвая и говоря, что ему спать хочется, и на совѣтъ—«такъ иди ложись»—ничего не отвѣчаетъ, но посмотритъ на всѣхъ съ кроткою ироніей, какъ бы желая сказать: «А какъ же вы безъ меня дойдете?» Навѣрное можно сказать, что онъ да папскій цирюльникъ, обремененный дѣлами, въ цѣломъ Римѣ ложились спать послѣдніе.

Мы всѣ трое находились въ раздумьи, куда дѣть время до Ave Maria, то-есть, до сумерекъ: пойти ли въ мавзолей

Августа, обращенный въ открытый циркъ, гдѣ ежедневно Гверра потѣшалъ римскую публику своими представленіями, или взять лошадей, поскакать въ окрестные городки, бѣлѣющіеся на горахъ, на полдорогѣ, разумѣется, завернувъ для отдыха въ низенькую остерію съ двумя кипарисами, живописными видами и плохимъ, но не пренебрегаемымъ разгоряченнымъ всадникомъ виномъ, какъ вдругъ разсужденія наши были прерваны появленіемъ незнакомца, довольно полнаго человѣка, благонамѣренной наружности и почтенныхъ лѣтъ; лицо, которое, не поражая никакими особенностями, прошло бы незамѣтно, не произвело бы въ васъ ни удовольствія, ни неудовольствія, если бы не поражали въ немъ толстыя, красноватыя, съ чрезвычайно маленькими рѣсницами вѣки, въ которыя были вставлены маленькіе, сѣрые, зоркіе глаза.

Вмѣстѣ съ этимъ господиномъ, который вошелъ къ намъ, или, лучше сказать, вслѣдъ за нимъ появилась маленькая фигурка человѣка съ огромными бакенбардами, сходившимися подъ подбородкомъ, какъ у обезьяны, съ рѣзкимъ профилемъ и съ длинными всклокоченными волосами. Онъ былъ въ черномъ истасканномъ фракѣ, съ грязной манишкой, а на шеѣ была повязана новенькая красная шелковая косыночка, предназначенная первоначально для ношенія женщиною. Поджавъ смиренно шляпу, имѣвшую претензію на лоскъ новизны и для того неоднократно тертую мокрой щеткой, онъ стоялъ, притаясь у дверей, желая придать и безъ того довольно незначительной физіономіи своей сколь можно болѣе униженія, съежиться и вобраться въ себя, сократиться, если можно, до нуля. Едва господинъ, котораго

онъ сопровождалъ, переступилъ порогъ комнаты, какъ эта фигурка значительно подмигнула трактирному слугѣ, какъ бы желая сказать: «Вотъ каковъ я; вотъ вамъ еще добыча»; потомъ сдѣлалъ еще какой-то знакъ, приложивъ палецъ къ щекѣ подъ глазомъ, что̀, вѣроятно, значило: «Будетъ пожива», ибо слуга опрометью бросился къ пришедшему, выхватилъ изъ рукъ его шляпу и палку, усадилъ его на стулъ и всталъ передъ нимъ, изогнувшись, съ вопросомъ на устахъ: «Что̀ угодно его сіятельству?», а глазами стараясь проникнуть чуть не въ его желудокъ, чтобы предупредить, если можно, его желаніе. Въ Италіи всѣхъ порядочно одѣтыхъ иностранцевъ величаютъ титуломъ ecce1enza, «ваше сіятельство», что̀ многимъ, особенно не сіятельнымъ, очень льститъ.

Пришедшій господинъ, кажется, не былъ недоволенъ не принадлежащимъ ему титуломъ; онъ уткнулся носомъ въ явившуюся передъ нимъ карту кушаній, нѣсколько минутъ переходилъ глазами отъ одного къ другому, шевеля ноздрями и губами, почавкивая и пожевывая, какъ бы наперед изъ названія стараясь себѣ составить идею о поименованныхъ блюдахъ; наконецъ, онъ указалъ нальцемъ на одну строчку. Слуга взглянулъ ему черезъ плечо на карту и исчезъ со словами: «Sarà servita».

Тогда маленькая фигурка, уничтожавшаяся у дверей, выполвла и начала говорить ломанымъ французскимъ языкомъ:

— Монсиньору, вѣроятно, угодно будетъ пробыть здѣсь съ полчаса; онъ отпуститъ меня пообѣдать?

— Хорошо, хорошо, отвѣчалъ тотъ довольно чисто по французски.

— Его сіятельству угодно будетъ дать, чѣмъ заплатить за мой обѣдъ?

Господинъ бросилъ, не глядя на него, полъ-скуды и продолжалъ читать, обонять и обдумывать названія кушаній на картѣ, все почавкивая и пожевывая.

— Черезъ полчаса я явлюсь непремѣнно, повторяла фигурка, выросшая и потолстѣвшая щедротами незнакомца. — О, намъ остается осмотрѣть еще много прекрасныхъ вещей, продолжалъ онъ скороговоркой, какъ семинаристъ, выучившій послѣ третьихъ розогъ латинскія исключенія: — Колизей, Капитолій, храмъ Сатурна, храмъ Юпитера громовержца, бани Тита, термы Каракаллы, арка Траяна, арка Константина, арка Александра Севера, потомъ галлереи—галлерея Орсини, Боргезе, Фарнезе, Доріа; потомъ виллы—вилла Памфили, вилла Медичи, вилла Боргезе...

— Хорошо, хорошо, ступай.

— Слушаю, eccelenza.

Оставшись одинъ, господинъ продолжалъ пересматривать карту, но уже пересталъ почавкивать и пожевывать, ибо черезъ карту однимъ глазомъ заглядывалъ на насъ. Во всѣхъ его движеніяхъ была замѣтна какая-то неловкость и недовѣрчивость; чего бы, кажется, не посмотрѣть на насъ прямо, бѣглымъ взглядомъ, но все-таки посмотрѣтъ; нѣтъ, положивъ карту, онъ окинулъ взоромъ всю комнату: шкапъ, на которомъ пирамидой стояли чистыя тарелки и въ безпорядкѣ лежали грязныя; огромную оплетенную соломой бутыль съ виномъ и вокругъ нея фоліэтты (особеннаго вида бѣлаго стекла бутылки и полу-бутылки); осмотрѣлъ внима-

тельно стоявшую на окошкѣ, почернѣвшую отъ времени, соломенную корзинку, гдѣ хранились въ двухъ отдѣленіяхъ ножи, вилки и штопоръ; посмотрѣлъ и на кирпичный полъ и на потолокъ, на которомъ съ давнихъ временъ запечатлѣвались удары пробокъ и слѣды жидкостей отъ раскупориваемыхъ бутылокъ; постращалъ даже подошедшаго съ мурлыканьемъ и ворчаньемъ кота, который, поднявъ голову и хвостъ и согнувшись въ дугу, потирался около его стула,—а насъ, людей—предметъ, по моему, самый интересный въ комнатѣ, какъ будто не замѣчалъ, не удостоивалъ иного взгляда, какъ исподлобья, украдкой; точно онъ насъ боялся, или принималъ за уродовъ, на которыхъ не смотритъ, или только дѣлаетъ видъ, что не смотритъ—изъ вѣжливости.

Мы, изъ вѣжливости тоже, стали продолжать свой разговоръ.

— Что жь намъ, къ Гверрѣ, что ли? сказалъ Ферязевъ, возвращаясь къ оставленному безъ рѣшенія вопресу.

— Пожалуй и къ Гверрѣ, отвѣчалъ Ѳедя:—тамъ, вѣрно, будутъ Митя, Вася и Харьковъ.

— Или поѣхать верхомъ?

— Пожалуй и верхомъ... только куда? подхватилъ Ѳедя.—Во Фраскати нынче посвящали новаго кардинала-губернатора: вѣрно, будетъ праздникъ.

— Что Фраскати! Я недавно былъ во Фраскати; лучше бы въ Тиволи.

— Ну, въ Тиволи, такъ въ Тиволи! Только ужь не перемѣнять. Такъ въ Тиволи?

— А вотъ подумаемъ.

— Ну, подумаемъ! У васъ все такъ! Нѣтъ, я ужь если рѣшился, такъ и ѣду. Богъ знаетъ что̀... Этакъ, пожалуй, и никуда не поѣдемъ.

— Ахъ, Боже мой! Не поѣдемъ, такъ не поѣдемъ.

— Вотъ ты всегда такъ!

— Такъ что̀ жь! Будто насъ гонятъ ѣхать въ Тиволи. Ступай, если тебѣ хочется.

— Что̀ жь ты ко мнѣ присталъ, и еще при чужомъ человѣкѣ, продолжалъ съ нѣжнымъ укоромъ Ѳедя, понизивъ голосъ и указывая на незнакомца: — не хочешь никуда ѣхать, такъ и я не поѣду.

Въ продолженіе этого разговора путешественникъ приходилъ все въ бо̀льшее и бо̀льшее безпокойство, чаще и чаще поглядывалъ на насъ исподлобья, поднося ложку ко рту. Наконецъ, онъ положилъ ее на тарелку, опрокинулся на спинку стула, посмотрѣлъ на насъ прямо, любовно сдвинулъ вѣки глазъ и съ самой добродушной улыбкой произнесъ:

— Господа, кажется, я нахожусь посреди соотечественниковъ... Пріятно на чужбинѣ слышать русскій языкъ.

— Очень пріятно, подхватилъ Ѳедя, вставъ съ мѣста и присѣвъ поближе къ незнакомцу: — а вы давно изволите быть въ Римѣ?

— Всего другой день и усталъ какъ собака. Я пріѣхалъ сюда съ женою и дочерью, жену и дочь оставилъ въ отелѣ, а самъ говорю своему domestique des places: ну, веди, говорю, къ ресторану, гдѣ обѣдаютъ русскіе... Нарочно говорю, гдѣ обѣдаютъ русскіе. Такъ, знаете, хочется слышать родной языкъ.

— Да-съ; я ужь который годъ за границей, отвѣчалъ Ѳедя:—а тоже, знаете, очень пріятно. Antonio! Date mi una mezza folietta.

— Позвольте себя представить—можетъ быть, слышали, вѣдь слухами земля полнится—дѣйствительный статскій совѣтникъ Андрей Иванычъ Благочинный...

Хотя никто изъ насъ не слыхалъ этой фамиліи, но вѣрѣятно незнакомецъ считалъ себя за очень важное лицо, и потому видимо непріятно отозвалось въ его ушахъ наше: гм!.., свидѣтельствовавшее, что мы въ первый разъ слышали его имя.

— А съ кѣмъ имѣю честь...

Ѳедя поспѣшилъ отвѣчать за себя.

— Зоричевъ.

— По имени?

— Ѳедоръ Павлычъ.

— Изволили служить?

— Въ Пензѣ, въ канцеляріи губернатора.

— Не при Иванѣ ли Петровичѣ?

— Точно такъ.

— Какъ же-съ, знаю..., то-есть, не лично знакомъ, хоть мы и съ родни... Да вотъ какъ, позвольте: сестра мужа моей племянницы за его двоюроднымъ племянникомъ: то-есть, седьмая вода на киселѣ; но очень знаю. Пріятно вспомнить о знакомыхъ. Тѣмъ-то у насъ и хорошо, что все родные: близкіе или дальніе, а все-таки какъ-нибудь да родня. И Ѳедора Андреича знаете?

— Какъ же-съ, тёзки-съ: Ѳедоръ Андреичъ, что женатъ на Хрюкиной.

— Тотъ самый. Вѣдь онъ прежде служилъ въ Москвѣ, потомъ былъ прокуроромъ въ Рязани. Человѣкъ ходкій: онъ далеко уйдетъ. А Арсеній Иванычъ,—ужь вѣрно знаете,—попался-было: тамъ скверное было дѣло, да спасибо добрымъ людямъ: помогли выпутаться; мнѣ, признаюсь, большихъ хлопотъ стоило. Только отставили отъ службы, а какое взысканіе было, такъ подвели подъ манифестъ.

— А вѣдь хорошій человѣкъ Арсеній Иванычъ?

— Да, хорошій человѣкъ, да дѣла не умѣетъ дѣлать по пословицѣ: шито да крыто... Да, скажите пожалуйста, вы не родня ли Зоричевымъ-Петровичамъ... кажется, Калужской губерніи имѣнье?

— Нѣтъ-съ, мы пензенскіе; а то знаю, другіе Зоричевы: Валеріанъ Петровичъ, двоюродный братъ моего отца.

— Почтенный человѣкъ этотъ Валеріанъ Петровичъ: послужилъ отечеству..., вѣдь онъ морякъ, кажется, былъ?

— Да, лѣтъ пятнадцать ластовымъ судномъ командовалъ.

— Съ достаточнымъ чиномъ въ отставкѣ; женился по любви, и съ состояньемъ взялъ; калужское-то имѣнье, это женино; жена-то хозяйка славная, не мотовка какая... и все... сынки въ службу опредѣлились, и молодые люди могу сказать, прекрасные, безъ всякой этакой, знаете, дури...

Но я не въ силахъ слѣдить за дальнѣйшимъ перечнемъ именъ и лицъ. А жаль: еслибы записывать всѣ подобные разговоры, особенно разсказы кумушекъ и дамъ, извѣстныхъ своимъ давнимъ знакомымъ только по имени и отчеству, переходящихъ у насъ изъ дому въ домъ, замѣняя

собою листы газетъ разныхъ партій въ городахъ, гдѣ принята публичность дѣлъ и мнѣній,—какая бы вышла богатая пища для романиста и историка!

Въ этомъ перечнѣ были произнесены нѣкоторыя знакомыя мнѣ и Ферязеву имена; мы подсѣли къ Андрею Иванычу и общими силами занялись опредѣленіемъ родства и свойства людей, намъ вовсе чуждыхъ и извѣстныхъ только по наслышкѣ. Новаго не было сказано ничего: насъ сильно заняло возстановленіе фактовъ, какъ они есть. Должно отдать справедливость Ѳедѣ: онъ при семъ случаѣ развернулъ обширныя свѣдѣнія и достойно соперничествовалъ съ Андреемъ Иванычемъ. Этимъ онъ, кажется, заслужилъ болѣе насъ всѣхъ расположеніе гостя, который позволилъ себѣ съ нимъ пріятную небрежность въ разговорѣ, соблюдая всевозможную учтивость съ художникомъ, когда узналъ, что отецъ его не дворянинъ, и всячески старался, какъ подобаетъ благовоспитанному человѣку, показать ему, что, не смотря на его происхожденіе, онъ обращается съ нимъ какъ съ равнымъ. Наконецъ, этотъ источникъ истощился. Оранжевый блескъ склонявшагося уже къ вечеру солнца, отражаясь отъ дома на противоположной сторонѣ улицы, блуждалъ яркими пятнами по закоптѣлымъ стѣнамъ, полу и потолку трактирной комнаты, отчего она казалась особенно душною. Не смотря на всю прелесть воспоминаній о далекой родной сторонѣ, это солнце напоминало намъ, что мы въ Римѣ, и Ѳедя, который тоже писалъ стихи, пробормоталъ два стиха изъ написанной имъ давно уже пьесы:

«А вѣчный городъ между тѣмъ
Дремалъ въ торжественномъ безмолвьи...»

Благочинный, кажется, тоже подпалъ вліянію этого солнца и сказалъ намъ:

— Я, кажется, засталъ васъ, господа, занятыми рѣшить вопросъ, какъ убить время. Еслибы вамъ угодно было принять мое предложеніе, такъ сказать, мой проектъ, я бы, признаюсь, счелъ за особое удовольствіе. Не угодно ли вамъ поѣхать со мною осмотрѣть древній-то Римъ?

— Очень хорошо.

— Вамъ вѣдь все извѣстно; я только въ этомъ дѣлѣ профанъ.

— Ничего-съ, ничего-съ.

— Все утро протаскался сегодня. Петра видѣлъ. Экая громадина! Говорятъ, Пантеонъ весь уставится... Куполъ-то какой! Экой мастеръ этотъ Микель Анджело: какую громадину, такъ сказать, повѣсилъ въ воздухѣ... Да-съ, славная штука! Немножко только на залу похоже: знаете, есть что-то такое бальное, праздничное.

Сдѣлавши счетъ съ трактирнымъ слугою, Андрей Иванычъ бросилъ ему два паола на водку, сказавши по русски: «Вотъ тебѣ, братецъ», что значило въ его же переводѣ на французскій языкъ—c'est à vous, за что послѣдній изогнулся въ три погибели, весь превратился въ движеніе, чтобы подать щедрому eccelenza пальто, величая его уже чуть не папскими титулами, стряхнулъ пыль съ его шляпы, почистилъ сюртукъ, провелъ рукавомъ по бархатному воротнику, отеръ грязь съ панталонъ, подышалъ на сапоги и ловкимъ взмахомъ неизвѣстно откуда явившейся щетки возвратилъ ихъ къ первоначальному блеску.

Чичероне уже дожидался Андрея Иваныча на улицѣ.

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, Андрей Иванычъ остановился передъ выставленнымъ на улицѣ ящикомъ, въ которомъ подъ стекломъ разложены были разные камни съ головою Медузы, съ головою Юпитера Олимпійскаго, съ двумя голубками, сидящими на чашѣ, съ Сатиромъ, ласкающимъ козу, и quasi-портретами многихъ великихъ людей, отъ которыхъ исторія сохранила только одни имена. Вдругъ мы были поражены восклицаніемъ Ѳеди, увидѣвшаго издали троихъ художниковъ-пейзажистовъ, возвращавшихся обѣдать изъ-за города, съ папками подъ мышкой и толстыми палками, превращавшимися въ случаѣ нужды въ треножники.

— Митя, Вася и Хорьковъ! воскликнулъ Ѳедя: — вы откуда? Что же вы мнѣ не сказали вчера, что хотите нойти сегодня писать съ натуры? Я бы пошелъ съ вами... Эхъ какіе, право! Особенно тебѣ стыдно, Митя; а вѣдь я тебя еще вчера ночью доводилъ домой отъ скалинады.

— Да мы вчера и не думали...

— То-то не думали... Вы еще не обѣдали?

— Идемъ обѣдать.

Пейзажисты одни только свободнѣе прочихъ обывателей Рима въ выборѣ времени для пищи и вдохновенія, ибо ихъ модели слѣдуютъ по своему организму другому способу питанія, нежели модели скульпторовъ и историческихъ живописцевъ.

— А ты много начертилъ, Вася?

— Да, кое-что.

— Ну, братъ, я пойду съ тобой, покажи... а все-таки вамъ стыдно. Извините меня, милостивый государь, ска-

залъ онъ, обратясь къ Андрею Иванычу:—мнѣ надобно посмотрѣть рисунки—вотъ—ихъ. Славно чертятъ. Все равно, вѣдь вы воротитесь къ Ave Maria; я буду васъ дожидаться тутъ же въ трактирѣ и нарочно никуда сегодня не пойду.

— Какъ вамъ угодно.

— Мнѣ совѣстно, право... но ей-Богу очень нужно!..

Вся нужда Ѳеди состояла только въ его потребности къ перемѣнѣ лицъ. Долго онъ не могъ оставаться ни съ кѣмъ, по сангвиническому своему темпераменту.

— Помилуйте, между земляками что за церемоніи! — Андрей Иванычъ и Ѳедя дружески и долго жали другъ другу руки.

— И ты придешь, Сережа? спросилъ Ѳедя, обратясь къ художнику.

— Можетъ быть, отвѣчалъ тотъ.

— И ты, Аполлонъ?

— Можетъ быть.

— То-то же, приходите..., а мнѣ право нужно.

Мы сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ. Ѳедя опять закричалъ намъ:

— Смотрите же, не забудьте... Я знаю, ты не придешь, Сережа?.. Смотри же, не обманите.

Ферязевъ не отвѣчалъ ничего; я обернулся, готовясь отвѣчать Ѳедѣ не совсѣмъ учтиво, и увидѣлъ, что онъ уже подхватилъ подъ руки Митю и Хорькова, говорилъ имъ что-то и, обернувшись къ намъ, опять закричалъ:

— Приходите же къ Ave Maria.

Они исчезли въ трактирныхъ дверяхъ, мы повернули изъ Via Condotti на Корсо.

Отсутствіе Ѳеди произвело непріятное впечатлѣніе на Андрея Иваныча: онъ сдѣлался какъ-будто не тотъ. Очевидно, Ѳедя понравился ему болѣе всѣхъ; изъ нѣсколькихъ словъ Андрей Иванычъ, какъ русскій человѣкъ, проникъ его насквозь, и полюбилъ за то, что чувствовалъ надъ нимъ нѣкоторое превосходство; съ Ферязевымъ онъ былъ вѣжливъ и не позволялъ себѣ искренней шутки — по извѣстнымъ причинамъ. На меня смотрѣлъ какъ-то недоброжелательно, натянуто, стараясь казаться умнѣе, чѣмъ онъ былъ. Вѣроятно, мое званіе литератора его сильно пугало: со званіемъ литератора эти господа соединяютъ непремѣнно идею человѣка очень ученаго и — главное — пересмѣшника: попасться подъ перо писателя, служить ему матеріаломъ для сатирическаго очерка,—для нихъ это сущее наказаніе, почти все равно, что попасться нечаянно подъ судъ. Страшная вещь, въ самомъ дѣлѣ, узнать себя въ повѣсти или въ комедіи, даже подъ другимъ именемъ: такъ и кажется, что всѣ пальцемъ указываютъ; знакомые называютъ васъ по имени, кажется, думаютъ, про себя другое и шепчутъ имя, которымъ назвалъ писатель своего героя; лакей вашъ, вовсе чуждый успѣховъ литературы, приходящій на вашу кличку, только-что продравъ глаза, изъ передней, гдѣ дремалъ въ весьма неспокойномъ положеніи,—тоже, кажется, хочетъ сказать: а баринъ-то мой то-то или то-то; даже незнакомая собаченка, которая, потерявъ хозяина и назябшись вдоволь на морозѣ, забѣжала на вашу лѣстницу и пригрѣлась въ углу на веревочномъ половикѣ, подымаетъ изъ любопытства, когда вы проходите мимо нея, свое остренькое рыльцо, чтобъ посмотрѣть украдкой въ натурѣ

на такое лицо, которое мастерски осмѣяно... Горе, да и только! Ну, собаченку толкнете ногой и накажете за дерзость; лакею тоже можно причинить непріятность; а вотъ со знакомыми-то плохо. Бѣда да и только!

Вслѣдствіе всего этого, разговоръ нашъ принялъ оборотъ серьезный: о неудобствахъ, сопряженныхъ съ путешествіемъ вообще, о тихой ѣздѣ ветуриновъ, о воровствѣ въ отеляхъ и проч. Это бы продолжалось еще далѣе; Богъ знаетъ, распахнулся ли бы Андрей Иванычъ и сказалъ ли бы о чемъ-нибудь свое мнѣніе, еслибъ новая встрѣча съ неизвѣстнымъ мнѣ дотолѣ господиномъ, который оказался впослѣдствіи Петромъ Сергѣичемъ Чупруновымъ, не возвратила ему прежняго расположенія и бодрости духа.

Петръ Сергѣичъ Чупруновъ ѣхалъ вмѣстѣ съ Благочиннымъ изъ Милана до Флоренціи, гдѣ Благочинный оставался нѣсколько времени, а Чупруновъ прежде него пріѣхалъ въ Римъ. Съ первыхъ словъ его можно было судить, что это человѣкъ начитанный и горячо сочувствующій всѣмъ вопросамъ науки и жизни.

— Откуда вы, почтеннѣйшій, и куда? спросилъ его Благочинный, заключая его въ свои объятія.

— Да вотъ-съ, глазѣлъ на вѣчный городъ-то.

— А не угодно ли вмѣстѣ съ нами—идемъ. Эти господа уговорили меня идти пѣшкомъ смотрѣть древности... Вы, чай, уже всѣ видѣли?

— Какъ же-съ. Впрочемъ, вѣдь это не то, чтобы посмотрѣть на какія-нибудь казармы, отвѣчалъ Чупруновъ, окинувъ насъ проницательнымъ взглядомъ.

Вѣроятно, съ перваго разу онъ счелъ насъ образован-

ными людьми, ибо принялъ совсѣмъ другое выраженіе лица, другой тонъ и слогъ, стараясь рисоваться передъ нами не только въ живописныхъ позахъ, но и самыми рѣчами придать себѣ поэтическій характеръ. Съ первыхъ словъ его видно было, что онъ корчилъ изъ себя либерала и принадлежалъ къ числу тѣхъ, которые ругаютъ русское, не умѣя различить ни добра, ни зла и, разумѣется, довольствуясь желчными общими фразами. Онъ вообще говорилъ съ жаромъ; рѣчь его я всегда сравнивалъ съ заслуженнымъ конемъ, на которомъ выѣхалъ передъ толпу на площадь молодой всадникъ, который его безъ нужды горячитъ и шпоритъ, заставляетъ артачиться и становиться на дыбы.

— Молодецъ! восклицаетъ, видя его, дама, питающая особенную склонность къ военнымъ.

— Дѣти, дѣти! Катя, Вася! Куда вы! Какъ разъ шарахнетъ! кричитъ нѣжный отецъ семейства, идущій съ дѣтьми и женою обѣдать къ пріятелю или родственнику, вовсе не ожидавшему прибавленія полдюжины кувертовъ за скромнымъ столомъ своимъ.

— Еще не обжегся, дурень! говоритъ здравый смыслъ, олицетворенный въ приземистомъ, плечистомъ мужичкѣ, съ окладистой русой бородой, въ синей рубахѣ, мимо проходящемъ тутъ, съ топоромъ за поясомъ, и безъ бережи ступающемъ своими непромокаемыми сапогами въ глубокую грязную лужу.

— Тутъ вѣдь, продолжалъ Чупруновъ: — чѣмъ болѣе смотришь, тѣмъ болѣе вбираешь въ себя поэзію, чувствуешь, что становишься выше своей земной оболочки. Право, на васъ вѣетъ вдохновеньемъ Байрона и Шекспира.

— Да, замѣтилъ я: — я чувствую, что только здѣсь, въ Римѣ, началось мое эстетическое воспитаніе, а вѣдь это именно та сторона, которая въ насъ не можетъ быть развита въ Россіи безъ какихъ-нибудь особенно благопріятныхъ обстоятельствъ.

— Ха, ха, ха! Вздумали искать эстетическаго образованія въ этой любезной странѣ, близкой къ морю Гиперборейскому, въ мірѣ мелкаго чиновничества, скучной форменности, полудикихъ степняковъ.

Чупруновъ остановился, смотря, какъ поразилъ онъ насъ своимъ эффектомъ.

— Счастливы вы, продолжалъ онъ: — если, углубясь въ самого себя, зарывшись въ библіотекѣ, питая свой духъ классическимъ чтеніемъ, устраняете себя отъ соприкосновенія съ грубой дѣйствительностью. Только тогда дѣвственная душа сохраняетъ свою чистоту, какъ дѣва свою непорочность. Только тогда въ душѣ вашей, какъ говоритъ этотъ мечтатель Руссо, который сказалъ такъ много правды, вы сохраните ce feu divin qui brûle sans cesse, et ne se consume jamais...

— Фу, какая красота! воскликнулъ вдругъ Андрей Иванычъ, почти остолбенѣвъ, пораженный красотою шедшей намъ навстрѣчу молодой женщины въ аломъ спенсерѣ, въ легкомъ вуалѣ, прикрѣпленномъ золотой стрѣловидной булавкой къ черной съ сизымъ отливомъ огромной косѣ. Яркія очи ея, полныя увѣренности въ своей красотѣ, блеснули молніей ему прямо въ глаза; легкая улыбка, не то презрѣнья, не то насмѣшки, но полная веселья и гордости,

оживляла уста ея; нельзя было ее увидѣть, не почувствовавъ крайняго смущенія... Боже мой! Какая смѣлость красокъ: коса, бровь ужь черны, такъ черны! Уста—пурпуръ! Сквозь слегка загорѣвшую кожу румянецъ переливался бархатнымъ отливомъ во всю щеку, какъ заря на легкомъ облакѣ; бѣлизна зубовъ блестѣла сквозь граціозно открывшіяся губки... И не боялась она яркости цвѣтовъ костюма: алый спенсеръ не убивалъ алыхъ устъ, щеки какъ будто гордились своею жизненностью подлѣ бѣлоснѣжнаго покрова; яркія очи не пугались блеска золотыхъ серегъ и алмазоподобныхъ стразъ, какъ бы зная, что они поразятъ прежде металла и камней; а млечно-жемчужное, нѣсколько разъ около шеи обмотанное ожерелье только выставляло бѣлизну зубовъ; и, не смотря на эту роскошь цвѣтовъ и красокъ, ни одна не выдавалась впередъ, ни одна не рѣзала глазъ, а все было въ гармоніи, какъ въ ярко-колоритной и гармонической картинѣ Карла Дольче.

Мы остановились. Она опять оглянулась на насъ съ усмѣшкой, очевидно, замѣтя впечатлѣніе, которое произвела своимъ появленіемъ—и какъ смотрѣла она!—Прямо, безъ наглости, какъ человѣкъ, въ своемъ правѣ находящійся, не исподлобья, не щурясь; смотрѣла, какъ будто бы хотѣла сказать: «Ну, ну, поглядите еще, глядите... вамъ вѣдь, чай, не случалось видѣть ничего подобнаго...»

Андрей Иванычъ былъ совершенно уничтоженъ. Чичероне замѣтилъ это и поглядывалъ на него, закусивъ языкъ, очевидно, что-то задумывая. Въ эту минуту лицо его, окаймленное густыми бакенбардами, какъ у орангутанга, имѣло въ себѣ что-то сатанинское.

— Высочайшая поэзія! повторялъ про себя Чупруновъ, провожая глазами красавицу.

Ферязевъ впалъ въ задумчивость; въ лицѣ его выразились глубокое страданіе и трогательная меланхолія, какъ будто бы онъ встрѣтился съ врагомъ, хамелеономъ, принимавшимъ передъ нимъ тысячу различныхъ формъ, одна другой неуловимѣе и прекраснѣе, съ врагомъ, съ которымъ онъ давно борется втайнѣ, побѣдить не можетъ и только съ каждымъ опытомъ чувствуетъ все болѣе и болѣе собственное безсиліе.

Чупруновъ и я, мы опомнились первые и пошли далѣе. Ферязевъ отсталъ, полный самъ собою; Благочинный шелъ тоже поодаль, вмѣстѣ съ чичероне, который говорилъ ему что-то съ таинственнымъ видомъ, отчего Андрей Иванычъ щурилъ глаза, ежился, подгибая затылокъ къ лопаткамъ, и облизывался.

— Такъ вотъ-съ, я продолжаю нашъ разговоръ, говорилъ мнѣ Чупруновъ: — какъ же вы хотите эстетическаго образованія тамъ, когда ничто не возвышаетъ души вашей? Вѣдь вотъ-съ, напримѣръ, прошла эта мѣщаночка... одни глаза ея могутъ васъ сдѣлать героемъ добродѣтели или величайшимъ злодѣемъ... Прошу покорно наглядѣться на сѣренькіе или свѣтло-небесные глазеночки какой-нибудь съ виду гетевской барышни—и почувствовать въ себѣ силу на все великое и прекрасное!.. А вѣдь вы, тотъ же самый человѣкъ, почувствовали бы ее въ груди своей, упиваясь созерцаніемъ очей этой волшебницы, похищая молніи изъ нихъ, чтобы проявить ихъ потомъ міру въ геройскомъ подвигѣ. Изъ вашихъ устъ полилась бы пѣснь, достойная

Тасса или Аріоста, которые не боялись яркихъ образовъ, рѣзкихъ словъ и громадныхъ сравненій, все оттого, что окружающая ихъ природа грандіозна и многоцвѣтна. Понятно, что мы должны быть, какъ сказалъ этотъ увѣнчанный бѣглецъ—Дантъ, когда, проходя по аду, увидѣлъ проносившуюся предъ его глазами толпу, подобно песку, крутимому ураганомъ: они противны Богу, равно какъ и врагамъ его... не будемъ говорить о нихъ: взгляни—и иди мимо...

Non raggioniam di lor, ma guarda e passa.

Ну, вотъ, напримѣръ, поглядите: идетъ другая фигура... Я прозакладываю голову, что это дорогой соотечественникъ... Печать отверженія на челѣ... Вы себѣ представить не можете, какъ гнететъ душу видъ жалкаго человѣчества, пресмыкающагося у ногъ вашихъ! Душа отвращается отъ этой грустной картины!

Въ самомъ дѣлѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ шелъ шелопай въ голубовато-сѣрой курткѣ изъ толстой холстины, въ такихъ же штанахъ, съ мѣдной сережкой въ ухѣ, бѣлокурый, курносый малый лѣтъ двадцати; то, разинувъ ротъ, смотрѣлъ онъ по сторонамъ, то принималъ какое-то насмѣшливое, хитроватое выраженіе, какъ будто бы что-то смекая. Увидя насъ, онъ посторонился, снялъ шляпу и значительно осклабился.

— Скиѳъ, скиѳъ! говорилъ, глядя на него, Чупруновъ, котораго очень забавляло это явленіе на стогнахъ всемірнаго града.—Только онъ непохожъ на своего предка, умирающаго гладіатора... Желалъ бы я знать его впечатлѣнія

въ путешествіи... какими глазами онъ на все смотритъ?.. Чего добраго! Можетъ быть, эти развалины такъ же на него подѣйствовали, какъ и на меня: такъ бы и не разстался съ ними!

Андрей Иванычъ принималъ слова Чупрунова съ принужденной улыбкою. Его насмѣшки ему не нравились, вѣроятно, потому, что смѣяться надъ простотою обнаруживаетъ въ человѣкѣ дурное сердце. Онъ не выдержалъ и успѣлъ шепнуть мнѣ:

— Какой языкъ у этого Чупрунова, а вѣдь подите-ка, какъ разсуждаетъ о добродѣтели и любви къ ближнему! Виноватъ ли этотъ малый, что онъ не такъ воспитанъ, какъ Чупруновъ... да и много ли онъ самъ-то понимаетъ! У него все слова да слова! И зачѣмъ раздражать его насмѣшкой!..

Эта черта добраго сердца, какъ мнѣ казалось, очень мнѣ понравилась. Вѣроятно, чтобъ приласкать бѣднягу, онъ ласково заговорилъ съ нимъ:

— Что, Ванька, тоже Римъ осматриваешь?

— Какже-съ.

— Хорошо?

— Помѣщеніе великое.

— Ну, ступай, ступай, дуракъ, съ нами. Надѣнь фуражку-то. Здѣсь вѣдь солнце не такое, какъ у насъ.

Ванька отправился за нами. Но Благочинный съ него глазъ не спускалъ и опять нѣсколько разъ оборачивался, спрашивая Ваньку: «Знаетъ ли барыня, что онъ отлучился или самъ по себѣ онъ ушелъ» — и опять былъ озадаченъ, узнавъ, что барыня почиваютъ, а Ванька думалъ-было

выйти за ворота, да вотъ, сбившись съ дороги, очутился въ древнемъ Римѣ. Даже радость его при встрѣчѣ съ нами не разсѣевала неудовольствія Андрея Иваныча.

Между тѣмъ мы поднялись по лѣстницѣ, ведущей въ Капитолій, и, минуя постройки Микель-Анджело, подошли къ другому спуску съ горы, откуда открылся намъ видъ древняго Рима. Уже вечерѣло: искрасна золотые лучи солнца освѣщали кирпичное зданіе Колизея, чертили яркую линію свѣта на почернѣлыхъ колоннахъ, оставшихся одинокими отъ древнихъ храмовъ; тутъ Палатинскій холмъ, на которомъ виднѣлись своды императорскихъ дворцовъ, увѣшанные массами темной зелени, поросшіе лабиринтомъ сухихъ колючихъ терновъ, изъ среды которыхъ свѣшивались свѣтло-зеленаго цвѣта гигантскіе листья алое или подымались игловатые кактусы; внизу темныя тріумфальныя арки, вросшія въ землю, отверстія которыхъ освѣщены изнутри яркимъ лучомъ солнца; тамъ форумъ, обстроенный хижинами и маленькими капеллами, въ стѣны которыхъ вмазаны торчавшія тутъ изъ земли, до половины ею засыпанныя, мраморныя и гранитныя колонны,—форумъ, заслоненный тѣнью отъ окружающихъ его холмовъ... И все это: Колизей, обломки, домики, арки, колонны, зелень, двуколесныя телѣжки и волы, подъ ярмомъ стоявшіе у низкой темной остеріи, и мужикъ въ синей курткѣ, въ красной жилеткѣ, въ синихъ панталонахъ и въ конусообразной шапкѣ, и вдали, на холмѣ, профиль дѣвочки, въ бѣломъ покрывалѣ, смотрѣвшей въ даль и прикрывшей рукою глаза, заслоняя ихъ отъ лучей солнца, свѣтившаго ей прямо въ лицо,—все это рисовалось яркими, горячими красками на далекомъ холодномъ фонѣ римской

пустыни, окаймленной лиловымъ силуэтомъ Сабинскихъ горъ.

— Когда я вижу эти священные обломки, сказалъ Чупруновъ: — я всякій разъ сравниваю себя съ Освальдомъ; недостаетъ только Коринны, которая бы освѣтила ихъ передо мною новымъ свѣтомъ, ярче и теплѣе этого солнца.

Андрей Иванычъ глядѣлъ какъ-то равнодушно. Холоденъ ли онъ былъ вообще къ красотамъ природы и руинъ въ особенности, или забѣжала въ его душу какая-нибудь тревога, не знаю. Только пользуясь тѣмъ, что всѣ занялись созерцаніемъ картины, онъ подошелъ къ Ванькѣ, который стоялъ въ нѣкоторомъ отъ насъ отдаленіи и съ участіемъ смотрѣлъ, какъ двое черноглазыхъ мальчишекъ, привязавъ за хвостъ кошку, хотѣли заставить ее взойти на ступени Капитолія задомъ напередъ, и сказалъ ему:

— Что, Ванька, а вѣдь у насъ дома-то все лучше?

— Какъ же можно-съ. Здѣсь народъ все такой, безъ обхожденія.

— Правда, правда.

— А это-съ словно послѣ пожара: кіятеръ это, что̀ ли? Да у насъ новый и ни въ примѣръ лучше будетъ. Трухмальныя-то ворота наши будутъ супротивъ здѣшнихъ попригляднѣе. Ишь тутъ рыцари налѣплены все какіе-то безносые, а нашего чугуна не скоро отковырнешь, да и не позволяютъ. А тугъ и присмотру нѣтъ никакого: швырнулъ камнемъ да и пошелъ себѣ.

— Такъ дома лучше?

— Какъ же-съ.

— А къ женѣ хочется?

— Какъ не хотѣться.

— Скоро, скоро воротимся; мнѣ ужь и самому все здѣсь надоѣло.

Ванька въ эту минуту такъ посмотрѣлъ на Андрея Иваныча, что будь они въ другихъ отношеніяхъ, онъ кинулся бы его обнимать.

Андрей Иванычъ, очевидно, успокоился на счетъ вкусовъ Ваньки и подошелъ къ намъ.

— Онъ хорошій малый и ко мнѣ привязанъ, сказалъ онъ, равняясь съ нами. — У иныхъ люди бѣгаютъ за границей... я же могу быть покоенъ.

Мы спустились съ горы. Чупруновъ овладѣлъ мною, говорилъ о высокой доблести и добродѣтеляхъ древнихъ римлянъ, о превосходствѣ человѣка надъ прочими животными и сыпалъ цитатами изъ старыхъ и новыхъ писателей. Андрей Иванычъ наткнулся на Ферязева, который остановился, разсматривая двѣ древнія колонны, служившія порталомъ маленькой капеллѣ, въ которой оставленъ былъ такъ же, по неразумѣнію строителей, обломокъ барельефа, изображавшаго языческій обрядъ жертвоприношенія быка. Благочинный подошелъ къ нему и ласково сказалъ:

— Сейчасъ виденъ художникъ. Что, барельефъ разсматриваете?

— Вздорный обломокъ временъ паденія

— Ну-съ, а колонны?

— Колонны чистаго стиля.

— А какого онѣ ордена—доминиканскаго или францисканскаго?

Ферязевъ посмотрѣлъ на него пристальнѣе и отвѣчалъ скрывъ улыбку:

— Нѣтъ, коринѳскаго.

— То-то, вѣдь ихъ много; трудно ихъ различать: всѣ какъ-то между собою схожи. А скажите, пожалуйте, что же называется древнимъ Римомъ?

— Да вотъ, что вы видите.

— Только и есть? Эти обломки? Вѣдь правду сказать, всего хорошаго-то тутъ и есть Колизей, а то вѣдь смотрѣть нечего. Отчего же это здѣсь не подновляютъ ничего?.. Я совсѣмъ иначе представлялъ себѣ древній Римъ; во-первыхъ, я этихъ быковъ сюда бы не пустилъ, этой нечистоты тоже бы не потерпѣлъ; зарости этому бы ничему не далъ... Во-вторыхъ, я думалъ, что въ самомъ дѣлѣ есть древній Римъ, что это особенный городъ, что это все дворцы, и что ихъ показываютъ, что и улицы есть...

— И древніе римляне, подхватилъ Ферязевъ, видя, что Андрей Иванычъ никогда не представлялъ себѣ древняго Рима или не могъ себѣ отдать отчета въ своемъ представленіи. Замѣтивъ, что его шутка произвела непріятное впечатлѣніе на Благочиннаго, онъ прибавилъ:—Да-съ, воображеніе иногда Богъ знаетъ, что создаетъ.

— Правда, правда, особенно вы, молодые люди, увлекаетесь Богъ знаетъ чѣмъ; охъ, молодые люди, у васъ все какая-то фантасмагорія въ головѣ... Чай, и вы тоже, живя за границей, набрались Богъ знаетъ какихъ идей! Цивилизаціи... чортъ знаетъ чего еще!.. Что старики уважали, ужь, чай, и знать не хотите!.. Вамъ все даромъ давай, мѣсто, почести, денегъ; звѣзды съ неба захотѣли—намъ и звѣзды

давай. Вотъ вамъ мой совѣтъ, примите, пожалуйте, говорю вамъ отъ сердца, потому что всѣмъ желаю добра: вѣрьте мнѣ, это все пустяки, это все никуда не годится... бросьте!

— Да что бросить-то?

— Не хорошо, не хорошо... всѣ эти идеи... поживете, скажете: былъ добрый человѣкъ, говорилъ правду...

Ферязевъ, очевидно, былъ въ затрудненіи отвѣчать или воздерживаться отъ отвѣта на эти наставленія, сказанныя съ такою искренностью и желаніемъ добра; Андрей Иванычъ былъ совершенно доволенъ своимъ, какъ онъ думалъ, преимуществомъ человѣка умнаго и опытнаго, и, въ безмолвіи съ минуту глядя на художника, наслаждался своимъ торжествомъ...

— А это что такое? вдругъ спросилъ онъ, отвлеченный отъ своего предмета толпою выходившихъ изъ Колизея босоногихъ капуциновъ, громко и на одну басовую ноту пѣвшихъ латинскій канонъ, сопровождаемыхъ множествомъ женщинъ, мальчишекъ, калѣкъ, нищихъ, праздныхъ гулякъ, набожныхъ стариковъ и двухъ чрезвычайно прямыхъ англичанъ, съ гидами подъ мышкой и съ чичероне.

— Это процессія, которая по пятницамъ всегда бываетъ въ Колизеѣ, вечеромъ, передъ Ave Maria. Жаль, что мы не поспѣли къ проповѣди—живописная картина!

— Кто жь говоритъ проповѣдь?

— Кто-нибудь изъ этихъ монаховъ.

— А какого они ордена?

Ферязевъ опять скрылъ улыбку и отвѣчалъ, стараясь сохранить безразличное выраженіе: іоническаго.

— Праздношатальцы! произнесъ, покачавъ головою,

Андрей Иванычъ.—Чай, у нихъ все притворство и истинной религіи ни на грошъ нѣтъ... Ишь какіе здоровые и молодые! Еслибы теперь былъ Наполеонъ, онъ бы всѣхъ ихъ въ алжирскую армію отправилъ! Да скажите, пожалуйте, отчего это здѣсь такъ много празднаго народу на улицахъ: нечего, что ли, имъ дѣлать? Ужели у нихъ нѣтъ никакой службы? Вѣдь, право, жаль, какъ убиваетъ себя молодежь. Охъ, кабы дали мнѣ все это въ руки, я бы все это поставилъ на ноги.

Между тѣмъ я шелъ вмѣстѣ съ Чупруновымъ. — Скажите, спросилъ я: вы давно знаете Благочиннаго? Что это за человѣкъ?

— Какъ же-съ; вѣдь, шатался въ обществахъ въ столицѣ, кого-кого не знаешь. Дюжинная натура. Пришелъ въ Петербургъ съ двумя грошами за пазухой и разными средствами нажилъ себѣ до пятидесяти тысячъ годового дохода. Теперь всѣ ему кланяются; всѣмъ человѣкъ нужный. Женился на дочери очень хорошей фамиліи, передъ которой деньги его замѣнили титла... Говорятъ, жили счастливо: впрочемъ, кто ихъ знаетъ, это не наше дѣло... Такъ-съ Андрей Иванычъ дочку выкормилъ, ростомъ чуть не съ добраго гайдука: охотница полькировать и мечтать на луну, лепечетъ по французски и мѣтитъ выйти за князя или графа; какъ ни говорите, а пятьдесятъ тысячъ придаютъ ей и ума, и чувства, и всякаго совершенства... Женитесь-ка.

— Зачѣмъ же онъ поѣхалъ за границу?

— Да вѣдь всѣ ѣдутъ: вотъ и онъ; а возвратится, посмотрите какія вещи будетъ разсказывать. Онъ ужь и теперь говоритъ, что Микель-Анджело въ архитектурѣ хорошъ,

а въ живописи — мужикъ, что Гвидо писалъ только одной вохрой!..

Хотя мы всѣ пріустали, но Андрей Иванычъ и Чупруновъ, изъ вѣжливости что ли, или боясь показаться нелюбопытными, не предлагали возвратиться домой или подъ сѣнь гостепріимнаго трактира, гдѣ дожидался насъ Ѳедя. Всѣ мы невольно отдались въ распоряженіе чичероне, разсчитывавшаго, что вознагражденіе его должно быть пропорціонально числу его шаговъ и сообразно съ усталостью путешественниковъ. Одинъ Ванька шелъ какъ-то жалко понуря голову; думалъ онъ Богъ знаетъ о чемъ, или, что, можетъ быть, теперь бы онъ завалился на печку и посматривалъ бы оттуда, свѣсивъ голову, какъ его Авдотья, заткнувъ за поясъ конецъ платья, возится около дымящейся лохани и синитъ и мылитъ здоровыми красными руками бѣлье, а онъ съ своего Олимпа отпускаетъ на ея счетъ, и говоря ей *вы*, разныя любезности и остроты, на которыя она отвѣчаетъ ему бранью; или, можетъ быть, воображалось ему, что вотъ онъ пришелъ домой съ другого конца города, что онъ назябся и присѣлъ молча оттаявать у печки, и что Авдотья уже втихомолку мастеритъ ему кофеишко, и разгорѣлась вся, возясь около накаленной плиты... А, можетъ быть, пораздумалъ онъ, что вотъ теперь и Авдотья его пригорюнясь гадаетъ, гдѣ-то онъ, ея голубчикъ, и куда-то повезли его, сердечнаго, и что тамъ ему хорошо, и что онъ забудетъ ее, горемычную, промѣняетъ на какую-нибудь интриганку заморскую, которая зачаруетъ его и ласковыми рѣчами, и сладкими поцѣлуями, и кормитъ и поитъ всякими лакомствами и сластями... Да, сластями! Хороши сласти! Иди

себѣ осматривать кирпичъ или мусоръ! И не съ кѣмъ слова перемолвить. Тѣмъ не менѣе однако Ванька смотрѣлъ и Колизей, и термы Тита, и слышалъ, что о нихъ что-то говорили, чего онъ не понялъ, да и понимать не хотѣлъ; и опять долженъ былъ невѣдомо куда поплестись за неумолимымъ чичероне; а чичероне взялъ отъ Колизея вправо, обѣщая показать намъ большой циркъ, домикъ Ріенци, храмъ Весты и еще множество, какъ говорилъ онъ, прекрасныхъ вещей. По счастью дѣло приняло другой оборотъ. Едва обогнули мы холмъ Палатинскій, какъ увидѣли старичка высокаго роста, съ сѣдыми волосами, нѣсколько сгорбленнаго, одѣтаго въ пуршуръ, и въ красной скуфеечкѣ на головѣ По обѣимъ сторонамъ его шли два господина въ сюртукахъ: одинъ былъ молодой человѣкъ высокаго роста; но, не смотря на изящно скроенное платье, онъ имѣлъ что-то дубоватое въ своей фигурѣ: лицо открытое, съ рыжими, тонкими бакенбардами, подобранными волосокъ къ волоску; цвѣтъ лица и рукъ бѣлый, какъ у женщины; румянецъ во всю щеку; умные, свѣтлые глаза, счастливо образованный лобъ. Вообще его бы можно было назвать красивымъ молодымъ человѣкомъ, еслибы нижняя челюсть и нижняя губа значительно не выдавались впередъ и не поглощали верхней, такъ, что каждую минуту казалось, что вотъ онъ такъ и скажетъ: *Yes*. Другой былъ маленькій, худенькій старичокъ, съ орлинымъ носомъ, съ блѣдными голубыми, хитрыми глазами, со звѣздой на сюртукѣ. Оба они, впрочемъ, рѣзко отличались отъ умнаго, но добродушнаго лица кардинала, съ его проницательнымъ, но мягкимъ выраженіемъ глазъ. Сзади ихъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи, шли двое служителей, въ

треугольныхъ шляпахъ, съ галунами, въ старинныхъ французскихъ камзолахъ, въ чулкахъ и башмакахъ. Замѣчательно, что они оба смотрѣли важнѣе и величавѣе своего господина, котораго черный съ алымъ подбоемъ плащъ несли на рукахъ. Сзади ихъ, шагомъ, ѣхала золотая карета. Народъ, попадавшійся навстрѣчу кардиналу, становился передъ нимъ на колѣни, и кардиналъ, продолжая разговоръ съ своими спутниками, умѣлъ сопровождать благодушною улыбкою благословеніе, которое мимоходомъ давалъ народу.

Мы сняли шляпы. Кардиналъ посмотрѣлъ на насъ и, увидя Ферязева, сказалъ по французски: «Кажется, это нашъ скиѳскій Буонаротти. Здравствуйте, любезнѣйшій другъ мой! Я, признаюсь, чрезвычайно желалъ васъ видѣть; сегодня заѣзжалъ къ вамъ въ мастерскую и любовался вашею неоконченною мадонною... *bella fanciullina*... Вашъ плутишка-мальчикъ дѣлаетъ фуроре... О немъ много у меня говорили... Зайдите ко мнѣ завтра вечеромъ, многіе желаютъ съ вами познакомиться: вы мнѣ позволите себя имъ представить».

Оба спутника кардинала тоже пожали руку Ферязеву и сказали нѣсколько любезностей.

— Приходите же, продолжалъ кардиналъ по французски:—впрочемъ, чтобы обязать васъ непремѣнно исполнить мое желаніе, я выскажу его звуками, вѣроятно, пріятными для вашего слуха: — приходите, пожалуйста, я васъ ожидаю,—произнесъ онъ, съ нѣкоторою разстановкою по русски.

Ферязевъ почтительно благодарилъ, говоря, что онъ не преминетъ, и проч.

— Кто это? спросили въ одинъ голосъ Андрей Иванычъ и Чупруновъ Ферязева, когда тотъ къ нимъ присоединился.

— Кардиналъ Меццофанти; а тѣ—британскій и австрійскій посланники.

Чупруновъ и Благочинный торопливо обернулись назадъ, чтобы посмотрѣть вслѣдъ удалявшемуся кардиналу, потомъ посмотрѣли на Ферязева, какъ бы желая удостовѣриться, тотъ ли это Ферязевъ: но онъ былъ дѣйствительно не тотъ въ ихъ глазахъ.

— Вы знакомы съ кардиналомъ? спросилъ Чупруновъ и отвѣчалъ самъ себѣ:—«впрочемъ, вѣдь эти господа гоняются за популярностью, ловятъ всякаго... я думаю, у него бываетъ скука смертельная.»

— Нѣтъ, нѣтъ, злодѣй вы, право злодѣй! Такъ-таки ничего не скажете о своемъ талантѣ, говорилъ Благочинный, обратясь къ Ферязеву съ добродушно-шутливымъ выраженіемъ:—молчитъ, какъ рыба!.. Позвольте по крайней мѣрѣ имѣть честь побывать въ вашей мастерской, тоже подивиться и намъ вашимъ произведеніямъ... Мы вѣдь профаны, знаете, не то, чтобъ разбирали умомъ, но все же чувствуемъ... Что дѣлать! Богъ не далъ таланта!.. Да, такъ вотъ-съ, кардиналъ...—продолжалъ Благочинный безъ опредѣленной мысли переминая слова:—да не угодно ли будетъ, когда не найдете ничего дѣлать лучше, такъ ко мнѣ пожаловать въ *Hôtel de France*. Жена и дочь моя будутъ въ восхищеніи съ вами познакомиться...

Ферязевъ обѣщалъ. Андрей Иванычъ взялъ его подъ руку и шелъ съ нимъ, стараясь быть какъ можно любезнѣе, въ припадкѣ шутливости даже снисходительно отнесся о томъ, что называлъ *такими* и *этакими* идеями. Въ такомъ расположеніи онъ торжественно объявилъ, что усталъ, что не сдѣ-

лаетъ болѣе двухъ шаговъ впередъ, хотя бы ему обѣщали показать самого папу или живого Цезаря, и приказалъ чичероне, котораго началъ называть Цицерономъ, вести насъ кратчайшимъ путемъ къ трактиру и, если можно, дорогой нанять коляску, тѣмъ болѣе, что уже вдругъ наступили сумерки, а сырой воздухъ ночи очень вреденъ, особенно для страдающихъ петербургскою, происходящею отъ сидячей жизни, болѣзнію, которую онъ называлъ, неизвѣстно почему, *сосѣдомъ*.

И вотъ мы обошли кругомъ мимо Тарпейскаго утеса, съ котораго преважно на насъ залаяла шаршавая собаченка; тутъ пошли площади, площади, съ обелисками, съ колоннами, или съ огромнымъ слономъ,—площадки, гдѣ сидѣли дюжія римскія матроны, съ зеленью, салатомъ, морковью, стручьями и лукомъ или жарили на дымящихся жаровняхъ кофе, а мальчишки, шнырявшіе около нихъ, подсовывали, не смотря на угрозы и брань, въ горячіе уголья сырые каштаны и вытаскивали ихъ потомъ руками, покидывали съ ладони на ладонь, посасывая обожженные пальцы, подувая на нихъ и пощелкивая ими. Тутъ же молодыя дѣвушки набирали воды въ кувшины, подставляя ихъ къ фонтанамъ и громко переговаривались съ продавцами лимонаду, которые разбили около журчащаго ключа свои столы съ навѣсами, въ родѣ граціозныхъ готическихъ бесѣдокъ, украшенные узорно разложенными лимонами, виноградными листьями, игрушечными знаменами и зеленымъ попугаемъ; стояли группы поселянъ и горожанъ, и транстеверинцевъ въ бархатныхъ курткахъ бутылочнаго цвѣта; похаживали ветурины, вербовавшіе попутчиковъ, факины, предлагавшіе безпрестанно

всякаго рода услуги; кричали, съ черными зрачками, вставленными въ огромный бѣлокъ, обгорѣлые неаполитанцы, пригнавшіе на маленькихъ ослахъ своихъ въ тростниковыхъ корзинахъ кучи лимоновъ и сицилійскихъ апельсиновъ; похаживали около вонючаго товара своего, разложеннаго на мокрыхъ листьяхъ, продавцы рыбы, безъ куртокъ, съ засученными рукавами рубашки и въ красныхъ неаполитанскихъ колпакахъ... И посреди этой толпы, посреди этой душной тѣсноты, запаху и дыма жаренаго кофе, подгорѣлыхъ каштановъ, вони рыбы, среди хохота, брани, говора народа, рычанія взбалмошнаго осла, крика продавцовъ, плача дѣтей, визгу мальчишекъ,—трагически появлялась, отъ времени до времени, съ гробовымъ пѣніемъ, процессія монаховъ, съ хоругвями и факелами, и поднималась по лѣстницѣ собора, который осѣнялъ площадку своимъ трехугольнымъ, огромнымъ, ломбардскаго стиля фронтономъ, и сквозь растворенныя двери котораго виднѣлись зажженныя тысячами у алтарей свѣчи, въ серебряныхъ затѣйливыхъ жирандоляхъ, и тускло рисовались, неясно освѣщенныя ими, въ облакѣ ладану, бѣло-мраморныя статуи святыхъ... Минуя площадки, исчезали мы во мракѣ узкихъ черныхъ улицъ, гдѣ повторялось почти то же самое, что на площадяхъ; тутъ встрѣчались намъ, плащами скрывавшіе лицо до самыхъ глазъ, молодые люди, вѣроятно, являвшіеся тамъ на призывъ любви; или сомнительной наружности, худо одѣтые старички, лукаво глядѣвшіе на иностранцевъ и при видѣ ихъ таинственно начинавшіе шевелить губами,—тоже, косвеннымъ образомъ, служители Цитеры. Направо, налѣво окружали насъ лавки или магазины, преимущественно

со старыми вещами: въ однихъ была мебель, готическая, renaissance, рококо, съ полинялымъ штофомъ и слѣзшей позолотой, накупленная продавцомъ при распродажѣ съ аукціона всѣхъ движимостей, украшавшихъ дворецъ какой-нибудь нѣкогда знатной и громкой фамиліи, нынѣ угасшей или разорившейся. Тамъ разставлены были разныя мраморныя, чугунныя и малахитовыя вещицы, копіи въ миніатюрѣ съ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ древности, храмикъ Весты, обращенный въ чернильницы, колонны Траяна, разные presse-papier, каменная плиточка съ семействомъ зеленыхъ ящерицъ; этрусскія вазы, мозаики, камеи, камешки, кусочки цементовъ, verde antico, набранныхъ изъ открытаго гдѣ-нибудь древняго мозаика; между этимъ археологическимъ мусоромъ, лавки съ картинами, попавшими туда изъ распроданныхъ галлерей, или пріобрѣтенными какъ-нибудь нечисто, или поддѣланными, — куча вздору, который накупитъ потомъ какой-нибудь знатокъ-баринъ, и который пойдетъ фигурировать подъ рубрикой знаменитыхъ мастеровъ, а тщеславному владѣльцу всѣ будутъ безсовѣстно лгать, что это не копіи, а оригиналы... Проходя мимо одной изъ такихъ лавокъ, мы не могли не остановиться передъ картиной, какой еще никогда не видали. Въ магазинѣ было еще темно; огня не зажигали, ибо съ Ave Maria, то-есть, съ сумерками, прекращается всякая торговля; за то по другой сторонѣ переулка былъ разложенъ огонь, на которомъ старуха жарила каштаны. Изъ широкаго открытаго окна лавки, увѣшаннаго разными обломками древности, заставленнаго золотыми рамами картинъ, глядѣла дѣвушка. Хотѣла ли просто поглядѣть она, какъ старуха жаритъ ка-

штаны, ожидала ли увидѣть какого-нибудь черноглазаго римлянина или интереснаго чужестранца, съ которымъ у нихъ начинались любовныя шашни, или просто можетъ быть отъ дневной скуки, — только лицо ея было исполнено тихаго, кроткаго выраженія сладостной меланхоліи, которая какъ-то особенно была хороша при правильности и нѣкоторой рѣзкости чертъ ея, при томномъ блескѣ нѣсколько впалыхъ глазъ. Озаренная слегка отсвѣчивавшимъ на нее пламенемъ, сверкавшимъ мистически огненными полосками на золотѣ рамъ, ее окружавшихъ, она казалась прозрачнымъ, легкимъ созданьемъ, мечтою не юноши, но строгаго художника, призракомъ, какъ-будто бы разливавшимъ отъ себя тихій, фосфорическій блескъ. Мы долго на нее смотрѣли; она, кажется, насъ не замѣчала; потомъ, вѣроятно, кто-нибудь заговорилъ съ нею изнутри магазина,—капризная ли маменька, или невзрачный супругъ,—она медленно, какъ бы нехотя, обратилась назадъ и открыла нашимъ изумленнымъ взорамъ граціозный профиль и широкимъ узломъ завязанную на затылкѣ черную, какъ черная смола, косу... Особенно Андрей Иванычъ былъ пораженъ ею: едва сдѣлали мы нѣсколько шаговъ далѣе, какъ онъ подозвалъ чичероне и шопотомъ сказалъ ему, чего мы не разслушали; но чичероне отвѣчалъ ему: «Подороже будетъ... ма унъ буонъ филь!» Андрей Иванычъ крякнулъ, потомъ подумалъ, вздохнулъ, потомъ махнулъ рукой, оглянулся еще разъ назадъ и сдѣлалъ утвердительный знакъ чичероне, который бы можно было перевести словами: «была не была».

— Eccelenza дастъ мнѣ теперь скудій пятнадцать, и ничего нѣтъ легче, отвѣчалъ чичероне. — Послѣ театра ессе-

lenza зайдетъ въ кафе, что̀ подлѣ; я войду тоже и два раза кашляну: это будетъ знакъ, что все устроено къ его удовольствію, pour son buon plaisir.

Мы слышали звонъ червонцевъ, послѣ чего чичероне исчезъ, и вѣроятно никогда болѣе не появлялся на глаза Благочинному, или, завидя его издали, прятался или въ ближайшую лавку, если нельзя ускользнуть въ темный переулокъ, или присаживался на корточки сзади какой-нибудь доброй матронны, продающей на улицѣ разный вздоръ и легко могущей своею дородностью и истинно древне-римскими размѣрами укрыть такую мелкую тварь.

Наконецъ, мы выпутались изъ лабиринта переулковъ и подошли къ театру. Благочинный вдругъ объявилъ, что онъ непремѣнно хочетъ быть въ театрѣ, что обѣщалъ женѣ и дочери показать сегодня итальянскую сцену. Услышавъ это, Чупруновъ вызвался самъ достать билетъ и быть кавалеромъ его дамъ. Мы подошли къ окошечку, откуда раздавали билеты; передъ окошкомъ толпилась куча народу: бирбачоны и лакеи знатныхъ баръ, художники, отличающіеся своимъ костюмомъ, господа, порядочно одѣтые, и domestiques des places, достававшіе мѣста ai signori Inglesi. Чупруновъ сталъ сзади двоихъ или троихъ бирбачоновъ — мужиковъ или мелкихъ ремесленниковъ, которые въ Италіи судятъ о музыкѣ не хуже блестящаго принчипе; впереди стояло еще много народу. Рѣшившись пробиться впередъ, Чупруновъ началъ протискиваться между бирбачонами, которые, почувствовавъ толчки въ бока, обернулись, поглядѣли на Чупрунова и сдвинулись еще тѣснѣе. Онъ сунулся-было съ другой стороны: тамъ толпа еще гуще;

онъ возвратился къ прежнему мѣсту, но оно уже было занято пришедшимъ еще бирбачономъ. Чупруновъ вздумалъ его оттолкнуть, но тотъ отвѣчалъ ему тѣмъ же:

— Подождите, мусью.

— Смотри, мужикъ, закричалъ онъ, оскорбленный такимъ поступкомъ.—Да знаешь ли ты, грубіянъ, съ кѣмъ имѣешь дѣло?

Бирбачонъ поглядѣлъ на него и отвернулся; стоявшіе впереди засмѣялись.

— Это мое мѣсто, я сейчасъ тутъ стоялъ, воскликнулъ Чупруновъ.

— Когда я его занялъ, отвѣчалъ бирбачонъ:—тутъ никого не было.

Въ толпѣ раздался хохотъ и «браво»...

— Я тебѣ говорю, что я не позволю надо мной подсмѣиваться, кричалъ, задыхаясь отъ ярости, Чупруновъ.

Бирбачонъ молчалъ; въ толпѣ смѣялись, оглядывались и говорили:

— Гляди, гляди, какъ англичанинъ расходился.

— Какой англичанинъ, нѣмецъ, изъ Tedesco, un Tedesco.

— Я не позволю, чтобы надо мной издѣвалась всякая сволочь! воскликнулъ Чупруновъ и кинулся на бирбачона съ поднятой палкой.

Толпа на минуту затихла. Бирбачонъ выхватилъ изъ-за пояса ножъ...

Ферязевъ бросился между ними, сильною рукою оттолкнулъ Чупрунова и кинулъ итальянцу два червонца.

Итальянецъ поглядѣлъ на золото, опустилъ ножъ, подо-

бралъ червонцы и спокойно сталъ дожидаться своей очереди взять билетъ.

— За вами два луидора, сказалъ Ферязевъ Чупрунову.

— Негодяи! Негодяи! повторялъ скороговоркою Андрей Иванычъ, быстро удаляясь отъ театра.—Да пошелъ же ты, дуракъ, закричалъ онъ на Ваньку, толкая его ногою. — Ты чего тутъ буркала-то выпучилъ?

Онъ испугался не на шутку, и за себя и за насъ.

Такъ я познакомился съ Благочиннымъ. Потомъ я встрѣчался съ нимъ и въ другихъ городахъ Италіи, и потому опять возвращусь къ нему. Вообще ужь такая была моя судьба: онъ попадался мнѣ на каждомъ шагу въ моихъ переѣздахъ, отчего въ впечатлѣніяхъ, которыя оставила во мнѣ Италія, Андрей Иванычъ играетъ не послѣднюю роль.

ПИКНИКЪ ВО ФЛОРЕНЦІИ.

Въ одни изъ воротъ города Флоренціи выѣхала коляска съ двумя путешественниками. Одинъ былъ господинъ Синичкинъ, лѣтъ тридцати, бывшій съ какимъ-то порученіемъ въ Бельгіи и, на обратномъ пути, по дорогѣ заѣхавшій въ Италію. Другой былъ Горунинъ, пріѣхавшій нарочно въ Италію, по своей надобности, господинъ вида мрачнаго, взора тусклаго, лица блѣднаго, волоса русаго. Съ вида онъ былъ старше Синичкина, но это только такъ казалось при противоположности его физіономіи съ румянымъ, нѣсколько полнымъ, нѣсколько счастливымъ лицомъ Синичкина, окаймленнымъ вѣнчикомъ бакенбардъ, сходившихся подъ подбородкомъ.

— Скажите, пожалуйста, мосьё Горунинъ, спросилъ первый: — мы ѣдемъ на пикникъ, а вѣдь я не знаю, что̀ это за пикникъ и кто тамъ будетъ?

— Порядочно я и самъ не знаю. Устроилъ все Перуцци... будутъ,—говорилъ онъ:—кое-кто изъ итальянцевъ, и дамы, тоже итальянки... онъ ручался, что будетъ весело.

— А изъ нашихъ-то, не знаете, кто будетъ?

— Ну, да вотъ вы, я, Тарнѣевъ...

— Вы знаете Тарнѣева?

— Я сошелся съ нимъ здѣсь, за границей; впрочемъ, мы были знакомы и прежде.

— Я какъ-то слышалъ эту фамилію по случаю одной исторіи въ Мюнхенѣ. Впрочемъ, это былъ, можетъ быть, другой Тарнѣевъ. Этотъ господинъ и еще какіе-то въ этомъ родѣ артисты сидѣли въ трактирѣ, пили и такъ, на радости, выбили стекла въ окошкахъ. Явился хозяинъ, завязался споръ. Тарнѣевъ вынулъ пистолетъ и порядочно припугнулъ почтеннаго трактирщика. Нѣмецъ жаловался, и они заплатили... Впрочемъ пистолетъ не былъ заряженъ.

— Я думаю, что это тотъ Тарнѣевъ, произнесъ Горунинъ со вздохомъ: — я его очень люблю: въ немъ много прекраснаго... но это же не обязываетъ меня быть слѣпымъ къ его дурнымъ качествамъ. Впрочемъ онъ всегда говорилъ, что это просто право дѣлать все, за что можешь заплатить. Онъ такія штуки и дома продѣлывалъ, и ему все счастливо сходило. Бывало, ни съ того, ни съ сего, ночью перебьетъ стекла по дачамъ... Его всегда вы могли видѣть на желѣзной дорогѣ въ веселой компаніи.

— Но вѣдь все это ужасно дико!

— Да, у него все выходитъ какъ-то дико, даже самыя его прекрасныя побужденія. Напримѣръ, его что-нибудь заинтересуетъ, вдругъ припадетъ ему охота учиться; онъ накупитъ книгъ и зароется въ нихъ. Разъ какъ-то онъ цѣлые полгода пропадалъ—что жь? Учился химіи. Тамъ онъ опять пропалъ, и оказалось, что онъ пошелъ странствовать

съ какимъ-то цыганскимъ таборомъ: жилъ въ полѣ, въ лѣсахъ, по ярмаркамъ ѣздилъ, воротился настоящимъ цыганомъ; даже физіономія у него тогда сдѣлалась цыганская; выучился ковать лошадей, пѣть пѣсни... даже ворожить.

— А, чай, и воровать, подумалъ Синичкинъ: — хорошъ молодецъ: ну, какъ этакой цыганъ выскочитъ за границу?.. спросилъ онъ вслухъ.

— Да онъ и здѣсь проявился. Въ Болоньѣ вотъ что было. Мы пріѣхали съ нимъ и сидѣли въ отелѣ. Вдругъ слышимъ шумъ на улицѣ. Къ намъ вбѣгаетъ хозяйка въ отчаяньи. За нею супругъ ея, маленькій, толстый, въ фартукѣ. Онъ кричитъ, зоветъ гарсоновъ, велитъ женѣ запереть отель, гарсонамъ вооружиться и идти за ними. На улицѣ выстрѣлы. Мы спрашиваемъ хозяина—что такое?— Итальянцы, разумѣется, ни шагу безъ пафоса—онъ гордо отвѣчаетъ: la patriaci chiama! «отечество призываетъ!» Клянусь вамъ, не смотря на его квадратную фигуру, на огромный животъ, накрытый фартукомъ, онъ былъ великъ въ эту минуту: знаете, столько энергіи!..

— Очень вѣрю: итальянцы такіе же превосходные актеры въ жизни, сколько плохіе на театрѣ; очень понятно, тамъ—импровизація, здѣсь—обдуманность... Что жь Тарнѣевъ-то?

Хозяинъ выбѣжалъ, я началъ запирать окна и двери, Тарнѣевъ надѣлъ пальто, повязалъ голову платкомъ, схватилъ пистолеты и исчезъ. Я ужасно за него боялся; знаю, что человѣкъ безумный; да и сами посудите, зачѣмъ въ чужія дѣла вмѣшиваться? Намъ-то что изъ этого?.. Я провелъ мучительныхъ два часа, безпокоился о немъ, хотѣлъ

пойти отыскать, образумить ею; но вѣдь, знаете, въ незнакомомъ городѣ, куда сунешься? Только вижу, хозяинъ съ гарсонами и цѣлой толпой несутъ на рукахъ моего Тарнѣева, кричатъ ему viva! Тарнѣевъ былъ въ крови; перевязали ему руку; легкая рана... не знаю, чѣмъ его ткнули. Только хозяинъ называлъ его спасителемъ своей жизни и въ честь его задалъ такую пирушку, какую можетъ задать только трактирщикъ на радости.

— Что же это за драка была?

— Вздоръ какой-то: играли въ мору муниципалы, тамъ что ли съ швейцарцами и поссорились... Завязалась драка: нашлись защитники съ той и съ другой стороны... Вотъ и все. Вздоръ!.. Въ Романьѣ эти случаи бываютъ безпрестанно. Для Тарнѣева кончилось все конечно хорошо: жена хозяина приходила перевязывать ему руку... и очень плакала, когда мы уѣзжали.

— Скажите, пожалуйста, какъ это странно! Этакимъ сорванцамъ и счастье везетъ.

— Удивительное счастье! Въ игрѣ, напримѣръ. На водахъ онъ въ одинъ вечеръ все спустилъ, что у него было. На другой день пришелъ съ однимъ червонцемъ — у меня же и занялъ—и все вернулъ, да и слишкомъ.

— При такомъ счастьи ему и времени нѣтъ, я полагаю, одуматься.

— Нѣтъ, не говорите! Послѣ той драки въ Болоньи, знаете, какъ онъ опѣшился: совсѣмъ упалъ духомъ. Онъ чувствуетъ, что ему недостаетъ многаго, недостаетъ образованія, что голова пуста; учиться поздно, а хочется. Вотъ онъ и читаетъ теперь газеты, вдался въ политику, все это

его ужасно занимаетъ; онъ написалъ письмо къ О'Коннелю—и, разумѣется, не послалъ, пишетъ разные протесты противъ Гизо, противъ... ну, тамъ по испанскимъ дѣламъ; не признаетъ разныхъ актовъ, разныхъ парламентовъ, и все это пишетъ..., оно и не глупо написано, есть много сердца и благородства, много строкъ, знаете, à la Неупе, но вѣдь согласитесь, къ чему это? Кому до него дѣло?

— Отчего же не употребить этихъ способностей въ пользу дома? Все губитъ его эта безпорядочность, а онъ бы пошелъ далеко.

— Нѣтъ, никогда! Не такая натура. Развѣ съ малолѣтства бы вести его совсѣмъ иначе, а то выросъ въ деревнѣ до шестнадцати лѣтъ. Онъ болѣе человѣкъ минуты; у него идея является вдругъ, а терпѣнья, усидчивости нѣтъ. Ему нужно слово, онъ блещетъ, поразитъ, ударитъ какъ молнія, охватитъ предметъ вѣрно и мѣтко, укажетъ, — а тамъ не его дѣло. Я по крайней мѣрѣ такъ понимаю Тарнѣева, а впрочемъ...

Мало-по-малу разговоръ путниковъ сталъ переходить на другіе предметы; они касались ихъ слегка, развлекаясь разсматриваніемъ того, что имъ встрѣчалось по дорогѣ: то занимаетъ ихъ телѣга, нагруженная сельскими произведеніями, запряженная двумя рогатыми этрускими волами, которые всею силой своей шеи сдерживаютъ напоръ тяжести и бережно сносятъ ее съ горы, а погонщикъ идетъ въ сторонѣ и покрикиваетъ. Горунинъ при этомъ вспоминаетъ древнихъ этрусковъ и житницу Рима, древнюю Этрурію. То промчится мимо нихъ коляска съ англичанами, и кучеръ нашихъ путешественниковъ оборачивается непремѣнно къ

нимъ и говоритъ: «Это тоже господа англичане; господа англичане—хорошіе господа», на что господинъ Синичкинъ объясняетъ ветурину, что онъ имѣетъ счастье везти не англичанъ, а что они русскіе. За господами англичанами, легкой рысцой, въ кабріолетѣ на маленькой лошаденкѣ проѣдетъ въ свою винью, то-есть, въ свой виноградникъ, какой-нибудь флорентинскій адвокатъ или судья, который улыбается встрѣчнымъ, какъ будто говоря, что у него нѣтъ причины не любить ихъ, и который съ почтительнымъ поклономъ снимаетъ соломенную шляпу передъ другой, черной, съ широкими полями, шляпой, покрывающей лысую голову.

Дорога идетъ по горѣ: съ обѣихъ сторонъ виноградники; бѣленькіе домики мелькаютъ съ обѣихъ сторонъ, оплетенные виноградными листьями, образующими передъ ними тѣнистые навѣсы: сочные грозды поспѣвающаго винограда висятъ съ деревянныхъ жердей, какъ въ прихотливо убранной залѣ искусной рѣзьбы канделябры. За этими домиками, около которыхъ или работалъ трудолюбивый земледѣлецъ тосканскій, или играли дѣти, сады богатыхъ виллъ, кипарисы, лавры и каменный дубъ съ непроницаемой для солнца зеленью; высокія ограды, усѣянныя мелкими розанами или навьюченныя широкими гирляндами плюща, то чернаго въ тѣни, то зелено-золотистаго на солнцѣ. Тамъ загородные дворцы флорентинскихъ, нѣкогда знаменитыхъ, купцовъ-феодаловъ, съ колоннами, галлереями и терасами, установленными этрусскими глиняными вазами, въ которыхъ растутъ, подымаясь полосами кверху, какъ пламень на жертвенникѣ, листья кактусовъ и алоэ.

— Боже мой, какъ все это хорошо! сказалъ Горунинъ. Онъ хотѣлъ говорить больше, но не могъ, и молча рисовалъ передъ собою счастье людей, которые жили посреди этой богатой природы, такъ благодарно платящей за малѣйшій трудъ... Онъ думалъ и о счастьѣ этой женщины, которая несла на плечахъ связку сухихъ виноградныхъ сучьевъ для топки печи, и за которой, малъ-мала меньше, бѣгутъ человѣкъ пять ея черноглазыхъ ребятишекъ, тоже съ маленькой ношей; думалъ онъ о беззаботной жизни этого погонщика муловъ, идущихъ топотно со вьюками на спинахъ; и съ особенной любовью о счастьѣ этой дѣвушки, которая, вдали съ терасы одной виллы, смотрѣла въ зрительную трубку, можетъ быть, кого-нибудь ожидая изъ отдаленнаго города, который улегся стройной, легкой громадой, окутанный голубыми парами полудня, въ лощинѣ, по берегамъ мутнаго Арно... Онъ думалъ, какъ долженъ быть счастливъ тотъ, кого она ждетъ, и какъ будто вопрошаетъ о немъ этотъ городъ цвѣтовъ, широкія арки его мостовъ, его величественный куполъ собора, его дворцы, рынки, сады, ворота и отдаленныя, синеватыя горы...

— Больно смотрѣть мнѣ на эту природу! воскликнулъ онъ наконецъ: — на меня она дѣйствуетъ какъ-то болѣзненно! Чувствуешь присутствіе жизни — и чувствуешь въ то же время, что въ самомъ себѣ она давно замерла!.. Посмотришь, вѣдь какая ты дрянь передъ этими именами Данта, Микель-Анджело, Савановроллы, эти кузнецы, сапожники, портные, которые повелѣваютъ своему архитектору Арнольфо ди Лапо воздвигнуть храмъ, какому подобнаго человѣкъ не могъ бы вообразить: размахъ-то воли какой!

Какой полетъ воображенія!.. Все это, все, и природа и исторія, — это тысячи укоровъ, на которые только отвѣчаешь, что во мнѣ нѣтъ этихъ порывовъ, этого нравственнаго величія! Не знаешь, за что̀ такъ обиженъ, за что̀ и отчего выпалъ этотъ жребій!.. Грустно, грустно и грустно!..

Горунинъ поникъ головою и сталъ смотрѣть въ сторону: онъ готовъ былъ заплакать. Синичкинъ, занимавшійся болѣе соображеніемъ, въ какое попадетъ онъ общество, не понялъ сразу Горунина и, смотря на его блѣдное лицо, которому грустныя думы придавали старческое выраженіе, хотѣлъ было спросить, который ему годъ, но посовѣстился.

— Скажите, пожалуйста, продолжалъ Горунинъ: — на васъ не производятъ особеннаго впечатлѣнія эти картины?

— Вижу, что хорошо. Но вѣдь посмотрѣлъ—и довольно. Съ собой не увезешь...

— И то хорошо, что хоть чувствуете; но вотъ какъ перестанешь еще чувствовать, одрябнешь совершенно подъ гнетомъ дѣйствительности, утратишь даже способность страдать и сознавать свое ничтожество!

— Ваша правда, отвѣчалъ, подтягивая перчатки, Синичкинъ: — человѣкъ примиряется и съ самой страшной нуждой... Только я не полагаю, чтобы вы себя подводили подъ этотъ разрядъ.

— Да не нужда, понимаете, не нужда, потому что я и не нуждаюсь, проговорилъ Горунинъ съ досадой, думая про себя, какъ это могутъ быть у насъ молодые люди, учившіеся въ университетахъ, живущіе въ свѣтѣ — и не только чуждые общихъ понятій вѣка, какъ называлъ Гору-

нинъ свои слабости, но даже чуждые языка и терминологіи, которою они выражаются... Но это негодованіе не было продолжительно; онъ снова обратился къ себѣ, какъ больной къ своей болѣзни, вовсе не заботясь, понимаютъ его или нѣтъ: «Ну, что я такое въ сравненіи съ здѣшними людьми? Какой-то гномъ, слизнякъ, полипъ; и если у меня въ головѣ родится какой-нибудь идеалъ, то не Аполлонъ Бельведерскій, не Геркулесъ, не Лаокоонъ, а тоже какой-нибудь слизнякъ, какъ всѣ герои нашихъ повѣстей и поэмъ... А что всего хуже, такъ это то, что если почувствовалъ гдѣ зло, нашелъ его внѣ себя или въ себѣ, то вѣдь радъ его анатомировать, рѣзать его, копаться въ этомъ маленькомъ мірочкѣ, въ микроскопъ разсматривать ядовитую ранку въ душѣ, а не возвыситься надъ нею, какъ Дантъ, какъ Альфіери, какъ Байронъ».

Хотя господинъ Синичкинъ все не понялъ Горунина, какъ бы хотѣлось послѣднему, однако это признаніе, это «раскапыванье маленькаго мірочка, это разсматриваніе ядовитой ранки въ душѣ» подѣйствовало благотворно на мрачное расположеніе духа Горунина; онъ повеселѣлъ и чувствовалъ странное самоудовлетвореніе.

Тутъ коляска, поднявшись на гору, повернула вправо по забору, и проѣзжихъ нашихъ поразили восклицанія, аплодисменты и хохотъ, которые раздавались немного въ сторонѣ отъ дороги около остеріи, въ толпѣ народа. Работники ли, вышедшіе на воскресенье погулять за городомъ и повидаться съ своими семьями, или поселяне, отдыхавшіе отъ недѣльныхъ трудовъ своихъ за кружкою вина, стояли, кто въ сѣрой, кто въ зеленой куртцѣ, въ синихъ

панталонахъ, въ чулкахъ и башмакахъ, всѣ съ веселыми физіономіями, которымъ круглыя шляпы съ широкими полями придавали мужественное выраженіе; они толпились около, должно быть, импровизатора; другіе съ маленькою трубочкою въ зубахъ, лежали брюхомъ на травѣ и, оперши головы на локти, смотрѣли туда же; сельскія маленькія дѣвочки, переплетясь руками, съ остренькими глазками своими и цвѣточнымъ вѣнкомъ на головѣ, тоже составляли маленькую публику, а въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нея, двѣ—вѣрно хозяйскія дочери или служанки, принесшія на головѣ корзины съ золотыми апельсинами, сорванными съ вѣткой и листьями, всходя на лѣстницу, остановились, не снимая тростниковыхъ корзинокъ съ головы, смотрѣли туда, куда всѣ смотрятъ, улыбались и переглядывались между собою.

— Вотъ жизнь-то! Вотъ она! сказалъ Горунинъ:—Смотрите, какъ она развернулась. Велимъ остановиться: поглядимъ на народную сцену.

— Пожалуй, возразилъ Синичкинъ:—только не пойдемте къ народу; еще испачкаемся, а намъ предстоитъ вѣдь любезничать съ дамами... то-есть, какія бы ни были, а все-таки дамы. Вѣдь мы не знаемъ, кого приглашалъ этотъ черномазенькій Перруци. А потому мое правило: на всякій случай быть порядочнымъ. Если позволить себѣ быть спустя рукава...

Но внезапный хохотъ въ толпѣ и восклицаніе Горунина прервали изложеніе правилъ Синичкина.

— Боже мой! Тарнѣевъ! воскликнулъ Горунинъ, увидавъ посреди толпы молодого человѣка.—Ахъ сумасшедшій!

То-то онъ съ утра ушелъ, говоритъ—пѣшкомъ пойду, полюбуюсь видами! Вотъ они, его виды!

— Въ самомъ дѣлѣ! И отсюда-то онъ наровитъ къ дамамъ! Сойдите, Горунинъ, позовите его, а я васъ здѣсь подожду въ колескѣ.

Горунинъ съ видомъ человѣка, только что пораженнаго великимъ несчастіемъ, поспѣшилъ къ Тарнѣеву, а Синичкинъ поправилъ закинутую за плечо альмавиву, потянулъ перчатки и бормоталъ про себя:

— Хорошъ будетъ!

Между тѣмъ Тарнѣевъ, безъ сюртука, безъ шипели, безъ галстука, въ бумажномъ колпакѣ въ видѣ треугольной шляпы, стоялъ на столѣ и *ломался* какъ паяцъ передъ публикою. Онъ сильно жестикулировалъ, дополняя знаками и жестами то, чего не могъ вполнѣ выразить на не совсѣмъ знакомомъ ему языкѣ, ломая и составляя разныя пословицы по итальянски, отчего толпа помирала съ хохоту. То вдругъ онъ сброситъ съ себя бумажный колпакъ и схватитъ тыкву, къ которой продолбилъ отверстіе, чтобы надѣвать на голову, возьметъ палку и вытянется въ струнку какъ солдатъ, причемъ сдѣлаетъ жалкую, плаксивую, безсмысленную мину; публика не могла надивиться, что это одинъ и тотъ же человѣкъ. Браво и viva раздавались при каждомъ движеніи, при каждой остротѣ.

«Ему бы идти въ паяцы!» думалъ Синичкинъ, сидя въ колескѣ и смотря, какъ Тарнѣевъ пародировалъ разные извѣстные ему анекдоты, перелагая ихъ на итальянскіе нравы:—въ этомъ переложеніи досталось всѣмъ: и полиціи города Флоренціи, и почтеннымъ его торговцамъ, и тедe-

скамъ, ненавистнымъ въ Италіи, и доминиканцамъ, и францисканцамъ.

Горунинъ подошелъ къ толпѣ въ то время, какъ Тарнѣева подняли на руки и начали качать.

Завидя его, Тарнѣевъ закричалъ ему:

— Ахъ, Горунинъ! Какъ я радъ, что ты пріѣхалъ! Здѣсь ужасно весело! Эти итальянцы безподобный народъ.

— А ты давно здѣсь?

Горунинъ придумывалъ, какъ бы взяться за дѣло, чтобы уговорить скорѣе Тарнѣева ѣхать съ ними.

«Онъ вѣдь упрямъ,—думалъ Горунинъ, когда что-нибудь заберетъ въ голову».

— А вѣдь намъ пора, я думаю?—спросилъ онъ.

— Успѣемъ.

— Не хочешь ли, мы довеземъ тебя?

— Если ты не хочешь здѣсь остаться, то поѣзжайте... Покамѣстъ мнѣ и здѣсь весело! Наскучитъ, такъ и пріѣду.

— Э, Тарнѣевъ, ты знаешь, что безъ тебя будетъ скучно.

— Ну, вотъ!

— Право, поѣдемъ.

— Я буду послѣ....

— Тарнѣевъ!..

Но Тарнѣевъ обратился къ своимъ собесѣдникамъ, садясь за столъ, посреди ихъ.

— Ступай своей дорогой, сказалъ онъ по итальянски Горунину:—ты не знаешь, съ кѣмъ ты говоришь. Теперь я алжирскій бей и хочу пировать мою тысяча первую свадьбу.—Вина! кричалъ Тарнѣевъ.—Гдѣ моя казна?

Какой-то виньеролъ подалъ ему его кошелекъ; другіе держали, кто его сюртукъ, кто шляпу, кто часы, кто брильянтовую булавку.

Горунинъ ужаснулся такой ребяческой довѣрчивости своего товарища, подошелъ къ Синичкину и просилъ его сойти уговорить Тарнѣева ѣхать вмѣстѣ.

— Они оберутъ его до нитки, говорилъ онъ.

— Что же намъ съ нимъ дѣлать?

— Необходимо увезти.

— Да гдѣ же онъ наострился по итальянски?

— Здѣсь, въ Италіи... всего въ три-четыре мѣсяца... Удивительныя способности! Энциклопедическая натура!

Синичкинъ рѣшился выйти изъ экипажа.

Тарнѣевъ между тѣмъ уже засѣлъ между ремесленниками и поселянами въ тѣсномъ кружкѣ за столомъ, велѣлъ всѣмъ подать вина, поставилъ передъ собою фольетту, вмѣщавшую около двухъ бутылокъ, и началъ вызывать охотниковъ съ нимъ состязаться. Его очень бѣсило, что онъ не могъ перевести по итальянски вопроса: кто кого перепьетъ? Все ему казалось, что смыслъ этого слова нехорошо передается всѣми извѣстными ему формами тосканскаго нарѣчія.

— Что у нихъ за языкъ, говорилъ онъ своимъ: — *кто кого побѣдитъ*—chi vincerá? не то; *кто больше выпьетъ?* безъ всякой экспрессіи; нѣтъ, по-нашему, *кто кого перепьетъ*—вотъ слово непереводимое.

— Да знаешь ли что, замѣтилъ ему Горунинъ: — что и понятіе-то, означаемое этимъ словомъ, отзывается чѣмъ-то особеннымъ... Брось-ка это, поѣдемъ съ нами. Вѣдь насъ будутъ ждать дамы.

— Пожалуйста не мѣшай, Горунинъ, отвѣчалъ тотъ: — видишь, какъ тутъ весело.... Вы поѣзжайте, а часа черезъ два и я явлюсь. Мнѣ надобно освѣжиться и отдохнуть.

— Хорошъ явится, особенно какъ еще всѣхъ перепьетъ, сказалъ Синичкинъ Горунину, который съ ужасомъ смотрѣлъ на стаканы, опоражниваемые Тарнѣевымъ и его собесѣдниками.

— Ну, если ты не поѣдешь, такъ мы безъ тебя поѣдемъ.

— И поѣзжайте.

— Но, самъ согласись, какъ же мы безъ тебя пріѣдемъ? Какъ мы оставимъ тебя здѣсь, и съ такими людьми; и всѣ твои вещи, деньги—все это у нихъ; а ты одинъ... да они убьютъ тебя.

— Не смѣютъ!

— Какъ не смѣютъ! Право, поѣдемъ.

— Да что вамъ до меня за дѣло? Ну, пріѣду, такъ пріѣду; нѣтъ, такъ нѣтъ. Мнѣ же здѣсь веселѣе. Тамъ еще дамы будутъ... Здѣсь я съ хорошими людьми посижу. Вѣдь вы хорошіе люди, и ты хорошій человѣкъ, хоть плутъ, да что съ тобой дѣлать?.. продолжалъ Тарнѣевъ по итальянски, обратясь къ своимъ собесѣдникамъ вообще, а въ особенности къ какому-то кузнецу, сидѣвшему подлѣ него, и началъ его обнимать и цѣловать.

— Ну, дошло до сердечныхъ изліяній, проговорилъ тихо Синичкинъ, пожимая плечами. — Право, Горунинъ, намъ остается только уѣхать. Пусть его дѣлаетъ, что хочетъ. Наше дѣло его предупредить. Притомъ и то, какъ же, мы его привеземъ въ такомъ видѣ?

— Послушай, Тарнѣевъ, для меня... ну, я прошу тебя, поѣдемъ съ нами. Будетъ очень весело. Ну, я прошу тебя, послушай хоть разъ... изъ дружбы...

— Ахъ, Боже мой! Я сказалъ, что я буду...

— Ты не поѣдешь?

— Теперь нѣтъ.

— Ну, намъ нечего дѣлать, Семенъ Васильичъ; отправимтесь.

— Конечно поѣдемте. Потомъ пришлемъ за нимъ коляску и кого-нибудь, кого онъ послушается.

Они сѣли въ экипажъ и поѣхали; но долго грустный взоръ Горунина не могъ оторваться отъ бѣлой остеріи, съ ея черепичной кровлей, съ ея закоптѣлой трубой, и отъ высокихъ трехъ или четырехъ кипарисовъ, защищавшихъ своею тѣнью отъ солнца Тарнѣева въ кружкѣ его собесѣдниковъ, тѣсно обсѣвшихъ около стола съ виномъ и закуской. Мрачно глядѣлъ Горунинъ на этотъ домъ, на эту зелень, на этихъ людей; и они тоже, казалось ему, смотрѣли ему вслѣдъ такъ же мрачно и съ какимъ-то зловѣщимъ видомъ. Къ довершенію же непріятности его ощущенія, на дорогу передъ остеріей выбѣжалъ изъ конюшни хозяйскій оселъ и рычалъ благимъ-матомъ на всю окрестность, точно имѣлъ объявить во всеуслышаніе міру какую-нибудь плачевную новость.

Такъ они проѣхали еще нѣсколько миль; наконецъ, коляска остановилась у высокихъ воротъ во вкусѣ рококо, украшенныхъ по обѣимъ сторонамъ головами львовъ, изъ пасти которыхъ лилась струя холодной ключевой воды. Направо и налѣво отъ воротъ тянулась выкрашенная розовой

краской стѣна, изъ-за которой виднѣлась густая темная зелень сада и осѣняла розовыя глиняныя вазы съ кактусами и мраморные, почернѣвшіе отъ времени бюсты, разставленные по стѣнѣ. Это былъ въѣздъ къ виллѣ Антолини, которая была давно оставлена обѣднѣвшими хозяевами, и которую Перуцци, распорядитель пикника, нанялъ на этотъ день у одноглазаго старика-смотрителя, носившаго еще истасканную ливрею прежнихъ владѣльцевъ. Синичкинъ вошелъ въ ворота за Горунинымъ, въ намѣреніи только взглянуть на садъ и палаццо и потомъ вернуться въ городъ.

На шумъ подъѣхавшей коляски изъ замка выбѣжалъ господинъ, казавшійся еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, и только при внимательномъ разсмотрѣніи его лица можно бы было прочитать въ немъ его тридцать пять лѣтъ. Онъ былъ разодѣтъ какъ на балъ, завитъ и раздушенъ, съ черными маленькими усиками, широкими бакенбардами и съ огромной пунцовой съ бѣлыми разводами камеліей въ петлицѣ фрака. Это былъ Перуцци. Откуда онъ родомъ, сказать трудно; какую жизнь онъ велъ до сихъ поръ, тоже отгадать невозможно: онъ казался по крайней мѣрѣ чрезвычайно comme il faut. Онъ попадался вездѣ въ Италіи: видали его и въ Венеціи сопровождающимъ семейство англичанъ и восхищающимся полувизантійской архитектурой святого Марка; и въ Неаполѣ засѣдалъ онъ съ нѣмецкими музыкантами въ café d'Europe; и въ Римѣ осматривалъ Колизей; и съ французскими дамами онъ ѣздилъ на ослахъ для прогулки въ Дженсано: вездѣ онъ встрѣчался. Но вездѣ итальянская молодежь его чуждалась; за то во всѣхъ горо-

дахъ блестящія женщины, актрисы, или пѣвицы, или просто оставленныя мужьями молодыя женщины, привѣтно ему улыбались, какъ *своему человѣку*. Онъ былъ не чичероне— какъ можно! Онъ довольно учился, знаетъ хорошо археологію, составляетъ книгу подъ заглавіемъ: «Археологическая и живописная (pittoresque) Италія для иностранцевъ», и говоритъ на французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ довольно порядочно. Онъ очень сожалѣетъ, что не знаетъ русскаго языка; часто спрашиваетъ русскихъ путешественниковъ, какъ называются разныя вещи по русски, и записываетъ, а русскія путешественницы, вообще мало читающія по русски, выхваляютъ ему богатство русскаго языка и русской литературы и обѣщаютъ ему прислать русскую грамматику на французскомъ языкѣ. Но никто еще ея не выслалъ. Сошедшись съ Горунинымъ и Тарнѣевымъ, онъ познакомилъ ихъ и съ Синичкинымъ и другими русскими, бывшими во Флоренціи, и взялся устроить пикникъ за городомъ, обѣщая пригласить и дамъ.

Онъ провелъ пріѣзжихъ черезъ темную миртовую аллею въ павильонъ, устроенный въ видѣ греческаго храмика съ портиками и терасами, весь убранный зеленью, цвѣтами и гирляндами и обставленный статуями. Тутъ были и Бахусъ, и Альфіери, и Венера, и бюстъ Маріи-Терезіи, и амуръ, и какой-то, не помню который, Пій.

Уже двое изъ участвовавшихъ въ пикникѣ сидѣли въ павильонѣ на старинныхъ бархатныхъ съ позолотою диванахъ и креслахъ. Одного узнать было не трудно. На немъ было платье аббата: по одному его блѣдному, нѣсколько женоподобному и чрезвычайно нѣжному лицу, впрочемъ,

носившему слѣды сильныхъ страстей, потому что глаза его сверкали, какъ уголья, можно было видѣть его аристократическое происхожденіе отъ какой-нибудь нѣкогда знатной, но теперь упавшей фамиліи, въ которой, однако, сохранился старинный обычай опредѣлять одного изъ младшихъ сыновей въ духовное званіе, обѣщая ему въ будущемъ кардинальскую шапку. Другой былъ господинъ въ длинной бекешѣ, волосы съ просѣдью, что было замѣтно, не смотря на то, что они красились; физіономія почтенная.

Вошедшіе церемонно поклонились этимъ лицамъ, которые отвѣчали тѣмъ же, и продолжали на минуту прервавшійся разговоръ.

— Такъ вотъ видите, говорилъ господинъ въ бекешѣ:— покуда все это не приведется въ порядокъ, то-есть, не примутся мѣры, чтобы въ городахъ не обманывали, на дорогахъ не грабили, да пока не засадили вашу молодежь за дѣло, до тѣхъ поръ, повѣрьте, все у васъ ничего не будетъ въ Италіи. Суетность, праздность и пустота — это истинные бичи народовъ и государствъ. И противъ нихъ нужны мѣры строгости. Вотъ Наполеонъ умѣлъ васъ держать въ рукахъ; при немъ у васъ и конскрипція была, и все... Нѣтъ, что ни говорите, Наполеонъ былъ великій человѣкъ. Одна его ошибка, зачѣмъ сунулся на Россію...

— Наполеонъ умѣлъ пробудить въ итальянцахъ энтузіазмъ, отвѣчалъ аббатъ: — а тогда итальянецъ другой человѣкъ...

Горунинъ спросилъ что-то на ухо Синичкина, который отвѣчалъ ему шопотомъ:

— Благочинный, Андрей Иванычъ...

— Благочинный! повторилъ Горунинъ съ удивленіемъ, какъ-будто зналъ прежде эту фамилію, и вѣрно вспомнилъ что-нибудь непріятное, потому что измѣнился въ лицѣ и посмотрѣлъ на него такъ, какъ будто думалъ про себя: неужели это и есть Благочинный?

Мало-по-малу, не то, чтобы разговоръ сдѣлался общимъ, но каждый говорилъ что-нибудь, какъ бы только для того, чтобъ говорить. Все какъ-то не вязалось. Перуцци безпрестанно выбѣгалъ отдавать приказанія и посмотрѣть, не подъѣхалъ ли кто: всѣ посматривали на часы, говорили о политикѣ и о кушаньяхъ; господинъ въ бекешѣ разсказывалъ аббату, что онъ былъ въ Римѣ, что въ Римѣ много замѣчательнаго въ разныхъ родахъ... кромѣ того, онъ сообщилъ, что въ лѣтнее время въ Россіи ѣдятъ ботвинью, научилъ его, какъ ее приготовляютъ, присовокупивъ, что она «лучше вашего мороженаго»... Горунинъ ничего не говорилъ, но Синичкинъ, увидя Андрея Ивановича, рѣшился остаться и не ѣхать въ городъ, успокоившись и повеселѣвъ оттого, что есть хоть одинъ порядочный человѣкъ.

— А дамы-то не ѣдутъ, заключилъ протяжно Благочинный.

— Мосьё Перуцци, давайте дамъ, ужь мы здѣсь два часа, подхватилъ Синичкинъ.

— Будутъ, будутъ, отвѣчалъ Перуцци и выглянулъ въ окно, какъ будто дамы такъ и ждутъ его знака.

Небольшое молчаніе.

— А все же ихъ нѣтъ, сказалъ аббатъ, поглядывая на часы.

— А вы то, что! Вамъ зачѣмъ дамы; вѣдь вы того...

должны быть, какъ красная дѣвушка, шутливо замѣтилъ ему Андрей Ивановичъ и засмѣялся.

Аббатъ покраснѣлъ.

— Ну, не бойтесь, продолжалъ Благочинный: — я не донесу!

— Видно, что аббатъ держитъ свой обѣтъ, потому что, какъ вы изволите говорить, замѣтилъ Синичкинъ, почтительно обращаясь къ Андрею Ивановичу:—онъ краснѣетъ, какъ красная дѣвушка.

Плоскій каламбуръ произвелъ эффектъ: Андрей Ивановичъ засмѣялся и дружески и покровительственно пожалъ руку аббату.

Скоро стали пріѣзжать дамы. Сначала появились двѣ: Signora Carolina, высокая, бѣлокурая флорентинка, бывшая въ дружбѣ съ какимъ-то знаменитымъ итальянскимъ поэтомъ и журналистомъ, эмигровавшимъ во Францію; другая— Клара, маленькаго роста, нѣсколько полная, но, не смотря на то, чрезвычайно граціозная брюнетка; черные глаза ея ни на минуту не останавливались на одномъ предметѣ, но разомъ, казалось, обѣгали всю комнату, и каждый, на кого она взглянетъ, чувствовалъ что-то странное, чувствовалъ, что на него смотрятъ, и оборачивался, и ловилъ ея взглядъ, который уже, быстрый какъ молнія, игривый какъ амуръ въ воображеніи греческихъ поэтовъ, перенесся на другого... Въ одно только время можно было смотрѣть ей въ лицо и не чувствовать электричества ея глазъ,—это когда она сложитъ на груди руки, откинется спиною на спинку креселъ или софы, на которой сидитъ, опуститъ свои черныя рѣсницы, погружаясь въ то удивительное спокойствіе, грацію

и прелесть, о которыхъ знали только древніе, и которыя составляютъ принадлежность только итальянокъ: тогда такъ бы и бросился къ ней и сталъ бы страстно цѣловать полуоткрытыя уста, и не далъ бы ей времени открыть глазъ, полусомкнутыхъ подъ обаяніемъ какого-то сладкаго усыпленія...

Послѣ нихъ вошла стройная, высокая женщина, неся въ рукахъ соломенную шляпу, сопровождаемая мелкимъ, дробнымъ хохотомъ маленькаго, сѣденькаго, румянаго и веселаго старичка; этотъ старичекъ былъ почти закрытъ ея бурнусомъ и зонтикомъ, которые онъ держалъ съ какимъ-то подобострастіемъ.

— La nostra bella Maria Grazia! провозгласилъ Перуцци, представляя ей каждаго изъ присутствовавшихъ. Синичкинъ раскланялся съ изысканною граціей, стараясь дать замѣтить хорошее воспитаніе и пріятныя манеры, пріобрѣтаемыя, по его мнѣнію, только въ высшемъ обществѣ; Горунинъ поклонился молча, но непріятное расположеніе духа, съ которымъ онъ пріѣхалъ въ виллу, превратилось просто въ тоску при видѣ Маріи Граціи. Аббатъ сдѣлался чрезвычайно веселъ и съимпровизировалъ четыре стиха, изъ которыхъ два въ биліонный разъ риѳмовали на *cuore* и *amore*, а другіе два на неразлучныя—sorte и morte, неизбѣжныя риѳмы, какъ у иныхъ русскихъ поэтовъ — *кровь* и *любовь*, *Феба* и *неба*, *очи* и *ночи*.

Горунинъ воспользовался минутой, когда Перуцци выбѣжалъ изъ павильона, чтобы отдать приказаніе о подаваніи кушаньевъ, и спросилъ, кто эта дама, что вошла со старичкомъ.

Oh, c'est une belle personne? отвѣчалъ тотъ:—remplie de talents! Она скоро будетъ дебютировать здѣсь въ трагедіяхъ Альфіери. Она уже играла въ Веронѣ и въ Анконѣ и дѣлала фуроре. Ея исторія очень занимательна. Она дочь одного бѣднаго хориста, и у нея есть голосъ, но главное—въ ней трагическій талантъ. Въ обществѣ артистовъ она получила первое развитіе, такъ, сама-собою. Потомъ въ нее влюбился одинъ сицилійскій графъ, и она вышла за него замужъ. Мужъ, извѣстный графъ Rocca Aspra, думалъ довольно облагодѣтельствовать бѣдную дѣвушку тѣмъ, что съ пожертвованіемъ даже своихъ фамильныхъ связей женился на ней, и, разумѣется, не хотѣлъ слышать, чтобъ она играла на сценѣ. Но страсть къ благородному искусству превозмогла все; она бросила мужа, бросила его титулъ, его имя, приняла старую фамилію отца Джузеппе Граціа и бѣжала съ однимъ французомъ; года два училась у знаменитаго Б—ни и прошлаго года дебютировала въ Веронѣ, а потомъ въ Анконѣ. Изъ Флоренціи поѣдетъ въ Римъ, а тамъ ужь въ Миланъ... О, у нея талантъ огромный!

— А этотъ французъ и теперь здѣсь?

— Французъ уѣхалъ давно.

— А этотъ старичокъ, отецъ или, или...

— О, вы не знаете нашихъ обычаевъ. Этотъ старичокъ здѣшній адвокатъ; онъ постоянно при ней находится; влюбленъ въ нее страстно, безнадежно. Впрочемъ, это не мѣшаетъ его природной веселости, и онъ ея ни въ чѣмъ не стѣсняетъ... Если вы сумѣете обратить на себя ея вниманіе... но извините, ей-Богу, меня ждутъ... Вы понимаете, что, приглашая ее, я не могъ не пригласить и адвоката;

она любитъ общество умныхъ людей, а адвокатъ долженъ же ее проводить...

Перуцци сдѣлалъ граціозный знакъ рукой Горунину, съ улыбкой склонилъ голову и побѣжалъ-было мелкими шагами отдавать приказанія, но опять вернулся на минутку, чтобы сказать Горунину съ таинственнымъ видомъ:

— Кажется, аббатъ къ ней неравнодушенъ, потому что выпытывалъ отъ меня, будетъ ли она...

Съ этими словами онъ исчезъ.

Горунинъ, преисполненный уваженіемъ къ этой, по его мнѣнію, необыкновенной личности, устремилъ задумчивый взглядъ на павильонъ, на балконъ котораго вышла прекрасная Марія Граціа. Оправляя свои густые черно-сизые волосы, причесанные à l'antique, она говорила съ Синичкинымъ, который, видно было по лицу, осыпалъ ее комплиментами и былъ ими очень доволенъ, подергивая отъ времени-до-времени жилетъ и выставляя на солнце свои палевыя перчатки.

— Да, это жизнь! говорилъ Горунинъ самъ съ собою:— мужа бросила, отдалась искусству... сила-то какая!..

Увидя Синичкина, Горунинъ однако, подумалъ, что жаль, что нѣтъ Тарнѣева, что, жаль, что Тарнѣевъ ведетъ себя какъ чушка, а то бы, можетъ быть, не далъ бы этому молодчику восторжествовать надъ сердцемъ прекрасной Граціи. Себѣ же, отъ привычки уничтожаться передъ личностями, которыя считалъ выше своей, онъ не позволялъ и думать вступить въ соперничество, хотя и имѣлъ такія же бѣлыя перчатки и чувствовалъ, что онъ умнѣе Синичкина. Припомнивъ однако, что надобно же «жить и веселиться»,

и главное «ловить настоящее», онъ сообразилъ, что другая дама, Клара, не внушаетъ къ себѣ такой робости, и что у нея въ лицѣ удивительное выраженіе доброты.

Рѣшено было не ждать Тарнѣева, тѣмъ болѣе, что пріѣхали еще двѣ дамы, и потому сѣли за столъ. Синичкинъ сѣлъ подлѣ Маріи Граціи.

Разговоръ за столомъ сначала былъ общій; говорили любезности дамамъ, съ помощью французскаго языка, который хорошо знала Марія Граціа; по итальянски Синичкинъ и Горунинъ объяснялись довольно порядочно. Было довольно живо: Синичкинъ сказалъ нѣсколько удачныхъ фразъ; адвокатъ пустилъ въ ходъ нѣсколько анекдотовъ, аббатъ доходилъ иногда до пафоса. Дамы смѣялись... Но мало-по-малу разговоръ и остался за ними, за итальянцами и за Синичкинымъ; а Горунинъ впалъ въ меланхолію, разсуждая о жизни, объ успѣхахъ Синичкина, объ отсутствіи Тарнѣева, наконецъ, о своей неспособности веселиться, тѣмъ болѣе, что вниманіемъ его дамы овладѣлъ адвокатъ, разсказывавшій ей какую-то исторію, которая тогда была въ ходу въ городѣ Флоренціи, объ одной англичанкѣ, похитившей какого-то юношу. Такъ силою обстоятельствъ долженъ былъ завязаться разговоръ у Горунина съ Андреемъ Ивановичемъ.

— Давно вы въ Италіи? спросилъ Благочинный.

Съ полгода.

— А вы не служите?

— Нѣтъ.

— Напрасно... въ ваши лѣта бы и дѣлать карьеру...

Горунинъ воспользовался макаронами, которыя ему по-

дали, чтобы перейти къ другому предмету, а отъ макаронъ къ національности итальянцевъ вообще—одинъ шагъ. При этомъ онъ замѣтилъ, что Андрей Ивановичъ, по его мнѣнію, ошибался въ своемъ сужденіи насчетъ итальянцевъ,—что въ нихъ, кромѣ энтузіазма, много энергіи,—что, наконецъ, по его мнѣнію, никто такъ не терпѣливъ въ достиженіи разъ задуманной цѣли. Онъ привелъ въ примѣръ великихъ художниковъ, которые терпѣли всѣ лишенія, стремясь къ цѣли своего искусства.

— Вотъ этого-то элемента, этой энергіи, заключилъ онъ:—нѣтъ въ насъ, — этого элемента, который былъ въ Микель Анджело, въ Сикстѣ Пятомъ...

Это очень обидѣло Благочиннаго, и справедливо.

— Въ нашемъ народѣ нѣтъ энергіи? говорилъ онъ. — Да такая, батюшка, энергія, что дай Богъ другому кому. Что вы берете какихъ-нибудь выскочекъ — Сикстъ Пятый или Шестой...

— А Галилей... да этихъ выскочекъ не перечтешь...

— Что Галилей! Я вамъ покажу такихъ Галилеевъ въ нашихъ мужичкахъ. Да вотъ какъ. Объясните-ка мнѣ, что жь это такое, какъ не сила, даже баснословная сила.

Замѣтивъ, что Синичкинъ начинаетъ прислушиваться къ ихъ разговору, Благочинный возвысилъ голосъ и сталъ разсказывать...

— Въ деревнѣ у сосѣда было. Небольшая деревенька: душъ пятьдесятъ; сторона лѣсная, въ Костромской губерніи, знаете, ближе къ Вятской. Были три мужика, три брата. Промышляли они, какъ и всѣ, знаете, звѣремъ; ходили на медвѣдя; съ ружьемъ ходили, съ рогатиной. Разъ

середній братъ пошелъ одинъ, да и младшаго взялъ, который на медвѣдя-то, знаете, еще не хаживалъ. Взялъ ружье, топоръ за поясъ—безъ топора русскій мужикъ не выходитъ изъ дому. Пошли. Ну, напали на звѣря: звѣрь *престрашенный*: всталъ на заднія лапы да прямо на нихъ. Мужикъ, середній-то братъ, выстрѣлилъ — мимо! Медвѣдь на него. Нечего и думать опять заряжать; топоръ-то онъ, знаете, тоже какъ на зло, обронилъ. Медвѣдь на него: онъ ни шагу назадъ, выставилъ кулакъ впередъ и ждетъ, и какъ голубчикъ подошелъ, онъ ему въ горловину-то всю руку: «На, Михайло Ивановичъ, подавись», говоритъ. Младшій-то братъ совсѣмъ оторопѣлъ; ружья у него не было; руки такъ и опустились съ топоромъ вмѣстѣ. Братъ-то и кричитъ ему: «Что жь стоишь! Огрѣй его по головѣ, да обухомъ валяй, да—говоритъ, мѣть по головѣ, а то шкуру пропорешь». А медвѣдь знаетъ себѣ мнетъ руку-то. Тотъ опомнился и пошелъ его колотить: ну, и убилъ. Такъ вотъ-съ гдѣ ищите энергіи. А выпусти вашего Галилея...»

— Вы, кажется, что-то очень интересное разсказываете, чего мы не понимаемъ, сказала Марія Граціа.

— Прекрасная синьора, отвѣчалъ разсказчикъ съ улыбкой: — гдѣ вы, тамъ только одно можетъ быть интересно: это вы... А я, такъ, разсказывалъ, какъ у насъ одинъ мужичокъ убилъ медвѣдя.

— Это должно быть очень интересно... Мы же совсѣмъ не знаемъ вашего отечества... продолжала Граціа.

— Фи, какія страшныя вещи! воскликнули другія дамы.

— Я боюсь васъ напугать, а то бы повторилъ свой разсказъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я боюсь ужасовъ! воскликнула Клара.

— Нѣтъ, разскажите.

Дамы раздѣлились на двѣ партіи: однѣ требовали повторенія разсказа, другія—нѣтъ.

— Я не уступлю, говорила одна сторона.

— И я не уступлю, настаивала другая.

— Ну, какъ же быть, чтобъ всѣмъ угодить? говорилъ, самодовольно посмѣиваясь, Благочинный, польщенный тѣмъ, что сдѣлался предметомъ спора хорошенькихъ женщинъ. «Какъ же быть?.. Ну, вотъ: въ которой рукѣ шарикъ?»

— Въ правой.

— Ну, разсказывать! Хе-хе-хе!.. Вотъ видите ли, у сосѣда моего былъ мужичекъ...

— Я не хочу слушать, я запрещаю вамъ говорить, кричала Клара:—у меня нервы слабы.

— Нѣтъ, говорите, говорите... Мы разсердимся, если вы не разскажете...

— Былъ одинъ мужичекъ... продолжалъ Благочинный.

— Ну, я встану, я уйду, говорила капризная Клара, опрокидывая стулъ:—а вы разсказывайте, сколько хотите, о медвѣдяхъ... e di tanti brutti diavoli...

Она встала изъ-за стола, а за нею всѣ, потому что обѣдъ былъ конченъ, на лугу разостланъ коверъ подъ тѣнью деревьевъ: тамъ ожидали компанію плоды въ корзинахъ, обвитыхъ гирляндами цвѣтовъ и замороженныя въ серебряныхъ вазахъ бутылки шампанскаго.

— Былъ одинъ мужичокъ, повторилъ Благочинный, подавая руку Маріи Граціи, чтобы вести ее въ садъ.

Въ это время дверь съ шумомъ растворилась и, весь

въ пыли, съ хлыстомъ въ рукахъ и безъ всякихъ надлежащихъ приготовленій, чтобы войти въ общество, явился Тарнѣевъ.

— А, вы меня не ждали?.. И прекрасно сдѣлали, что не ждали. Прошу извинить меня, сказалъ онъ дамамъ:—я непростительно виноватъ передъ вами... но что дѣлать! Увлекся. Чтобы поправить дѣло, я скакалъ все время маршъ-маршемъ, и думаю, принесъ вамъ, mesdames, въ жертву бѣднаго моего Россинанта... Кромѣ шутокъ, я думаю, кляча не выдержала русской ѣзды.

Служитель объявилъ, что лошадь не дышитъ. Тарнѣевъ оставилъ общество и, ругая слабосильную тварь, вышелъ посмотрѣть на несчастную лошадь. Видя, какъ бѣдное животное вытянуло ноги, откинуло голову и повременамъ судорожно вздрагивало, онъ потеръ ей носъ; обрѣзалъ подпруги, но видя, что ничто не помогаетъ, махнулъ рукой.

Извѣстіе о замученной лошади подѣйствовало непріятно на все общество: Синичкинъ сдѣлалъ ироническую выходку противъ дурного обращенія съ животными, намекая на то, что это показываетъ дурное сердце и, ужь Богъ знаетъ почему, неспособность питать высокое чувство истинной привязанности къ женщинамъ. Горунинъ отвелъ Тарнѣева, желая дать ему почувствовать всю нечеловѣчность его поступка, и сказалъ: «Какъ это вы, батюшка! Какъ это въ самомъ дѣлѣ вести себя совсѣмъ какъ прилично какому-нибудь варвару?..»

Но Тарнѣевъ не слушалъ; онъ быстро познакомился со всѣми дамами и умѣлъ даже обратить въ свою пользу непріятное расположеніе всѣхъ къ нему по случаю загнанной

лошади. Онъ налилъ всѣмъ шампанскаго и провозгласилъ тостъ за упокой души его Россинанта, говоря, что онъ долженъ почтить его память маленькой трогательной рѣчью.

— «Ты палъ, говорилъ онъ;—о непрекраснѣйшій и небыстрѣйшій изъ коней! Ты палъ подъ ударами варвара, потомка тѣхъ варваровъ, которые *съ шумомъ и яростью* устремились на западную римскую имперію! И твой добрый хозяинъ, который далъ тебя, чтобы услужить неизвѣстному страннику, оплачетъ тебя и потребуетъ за тебя денегъ, и не будетъ болѣе посылать тебя въ городъ за какимъ-нибудь добрымъ знакомымъ, который въ благодарность за то строилъ бы куры его женѣ... А Анунціата его очень недурна, и cousin ея, за которымъ сегодня поутру посылали Россинанта, очень недуренъ и плутъ большой... Но мнѣ ли исчислять твои достоинства, описывать горесть твоего хозяина и радость его получить за твою шкуру втрое болѣе, чѣмъ ты самъ стоилъ при жизни твоей?! Мнѣ ли, говорю, описывать это, въ присутствіи особы (указывая на аббата), которая, можетъ быть, краснорѣчіемъ своимъ изображала чуть не великими людьми тварей менѣе тебя достойныхъ...»

Тостъ былъ выпитъ съ громкимъ хохотомъ и аплодисментами. Осушивъ свой бокалъ, Тарнѣевъ сказалъ, что онъ хоть и шутилъ, а все же ему жаль бѣдной скотины.

За этимъ тостомъ послѣдовали другіе. Потомъ раздались звуки оркестра; несмотря на то, что, по распоряженію Перуцци, тотчасъ послѣ обѣда оркестръ долженъ былъ играть разныя мѣста изъ оперъ, Тарнѣевъ потребовалъ сальтареллу. Мигомъ превратилась его кватрочента въ куртку; онъ подогнулъ на бокъ свою широкую шляпу... какъ-будто

по какому-то волшебному призыву, Марія Граціа явилась передъ нимъ, полная блеска, полная жизни, граціозная и въ быстротѣ пляски, и въ спокойныхъ па. Глядя на эту ловкую пару, на этотъ огонь въ глазахъ Тарнѣева, какъ у придворнаго итальянскаго кампаньола, адвокатъ, думавшій посидѣть спокойно послѣ обѣда, плясалъ, сидя на мѣстѣ, постукивалъ ногами въ тактъ и подергивалъ плечами. «Молодецъ, молодецъ!» восклицалъ онъ... «Oh, corpo di Bacco! настоящій транстеверинецъ, какъ я видалъ ихъ въ Дженсала, въ моемъ путешествіи въ Римъ... двѣнадцать лѣтъ тому назадъ». Одна дама, Лоренцина, увлекшись своимъ роднымъ танцемъ, схватила адвоката, и онъ сталъ работать глазами, плечами и ногами, какъ юноша. За ними, въ какомъ-то безумномъ увлеченіи, послѣдовали всѣ другіе; даже Горунинъ не могъ отдѣлаться отъ донны Клары. Не плясали только аббатъ, Синичкинъ и Андрей Ивановичъ: аббатъ—потому что онъ аббатъ; Синичкина не могли уговорить потому, что явленіе Тарнѣева произвело на него непріятное впечатлѣніе. Тарнѣевъ—говорилъ онъ съ искреннимъ сожалѣніемъ—кончитъ тѣмъ, что превратитъ истинно боккачіевское общество въ безобразную оргію Лукреціи Борджіа; даже дамы понизились очень въ его мнѣніи, потому что смѣялись остротамъ Тарнѣева; особенно бѣсили своими восклицаніями, по его мнѣнію, глупыми и неумѣстными, добрый адвокатъ, который говорилъ о Тарнѣевѣ, что у него голова геніальная, что самъ онъ, Signor Gianni, нѣсколько лѣтъ не можетъ объяснить своихъ искреннихъ чувствъ къ Маріи Граціи, а онъ объяснился почти въ любви со всѣми. Къ довершенію окончательной побѣды надъ адвокатомъ, Тар-

нѣевъ показалъ ему фокусъ — разомъ завязать изъ платка узелъ въ двѣ петли, чего тотъ никакъ не могъ понять. Андрей Ивановичъ, разумѣется, не танцовалъ... Онъ спокойно и въ пріятномъ расположеніи духа подошелъ къ краю террасы и, любуясь видами, воображалъ о томъ, какой эффектъ произведетъ его анекдотъ о мужикѣ, который онъ намѣренъ былъ разсказать, улучивъ минуту, и о томъ, что сегодня въ первый разъ въ Италіи удалось ему хорошо пообѣдать, потому что въ отеляхъ подаютъ ужасную дрянь. «А за то, продолжалъ онъ, потирая руки:—теперь и отдохнуть бы не мѣшало». Въ такомъ самомъ счастливомъ расположеніи духа, онъ оглянулся назадъ и сталъ разсматривать дамъ. Взглядъ его остановился на Маріи Граціи, которая, ощипывая листки розы, занялась съ Тарнѣевымъ рѣшеніемъ какого-то вопроса, вѣроятно, о любви.

«Добро, добро, ври пока! подумалъ Андрей Ивановичъ, глядя на Тарнѣева:—не тѣмъ, братъ, имъ понравишься... Чай, тутъ-то свищи!»

Благочинный поднесъ руку, не знаю, къ сердцу ли, или къ боковому карману, въ которомъ лежалъ туго-набитый бумажникъ.

— Любите... всѣмъ сердцемъ... всей душой... такъ... немного... нисколько... говорила Марія Граціа:—видите, цвѣтокъ говоритъ правду.

— Можетъ быть, онъ еще не успѣлъ узнать правды, потому что... вотъ видите, я не знаю, отчего это все, что случается въ моей жизни, не похоже одно на другое, не похоже на то, что случается съ другими... Встрѣча съ вами вчера я васъ не зналъ; завтра, можетъ быть, забуду, но:

сегодня я всего какихъ-нибудь три часа съ вами, и клянусь, люблю васъ со всѣмъ жаромъ первой любви.

— Будто бы и первой любви?!..

— По крайней мѣрѣ для васъ я готовъ на всевозможные подвиги, на всякія глупости.

— А вы такъ прямо и называете глупостями подвиги во имя любви?

— Такъ обыкновенно называютъ ихъ, особенно говоря о первой любви. Возьмите-ка юношу, который въ первый разъ любитъ, и разсмотрите, что онъ чувствуетъ, какъ онъ чувствуетъ: вы найдете, что онъ никогда, можетъ быть, не будетъ такъ благороденъ, такъ великъ, какъ тогда... Конечно, когда мы становимся старше, намъ смѣшно видѣть первую любовь въ другихъ, но оттого она и смѣшна, и глупа намъ кажется, что сами мы чувствовали то же, и знаемъ, что все, что кажется влюбленнымъ вѣчностью, пройдетъ, и ничего не выйдетъ изъ плановъ, на которые потрачено много благородства и сердца... Но я не знаю, отчего я никогда не стыжусь своихъ прошедшихъ чувствъ и своей первой любви, когда мнѣ было всего шестнадцать лѣтъ.

— Да, первая любовь! Первая любовь! Отъ нея много зависитъ въ жизни! повторила Марія Граціа, какъ бы припоминая свою первую любовь.—А можете ли вы разсказать вашу первую любовь?

— Тутъ нечего разсказывать; тутъ фактовъ нѣтъ—одно чувство; съ этимъ чувствомъ я могу только сравнивать то чувство, которое бываетъ послѣ, напримѣръ, теперь.

— Однакожь, какой видъ, какой характеръ былъ этой

первой любви?.. Я думаю, въ вашей первой любви было много поэзіи...

— Отчего это?

— Такъ я думаю.

— Напротивъ, голая проза. Я, пожалуй, вамъ разскажу, хоть тутъ нѣтъ ничего занимательнаго. Это было еще въ деревнѣ. Отецъ мой не выѣзжалъ изъ своего помѣстья, и до шестнадцати лѣтъ я жилъ при немъ. Въ это время я умѣлъ только читать, и то училъ приходскій дьячекъ. Но это меня и не занимало, потому что у меня на умѣ было только, какъ бы уйти въ лѣсъ ловить птицъ, или за грибами; зимой, какъ бы на лыжахъ по сугробамъ уйти разставлять капканы для лисицъ и зайцевъ, а лѣтомъ—какъ бы урваться на рѣку, ловить рыбу... У насъ рѣки удивительныя, а наше имѣнье чрезвычайно живописно: оно стоитъ на обрывистомъ берегу, а съ другой стороны мелководье; весной на полверсты зальетъ поля и цѣлыя деревни... вотъ раздолье! У отца моего былъ дворовый человѣкъ, а у него дочь, годами двумя меня моложе. Она хоть и была какъ всѣ крестьянскія дѣвочки, но отличалась отъ нихъ тѣмъ, что была немного избалована у насъ въ домѣ и ужь выросла въ нѣкоторой роскоши. Мы съ ней часто играли, ходили за грибами; я ей дѣлалъ игрушки, мы говорили по цѣлымъ вечерамъ... Но, что странно, въ лѣсу, или когда мы были въ комнатахъ одни, я никогда не смѣлъ ее поцѣловать...

— Вотъ это-то вы теперь и называете глупостью первой любви?

— Конечно, и въ этомъ отношеніи дѣйствительно первая

любовь глупа... Такъ давно ужь продолжалась эта любовь, какъ разъ въ темномъ коридорѣ я ее встрѣтилъ одну... Ужь не помню, какъ это случилось, я ее обнялъ, какъ будто впился въ нее поцѣлуемъ. Меня била лихорадка. Я ничего не могъ говорить. Вдругъ идетъ отецъ. Мы стояли, какъ окаменѣлые, она заплакала. Мой отецъ строго смотрѣлъ, чтобъ я не баловался съ дѣвчонками... Я объявилъ, что я хочу жениться на этой дѣвушкѣ. Это была моя первая выходка; отца я ужасно боялся. Онъ взбѣсился. Сейчасъ позвалъ старика-служителя и отослалъ его въ дальній нашъ лѣсной боръ лѣсничимъ. Вотъ тутъ-то, собственно говоря, и началась любовь. Я еще, бывало, до свѣта уйду изъ дома въ этотъ боръ, верстъ за десять отъ усадьбы, иногда пѣшкомъ, иногда верхомъ, въ дождь, въ грязь, спѣшу на условное мѣсто, чтобы къ обѣду домой вернуться. Я какъ теперь помню это мѣсто, при самой опушкѣ сосноваго бора. Ахъ, синьора, вы себѣ представить не можете, что̀ такое наши лѣса, и именно сосновый боръ! Въѣдешь въ него какъ въ особое царство; темно, и шумитъ боръ далеко, далеко; если нѣтъ и вѣтру, все равно: въ немъ какъ-будто какая-то музыка... Стоишь по цѣлымъ часамъ и слушаешь... и вдругъ какъ-будто страшно станетъ, какой-то ужасъ найдетъ, и побѣжишь безъ оглядки, безъ памяти, пока не выбьешься изъ силъ и не остановишься: сердце бьется; точно убѣжалъ отъ опасности... и только какъ опомнишься, станетъ смѣшно и легко, и опять вернешься... удивительные лѣса! Ничего подобнаго нѣтъ въ мірѣ!..

— Какъ вы живо чувствуете! Какъ вы любите природу! сказала Марія Граціа, смотря съ возрастающимъ внима-

ніемъ на Тарнѣева. — И то сказать, что мы, итальянцы, только себѣ приписываемъ возможность поэтическаго чувства!

— Да, отвѣчалъ Тарнѣевъ въ раздумьѣ: — этихъ лѣсовъ никогда не забуду!

— Что же любовь ваша?

— Любовь?.. Да что же? Больше ничего. У насъ были свиданія въ этомъ лѣсу. Я носилъ ей гостинцевъ; она собирала мнѣ землянику... Мы ходили, ходили, сидѣли говорили... были и поцѣлуи... но только поцѣлуи... Она была дѣвочка миніатюрная, немножко блѣдная брюнеточка, съ черными глазами... Какъ ужь я сталъ часто отлучаться изъ дому, отецъ вспомнилъ, что пора меня учить, и отправилъ въ Петербургъ... Тѣмъ любовь наша и кончилась.

— А долго ли вы ее потомъ помнили?

— Нѣтъ, скоро позабылъ; а потомъ ужь никогда и не вспоминалъ.

— Къ сожалѣнію, не всѣ любви кончаются такъ... отвѣчала со вздохомъ Марія Граціа: — Другія любви, то-есть, не первая любовь, часто переходятъ въ ненависть. Я бы вамъ разсказала одинъ случай, который, я знаю, окончился ненавистью, и пожалуй, обоюдной. Мнѣ даже хочется это разсказать... Я даже не могу объ этомъ не говорить, потому что это меня давитъ, мучитъ... Рѣдко тѣ, которые любили другъ друга, расходятся друзьями, а это бы должно быть такъ... Вотъ видите, это одно изъ лицъ, которыя здѣсь...

— И кого вы любили?

— Да.

— Кого же это?

— Такъ, одинъ человѣкъ... впрочемъ, отчего же и не сказать... вотъ смотрите тотъ, который такъ слѣдитъ за мной, который бѣсится отъ ревности, что я говорю съ вами

Тарнѣевъ обвелъ глазами все общество.

— Неужели Благочинный? спросилъ онъ, видя Андрея Ивановича, который въ послѣобѣденномъ расположеніи духа. не могъ оторваться отъ созерцанія красотъ Маріи Граціи.

— Нѣтъ!.. Другой... смотрите сюда... онъ сидитъ подлѣ вашего товарища, Горунина, и не слушаетъ, что тотъ говоритъ ему...

— Аббатъ!!..

— Да, дайте мнѣ руку, сойдемте въ садъ; я разскажу вамъ одинъ эпизодъ изъ его жизни... и моей...

Они хотѣли было сойти съ лѣстницы на нижнюю терасу, какъ вдругъ раздался громкій, веселый хохотъ донны Клары, которая звала къ себѣ Марію Грацію, Тарнѣева и всѣхъ.

— Ай, ай! кричала она: — мертвецы, мертвецы! Привидѣніе! Сюда, сюда! Аббатъ!

Съ появленіемъ Тарнѣева аббатъ какъ-то потерялъ свою прежнюю веселость: онъ сѣлъ въ отдаленіи на дерновую скамью и слѣдилъ съ негодованіемъ, какъ Марія Граціа оказываетъ столько вниманія этому чужестранцу. Горунинъ, симпатизируя задумчивости аббата, приблизился къ нему, завелъ свой любимый разговоръ и пустился въ анализъ душевныхъ ощущеній.

— Въ нашъ вѣкъ, говорилъ онъ:—анализъ довелъ насъ до совершеннаго уничтоженія возможности жить и наслаждаться: онъ въ насъ убилъ *плоть*, то-есть, живость чувства, которую не могъ убить синтезъ. Въ самомъ дѣлѣ, я

слѣдилъ за своимъ вѣкомъ! Я могу назвать себя сыномъ вѣка... но что я такое? скелетъ! Я хорошо понимаю, что я отжилъ, не живши; развитіе ума опередило развитіе чувства; я мертвецъ передъ юношей полнымъ жизни; я мертвецъ передъ старикомъ, который видитъ за собою пройденную жизнь... Я мертвецъ въ отношеніи ко всему, что чувствуетъ, наслаждается...

Донна Клара безпрестанно подбѣгала то къ аббату, то къ Горунину, вызывая ихъ на разныя затѣи; наконецъ, видя безуспѣшность своихъ усилій, она остановилась сзади ихъ скамьи и слушала ихъ разговоръ. Изъ него она поняла только то, что Горунинъ называлъ себя мертвецомъ; это ей показалось ужасно смѣшно, и она подняла страшную тревогу.

Всѣ окружили ее и Горунина съ аббатомъ.

— Представьте себѣ, говорила Клара: — представьте себѣ, онъ говоритъ, что онъ уже когда-то жилъ, что онъ мертвецъ, что онъ... изъ гроба вышелъ... что въ двѣнадцать часовъ, какъ пропоютъ пѣтухи, изъ земли подымется пламя и сѣрный дымъ, и онъ разсыплется какъ песокъ! Каковъ? Да это просто ужасъ!

Горунинъ хотѣлъ-было протестовать, что онъ не совсѣмъ такъ говорилъ, но женщины осадили его со всѣхъ сторонъ.

— Я въ этомъ не сомнѣвалась, говорила одна.

— Я тоже, говорила другая: — но я не думала, чтобы мертвецы были такіе страшные!

— Вы изъ ада, или изъ чистилища? Что тамъ дѣлаютъ наши знакомые?..

— Что мой мужъ?

— Что̀ мой дядя, который завѣщалъ мнѣ только фиговое дерево?

— Мой Дженнаро?

— А мой лордъ Гамберстонъ? Ха! ха! ха!..

— Да поворачивайся, разсказывай, житель мрака! Или хочешь вина? О, мы расшевелимъ и покойныхъ!..

— Онѣ становятся настоящими Менадами, замѣтилъ Сничкинъ:—пожалуй, растерзаютъ Горунина, какъ Орфея...

— Э, синьоръ, отвѣчалъ адвокатъ, махнувъ рукой:— ужь женщины у насъ такія: либо спятъ, какъ сурки, либо развозятся, какъ черти!

Перуцци, видя, что Горунинъ оглушенъ и озадаченъ, предложилъ тостъ въ честь крылатаго божка, но его не слушали.

Тарнѣевъ не могъ снести серьезной мины Горунина и кричалъ ему съ сердцемъ:

— Да ты шути, смѣйся!

— Нѣтъ, Тарнѣевъ, отвѣчалъ Горунинъ, тронутый его участіемъ:—я не могу расходиться!

— Ну, напугай ихъ, по крайней мѣрѣ, какъ мертвецъ!

Горунинъ собирался завопить гробовымъ голосомъ, подражая мертвецамъ, которыхъ видалъ въ операхъ, но у одной изъ женщинъ, Каролины, мелькнула новая идея.

— Знаете ли что̀, воскликнула она: — въ старину, говорятъ, мертвецовъ убирали цвѣтами и ставили за столъ, когда хотѣли веселиться... Клара! Дай сюда гирлянды!.. Перуцци, ты антикварій: какъ это дѣлается!

— Дайте мнѣ, я увѣнчаю нашего задумчиваго жителя могилъ, перебила Клара, которой стало жаль смущеннаго

Горунина.—Зачѣмъ вы такъ скучны, говорила она, вѣнчая его гирляндами:—постойте же, я возьмусь за васъ! Смѣйтесь же, будьте умный мертвецъ...

— Какъ вы добры, произнесъ тронутый Горунинъ.

— То-то же! Слушайтесь меня, я васъ развеселю, тѣнь холодная! Расшевелю васъ, милый прахъ! Уберу какъ живого! Вы будете самая живая смерть!..

Горунинъ улыбался и чувствовалъ даже нѣкоторое удовольствіе, когда рѣзвая Клара поставила его на колѣни и своими бѣло-мраморными руками убирала его голову и касалась его лба; и слышалъ онъ ея горячее дыханіе, и прикасался ея платья, даже слышалъ біеніе ея сердца: такъ близко отъ его уха былъ корсетъ прекрасной Клары, обрисовывавшій роскошный станъ и тепло-воздымающуюся грудь. Онъ признался самъ себѣ, что былъ дѣйствительно глупъ съ своей меланхоліей, что не умѣлъ разомъ сообразить своего положенія, между тѣмъ какъ въ этомъ-то умѣньѣ и состоитъ умѣнье жить: «надо наслаждаться активно—говорилъ онъ—а не пассивно»! но и это пассивное наслажденіе жизнью было для него уже много: онъ какъ будто ожилъ, точно выходя изъ обморока и усыпленія, подъ прикосновеніемъ бѣлыхъ рукъ, слыша трепетъ сердца и чувствуя на лицѣ своемъ горячее дыханіе красавицы. Подавленный этимъ впечатлѣніемъ, онъ дѣйствительно походилъ на скелетъ древнихъ эпикурейцевъ, неподвижный посреди кружка неистово и бѣшено пляшущихъ вакханокъ: Каролина, Лоренцина увлекли и другихъ дамъ, и Перуцци, и даже Андрея Ивановича, и при звукахъ музыки, съ громкими восклицаніями, вся эта толпа кружилась около блѣд-

наго Горунина, не понимающаго, что съ нимъ дѣлается, но повторяющаго про себя:

— Вотъ это жизнь!..

Марія Граціа и Тарнѣевъ смотрѣли на эту сцену. Тарнѣеву показалось, что Горунинъ глубоко страдаетъ. Марія Граціа тоже смотрѣла на него не безъ участія.

— Кажется, вашъ пріятель совсѣмъ нерасположенъ къ этой шуткѣ, сказала она: — освободите его: онъ, право, жалокъ.

Тарнѣевъ бросился къ толпѣ.

— Нѣтъ, господа! воскликнулъ онъ:—нѣтъ, наша смерть нехороша! Дай мнѣ гирлянды, Горунинъ: я буду смертью!

И онъ снялъ гирлянды съ Горунина и накрылся скатертью какъ саваномъ. Горунинъ еще такъ сильно находился подъ обаяніемъ своей раздраженной чувственности, что уступилъ цвѣты Тарнѣеву почти съ сожалѣніемъ, думая про себя:

«Вотъ, только что было пошло дѣло на ладъ... онъ все испортилъ».

— Я ваша смерть, произнесъ Тарнѣевъ глухимъ голосомъ: — и вы всѣ въ моей власти!.. Если кто хочетъ отъ меня избавиться, тотъ да поцѣлуетъ мои холодныя уста!

И онъ пошелъ цѣловать женщинъ, которыя ему говорили, что онъ «сладкая смерть», другія, что онъ «гадкая смерть».

Видя, что «неумолимая» смерть приближается и къ Маріи Граціи, аббатъ вскочилъ съ своего мѣста, какъ бы ожидая громового удара. Глаза его сверкали, губы дрожали.

— Аббатъ хочетъ импровизировать! провозгласилъ адвокатъ, страстно любившій поэзію: — по его глазамъ, по его вздымающимся ноздрямъ, какъ у Аполлона Бельведерскаго, — я предчувствую, что на него находитъ вдохновеніе...

Это было сигналомъ новаго удовольствія: женщины бросились на новую жертву. Онѣ окружили аббата, требуя импровизаціи; всѣ предлагали свои темы; отказаться было не возможно; не смотря на всѣ усилія избавиться отъ импровизаціи, аббатъ долженъ былъ взять гитару. Адвокатъ спряталъ свой платокъ, изъ котораго силился завязать узелъ, показанный ему Тарнѣевымъ, и усаживалъ всѣхъ, говоря шопотомъ:

— Слушайте, слушайте... это просто сынъ Аполлоновъ.

Аббатъ сдѣлалъ прелюдію и началъ:

Изидинъ жрецъ въ Египтѣ жилъ,
Святымъ въ народѣ онъ прослылъ,
За то, что грѣшную природу
Онъ умертвилъ въ себѣ какъ могъ,
Питался желудьми, пилъ воду
И весь какъ мумія изсохъ.
«Учитесь—онъ вѣщалъ народу—
Я жилъ средь васъ; я посѣщалъ
Вертепы роскоши порочной,
И явствъ, и питій искушалъ
Себя я запахомъ нарочно.
Смотрѣлъ на пляски нашихъ дѣвъ,
Коварный слушалъ ихъ вапѣвъ,
Съ мѣшкомъ, набитымъ туго златомъ,
Ходилъ по рынкамъ я богатымъ,—
Но нѣтъ, ни крови, ни глазамъ,
Души своей въ соблазнъ я не далъ:

И женъ, и винъ тщету я вѣдалъ
И злато бросилъ нищимъ псамъ.
И, чистъ какъ духъ, иду я нынѣ,
Чтобъ съ Богомъ говорить въ пустынѣ.
И онъ пошелъ; и позабылъ
Весь градъ отшельника святого;
Въ пустынѣ онъ два года жилъ
И не видалъ лица живого.

На третій годъ разъ вспомнилъ онъ,
Какія зрѣлъ онъ вина, брашны,
Какъ былъ однажды приведенъ
Къ сатрапу онъ на искусъ страшный:
Жгли ѳиміамъ; чертогъ сіялъ;
Сатрапъ въ подушкахъ возлежалъ:
Предъ нимъ лезбіянка плясала,
Кидая въ воздухъ покрывало,
Къ сатрапу бросилась потомъ
И кубокъ поднесла съ виномъ:
Ея обнявъ, отпивъ изъ кубка,
Ее поилъ онъ, и въ уста
Ее лобзалъ, и какъ голубка
Къ нему ласкалась красота...
Смутился жрецъ, удвоилъ бдѣнье
И изнурительность поста.
Но что жь? Въ его воображеньи
Какъ будто выжженъ ясный ликъ,—
Вездѣ гречанка молодая...
И кость въ немъ сохнетъ, изнывая,
Глаза въ крови, горитъ языкъ,
Косматый, рыщетъ онъ въ пустынѣ
Какъ чумный звѣрь, вопитъ, реветъ,
Въ пескѣ катаясь, міръ клянетъ
И въ ярости грозитъ богинѣ...

Разъ у ручья онъ между скалъ
Въ росистый вечеръ возсѣдалъ
Синѣла степь... изъ степи синей
Какъ будто музыка неслась,
И съ тихой свѣжестью пустыни
Отрада въ грудь его лилась.
Въ семъ дальнемъ гулѣ, ужь два года,
Доселѣ слышалъ онъ слова
И видѣлъ образъ божества.
«Богиня жизни, мать-природа!»
Теперь онъ стонетъ... «Пощади!
За то, что я софизма силой
Съ тобой связующія жилы
Хотѣлъ порвать въ своей груди—
Пылаетъ мозгъ во мнѣ, кичливый
Своею логикою лживой...
Ужель нѣтъ легче казни мнѣ
Чѣмъ таять въ медленномъ огнѣ,
Блестящимъ призракомъ плѣняться,
Въ немъ видѣть чудо красоты,
Желаньемъ пламеннымъ терзаться,
Смотрѣть на милыя черты
И изучать ихъ совершенство,
Знать, гдѣ и что мое блаженство.—
И только думать про себя:
«Нѣтъ, нѣтъ, оно не для тебя!»

Послѣдніе стихи сильно потрясли импровизатора; онъ бросилъ гитару и быстрыми, неровными шагами отошелъ къ терасѣ: тамъ, облокотивъ голову на обѣ руки, онъ пробылъ нѣсколько минутъ почти въ безчувствіи. Его болѣзненный видъ удержалъ аплодисменты, которыми всѣ готовы были его осыпать... Только Горунинъ подошелъ къ нему и, молча, съ большимъ чувствомъ пожалъ ему руку.

— Я васъ понимаю, сказалъ онъ: — въ вашей импровизаціи я умѣлъ различить ваши собственные стоны.

— Какъ онъ скоро кончилъ, сказала Клара: — что же потомъ было съ этимъ жрецомъ?..

— Это я вамъ скажу, отвѣчалъ Тарнѣевъ: — жрецъ возвратился въ городъ... нѣтъ, позвольте, попробую стихами...

Прошли года. Въ Изидинъ храмъ
Текли, какъ прежде, богомольцы
Внимать оракула словамъ
И покупать запястья, кольца,
Заклятья противъ злыхъ бѣсовъ.
Мудрѣйшимъ слылъ между жрецовъ
Тамъ жрецъ одинъ: носились слухи,
Что мертвъ лежалъ онъ на земли,
И замертво перенесли
Его во градъ благіе духи,
Тамъ ожилъ онъ и славенъ сталъ;
Никто порокъ не поражалъ
Съ отвагой столь необычайной,
Никто за трапезою тайной
Такъ сочныхъ яствъ не пожиралъ..
Никто средь града вѣкового,
Не зналъ, какъ онъ, во тьмѣ ночной
Пути къ еврейкѣ чернобровой
Иль къ баядеркѣ молодой.
И такъ, смѣяся, надъ сатрапомъ,
Онъ жилъ, тучнѣлъ, спалъ звонкимъ храпомъ
И поравнялся предъ концомъ
Дородствомъ съ жертвеннымъ тельцомъ.

— Браво! Браво Тарнѣеву! Онъ побѣдилъ соперника! провозгласили гости.

— Очень хорошо, сказалъ ему Андрей Ивановичъ, когда Синичкинъ перевелъ ему смыслъ импровизаціи. — И даже это иначе не могло быть въ языческомъ мірѣ, замѣтилъ онъ весьма основательно:—потому что язычество—само по себѣ величайшій развратъ... Я читалъ много объ этомъ... и эту исторію я точно читалъ у одного древняго писателя, не помню только—у котораго.

— У Гуго Гроціуса, можетъ быть? спросилъ Тарнѣевъ, единственно потому назвавъ это имя, что сейчасъ же прочелъ его подъ бюстомъ Гуго, который между прочими стоялъ на терасѣ.

— Можетъ быть, отвѣчалъ серьезно Благочинный.

Вечерній воздухъ, казалось, успокоилъ нѣсколько аббата; онъ возвратился къ кружку собесѣдниковъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ; лицо, горѣвшее дивнымъ огнемъ за минуту, осунулось; но безразличное выраженіе, которое онъ сохранялъ въ продолженіи цѣлаго дня и которое уступило только передъ вспышкой вдохновенья, не могло возвратиться: всякій могъ бы прочесть въ этомъ лицѣ глубокое давно подавляемое страданіе. Слабость, нервическая женственность его организаціи не давали ему достаточно силы притворства; онъ, казалось, постарѣлъ пятью годами. Его безпокойство странно дѣйствовало на Марію Грацію. По мѣрѣ того какъ онъ хмурился, ея веселость увеличивалась, подобно тому, какъ, когда на синемъ южномъ небѣ изъ-за горъ выплываетъ бурая громоносная туча и тѣнью своею покрываетъ половину долины, кажется, ярче освѣщается солнцемъ другая половина ея, зеленые кусты золотятся, красныя руины по холмамъ кажутся облитыми киноварью,

а бѣлыя ограды и бѣлые домики городка, стоящаго на горѣ, походятъ на клочья снѣгу, озаренные полуднемъ. Видя, какъ аббатъ выходитъ изъ себя, Марія Граціа чувствовала особенное расположеніе шутить, смѣяться и быть любезною съ Тарнѣевымъ, и они говорили все, что̀ придетъ на умъ, говорили ужаснѣйшія глупости, но эти глупости не промѣняли бы ни онъ, ни она на лучшую рѣчь въ парламентѣ...

Улучивъ минуту, аббатъ подалъ руку Маріи Граціи и предложилъ сойти въ садъ. Марія нехотя пошла за нимъ.

— Послушайте, сказалъ онъ:—я все вижу.

Она молчала.

— Я все вижу, повторилъ аббатъ.

— Поздно же... прошептала она, но какъ будто не аббату, потому что на него не глядѣла, а миртовымъ листьямъ и сучьямъ, которые она, увлекаемая аббатомъ, срывала и трогала на ходу, чтобъ занять ими свое вниманіе. И еслибъ эти листья, растертые въ ея рукѣ, могли истолковывать по прикосновенію къ нимъ человѣка, какія чувства его наполняютъ, они бы прочли въ Маріи Граціи два различныя чувства—и стыдъ, и желаніе признаться въ чемъ-то, чтобы разомъ освободить и себя отъ муки притворства, и отъ нѣкоторыхъ нравственныхъ обязанностей въ отношеніи къ аббату и его вывести изъ непріятной неизвѣстности.

— Такъ все кончено? спросилъ аббатъ, сжимая руку Маріи.

— Вы мнѣ ломаете руку, аббатъ.

— Отвѣчайте мнѣ, воскликнулъ онъ, останавливаясь:—между нами все кончено?

Она молчала.

— Презрѣннѣйшая изъ женщинъ! торжественно произнесъ аббатъ, отталкивая отъ себя ея руку.

— Не оскорбляйте меня, аббатъ, воскликнула Марія съ негодованіемъ:—между нами давно все кончено, какъ вы говорите. Но, продолжала она спокойнѣе:—я не хочу разставаться врагомъ съ людьми, которыхъ когда-то любила. А потому послушайте, что̀ я хочу сказать вамъ,—не оправданіе, не урокъ, а такъ, дружеское повтореніе всего того, что̀ я говорила вамъ и прежде. Помните ли, я не затруднялась сказать вамъ, что я васъ люблю, въ тотъ вечеръ, когда вы импровизировали, когда я васъ видѣла почти въ первый разъ, потому что прежде я васъ не замѣчала. Ваша импровизація меня сильно тронула. Я угадала сразу, что̀ есть великаго въ вашей натурѣ, и полюбила это прекрасное. Я хочу и теперь быть такъ же чистосердечна съ вами, и точно такъ же признаться вамъ, что первая страсть во мнѣ прошла. Вы умны, аббатъ, вы понимаете, что во сто разъ легче дѣвушкѣ, которая въ первый разъ любитъ, сказать «*люблю*», чѣмъ сказать «не люблю» людямъ такого возраста, какъ мы съ вами... Въ началѣ любви моей я въ васъ любила—какъ бываетъ всегда—новость; но эта новость скоро прошла. Вы не можете не повторяться, аббатъ. Понявъ васъ одинъ разъ, я уже могла предсказать всякое ваше движеніе, всякое ваше слово... Но въ вашей поэтической натурѣ—не сердитесь, аббатъ:—нѣтъ ничего, что̀ бы составляло загадку, заставляло бы ожидать проявленія новой и новой силы... Кромѣ этихъ минутъ вдохновенія, вы такой же обыкновенный человѣкъ, какъ всѣ мы смертные...

Вы велики, какъ поэтъ, и тогда, когда вы поэтъ; но какъ человѣкъ—вы дитя, вы женщина... Я тоже женщина, Лоренцо, и могу покориться только мужеству... Вы поймите себя... въ нашей организаціи заключается тайна, почему вы не можете навсегда привязать къ себѣ женщину...

— Благодарю за урокъ, синьора.

— Прошу васъ, Лоренцо, не смотрите такъ на мои слова; и если вы точно имѣете ко мнѣ дружбу, какъ увѣряли не разъ, то изъ дружбы теперь поймите мое положеніе...

— О, понимаю, понимаю!.. Когда мы уже становимся преступны, даже въ своихъ глазахъ, мы отыщемъ доводы, чтобы оправдать себя, и разумѣется, вину свалимъ на другихъ... Я васъ не удерживаю, идите своей дорогой, куда она васъ поведетъ. Но вы ошибаетесь, сударыня, если вы видѣли во мнѣ до сихъ поръ ребенка, какъ вы говорите; такъ знайте, что любовь моя къ вамъ дѣлала меня ребенкомъ. Когда вы сегодня явились, я сдѣлался веселъ, какъ младенецъ; вы опять истерзали меня, и я выстрадалъ всѣ муки ада. Но я говорю вамъ, вы ошиблись. Я докажу вамъ, что я мужъ. Если я умѣлъ любить васъ, если я мечталъ о томъ, чтобы озолотить вамъ жизнь, я сумѣю ее отравить. Вамъ будетъ страшно мое имя. Вы будете несчастны — въ себѣ, во всѣхъ, кого будете любить, въ вашихъ дѣтяхъ, въ вашихъ любовникахъ. Со сцены вы будете видѣть меня; я отравлю вашъ успѣхъ. Я не скажу вамъ болѣе ни слова... но...

— Я вамъ говорила, аббатъ, что вы очаровательны, когда импровизируете...

— Нѣтъ, синьора, я не импровизирую теперь, а предсказываю.

— Если не импровизируете, то вы ужасно похожи на ребенка, который хочетъ казаться большимъ.

У аббата губы побѣлѣли отъ ярости. Увидя въ концѣ аллеи Благочиннаго, онъ направилъ шаги свои къ нему навстрѣчу.

— Я долженъ передать вамъ мою даму, сказалъ онъ:— потому что мои обязанности призываютъ меня въ городъ

Онъ посадилъ Марію Грацію на ступеньки темной бесѣдки, изъ мрака которой выглядывалъ, обставленный цвѣтами, мраморный сатиръ, поймавшій нимфу; аббатъ поклонился и исчезъ; Марія была взволнована. Сила негодованія, которая ее поддерживала въ присутствіи аббата, казалось, ее оставила, глаза налились слезами..., но Благочинный не замѣчалъ ея смущенія.

— Видно, прелестная Марія, говорилъ онъ: — аббатъ боится... гуляя съ вами... я понимаю его...—Андрей Ивановичъ пожиралъ глазами прелести «соблазнительной сирены». — Послушайте, Марія Граціа, продолжалъ онъ вдругъ оставивъ этотъ тонъ любезника и садясь подлѣ нея съ видомъ человѣка, говорящаго дѣло:—и, любя васъ, долженъ васъ продупредить... Вы, можетъ быть, думаете, что эти господа, молодежь-то эта, какіе-нибудь путешествующіе лорды и богачи... я знаю ихъ — это все голь. Я вамъ говорю какъ женщинѣ разсудительной... Еслибъ человѣкъ съ вѣсомъ, съ состояніемъ повергъ бы передъ вами... все свое состояніе, свое сердце, конечно, только такая, можно ска-

зать, побѣда можетъ польстить вамъ, и это ужь не то... что̀ какой-нибудь мальчишка...

— Виновата, я не вслушалась, отвѣчала Марія, которая едва могла опомниться отъ сцены съ аббатомъ.

— Плутовка! произнесъ съ нѣжностью Благочинный, истолковывая молчаніе красавицы въ свою пользу. — Еще притворяется, что не понимаетъ...

— Вы, кажется, не очень веселитесь, сказалъ Перуцци Горунину, который задумчиво сидѣлъ на баллюстрадѣ терасы и смотрѣлъ по сторонамъ.

— Напрасно вы такъ думаете, отвѣчалъ тотъ:—я только не шумлю, когда мнѣ весело.

Сумерки, или уже ночь, давно наступили. Около воротъ виллы собралось множество народу на звуки музыки. Тарнѣевъ велѣлъ отворить ворота, впустить зрителей въ садъ и открыть сельскій балъ. Тераса освѣтилась разноцвѣтными фонарями; начались танцы. Сельскія дѣвушки, въ своихъ коротенькихъ юбочкахъ, съ цвѣтами на головѣ, выплясывали граціозныя па своими маленькими ножками, красиво обутыми въ синіе, высокіе шерстяные чулки и красные башмаки. Старики, оставя приличную своимъ лѣтамъ важность, которую римляне называли этрусскою неповоротливостью, тоже пустились въ плясъ наравнѣ съ юношами или сидѣли около маленькихъ столиковъ, попивали вино и курили изъ глиняныхъ трубочекъ. Тарнѣевъ—или былъ утомленъ своими шалостями въ продолженіи цѣлаго дня, или пришло ему на умъ какое дѣло—уже не принималъ такого дѣятельнаго участія въ балѣ. Онъ сдѣлался молчаливъ и удалялся отъ шуму; то вдругъ кидался опять въ толпу

съ крикомъ и гиканьемъ, то кружилъ свѣженькую поселянку и, пользуясь быстротою танца, срывалъ съ устъ ея поцѣлуй, то танцовалъ съ городскими дамами, импровизируя себѣ новый костюмъ, новыя роли: то соррентинскаго рыбака, то французскаго маркиза, то передразнивая кого-нибудь изъ присутствовавшихъ. Но послѣ такой продѣлки опять скрывался. Горунинъ, напротивъ того, развеселился и, ангажируя дамъ, говорилъ съ увлеченіемъ: «Надобно же жить!» Синичкинъ одинъ негодовалъ, что впустили народъ, сидѣлъ на терасѣ и согласился только провальсировать съ синьорой Каролиной. Онъ поддернулъ перчатки, съ эфектомъ вышелъ на площадку и махнулъ бѣлымъ платкомъ музыкантамъ, чтобъ они прекратили тарантеллу и заиграли Aurora Walzer. За то Перуцци и адвокатъ не отставали отъ общаго движенія, особенно адвокатъ, который, однако, отдыхая между танцами, все возвращался къ таинственному узлу и говорилъ, что «въ сущности онъ его запамятовалъ... in sostanza dunque... lo perdei...»

Горунинъ, въ порывѣ своей необычной веселости, не разъ отыскивалъ Тарнѣева, стыдилъ его, что онъ не веселится. Но Тарнѣевъ оставался безотвѣтенъ на его воззванія. Онъ былъ радъ, что находился подлѣ Маріи Граціи, казался погруженнымъ въ непривычную думу, и прежняя, легкая болтовня не шла ему болѣе на умъ. Онъ видѣлъ, какъ Марія Граціа сошла съ терасы съ аббатомъ, какъ возвратилась одна и казалась встревоженною. Руководимый нѣсколькими намеками Маріи Граціи, онъ не сомнѣвался, что аббатъ виною того, что она разстроена. Онъ составлялъ себѣ идею этого человѣка, и въ этомъ портретѣ участвовали,

чего онъ не замѣчалъ, и ненависть, и ревность. Ему становилось тяжело, душно.

Но Марія Граціа иначе поняла его задумчивость,—иначе потому, что сама думала о Тарнѣевѣ и старалась, противъ воли, изучить этого человѣка, который ей казался новъ и занимателенъ.

— Неужели вамъ не надоѣло бѣситься? спросила она, когда Тарнѣевъ, увлеченный рѣзвой Кларой въ вихрь вальса, возвратился опять къ Маріи Граціи.

— Еслибъ вы знали, какъ мнѣ все надоѣло, отвѣчалъ онъ.—Я не понимаю, что со мной дѣлается... отчего на меня напала такая тоска...

Онъ взялъ руку Маріи, поцѣловалъ ее съ глубокимъ чувствомъ и склонилъ на нее свою голову. Грудь его тяжело дышала, сердце горячо билось.

— Что съ вами? тихо спросила она.

— Ничего!.. Но, ради Бога, говорите мнѣ, говорите!..

— Скажите, продолжала, глядя на него съ нѣжностію, Марія Граціа: — вы ничѣмъ особенно не занимаетесь? Вы не художникъ?

Тарнѣевъ посмотрѣлъ на нее съ изумленіемъ.

— Нѣтъ, не художникъ, отвѣчалъ онъ.

— И не музыкантъ?

— Ни музыкантъ, ни художникъ, ни ученый, ничего! Совершенно ничего! Хоть я немного и рисую, и пишу, играю... танцую, дурачусь...

— Отчего же вы не художникъ? Вотъ это странно!

— Отчего? Этого я и самъ не понимаю... или должно быть я не рожденъ художникомъ...

— Нѣтъ, стало быть въ дѣтствѣ въ васъ не развивали эстетическаго чувства... стало быть вы не выросли подъ вліяніемъ изящныхъ искусствъ, не слушали хорошей музыки, не посѣщали галлерей живописи и скульптуры..., не слыхали споровъ объ искусствѣ, эстетическій восторгъ другихъ не сообщался вамъ и не пробуждалъ въ васъ восторга... Иначе вы были бы художникомъ...

Тарнѣевъ слушалъ Марію Грацію съ возрастающимъ удивленіемъ. Въ первый разъ онъ слышалъ о себѣ такое сужденіе и принималъ эти слова, какъ слова пиѳіи, которыя открывали для него совершенно новый міръ, давали новое значеніе ему самому въ собственныхъ его глазахъ. Никогда никакая другая женщина не пробуждала въ немъ такого свѣтлаго взгляда на будущее, на его дѣятельность; всѣ другія женщины, которыхъ онъ любилъ, заключали его дѣятельность, его мысль, въ тѣсную сферу, въ которой онѣ вращались сами, и вырвавшись изъ которой онъ чувствовалъ себя легче и свободнѣе. Теперь не то: горизонтъ его расширился. Онъ какъ будто яснѣе начиналъ видѣть вокругъ себя; мысль его какъ будто бы прежде бродила около предметовъ, теперь стала останавливаться на нихъ и открывать въ нихъ новые стороны и виды, которыхъ онъ прежде не подозрѣвалъ. Онъ приходилъ въ состояніе, которое называется у художниковъ вдохновеніемъ, когда всѣ впечатлѣнія проясняются, усиливаются, и ихъ смѣло и въ подробностяхъ окидываешь взоромъ, и хочется изобразить ихъ и дать имъ матеріальную форму. Тарнѣевъ созналъ въ себѣ присутствіе великой силы, и было въ немъ странное стремленіе проявить эту силу. Прошедшая жизнь его вся пред-

ставилась ему въ иномъ свѣтѣ: ему казалось, что эта-то сила и бросила его въ разныя крайности, подвигала на разныя глупости, выражалась въ безобразныхъ фактахъ. Онъ смотрѣлъ на Марію Грацію, на античное спокойствіе чертъ ея классически-правильнаго лица, чувствовалъ это благодушіе, сіявшее въ ея взорахъ, и ему казалось, что она только одна и можетъ сказать ему, какъ направить эту силу, и что̀ такое эта сила, эта странная жажда необыкновеннаго, это безпокойство, которое кидало его въ жизни изъ стороны въ сторону.

— Да, говорилъ онъ: — можетъ быть я и художникъ... можетъ быть вы и не ошиблись... завтра же заведу краски и пойду въ ученики къ какому-нибудь хорошему мастеру.

— И вы мнѣ напишете ваши дикіе лѣса... и свиданія первой любви.

— О, Марія Граціа! Что вы за необыкновенная женщина!

И Тарнѣевъ былъ въ восторгѣ, чувствовалъ себя совершенно инымъ; ласковая рѣчь Маріи, ея дружеское участіе совершенно изгладили въ немъ и образъ аббата, и тѣ движенія ревности и негодованія, которыя омрачили было его ясный, беззаботный взглядъ на міръ и вещи. Онъ высоко цѣнилъ вниманіе женщины, которая такъ возвысила его нравственное чувство, которая указала новое поприще дѣятельной силѣ его духа, которая заставила его возродиться къ совершенно новой жизни... На долго ли? И не ошибалась ли она? Этихъ вопросовъ ему и въ голову не приходило. Передъ нимъ воздвигались какъ бы въ туманѣ великіе образы греческаго искусства, великіе лики Микель

Анджело, Рафаэля, Веронеза, Рубенса, и этотъ туманъ манилъ его, освѣщаясь все болѣе и болѣе лучами восходящаго дня, по мѣрѣ того, какъ онъ его разглядывалъ; ему хотѣлось совсѣмъ его разсѣять, и онъ жаждалъ скорѣе призвать науку на помощь его непосредственному чувству, которое указывало на прекрасное, но ожидало приговора разума и опыта. Самая природа какъ будто иначе стала говорить съ нимъ, какъ будто все, что̀ его окружало въ этой природѣ, стремилось сказать ему свою тайну, тайну красоты своихъ линій, разнообразія и гармоніи красокъ и тоновъ, тайну жизни, которая одушевляла безчувственный міръ. Онъ увидѣлъ живую картину съ одной стороны—темный палаццо, на которомъ мерцаніе огней освѣщало розетки, каріатиды и аканѳные листья капителей; передъ нимъ мелькающія группы, то освѣщенныя огнемъ, то какъ темные силуэты на яркомъ фонѣ... Онъ задумался надъ другой картиной, гдѣ былъ темный садъ съ его фонтанами, которыхъ вѣчный шумъ настроенный на одну густую басовую ноту, какъ-то особенно былъ торжественъ, возвышаясь въ интервалы, когда переставала музыка; тамъ долина, синія горы и въ небѣ—ночь, которой тѣнь казалась чѣмъ-то матеріальнымъ, какъ будто она двигалась въ воздухѣ и шла таинственнымъ полчищемъ и занимала постепенно мѣста на землѣ и на небѣ, и на землѣ, и на небѣ зажигала сторожевые огни.

Балъ кончился, когда уже было далеко за полночь. Толпы стали давно рѣдѣть. Благочинный и Синичкинъ давно уѣхали. Адвокатъ Gianni накинулъ бурнусъ на Марію Грацію, укуталъ ее шалью, которую захватилъ безъ ея вѣдома, по своей предупредительности, и на прощаньи попросилъ Тар-

нѣева въ сотый разъ показать ему завязку таинственнаго узла.

Марія Граціа дружески пожала руку Тарнѣеву и звала его къ себѣ, приказавъ адвокату дать ему ея адресъ.

— А вы, caro diavoletto, меня совсѣмъ бросили, говорила ему Клара, которой веселость развилась въ полномъ блескѣ, потому что между поселянами, бывшими на балѣ, замѣшались кой-какіе странствующіе нѣмецкіе пейзажисты, которые заставили забыть недостатокъ кавалеровъ на пикникѣ. — Постойте, я васъ еще завоюю у Маріи Граціи; я еще васъ найду, я отыщу васъ, я съ вами буду жестока, неумолима...

Садъ опустѣлъ; остались только Тарнѣевъ, Горунинъ да Перуцци, который наблюдалъ за слугами, убиравшими въ саду приборы, стаканы и пустыя фіаски и перетаскивавшими на мѣсто стулья, столы, ковры и скамейки.

— Ну, Тарнѣевъ, сказалъ Горунинъ: — вотъ сегодня мы славно повеселились... Отчего ты пропалъ подъ конецъ вечера; такъ это странно, что ты прежде всѣхъ опѣшился.

— Усталъ, цѣлый день бѣсился.

— Да кончимъ ужь и ночь хорошенько... Мнѣ ужасно весело! Это такъ рѣдко бываетъ... выпьемъ еще бутылочку..., а потомъ поѣдемъ.

— Пожалуй... только мнѣ бы ужь хотѣлось скорѣе домой. Я усталъ...

— Не то, Тарнѣевъ, ты не усталъ...

— Я думаю, можно устать, кто столько бѣсился.

— Нѣтъ, ты не усталъ... а сказать ли, что въ тебѣ... я знаю... Новая любовь.

— А вотъ и не угадалъ. У меня особенная идея. Я хочу заняться живописью и серьезно заняться.

— Ты... хочешь быть художникомъ?

— А отчего же нѣтъ?

— Ничего, учись, учись, это хорошо. Займись живописью.

Въ словахъ Горунина были недовѣрчивость и иронія, которыя сердили Тарнѣева.

Перуцци вполнѣ симпатизировалъ предложенію Горунина досталъ вина, сдѣлался очень любезенъ, разсказалъ множество легонькихъ исторій города Флоренціи. Они выѣхали домой, когда солнце уже сіяло на горизонтѣ.

Послѣдняя попойка не произвела никакого дѣйствія на Тарнѣева. Горунинъ повеселѣлъ, сдѣлался сообщительнѣе. Перуцци, какъ сѣлъ въ коляску, такъ и заснулъ.

— Какъ славно, Тарнѣевъ, тихо и съ разстановкой говорилъ Горунинъ: — какъ славно мы провели день... Вотъ это жизнь... Какъ *ты* хорошъ былъ сегодня! Какъ я люблю тебя, когда ты встрѣчаешься лицомъ къ лицу съ жизнію... Ахъ, Тарнѣевъ! Тарнѣевъ! Да ты самъ себя не понимаешь! Хочешь учиться живописи, быть художникомъ, а того не понимаешь, что и безъ того ты величайшій художникъ... тебѣ попалось въ руки самое многообразное искусство, которое заключаетъ въ себѣ всѣ другія, и ты мастеръ въ томъ искусствѣ, и это искусство жизни!.. Ты ее находилъ и у цыганъ, и въ лѣсахъ твоей деревни, и въ Италіи... Ахъ, Тарнѣевъ, учись себѣ живописи: это благотворное вліяніе твоей новой любви...

— Да совсѣмъ не любви, а я точно чувствую, что я рожденъ художникомъ, отвѣчалъ съ досадой Тарнѣевъ.

— Э, Тарнѣевъ, да что̀ тебя заставило это почувствовать? или, лучше, что̀ же навело тебя на эту идею? Это оттого, что ты-то такой славный, и Италія-то на тебя дѣйствуетъ особенно, чудно, изящно дѣйствуетъ!.. Вѣдь у Синичкина такой идеи не родится?.. Учись, продолжалъ Горунинъ, все болѣе и болѣе уступая дѣйствію вина и не заботясь, что Тарнѣевъ его не слушаетъ. — Теперь ты въ новомъ мірѣ! Живи въ немъ! Живи!.. Хорошо!.. Боже мой! Я-то какая дрянь передъ тобой! А вѣдь меня учили, образовывали! А ты вѣдь не ученъ... а понимаешь все... не гонишься за вѣкомъ... а дальше насъ всѣхъ, мыслителей!.. Чувствуешь раны, да не растравляешь ихъ въ себѣ воображеніемъ, какъ фонтенелью... Эхъ, вы, философія! Политическая экономія! Наша литература, которая разъясняетъ, что̀ во мнѣ дурно... а не укажетъ, что̀ хорошо... унижаетъ сознаніемъ недостатковъ, а не возвышаетъ сознаніемъ доблести... Эхъ, всѣ бы эти великія идеи, всѣ бы эти громкія фразы, которыя растлѣваютъ юную натуру, — все бы это прочь!.. Вотъ и прожили бы всю жизнь такъ, какъ прожили сегодня!

Долго Горунинъ говорилъ на эту тему; коляска подъѣзжала ближе къ городу; утро было блестящее; они проѣхали черезъ Ponte vecchio, выѣхали на Piazza Ducale...

— Ну, вонъ—стòитъ корпѣть съ этихъ поръ Богъ знаетъ надъ чѣмъ! продолжалъ Горунинъ, указывая на Loggia die Lanzi, зданіе, выходящее на площадь портикомъ, подъ которымъ стояли статуи—Юдиѳь Донателло, бронзовый Персей Бенвенуто Челлини, похищеніе Сабинки Іоанна Болонья...

Передъ этими статуями уже сидѣлъ одинъ сѣдовласый

старикъ, въ бѣдномъ холстинномъ сюртукѣ, запачканномъ въ разныхъ мѣстахъ красками, и по частямъ срисовывалъ ножки, ручки, головы; далѣе молодой человѣкъ, небрежно одѣтый, тоже положа папку, подымалъ голову, смотрѣлъ на грушу и чертилъ ее..

— Стоитъ убивать жизнь на пустяки, говорилъ Горунинъ: — еслибъ они пожили, какъ мы сегодня... вотъ это жизнь!..

— А, синьоръ Джіакопо уже за работой, сказалъ, зѣвая, проснувшійся Перуцци. — Посмотрите на этого человѣка: онъ былъ богатъ, истратилъ все состояніе на путешествія, чтобы видѣть произведенія живописи всѣхъ школъ, и на покупку дорогихъ картинъ. Его обманывали, онъ разорился, впалъ въ нищету. Всю жизнь онъ бьется произвести что-нибудь прекрасное, и хотя пользуется нѣкоторой репутаціей, какъ живописецъ, но вѣчно недоволенъ... Съ нѣкотораго времени онъ впалъ въ совершенное отчаянье и, я думаю, сойдетъ съ ума. Онъ никогда не исполнитъ того, къ чему стремится, и такъ, какъ, по его понятіямъ, должно бы исполнить.

Тарнѣевъ переглянулся съ Горунинымъ.

— Я пьянъ сегодня, сказалъ Горунинъ.

МАРКЪ ПЕТРОВИЧЪ ПЕТРОВЪ.

РАЗСКАЗЪ *).

Горунинъ жилъ уже нѣсколько дней въ одномъ маленькомъ городкѣ, лежащемъ по дорогѣ изъ Болоньи во Флоренцію на отлогостяхъ Апенинскихъ горъ. Онъ занималъ комнату въ небольшой гостиницѣ Горнаго Орла, которую содержала сьора Маріанна, дородная, съ двойнымъ подбородкомъ, женщина, съ легкими маленькими усиками, не смотря на то въ свое время, очевидно, красавица. Онъ былъ очень доволенъ своимъ положеніемъ, потому что вслѣдствіе своей доброты тотчасъ сдѣлался какъ бы членомъ семейства у сьоры Маріанны, понравившись и ей и сойдясь какъ нельзя лучше и съ двумя ея дочерьми, и съ большимъ чернымъ котомъ, и съ дворовой избалованной собакой. Его всѣ полюбили; даже молодой осликъ съ молочными розовыми губами, бродившій обыкновенно по двору гостиницы, подымалъ крючкомъ хвостъ и бросался къ нему скачками

*) По возвращеніи изъ перваго моего путешествія по Италіи я предположилъ высказать мои впечатлѣнія въ родѣ разсказовъ. Первые два разсказа были напечатаны въ 1848 году. *(Примѣчаніе автора).*

Этотъ разсказъ и слѣдующій были напечатаны въ *Нивѣ* въ 1890 и 1892 гг. *(Примѣчаніе издателя).*

со всѣхъ четырехъ ногъ, когда Горунинъ сходилъ съ крыльца и выносилъ для него хлѣба или салату. Эти прыжки возбуждали большое неудовольствіе куръ, которыя кидались отъ разыгравшагося простодушнаго четвероногаго съ крикомъ и кудахтаньемъ; ихъ крику отвѣчалъ другой, который подымали изъ кухни служанки гостиницы, потому что тогда и Лучерта, собака, начинала заигрывать съ осликомъ—и они въ вознѣ своей стаскивали бѣлье, развѣшанное на дворѣ на веревкахъ и топтали его безо всякой бережи. Горунинъ уже осмотрѣлъ всѣ достопримѣчательности городка—и картину Августина Караччи въ соборѣ и какую-то старинную арку, и двѣ колонны, съ довольно хорошо сохранившимися капителями, вошедшія въ составъ стѣны какой-то конюшни—по изслѣдованію ученыхъ остатки какого-то храма Сибиллы или Весты—и, наконецъ, какую-то яму или погребъ, гдѣ, сказали ему, найдено было нѣсколько этрусскихъ вазъ и золотыхъ украшеній, хранящихся въ музеѣ въ Римѣ.

Какія дальнѣйшія изслѣдованія по части искусствъ, древностей или народной жизни хотѣлъ здѣсь производить Горунинъ для своихъ ученыхъ цѣлей, въ точности онъ и самъ не могъ дать себѣ отчета. Можетъ быть, интимная жизнь хозяекъ гостиницы и сновавшаго около нея народа — конюховъ, факиновъ, ветуриновъ и проч. могла представляться ему матеріаломъ для изученія нравовъ; но есть сильное подозрѣніе, что не послѣднюю въ этомъ отношеніи роль играла здѣсь одна удивительной красоты черноокая сьора Сусанна, дальняя родственница хозяйки. Едва ли не на ея счетъ должно отнести то, что онъ предложилъ сьорѣ Маріаннѣ не

накрывать ему особо стола въ «чистой» столовой для проѣзжающихъ, а дозволить, во избѣжаніе лишнихъ хлопотъ, раздѣлять общую трапезу или во дворикѣ, подъ тѣнистымъ навѣсомъ виноградной старой лозы, или въ хозяйской столовой возлѣ кухни. Кромѣ того, заходилъ онъ, и не разъ въ день, въ самую кухню, огромную комнату съ закоптѣлыми сводами, съ вѣчно отворенными дверьми во дворъ, съ земляным поломъ, съ очагомъ, находившимся прямо противъ дверей. Жизнь всего дома, главнымъ образомъ, сосредоточивалась тутъ: весь женскій персоналъ его тутъ и бѣлье гладилъ, и стряпалъ, и шитьемъ занимался. Горунинъ или перекидывался съ ними шутками, или молча сидѣлъ въ углу и мечталъ, какъ бы хорошо было провести всю свою жизнь здѣсь, посреди простыхъ людей, вдали отъ шума и волненій міра—при чемъ невольно взглядывалъ на Сусанну, помогавшую хозяйкамъ въ ихъ домашнихъ работахъ. Намѣренія его были самыя чистыя и возвышенныя; къ сожалѣнію, не всѣ ихъ такъ понимали, и нѣкоторые проницательные люди полагали, что у него нѣчто недоброе на умѣ.

Первый, кто возымѣлъ это подозрѣніе, былъ нѣкто извѣстный въ городѣ подъ именемъ «друга Меркуціо», одинъ изъ обычныхъ посѣтителей кофейни, куда заходилъ Горунинъ отъ нечего-дѣлать раза два въ день выпить чашку чернаго кофею. «Другомъ Меркуціо», онъ назывался потому, что былъ еще «другъ Пьетро», его неразлучный товарищъ, хотя совершенно противоположныхъ ему качествъ какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ, въ чемъ Горунинъ убѣдился съ перваго же знакомства съ обоими друзьями. Другъ Пьетро сидѣлъ всегда неподвижно на своемъ соломенномъ

стулѣ, подъ сѣнью виноградной лозы, лицомъ къ собору, спиною къ наружной стѣнѣ кофейни, покуривалъ изъ своей коротенькой трубочки, говорилъ очень мало, но пользовался большимъ уваженіемъ своихъ согражданъ за совершенные имъ подвиги въ походѣ Наполеона въ Россію и за долгое пребываніе въ плѣну въ нашемъ отечествѣ. Ремесломъ былъ когда-то бочаръ и самъ отчасти походилъ на свои произведенія. Горунину онъ представлялъ тотъ интересъ, что хорошо относился о Россіи и очень былъ доволенъ своимъ плѣномъ. «Brava gente, brava gente, i Russi», вотъ формула, въ которую онъ заключалъ всѣ свои вынесенныя изъ Россіи воспоминанія и впечатлѣнія; впрочемъ онъ болѣе ихъ продумывалъ, глядя на Горунина, а не высказывалъ вслухъ. За него говорилъ другъ Меркуціо,—всегда ли одинаково объ одномъ и томъ же событіи—неизвѣстно; онъ былъ вообще за всѣхъ говорящее лицо въ этой компаніи: только иногда присаживался на стулъ, а то всегда стоялъ передъ собесѣдниками, поминутно оглядываясь то въ ту, то въ другую сторону площади. Тонкій, худой, юркій малый,—чего-чего только онъ не зналъ! Слушая его разсказы и сужденія политическія, историческія и даже научныя, Горунинъ никакъ не могъ составить себѣ представленіе о томъ, какого рода жизнь провелъ этотъ субъектъ, какими ремеслами занимался, около какихъ общественныхъ сферъ онъ вращался. Не только всѣ тайны города, особенно по женской части, онъ сообщалъ Горунину по мѣрѣ того, какъ та или другая особа этого пола появлялась на площади, но и всѣ придворныя дѣла и сплетни Тосканскаго и Неаполитанскаго двора, а равно и губернаторовъ австрійскихъ Ве-

неціи и Милана; тайны же Ватикана, кардиналовъ и ихъ племянницъ, папы Григорія и его цирюльника — разсказывалъ онъ, какъ будто былъ очевидцемъ или участникомъ этой жизни, для смертныхъ покрытой непроницаемымъ покровомъ. На языкъ нельзя сказать, чтобы былъ воздержанъ, за что получалъ или укоръ, или толчокъ отъ друга Пьетро.

О собственныхъ похожденіяхъ Меркуціо распространялся впрочемъ немного, развѣ что придется къ слову. Такъ, оказалось, что папа хотѣлъ его разъ за что-то повѣсить, а Неаполитанскій король порядочно-таки выдержалъ въ тюрьмѣ, и Богъ знаетъ, чѣмъ бы еще тогда кончилось, еслибъ онъ не сумѣлъ выскользнуть изъ тюрьмы, вслѣдствіе чего и продолжаетъ еще «goder del lume di ciel» (наслаждаться свѣтомъ небесъ). Конечно, интереснѣйшимъ предметомъ разговоровъ для всѣхъ троихъ собесѣдниковъ были событія дня, современное состояніе Папской области и всей южной Италіи, еще не успокоившейся послѣ подавленія болонскихъ безпорядковъ; разумѣется также, что объ нихъ говорилось шопотомъ, и сьоръ Пьетро постоянно обводилъ глазами кругомъ площади и, какъ только на горизонтѣ появлялась шляпа въ родѣ донъ-Базиліевой или что-нибудь другое подозрительное, онъ стучалъ трубочкой по столу, и оба пріятеля смолкали и начинали креститься на соборъ. Дѣло въ томъ, что возстававшая партія послѣ погрома разсѣялась въ горахъ, гдѣ не угасало исконное разбойничество, на нѣкоторое время усмиренное было французами, а теперь снова обнаружившееся съ особенною дерзостью. Безъ сомнѣнія, для Горунина эти разговоры представляли особенный интересъ,

только опять-таки трудно ему было опредѣлить съ достовѣрностью, чьей стороны держатся его собесѣдники, паписты они, революціонеры, или, пожалуй, даже не разбойники ли? Что они ему иногда безсовѣстнѣйшимъ образомъ въ глаза лгали, это было несомнѣнно, особенно другъ Меркуціо; тѣмъ не менѣе онъ убѣдился, что инсургенты имѣютъ въ городѣ большую сочувствующую имъ партію, поддерживающую съ ними сношенія; предпринимались, напримѣръ, экспедиціи въ горы, о которыхъ знали, казалось, только кардиналъ-намѣстникъ да начальникъ отряда—глядь, анъ въ горахъ тотчасъ же все извѣстно, тамъ принимались свои мѣры—и экспедиціи постоянно кончались—фіаско. По нѣкоторымъ признакамъ, другъ Меркуціо тутъ не былъ совсѣмъ въ сторонѣ, но Горунинъ изъ деликатности и отчасти осторожности никогда не касался этого пункта.

Такъ вотъ этотъ-то «другъ Меркуціо» и возымѣлъ, повидимому, подозрѣнія на счетъ Горунина и чувствъ его къ сьорѣ Сусаннѣ: по крайней мѣрѣ онъ не пропускалъ случая при разговорѣ какъ-нибудь упомянуть ея имя, при чемъ бросалъ быстрый, проницательный взглядъ на Горунина, нерѣдко его заставлявшій покраснѣть.

Такъ, въ тотъ достопамятный день, когда случилось происшествіе, о которомъ я хочу разсказать, всѣ они трое сидѣли у кофейни; въ городъ вступилъ отрядъ папскихъ войскъ, произвелъ на площади маленькое ученіе и спустился въ какой-то переулокъ. Друзья Пьетро и Меркуціо, вмѣстѣ съ высыпавшимъ отовсюду населеніемъ, оглушительнѣйшими голосами прокричали: «evviva», подкидывая колпаки и шляпы въ воздухъ. Когда они возвратились къ своимъ мѣстамъ,

Горунинъ вздумалъ со своей стороны сконфузить друга Меркуціо и спросилъ:

— А вѣдь еслибъ это отрядъ инсургентовъ вступилъ въ городъ, вы также бы кричали и шляпы подкидывали?

Другъ Меркуціо, всегда сопровождавшій или, лучше сказать, иллюстрировавшій свою рѣчь извѣстными условными въ Италіи жестами и гримасами, вытаращилъ глаза, выпятилъ нижнюю губу, прижалъ ко рту палецъ, вздернулъ плечи и проговорилъ таинственно:

— Чего жь вы хотите, синьоръ, живемъ на волканѣ!.. Ничего не знаемъ, что дѣлается въ мірѣ. Да и знать ничего нельзя. Изъ города ни выйти никто не смѣетъ, ни войти—развѣ проѣзжіе иностранцы, да и то съ большими непріятностями. Я вотъ ужь два дня посидѣлъ in carcere, въ кутузкѣ,—при этомъ Меркуціо приложилъ къ лицу кисть лѣвой руки ладонью наружу, разставивъ передъ глазами пальцы, долженствовавшіе изображать тюремную оконную рѣшетку,—и за что? За то только, что къ кумѣ хотѣлъ сбѣгать въ Кампанью, отнести ей пару башмаковъ! Скверныя времена, синьоръ. Да вотъ!—продолжалъ онъ какъ бы спохватившись: — живетъ у насъ тутъ женщина — вы ее знаете — у вашей хозяйки живетъ — сьора Сусанна: мужъ во Флоренціи, должна была ужь бы давно къ нему уѣхать: не пускаютъ! За ней слѣдятъ—за женщиной!

И при этомъ онъ опять устремилъ свой пронзительный взглядъ прямо въ глаза Горунину и выпятилъ нижнюю губу.

Горунинъ опять покраснѣлъ, но и подумалъ:

«Однако что жъ это онъ все объ Сусаннѣ, да объ Су-

саннѣ... Чортъ вѣдь ихъ знаетъ, эти итальянцы... Такъ всегда посмотритъ — точно что̀ сказать имѣетъ... Можетъ быть и ремесло его такое... Но Сусанна—неужели Сусанна совсѣмъ не то, что̀ я думаю!..»

Изъ этого затруднительнаго положенія, по счастью для Горунина и для его возвышеннаго образа мыслей, вывелъ его появившійся на площади нѣкоторый субъектъ, обратившій на себя вниманіе всѣхъ троихъ собесѣдниковъ.

Изъ переулка, изъ-за собора поднялся и, сгорбясь, медленно и большими шагами, черезъ площадь, по направленію къ остеріи, шелъ господинъ въ старой изъ чернаго плиса кватрочентѐ (родъ пальто, какія носятъ теперь художники въ Италіи, воскресивъ моду XIV столѣтія), въ сѣрой съ широкими полями шляпѣ — тоже во вкусѣ Возрожденія.

Меркуціо стремительно нагнулся къ Горунину.

— Вы его въ первый разъ видите?.. Не мудрено: спитъ, когда люди бодрствуютъ, e vice versa. Теперь засядетъ въ остеріи, пожалуй, тамъ же и заснетъ до утра; развѣ кто отведетъ домой. А спитъ и дома такъ, не раздѣваясь. Весь оттого въ пуху. Кто такой—не можемъ узнать. Художникъ-то художникъ—это видно, ужь такъ одѣтъ. Только какой націи—не признать навѣрное. Вотъ вы бы зашли, посмотрѣли бы въ остерію: не соотечественникъ ли вашъ, не русскій ли? Мнѣ что-то сдается, что русскій. Квартируетъ у Кіоруччи. Французъ, нѣмецъ, англичанинъ — у тѣхъ ужь извѣстно—утромъ café au lait, а этому—рюмку абсенту. У тѣхъ—чтобы всякій день прибрано было въ комнатѣ, и окна отворены; этотъ не велитъ ни убирать, ни оконъ не отво-

рять. Говоритъ по итальянски чисто. Я ужь около него и такъ и сякъ: обругалъ «vatte ne al diavolo, anima dannata» (убирайся къ чорту, проклятый), отчеканилъ какъ нельзя лучше, чисто какъ транстеверинецъ.

Мысль, что это русскій — и въ такомъ жалкомъ видѣ — поразила Горунина и не давала ему покоя. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній и разспросовъ, которые не прибавили никакихъ дальнѣйшихъ свѣдѣній о заинтересовавшемъ его субъектѣ, Горунинъ рѣшился пойти въ остерію.

«Непремѣнно долженъ быть русскій», подумалъ онъ, войдя въ комнату и окинувъ взглядомъ художника. Онъ присѣлъ къ большому столу прямо противъ незнакомца. На поклонъ его тотъ не отвѣчалъ или сдѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ, углубленный въ глотаніе макаронъ. Видно было, что онъ давно не брился: борода, по крайней мѣрѣ двухнедѣльная, рыжеватой щетиной высыпала на подбородкѣ и щекахъ; нѣсколько потемнѣе цвѣтомъ усы — онъ, очевидно, носилъ ужь давно усы, но они безпорядочно торчали во всѣ стороны. Можно было заключить, что и безъ того небольшіе сѣрые глаза его еще болѣе сузились и помутились, потому что все лицо его вздулось, а щеки и вѣки отекли отъ продолжительнаго покоя и пьянства.

— Скверное вино въ этой сторонѣ, сказалъ Горунинъ по итальянски, чтобы какъ-нибудь завязать разговоръ.— Вы, кажется, не здѣшній?

Незнакомецъ посмотрѣлъ на него однимъ глазомъ и опять занялся макаронами.

— Вотъ я тоже живу здѣсь нѣсколько дней, и странно, что встрѣчаюсь съ вами первый разъ, а городокъ неболь-

шой, продолжалъ Горунинъ, но тотъ ужъ и глазъ не подымалъ. Горунинъ нѣсколько опѣшилъ. Вдругъ ему блеснула мысль: заговорить по русски.

— Если я не ошибаюсь, мнѣ кажется — вы русскій?— спросилъ онъ.

Незнакомецъ опять поглядѣлъ на него однимъ глазомъ и отвѣтилъ съ чистымъ русскимъ произношеніемъ:

— Нѣтъ, не русскій.

— А какъ же—вѣдь вы говорите по русски?

Незнакомецъ не подымалъ лица отъ своей тарелки.

Горунинъ попробовалъ еще что-то сказать, спросить, но, не получивъ никакого отвѣта, съѣлъ поданную ему котлету и рѣшился возвратиться къ «друзьямъ», ожидавшимъ его у кофейни.

Они еще сидѣли тамъ, но съ ними оказалось еще третье лицо: красивый парень лѣтъ тридцати пяти. Хотя вообще можно было увидать съ перваго взгляда, что онъ принадлежитъ къ тому же сословію, какъ и друзья Пьетро и Меркуціо, но отличался отъ нихъ необыкновеннымъ благообразіемъ, спокойствіемъ и даже важностью своихъ манеръ, не смотря на нѣкоторую странность въ костюмѣ, который былъ какой-то сборный: обыкновенная въ народѣ въ Папской области плисовая бутылочнаго цвѣта полная куртка, а панталоны изъ тонкаго чернаго трико, составлявшія, очевидно, часть фрачной пары какого-нибудь свѣтскаго человѣка; на шеѣ какой-то щегольской, дорогой шелковый шарфъ яркаго краснаго цвѣта съ желтыми узорами, ужь никакъ не гармонировавшій съ надѣтыми на босую ногу калошами. Главное же отличіе его физіономіи заключалось въ томъ, что онъ имѣлъ

длинную тщательно расчесанную бороду и длинные, густые волосы, картинно ниспадавшіе на плечи, съ проборомъ по серединѣ головы. Это новое лицо само отрекомендовалось Горунину:

— Имѣлъ удовольствіе видѣть эччеленцу въ студіи del signor Iwanoff въ Римѣ... Маникуччи — можетъ быть, слыхали? пояснилъ онъ, приподымая шляпу съ легкимъ поклономъ,—faccio il modello—натурщикъ. Il celebre Ovrabecco di Monaco — Овербекъ, знаменитый Мюнхенскій живописецъ, всѣ свои священные лики съ меня писалъ. Знаменитый французскій Деларосъ...

Но на «Деларосѣ» (Деларошѣ) вдругъ остановился Маникуччи, снялъ съ головы широкую перевязанную голубою съ развѣвающимися концами лентою шляпу и глядѣлъ, охваченный внезапнымъ изумленіемъ по направленію къ остеріи. Въ дверяхъ остеріи показался заинтересовавшій Горунина незнакомецъ, постоялъ въ дверяхъ, какъ бы раздумывая куда бы пойти, но, повидимому, ни на что не рѣшился и повернулъ опять назадъ въ остерію.

— Браво! Синьоръ Марко — здѣсь! воскликнулъ Маникуччи и бросился было къ остеріи, но тотчасъ же остановился въ своемъ порывѣ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ, возвращаясь къ друзьямъ. — Прежде надобно навести нѣкоторыя справки. Давно онъ здѣсь?

— Больше недѣли.

— Что же дѣлаетъ—пьетъ?

— Пьетъ.

— Ну, такъ тутъ надо осторожно. Когда онъ въ такой

колосѣ, то лучше guarda e passa — «взгляни и иди мимо», какъ говаривалъ, ходя по выставкамъ, знаменитый Корнеліушъ...

Меркуціо давно былъ самъ не свой, какъ только увидалъ, что отъ Маникуччи можно получить свѣдѣнія о художникѣ.

— Такъ ты его знаешь? Ah, che felicità! Какое счастье!

Маникуччи самодовольно улыбнулся.

— Я-то знаю ли! Могу спросить: кого я не знаю и кто меня не знаетъ въ артистическомъ мірѣ? А сьоръ Марко, что есть натурщиковъ, только меня и цѣнитъ, и признаетъ. Другого олуха ломаютъ, ломаютъ, «руку повыше, ногу отставь, гляди въ потолокъ, да будь повеселѣе», установятъ какъ-нибудь, и стоитъ какъ деревянный манкенъ. Душу надо имѣть, геній — ingenio! Мнѣ только стоитъ взглянуть на эскизъ — сейчасъ понялъ. Преобразился весь. Встань Аполлономъ — ну, и Аполлонъ передъ вами: грація, свѣтъ, гармонія, однимъ словомъ — богъ! Короли, апостолы, пророки — напримѣръ, Илія — и грозное чело, и громы, и молніи!.. Въ каждомъ — своя идея! Потомъ — страсти, аффекты души: гнѣвъ, ненависть, презрѣнье — и съ величайшей быстротой послѣдовательно онъ придавалъ своему подвижному лицу всѣ эти выраженія.—Надобно, чтобъ не только лицо, каждый мускулъ тѣла стоялъ въ гармоніи съ выраженіемъ физіономіи... постановка ногъ, сгибъ рукъ, наклонъ туловища... Опять мимика...

Меркуціо терялъ терпѣніе.

— Ну, да про него-то, про него-то разсказывай! *Сьоръ Марко* ты назвалъ его, жалобнымъ голосомъ перебилъ онъ вошедшаго въ азартъ Маникуччи.

— O! Un Michel Angelo russo! Русскій Микель Анджело! воскликнулъ послѣдній, замахавъ руками, и какъ высшую степень своей похвалы, добавилъ, поднявъ вверхъ брови и указательный пальцъ:—molto stimato dal' suo imperatore—весьма уважаемый своимъ императоромъ! Деньги и заказы къ нему такъ и валятъ! Въ Римѣ всѣ его знаютъ. Выйдетъ изъ студіи — мальчишки, дѣвчонки, кто откуда: — «здравствуйте, сьоръ Марко, здравствуйте, сьоръ Марко»! — «Ah! canaglia!» и сейчасъ въ толпу горсть монетъ, что̀ только захватитъ въ карманѣ. Доволенъ онъ тобою, понялъ ты его,—вонъ, говоритъ, въ комодѣ, возьми сколько надо! Ну, а не потрафилъ, или вотъ этакая какъ теперь полоса найдетъ, такъ—упаси Господи!

— Что же?

— Да что только подъ руку попало. Я одинъ разъ съ мѣсяцъ въ больницѣ пролежалъ—молоткомъ пустилъ, прямо въ голову. Большой заказъ былъ. Эскизъ вышелъ—великолѣпіе. Глиной обложилъ, ужь отдѣлывать началъ. Работаемъ весело. Только прихожу разъ, смотрю въ мастерской — гдѣ голова, гдѣ рука, самъ свирѣпствуетъ — каркасъ молоткомъ добиваетъ... «Сьоръ Марко! Что вы дѣласте?»—«И ты тутъ, говоритъ, мошенникъ», да и какъ пуститъ въ меня молоткомъ-то—темя проломилъ. Занепонравилась работа.

— Ну чтожь ты-то?

— Что? Упалъ, кровью обливаюсь, а онъ-то ко мнѣ: «ахъ, ахъ, ахъ, Маникученько, миленькій... воды, доктора», въ больницу перевезли, дня три самъ просидѣлъ около меня, не отходилъ. Каждый день потомъ лакомства носилъ. Надо сказать, что этотъ случай намъ обоимъ къ счастью послужилъ.

— Ну, да, конечно, онъ тебѣ хорошо заплатилъ, глубокомысленно замѣтилъ другъ Пьетро.

— Заплатить-то мнѣ, положимъ, заплатилъ, хоть я и не требовалъ по любви моей къ нему и изъ уваженія къ великому таланту, но самъ-то онъ послѣ этакого несчастія одумался, хлопоча около меня, а то недѣли бы на три запилъ, а это ему вредно, очень вредно, и такъ ужь у него дурной кашель. А главное — какая потомъ группа, я вамъ скажу, вышла, вмѣсто разбитой—сама жизнь! И какъ разъ сюжетъ-то былъ «Смерть Гектора».

«Интересная личность», подумалъ Горунинъ; «жаль, что не удалось мнѣ съ нимъ сойтись. Впрочемъ, утро вечера мудренѣе...» Горунинъ хоть терпѣть не могъ говорить пословицами, однако на этотъ разъ прибѣгъ къ поговоркѣ, потому что она оправдывала его желаніе пойти къ хозяйкамъ, которыя вѣрно ждали его ужинать. Колоколъ уже ударилъ къ Ave Maria. Другъ Пьетро и другъ Меркуціо перекрестились, преклонили колѣна передъ соборомъ и сѣли опять на свои мѣста, переговаривались съ проходившими женщинами, дѣвчонками и разными гражданами городка, освѣдомляясь, кто откуда идетъ, и куда и зачѣмъ, обвиняя во лжи однихъ, подтрунивая надъ другими и сообщая другъ другу замѣчанія о третьихъ. Развѣ только въѣдетъ запоздалый ветуринъ въ городъ, друзья встанутъ со своихъ мѣстъ и заложивъ руки—другъ Пьетро въ карманъ панталонъ, а другъ Меркуціо только большими пальцами въ карманы жилета, подойдутъ къ его «миланскому» экипажу, потрогаютъ шляпу, здороваясь съ ветуриномъ, и станутъ разсматривать его добычу—усталыхъ путешественниковъ, которые

вылѣзаютъ разбитыми ногами изъ экипажа, и съ зѣвотой распрямляютъ усталые члены.

Горунинъ съ большимъ удовольствіемъ проводилъ время въ домѣ своихъ хозяекъ.

Двѣ дочери сьоры Маріанны, были: одна, Аврора, уже совсѣмъ сформировавшаяся дѣвушка, семнадцати лѣтъ — того типа итальянокъ, которыя такъ убѣждены въ побѣдоносности своей красоты, что не считаютъ нужнымъ дѣлать какое-нибудь умственное усиліе, сидятъ апатично сложивъ на груди руки и едва вамъ отвѣчаютъ, и то только жестами, поднятіемъ плечъ, прищелкиваніемъ языкомъ, односложными: ma giusto! ma chè! «Любуйся, молъ, мною и не заставляй говорить». За то сестра ея, дѣвочка лѣтъ десяти, была совершенная противоположность: къ ея дѣтской рѣзвости и живости уже присоединялась какая-то страстность; взоръ ея выражалъ, что она понимаетъ и способна чувствовать многое, что̀ еще очень темно для нашихъ, напримѣръ, дѣвочекъ ея лѣтъ. На сестру она уже смотрѣла съ нѣкоторой завистью, и себѣ на умѣ. Когда Горунинъ, или кто-нибудь другой, говорилъ любезности Аврорѣ, маленькая Анджелика уходила въ уголъ, закусывала губки и, смотря на сестру, дѣлала ей презрительную гримасу: «Погоди, погоди! Еще годъ, еще два, увидимъ кому будутъ больше говорить милыхъ вещей... Ишь, вѣдь сидитъ, не улыбнется даже... телятина!» Горунина она очень полюбила за то, что онъ говорилъ съ нею какъ съ большой, но сажалъ къ себѣ на колѣни и цѣловалъ какъ ребенка — и она, когда никого не

было въ комнатѣ, крѣпко обвивала его шею своими загорѣлыми рученками.

На счетъ сьоры Сусанны едва ли ужь въ это время не были основательны подозрѣнія друга Меркуціо, хотя совсѣмъ безъ того оттѣнка, который придавалъ онъ своимъ плебейскимъ воображеніемъ чувствамъ Горунина, впрочемъ еще не яснымъ для него самого. Сусанна была чисто римскаго типа молодая женщина. Строгій, правильный профиль, умные глаза, лицо, выражавшее твердую, непреклонную волю. Горунинъ въ ней чувствовалъ могучее, клокочущее пламя, не смѣющее вырваться наружу. Онъ сравнивалъ ее съ Агриппиной Старшей; но чтобы дать ей почувствовать всю прелесть и остроуміе своего сравненія, долженъ былъ ей разсказать исторію Агриппины и обрисовать ея личность, потому что Сусанна никогда ничего не слыхала объ Агриппинѣ. Одно только въ ней не подходило подъ этотъ типъ: это ея природная веселость. Веселость эта рѣшительно противорѣчила идеалу, который онъ составилъ себѣ о древнихъ женщинахъ и древнихъ людяхъ вообще. Они всѣ представлялись ему цѣльными олицетвореніями добродѣтелей или пороковъ, какъ лица въ классическихъ трагедіяхъ. Агриппину онъ воображалъ себѣ не иначе, какъ одерживающею побѣду надъ Германцами, мчащеюся на колесницѣ впереди своихъ легіоновъ, или какъ шествующею по городамъ и селамъ съ драгоцѣнною урной, съ пепломъ ея мужа, и однимъ своимъ видомъ возбуждающею народную скорбь. Онъ не могъ себѣ представить, чтобъ Агриппина смѣялась и шутила въ кругу близкихъ и знакомыхъ, и если есть свидѣтельства, что римскія матроны, въ челѣ своихъ рабынь,

пряли ленъ, то это, казалось ему, онѣ дѣлали съ тою же важностью, съ какою сенаторы засѣдали въ сенатѣ. Но за то иногда бурная веселость Сусанны, ясная игривость ея характера, питали въ душѣ его нѣкоторыя неопредѣленныя надежды. «Въ ней есть и новый элементъ, говорилъ онъ себѣ, — можетъ быть, примѣсь тевтонской или галльской крови»—и потому охотно пускался съ нею въ разсужденія о новѣйшихъ современныхъ открытіяхъ ума человѣческаго, что, напримѣръ, минутное увлеченіе, капризъ, не есть измѣна долгу, и что святость супружескихъ отношеній отъ нихъ нисколько не пострадаетъ; это — бокалъ шампанскаго, маленькая оргія, въ которой художнику жизни даже грѣшно себѣ отказывать. Сусанна при этомъ смотрѣла на него такъ, какъ будто хотѣла сказать, что она «все сіе» разумѣетъ лучше его. «Скрытое-то пламя» давало себя чувствовать! Горунинъ ужь немножко торжествовалъ. Онъ думалъ:

«Эти южныя натуры! Ихъ только надо умѣть увлечь, пробудить въ нихъ энтузіазмъ!»

И ему показалось, что въ этотъ вечеръ ему удалось и увлечь, и пробудить энтузіазмъ: во время ужина она была необыковенно задумчива; разсѣянный взглядъ ея постоянно на немъ останавливался... На прощанье она крѣпко сжала ему руку, казалось, хотѣла что-то сказать, но бдительная синьора Маріанна уже стояла подлѣ Горунина со связкой ключей и готовилась со свѣчей проводить своего постояльца въ его комнату.

— Пожелайте спокойной ночи синьору, сказала она дѣтямъ,—и ступайте по угламъ.

Горунинъ удалился въ свою комнату. Онъ былъ въ не-

обыкновенномъ состояніи духа... Рукѣ его все еще чувствовалось пожатіе нѣжной руки Сусанны. Передъ глазами ни на минуту не исчезали ея большіе черные глаза, изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ устремлявшіе на него какой-то, какъ онъ толковалъ себѣ, «тоскливо-призывающій» взглядъ... Куда же они зовутъ его? Къ чему все это можетъ повести?.. О, что объ этомъ думать! «Настоящее, настоящее!» повторялъ онъ. «Жизнь вдругъ такъ хорошо обстановилась... Я нахожусь теперь подъ вліяніемъ реальныхъ впечатлѣній — они идутъ въ меня извнѣ; это не созданіе болѣзненно настроеннаго воображенія, не фантасмагорія неудовлетворенной жажды жизни — это сама жизнь охватываетъ меня своей волною, какъ морской приливъ, и влечетъ, влечетъ... Но какъ человѣкъ, какъ существо разумное, какъ сынъ XIX вѣка, я все это чувствую, понимаю и осмысливаю...» Это все онъ продумывалъ, ходя взадъ и впередъ по своей комнатѣ, и вдругъ остановился у отвореннаго окна... Закатъ еще не погасъ. На дальнемъ горизонтѣ, надъ цѣпью плавныхъ, пологихъ вершинъ Апенинъ, точно высѣченныхъ изъ прозрачнаго, лиловаго аметиста, сіялъ край неба полосами—внизу ярко-оранжеваго цвѣта, переходившаго потомъ въ желтый, потомъ зеленоватый, который сливался съ потемнѣвшей лазурью остальнаго неба, плыли, принимая образы сфинксовъ, драконовъ или просто безконечной длинной линіей, въ родѣ меча-рыбы, обрывки облаковъ—тамъ, внизу темно-лиловаго цвѣта, — а высоко надъ головою его—маленькими клочками розовой кисеи... Безконечно казалось пространство, отдѣлявшее Горунина отъ этого аметистоваго и золотого царства, мимо котораго какъ будто только проходила

наша планета; безконечно казалось это пространство, затопленное холоднымъ туманомъ, изъ котораго подымались только профили холмовъ со своими кипарисами, пиніями и кое-гдѣ кучками домиковъ и башенокъ—какъ острова на этомъ сѣромъ морѣ... Горунинъ смотрѣлъ, Горунинъ слушалъ... обычный шумъ городка, отходящаго ко сну, запоздалые шаги, плачъ осла и гиканье погонщика, звонъ бубенчиковъ и топотъ муловъ, переходившихъ съ вьюками гору, звучный плескъ городскаго фонтана—мало-по-малу все исчезло передъ нимъ: онъ одинъ наполнялъ своею личностью, своей широкой симпатіей, этотъ дивный міръ. Онъ это понималъ, онъ это чувствовалъ, грудь его вздымалась медленнѣе, но сильнѣе... уста шептали... что-то гармоничное, даже похожее на стихъ... да! шестистопный и очень недурной ямбъ: «вы спите въ тишинѣ, подъ сѣнью Апенинъ...» Стихъ? Стихъ! А вотъ навертывался и слѣдующій: «потомки мирные воинственныхъ Омброновъ...» «Омброновъ», какъ хорошо!.. Мелькала и риѳма: «лимоновъ»... Старая привычка проснулась—онъ ужь нѣсколько лѣтъ какъ бросилъ писать стихи... «Неужели опять Муза!.. Да! Муза и любовь... о, блаженство!..» Поскорѣе зажегъ онъ свѣчу, вынулъ дорожную книжку, записалъ эти стихи. За ними пошло дальше, и черезъ полчаса вышло цѣлое стихотвореніе:

«Вы спите въ тишинѣ подъ сѣнью Апенинъ,
Потомки мирные воинственныхъ Омброновъ!
Вы спите—ночь тиха; съ темнѣющихъ долинъ
Несется ароматъ ясминовъ и лимоновъ...
Въ васъ нѣтъ шальныхъ страстей великихъ городовъ,

Ни безполезныхъ мукъ, ни козней хитрецовъ,
Вамъ чужды блескъ и шумъ, и цѣпи, и темницы...
А я—я бодрствую... Воспитанникъ столицы,
Одинъ за всѣхъ за васъ, одинъ я сознаю,
Что ночь ясна, что я—живу, что я... люблю!»

Хотя послѣдній стихъ и казался нѣсколько неловкимъ, непріятно ломающимся на три кусочка—но онъ помирился съ нимъ: такъ ужь, молъ, «вылилось»... Главное—искренность и правда въ поэзіи... конечно, и звучный стихъ... Стихи же звучны... а я-то? Развѣ я не искренень? Развѣ настроеніе мое поддѣльное?.. Это сама жизнь вырываетъ изъ души моей такой аккордъ...

Не вините, читатель, Горунина! Большинство людей и даже очень глубокомысленныхъ критиковъ полагаютъ, что великія творенія рождаются тутъ же, подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ и «выливаются» какъ одинъ аккордъ, и что въ этомъ аккордѣ все хорошо: и лимоны, и хитрецы, и воспитанники...

Горунинъ такъ былъ погруженъ въ гармонію этого своего аккорда, что не слыхалъ, какъ отворилась дверь и кто-то къ нему подошелъ. Онъ замѣтилъ присутствіе въ комнатѣ другого существа только тогда, когда это существо слегка прикоснулось къ его плечу...

— Сусанна!

— Тсс! Молчите... прошептала она, быстро кругомъ оглядываясь.

Она была безъ своего бѣлаго покрывала, которое всегда носила на головѣ, окутана въ темную шаль, завязанную

концами назади и чудесно обрисовывавшую ея талію и высокую, полную грудь...

— Чего же вы испугались? сказала она, какъ будто довольная удачею своей шалости и любуясь на испугъ Горунина, который вскочилъ со своего стула и смотрѣлъ на нее совсѣмъ растерянный.

— Сусанна... Сусанна... О, какое счастье!.. — задыхаясь только и могъ произнести Горунинъ, приходя въ себя. — Я признаюсь, писалъ и не думалъ...

— Такъ я уйду, если вамъ помѣшала...

Она сдѣлала движеніе по направленію къ двери.

Горунинъ схватилъ ее за руку.

— Ради Бога! Нѣтъ! Останьтесь!.. Какъ можно...

— Я пришла къ вамъ, сказала она, садясь и вдругъ принимая серьезный видъ: — только сказать, чтобы вы не смѣли цѣловать эту гадкую Анджелику. Это не хорошо. Никто не цѣлуетъ дѣвочекъ ея лѣтъ. И ей стыдно.

— Я не зналъ, что это вамъ можетъ не нравиться, отвѣчалъ Горунинъ, въ этомъ приступѣ къ разговору прозрѣвая нѣчто другое, болѣе для него лестное, — но я не буду—если вы не хотите...

— Я не могу у васъ оставаться долѣе одной минуты... За мной всѣ слѣдятъ... за мной всѣ смотрятъ. Каждый мой шагъ, каждое слово замѣчено и растолковано злыми языками Богъ знаетъ какъ. Я окружена шпіонами... Я — несчастнѣйшая женщина!

Горунинъ приблизился къ ней, взялъ ее за руку, смотрѣлъ ей въ глаза. Она взглянула на него, потомъ отвела взоръ и устремила его въ окно на синюю даль.

— Боже мой! говорилъ Горунинъ, все еще держа ее за руку и смотря на нее:—неужели и здѣсь, въ этомъ раю—тѣ же цѣпи на бѣдной женщинѣ...

— Вотъ что, вдругъ, какъ бы очнувшись, рѣшительно сказала Сусанна, вставая: — увезите меня къ мужу!.. То, что теперь я у васъ—это ужь навѣрно всѣ узнаютъ,—за дверью, пожалуй, ужь и подслушиваютъ. Вы—иностранецъ, вамъ выѣздъ свободенъ.

Горунинъ быстро взглянулъ за дверь, заложилъ задвижку, быстро подошелъ къ Сусаннѣ, поднесъ къ устамъ ея руку, обнялъ ея станъ и шепталъ:

— Никого нѣтъ! Никого нѣтъ!

— Хотите увезти меня во Флоренцію, къ мужу?

— Хоть на край свѣта!

— Такъ не теряя времени, достаньте лошадей. Завтра, чѣмъ свѣтъ, я буду ждать за городскими воротами, на второмъ поворотѣ, гдѣ развалины старой башни. Выѣзжайте, какъ только станетъ свѣтать. А здѣсь пусть говорятъ, что хотятъ... что убѣжала съ вами... Мнѣ все равно... Устроите?

— Устрою, устрою!.. Все сдѣлаю... но не уходите, теперь... Поговоримъ еще... всѣ спятъ...

— Нельзя! прошептала она, граціозно погрозивъ пальцемъ и приложивъ его къ губамъ.—Такъ помните—второй поворотъ, старая башня.

Горунинъ цѣловалъ ея руку хотѣлъ поцѣловать плечо, обнажившееся отъ сдернувшейся съ него шали, но она съ подавленнымъ смѣхомъ вырвалась изъ его объятій, оказавшись въ борьбѣ гораздо сильнѣе его—и со словами: «до-

станьте лошадей — ветуринъ, почта, что хотите... Лучше, впрочемъ, ветуринъ», отдернула задвижку и скрылась за дверью.

Горунинъ, задыхаясь, упалъ на диванъ... Что это такое было?.. Онъ смотрѣлъ на стулъ, гдѣ она сидѣла, на то мѣсто, гдѣ стояла, тутъ подлѣ него... на всѣ предметы, которыхъ коснулась: всѣ они какъ будто повторяли ея слова, какъ будто были взволнованы отъ ея прикосновенія—и бумаги его грустно зашептали, когда она затворила дверь, и занавѣсъ кровати увлекся къ двери, чтобы ее опутать и удержать; особенно свѣча, огонь которой, видно наскучившись видѣть все одного Горунина и такъ любовно освѣтившій ея лицо, метался въ разныя стороны, точно готовъ былъ сейчасъ оторваться отъ свѣтильни и порхнуть за нею слѣдомъ... Но черезъ минуту все успокоилось, и листы его бумагъ, и занавѣсъ кровати, и огонь на свѣтильнѣ: не успокоился только Горунинъ... Волненіе его перешло мало-по-малу въ какое-то оцѣпенѣніе... Вдругъ въ головѣ его мелькнуло слово: «лошадей!» онъ быстро вскочилъ, схватилъ шляпу и осторожно сталъ спускаться съ лѣстницы. По счастью, первый встрѣтившійся ему человѣкъ по выходѣ изъ гостиницы «Горнаго Орла» былъ другъ Меркуціо. Онъ обѣщалъ клятвенно, что завтра до свѣта будетъ все готово.

«Или она любитъ меня, или любитъ мужа», думалъ Горунинъ, одинъ направляясь къ площади, инстинктивно повинуясь потребности подышать чистымъ воздухомъ. «Если она любитъ мужа—я не оскорблю святой привязанности! Я долженъ такъ поступить, какъ благородный человѣкъ...

Если же... если же любить меня... О, счастливѣйшій изъ смертныхъ... Въ обоихъ случаяхъ—это жизнь».

И онъ какъбудто въ первый разъ на вѣку своемъ почувствовалъ въ груди своей присутствіе всѣхъ доблестей человѣка, поставленнаго въ необходимость дѣйствовать и проявить въ дѣйствіи силу своей личности.

Горунинъ, ходя вдоль по площади туда и назадъ, нѣсколько разъ, прошелъ мимо остеріи, гдѣ видѣлъ художника—и вдругъ вспомнилъ про эту встрѣчу. При томъ высокомъ строѣ души, въ которомъ онъ находился, онъ ужь не задумался, не разсуждалъ, а смѣло и рѣшительно вошелъ въ локанду и прямо въ ту комнату, гдѣ былъ давече. Художникъ сидѣлъ еще тамъ. Передъ нимъ стояла большая фольетта съ виномъ и стаканъ.

— Вотъ мы съ вами опять сошлись, весело и развязно сказалъ Горунинъ садясь напротивъ.—Что за чудная ночь! Что за чудная страна, эта Италія!

Смѣлый пріемъ Горунина, очевидно, произвелъ на художника впечатлѣніе. Онъ какъ будто даже смѣшался, посмотрѣлъ на Горунина внимательнѣе и отвѣчалъ:

— А вы тоже изъ Россіи?

— Уже съ полгода. Выѣхалъ на Берлинъ, потомъ въ Дрезденъ, Гейдельбергъ, потомъ въ Парижъ, въ Женеву...

— Значитъ все какъ слѣдуетъ, пробормоталъ художникъ.

Интересъ за минуту, какъ казалось, пробудившійся въ немъ къ Горунину, видимо погасъ, онъ откинулся на спинку стула, опустилъ голову и потухшимъ взоромъ какъ бы машинально смотрѣлъ на своего vis-à-vis, и только повторялъ:

«такъ, такъ», когда тотъ описывалъ свой маршрутъ: на С. Бернаръ, Домо д'Оссоло, Геную, Флоренцію, Римъ...

— И Римъ, конечно, больше всего понравился? заключилъ свои «таки» художникъ съ нѣкоторой уже ироніей.— Еще бы! Столица искусствъ! — и онъ захохоталъ. — Всѣ ѣдутъ!.. Вы, пожалуй, тоже акварели рисуете? Ну—пины тамъ, красныя развалины?

Горунинъ понялъ иронію и хотѣлъ выдѣлить себя въ представленіи художника изъ массы нашихъ обыкновенныхъ туристовъ и вызвать въ немъ къ себѣ уваженіе и симпатію.

— Видите ли, сказалъ онъ спокойно и нѣсколько внушительно,—поѣхалъ я путешествовать, чтобы вообще познакомиться съ жизнью и бытомъ другихъ народовъ. Въ Германіи — наука. Во Франціи — жизнь парламента, міровые вопросы. Въ Италіи — древности и искусства. Хоть искусства и древности не моя спеціальность, но для образованнаго человѣка надо быть съ ними знакому. Я занимаюсь болѣе политической экономіей и философіей исторіи.

— Книги пишете?

— Еще не печаталъ; но у меня накопилось много матеріалу. Вотъ за границей-то я и надѣялся собственнымъ наблюденіемъ подкрѣпить выводы науки... такъ-сказать горизонтъ расширить. У насъ этими предметами почти не занимаются, не интересуются... А между тѣмъ они теперь важнѣе всего—особенно политическая экономія. Тутъ, можно сказать, послѣднее слово вѣка, путь къ осуществленію его цѣлей... освобожденіе, обособленіе личности... проведеніе разумности въ отношеніяхъ людей и народовъ... А—въ концѣ

концовъ,—значитъ, единство и счастье всего человѣческаго рода... Ну—этого еще у насъ не понимаютъ!

— А не пишете ли вы стиховъ? вдругъ спросилъ художникъ.

Горунинъ, говорившій съ увлеченіемъ о любимомъ предметѣ и при этомъ неожиданномъ вопросѣ вспомнившій о только что имъ написанномъ стихотвореніи, смѣшался и даже обидѣлся.

— При чемъ же тутъ стихи? спросилъ онъ.—То, что я говорилъ, — это плодъ моихъ долгихъ размышленій, всей жизни, чтенія... а я ничего не пропускаю по этой части... Вы же вдругъ—стихи!..

Художнику стало его даже какъ будто жаль.

— Выпьемте-ко лучше, сказалъ онъ наливая Горунину изъ своей фольетты.—Это вино не дурно. Я спросилъ васъ о стихахъ, продолжалъ онъ, какъ бы желая поправиться,— оттого что у насъ былъ товарищъ — вышелъ бы хорошій архитекторъ для гражданской архитектуры, да заѣла страсть къ стихамъ. Чушь ужасную пишетъ, а не учится, ничего не дѣлаетъ.

«Ну, часъ отъ часу не легче», подумалъ Горунинъ, но замѣтя, что художникъ и самъ уразумѣлъ свой промахъ, потому что махнулъ рукой и самъ пробормоталъ: «ну, что я вру!»—съ добродушной улыбкой отвѣчалъ:

— Признаюсь, вы меня очень сконфузили. Но я увѣренъ, когда вы меня узнаете покороче, вы будете обо мнѣ лучшаго мнѣнія... Да впрочемъ что же и скрывать. Я вамъ прямо скажу, что если теперь... я имѣю удовольствіе съ вами говорить..., то это потому что принялъ въ васъ горя-

чее участіе!.. Мнѣ здѣсь сказали, что вы — нашъ, что вы художникъ. Изъ того, что я слышалъ о васъ, я подумалъ не постигло ли васъ какое-нибудь несчастіе — не могу ли чѣмъ-нибудь вамъ быть полезенъ...

— Ну, меня-то ужь вы оставьте въ сторонѣ, перебилъ тотъ, нахмурился и опять протянулъ руку къ фольеттѣ.

— Мнѣ показалось очень страннымъ..., продолжалъ однако Горунинъ,—что-то такое болѣзненное... что вы поселились въ этомъ захолустьѣ, гдѣ, повидимому, ничто особенно васъ не занимаетъ.

Художникъ хмурился все болѣе и болѣе.

— Конечно, можетъ быть вы обдумываете какое-нибудь новое произведеніе...

— Ничего не обдумываю, да и нечего объ этомъ говорить.

— По крайней мѣрѣ отсюда вы куда же располагаете ѣхать—въ Римъ или можетъ быть въ Россію?

— Ни въ Римъ, ни въ Россію, никуда.

— Не навсегда же здѣсь останетесь!

— Можетъ и навсегда.

— Не можетъ быть, чтобы вы все бросили!

— Художникъ зѣвнулъ и потянулся.

— А если и все бросилъ?..

— А искусство? понизивъ голосъ, какъ бы съ нѣкоторой осторожностью спросилъ Горунинъ, тѣмъ тономъ, какъ говорятъ о святынѣ.

— Коего чорта еще искусство! какъ бы судорожно, со злобой воскликнулъ тотъ.

Горунинъ совсѣмъ изумился.

— Вы говорите такія вещи... Я не понимаю... Если вы бросили искусство... въ которомъ, какъ я слышалъ, достигли такой степени, должны же быть причины?

Художникъ разсердился и стукнулъ стаканомъ по столу:

— Чего тутъ причины! Захотѣлъ и бросилъ! И вся недолга. Говорите лучше о политической экономіи.

Но Горунинъ и подъ вліяніемъ вина, и подъ вліяніемъ удачи съ Сусанной, распахнулся во всю ширь своей любящей, симпатизирующей души. Онъ рѣшился прямо высказать мелькнувшую въ головѣ его мысль:

— Послушайте... я васъ не знаю... не знаю даже вашего имени и отчества...

— Маркъ Петровичъ Петровъ—ничего не укралъ, слава Богу, нечего скрывать свое имя.

— Ахъ, Маркъ Петровичъ, вы опять сердитесь, ну, да это все равно. Самъ не знаю почему, мнѣ хочется вамъ быть полезнымъ. Вотъ что, мало ли что случается въ жизни— вамъ не надобны ли деньги?

— Не хотите ли?

И художникъ высыпалъ горсть всякихъ монетъ на столъ и смотрѣлъ на Горунина.

Но тотъ не сконфузился и пристально посмотрѣлъ на Марка Петровича.

— У васъ душа не спокойна, сказалъ онъ.—Когда вы думаете вернуться въ Россію?

— А коего чорта я забылъ въ Россіи?

— Нѣтъ, вы чорта-то оставьте.,.

— Боитесь что ли его къ ночи?

— Не боюсь, да видите ли въ чемъ дѣло-то. Развѣ вамъ было нехорошо въ Россіи?

— Хорошо ли, не хорошо ли, оставимъ это. Въ Россіи только шалопаямъ нехорошо, а я такой же шалопай, какъ и многіе другіе. И по настоящему насъ слѣдуетъ оттуда выгонять палками, шалопаевъ-то.

— Есть у васъ семейство, родители, Маркъ Петровичъ?

Марку Петровичу какъ будто трудно было отвѣчать на этотъ вопросъ. Онъ упрямо молчалъ и злился. Горунинъ продолжалъ:

— И вы не вернетесь къ старикамъ?

— Да что вы меня исповѣдуете, что ли?

— Грѣшно, сударь, грѣшно! произнесъ Горунинъ тихо, съ нѣкоторой торжественностью, вставши со своего мѣста и потрепавъ художника по плечу:—стыдитесь— я вамъ прямо скажу: это, сударь, не по русски.

Онъ сталъ ходить по комнатѣ. Маркъ Петровичъ сидѣлъ, упрямо уставивъ глаза на прожженное пятнышко на столѣ, и прихлебывалъ изъ стакана.

Горунинъ наконецъ закурилъ сигару и сѣлъ на свое мѣсто.

— Маркъ Петровичъ, сказалъ онъ, — вѣдь вы все противъ себя говорите. Вы бросили искусство оттого, говорите, что «захотѣли» и бросили. Но отчего же вы захотѣли бросить? Ну, я согласенъ — позвольте говорить откровенно— что неудача можетъ насъ огорчить; но что же за малодушіе пасть при первой неудачѣ? Знаете ли, какъ начинали первоклассные художники? Вы, впрочемъ, это лучше меня должны знать. Неудача не убиваетъ, а удваиваетъ, утраиваетъ силы таланта на слѣдующія произведенія. Неудача—это тотъ же

учитель; онъ крутенекъ, правда, онъ осмѣетъ, даже уязвитъ, но лучше всѣхъ укажетъ вамъ ваши силы, заставитъ найти свои недостатки. А вы вѣдь вашихъ силъ еще не знаете... Потомъ вѣдь и то: современники не всегда понимаютъ талантъ. У нихъ свои односторонніе теоріи — и поднесите этимъ аристархамъ произведеніе созданное не по ихъ теоріи—у каждаго же таланта вѣдь *своя* теорія, которой онъ часто самъ не сознаетъ—закричатъ: вздоръ! дрянь! *не то*... *Не то*—а отчего? Помилуйте! Писали, писали, доказывали, громоздили свой принципъ, разбивали все по клѣточкамъ, въ такомъ отличномъ порядкѣ—и роды, и виды, и рубрики, и параграфы, и убили, можетъ быть, сотни талантовъ, имъ повѣрившихъ на слово... А тутъ вдругъ пришелъ Богъ вѣсть кто такой, гдѣ учился, съ какимъ дипломомъ, да и бацъ—всю теорію вверхъ дномъ! Изъ одного самолюбія ужь надобно унять такого выскочку... Вотъ, батюшка, судьи-то. Да и не у насъ, у однихъ. Положимъ, они—сила, да вамъ-то ихъ ли слушать? «Ты самъ себѣ судья, взыскательный художникъ!»—сказалъ Пушкинъ—и сказалъ великую истину!

Маркъ Петровичъ во все время рѣчи Горунина сидѣлъ, уставясь глазами на извѣстное прожженное пятнышко. Горунинъ хотѣлъ что-то еще прибавить, но Маркъ Петровичъ сдѣлалъ какъ бы судорожное движеніе и перебилъ его:

— Что вы мнѣ все это разсказываете! Ни въ какихъ судьяхъ я вашихъ не нуждаюсь, да и все, что говорите, знаю; дѣло только въ томъ, что надобенъ талантъ, чтобы что-нибудь сдѣлать—и вотъ этимъ-то дѣломъ и бить ихъ... А у кого нѣтъ таланта...

Дальше говорить онъ не могъ, легъ головой на руки,

спрятавъ лицо. Горунинъ смотрѣлъ на него молча. Ему казалось, что художникъ рыдалъ.

— Маркъ Петровичъ! Ну, это еще что̀ такое? говорилъ Горунинъ, глубоко тронутый.

Маркъ Петровичъ овладѣлъ собой и продолжалъ порывисто, съ особенной силой:

— У кого нѣтъ таланта, да лѣзетъ въ геніи—тотъ подлецъ! Да какой еще подлецъ: маленькимъ не хочетъ быть на что̀ родился, а полѣзъ, гдѣ бы и духу его не должно быть... Не захотѣлъ Маркушка гусей да утятъ стеречь, свиней пасти, да какъ бы повыросъ, старику отцу помогать... Не захотѣлъ казачкомъ въ лакейской сидѣть—чулки вязать, съ дѣвками амуриться, тарелки облизывать. Хочу, молъ, художествомъ заниматься... Чтобъ ихъ тамъ чортъ всѣхъ побралъ, умниковъ-меценатовъ—выдрать бы его хорошенько дурака, дѣла не дѣлай, отъ дѣла не бѣгай—знай сверчокъ свой шестокъ, — а то нѣтъ! Въ академію его! И того мало: въ Италію! Чтобъ имъ ни дна, ни покрышки! Въ Италію! Аполлона Бельведерскаго, Моисея поглядѣть, да Медичисовъ Микель-Анджеловскихъ, да Бернініевскаго Христа у Богоматери на колѣняхъ... И поглядѣлъ, и сравнилъ свои мужицкія силы съ ихними, съ божескими! И казнись теперь—залетѣла ворона въ высоки хоромы!.. И радуйся, Благодатная, Господь съ тобою!..

Горунинъ пораженъ былъ силою, съ которою сказаны были эти слова. Страшная драма развертывалась передъ его нѣжною душою при каждомъ намекѣ; въ каждомъ словѣ онъ видѣлъ тяжкое горе, жестокое испытаніе.

— Маркъ Петровичъ! началъ онъ наконецъ оправясь,—

не вините себя, не вините никого! Вы себя не понимаете. Судя по вашимъ словамъ, вы уже много сдѣлали, чтобы было чѣмъ вамъ гордиться... Вы, значитъ, начали ваше поприще съ самаго начала, съ самаго низу... И сколько вамъ надобно было побѣдить препятствій—если вы изъ простого крестьянскаго мальчика дошли до того, что теперь—въ Италіи и пользуетесь такой репутаціей. Я сейчасъ слышалъ, тутъ же, въ кофейнѣ, какъ объ васъ судитъ народъ,—а у итальянскаго народа чутье врожденное—значитъ передъ вами великое будущее, и ваше прошедшее за него ручается. Вы, можетъ быть, Маркъ Петровичъ, озлоблены... понимаю!.. Всю жизнь въ душѣ копились оскорбленія, копились, копились, и наконецъ стало тѣсно съ ними... Но вѣдь надо знать, отъ какихъ людей они исходятъ! Вы знаете, что̀ такое наше общество!.. Ахъ, Маркъ Петровичъ, да знаете ли вы, что я сколько ни видалъ у насъ талантливыхъ людей—всѣ они несчастны, всѣ они какъ болѣзненные наросты на нашемъ обществѣ! Что̀ дѣлать! Вы не для публики, не для отечества должны трудиться, а только для искусства, для человѣчества, ждать признанія не отъ настоящаго, а отъ будущаго: онъ прійдетъ, этотъ судія, и разберетъ! Вотъ отчего у насъ пока не можетъ быть ни національнаго искусства, ни русской школы, ни русской науки... Именно оттого, что ни наука, ни искусство не имѣютъ корня въ нашей исторіи, не въ потребностяхъ духа русскаго человѣка! Вы, художники, какъ и мы, ученые,—мы только продолжатели развитія той мысли, которая жила какъ необходимый элементъ всей многосторонней жизни на Западѣ. И наше историческое значеніе вотъ какое: мы пока-

зываемъ собою, что эта мысль развилась такъ широко, что даже охватила собою самоё полудикую Россію... Что дѣлать? Мы еще варвары, Маркъ Петровичъ! Россія долго еще будетъ Сатурномъ, пожирающимъ лучшихъ своихъ дѣтей...

— Нѣтъ, стой, братику, стой! перебилъ его художникъ, приподымаясь,—а при мнѣ ты Россію ругать не смѣй!

Онъ ударилъ кулакомъ по столу.

— Да вы, Маркъ Петровичъ, сами эта жертва!

— Если пока жертвы такія, какъ мы съ тобой, такъ и жалѣть насъ нечего, и плевать на насъ. Россія—святое дѣло.

— Я совершенно понимаю васъ и вполнѣ согласенъ; отечество — святое дѣло; можетъ быть, въ далекомъ будущемъ и намъ будетъ чѣмъ гордиться... Но, сами согласитесь, Россія еще на очень низкой степени цивилизаціи...

— Цивилизація! прошипѣлъ сквозь зубы, со злобой и презрѣніемъ Маркъ Петровичъ. — Оттого, что ты самъ человѣкъ—дрянь, такъ и сваливаешь на Россію... Я знаю, что я тоже человѣкъ дрянь, оттого и не хочу въ Россію, и недостоинъ быть въ Россіи...

— Вы меня не выслушали, Маркъ Петровичъ, я не ругаю Россію... и напрасно сердитесь, я люблю Россію не меньше вашего... Можетъ быть, мы не сходимся только въ томъ, какъ понимать Россію.

— Чего тутъ понимать? перебилъ художникъ. — «Россія»...—и онъ, съ полузакрытыми глазами, какъ будто самъ себѣ въ первый разъ уясняя то, что коренилось въ глубинѣ души его, говорилъ сначала тихо и отрывисто, а потомъ съ возрастающимъ паѳосомъ: — Россія... это вотъ —

кремль!.. Это—татары!.. Это—Дмитрій Донской!.. Это—Сергій Преподобный... до Ледовитаго океана разнесли ученики духъ его и *создали* русскій народъ!.. Это—Мининъ и Пожарскій... Это—Петръ Великій: полтавскій-то приказъ его—«а о Петрѣ не думайте, жива была бы Россія!..» Это—Ломоносовъ: «и будетъ собственныхъ Невтоновъ земля Россійская рождать»!... Да что тутъ говорить!.. Не «чувствуешь»—такъ и чортъ съ тобой! заключилъ онъ, сильно махнувъ кулакомъ.

Молча потомъ пройдясь по комнатѣ, молча подошелъ онъ опять къ столу, взялъ фольетту и налилъ два стакана; поставилъ одинъ передъ Горунинымъ, и поднявъ свой, потянулся, чтобы чокнуться:

— За Россію! произнесъ онъ, задыхаясь отъ волненія.

Они чокнулись и молча выпитъ былъ тостъ. Было что-то благоговѣйное, торжественное въ этомъ тостѣ, что почувствовалъ и Горунинъ, отъ котораго не ускользнула особенная обстановка этого тоста — въ глуши Апенинъ, въ безвѣстномъ маленькомъ городишкѣ... У него даже слезы навернулись. Маркомъ Петровичемъ онъ былъ совершенно подавленъ.

«Экая богатая, непосредственная натура!» мелькали въ его умѣ разные обрывки мыслей—«что за сила!.. Вѣдь вотъ ею, этою необъяснимою и себѣ невѣдомой, грубой силой и могуча Россія...»

Этого онъ не произнесъ вслухъ, но видя, что Маркъ Петровичъ успокоился и сѣлъ на свое мѣсто, сказалъ ему:

— Какой вы славный, Маркъ Петровичъ!.. Разскажите-ка мнѣ о себѣ, то-есть, какъ вы стали искусствомъ-то заниматься?

— Какъ искусствомъ-то сталъ заниматься? Да какъ? Былъ я взятъ изъ крестьянскихъ мальчиковъ во дворъ казачкомъ. Стали тутъ строить новый господскій домъ; выписали изъ Москвы живописца потолки расписывать и по стѣнкамъ помпейскія фрески рисовать. Я былъ къ нему приставленъ краски тереть, наглядѣлся, да и самъ сталъ марать. Онъ похваливалъ, поправлять сталъ. Ну и пошло. Началъ со всѣхъ портреты писать. Пріѣзжаетъ къ барину одинъ знакомый, князь: да вы, говоритъ, его со мной отпустите, будетъ у меня жить, ходить въ Академію. Князь потомъ померъ. Баринъ дозволилъ мнѣ продожать учиться, а какъ сталъ я ужь ученикомъ порядочно заработывать, оброкъ положилъ. На медаль работать мнѣ нельзя было, потому крѣпостной. Тутъ у меня завязалась съ нимъ исторія. Академія просила, чтобы онъ далъ мнѣ вольную. Онъ— ничего, говоритъ, очень радъ, только пусть мнѣ прежде поработаетъ, заслужитъ. Ну, и поѣхалъ я къ нему заслуживать. Оно, впрочемъ, было весело Дали подъ мою команду крестьянскихъ мальчиковъ. Отыскали мы годной для лѣпки глины—въ Академіи-то я на скульптуру перешелъ. Мальчишки таскаютъ, мнутъ, мелятъ, а я-то сущимъ Микель-Анджеломъ работаю. Баринъ не нарадуется, такъ за мной и ходитъ: ѣшь и пей чего хочешь, всего вволю. Всю церковь облѣпилъ барельефами; къ амбару каріатиды приставилъ въ родѣ аѳинскихъ, у Парѳенона-то маленькій храмикъ—дѣвушки съ такимъ загадочнымъ взглядомъ, какъ у сфинксовъ... На скотномъ дворѣ колоссальныхъ быковъ воздвигъ. Всей дворни, всѣхъ сосѣдей бюсты вылѣпилъ — все отливали изъ гипса... Что онъ денегъ потратилъ!.. Семей-

ную группу сдѣлалъ. Самъ онъ велѣлъ себя изобразить римскимъ консуломъ въ тогѣ и туникѣ въ курульныхъ креслахъ (съ Анной на шеѣ), супруга, дочь, а надъ ними, въ видѣ парящаго ангела—преждевременно, видите, рожденный, мертвый ребенокъ...

«Ну, годъ работаю, другой идетъ... Я ужь говорю ему на чисто: отпустите, кажется, заслужилъ!.. Нѣтъ, погоди, да погоди! Со стороны ужь стали стыдить—губернаторъ. Ужь и губернатору я былъ извѣстенъ—бюстъ сдѣлалъ... Потомъ чиновники — помѣщики... Разъѣзжаю на тройкахъ. Пропадаю по мѣсяцамъ. Многіе принимали меня ужь совсѣмъ не какъ крѣпостного. Андрей Ивановичъ говоритъ, души не чаетъ во мнѣ: какъ я тебя отпущу! Что же со мной будетъ! А я ужь, знаете, и книгъ поначитался; о товарищахъ слышу—успѣхи. Да что!.. Сама барыня и барышня меня подбиваютъ, обѣ, знаете, съ романтизмомъ въ головѣ — всѣ мечтали о художникахъ. Я же былъ недуренъ собою, одѣвался хорошо, чисто, денегъ много. Началъ шалить — ужь нарочно, авось выгонятъ; споилъ дворню — на все сквозь пальцы смотритъ. Одна штучка помогла. Была у него въ городѣ зазнобушка. Я пронюхалъ, да и пріударилъ за ней. Ну, ужь тутъ не выдержалъ, разсердился, раскричался, неблагодарностью попрекалъ и прогналъ, далъ паспортъ и выкупъ назначилъ... десять тысячъ. Тутъ я и пріѣхалъ въ Петербургъ.

— Что жь вы дѣлали въ Петербургѣ?

— Что дѣлалъ? Памятники—можете видѣть на Смоленскомъ и на Волковомъ. Въ годъ выкупился, получилъ вольную, устроилъ свои дѣла въ Академіи—и вотъ теперь въ Италіи.

— Охъ, Маркъ Петровичъ, какой же вы путь прошли!..

— И чортъ знаетъ, къ чему все это! сказалъ онъ, вдругъ погрузясь опять въ мрачную думу. — Не полный у меня талантъ! Весь израсходовался, пока добивался, или просто былъ, да прошелъ.

— Да кто же вамъ это сказалъ? Съ чего вы это взяли?

— Ахъ, да я ужь вамъ говорилъ! Мои судьи сказали: Микель-Анджело сказалъ, Донателло сказалъ... не ваши доморощенные судьи! Пока ихъ не понималъ, что они говорятъ, и работалъ, а понялъ — и послушался, и пересталъ работать.

— Это добрый знакъ, добрый знакъ, повторялъ Горунинъ, потирая руки, — постоянное самодовольство, самоувѣренность въ художникѣ не есть признакъ таланта, а даже скорѣй напротивъ. Но вы сами согласитесь, что затѣяли не доброе дѣло. Вы должны меня послушаться.

— Вы опять за свое? строго произнесъ художникъ, еще болѣе омрачаясь.—Эй, Антоніо! еще фольетту!

Горунинъ, ужь тверже прежняго, прямо рѣшился увезти Марка Петровича. Правда, для этого ему надобно было пожертвовать Сусанной. Э, да что тутъ думать... Онъ залпомъ осушилъ налитый ему стаканъ и храбро приступилъ къ дѣлу:

— Ваша студія въ Римѣ?

— Въ Римѣ.

— Поѣдемте вмѣстѣ въ Римъ.

— Экую новость выдумали!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, ужь какъ ни говорите, вамъ здѣсь нечего дѣлать. Вы больны, у васъ нервы разстроены. Ну,

я прошу васъ, Маркъ Петровичъ, поѣдемте вмѣстѣ. Я не прощу себѣ, если оставлю васъ, такъ, одного, Богъ знаетъ гдѣ... Ну прошу васъ какъ другъ, какъ человѣкъ, который васъ любитъ...

— Будемъ лучше пить, говорилъ художникъ и опять налилъ Горунину.

Горунинъ съ безпокойствомъ смотрѣлъ на каждый новый пріемъ. Пустыхъ фольетъ выстроилась ужь цѣлая батарея на столѣ.

— Половина вашей жизни убываетъ отъ этого яда! воскликалъ онъ.

Самъ онъ чувствовалъ, какъ слабѣлъ, голова разгоралась, но тѣмъ болѣе душа рвалась на доброе дѣло.

— Такъ завтра ѣдемъ?

— Мнѣ и здѣсь хорошо, бормоталъ уже Маркъ Петровичъ, откинувшись на спинку стула и покачивая тяжело головой то направо, то налѣво.

— Такъ рѣшено? Вы даете слово?

— Ну, ужь это скучно, проговорилъ Маркъ Петровичъ вставая.—Коли больше ни очемъ не умѣете говорить, такъ лучше прощайте!.. Право, точно іезуитъ какой обращаетъ въ католичество, добавилъ онъ ужь въ видѣ общаго разсужденія, не смотря на собесѣдника.

— Еслибы вы знали, Маркъ Петровичъ! воскликнулъ Горунинъ, тоже вскочивъ со своего стула: — еслибъ вы знали, чѣмъ я хочу пожертвовать, чтобы только спасти васъ!

— Не нужно мнѣ никакихъ жертвъ! Я самъ никогда и никому ничѣмъ не жертвую.

Онъ позвалъ камерьера (служителя), бросилъ ему, не считая, нѣсколько скуди за вино, поклонился Горунину и вышелъ изъ остеріи.

Горунинъ хотѣлъ было броситься за нимъ, но подкосились ноги. Грустно опустилъ онъ голову на руки.

— Боже мой! говорилъ онъ. — Ничего-то я не могу сдѣлать! Отчего это? Что это такое!.. Готовъ жертвовать, можетъ быть, счастіемъ своей жизни, чтобъ спасти другаго, который лучше меня... и все тщетно! Боже мой! Все напрасно!

Долго еще сидѣлъ онъ неподвижно въ остеріи, пока не успокоился. Успокоила его окончательно мысль: «Нечего однако дѣлать... Сама судьба толкаетъ къ Сусаннѣ...»

Горунинъ ужь подходилъ къ гостиницѣ Горнаго Орла, какъ отъ нея отъѣхала тяжелая карета и стала спускаться съ горы. Толпа, обыкновенно собирающаяся глазѣть на проѣзжихъ и хотя за это сорвать съ нихъ la buona mano или buona grazia, расходилась въ разныя стороны. Человѣка три конюховъ разныхъ гостиницъ, приведшіе изъ разныхъ мѣстъ лошадей, дѣлили полученную буону-грацію; оставался одинъ недѣлимый байокко, они стали разыгрывать его въ мору (la moro) — игра, состоящая въ томъ, чтобы въ одно время обоимъ играющимъ открыть извѣстное число пальцевъ такъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣми, которые открылъ другой, вышло число, какое должны оба единовременно сказать; они буквально впиваются глазами другъ другу въ глаза, и выкрикиваютъ въ одно время: cinque, sei, и пр. Задоръ такой, что нерѣдко дѣло доходитъ до но-

жей. Какъ ужь онъ подходилъ къ дому, Горунинъ замѣтилъ при лунномъ свѣтѣ, что изъ открытаго окна верхняго этажа высунулась головка Анджелики: она была въ одной рубашенкѣ, прибирала ручками круглый воротъ ея на складкахъ; распущенныя косы ея свѣсились внизъ, когда при его приближеніи она къ нему нагнулась и рукою дѣлала ему какіе-то знаки, какъ будто хотѣла что-то сказать,—но вдругъ появилась сьора Маріанна, отдернула дѣвочку отъ окошка—дѣвочка заплакала, а мать захлопнула окно. Онъ поглядѣлъ еще, не смотритъ ли откуда-нибудь Сусанна, но ея не было...

Было условлено, что съ первыми лучами зари другъ Меркуціо придетъ разбудить Горунина, принесетъ счетъ хозяйки и приведетъ ветурина. Подъ вліяніемъ сладкихъ мечтаній о Сусаннѣ, да и при содѣйствіи выпитаго противъ обыкновенія бо́льшаго количества вина, Горунинъ очень скоро заснулъ.

Но не другъ Меркуціо разбудилъ его на другой день: онъ самъ проснулся — вспомнилъ все,—вскочилъ — солнце ужь высоко, въ гостиницѣ все давно поднялось, какъ свидѣтельствовали разнородные шумы, сразу донесшіеся до его слуха. Онъ спустился внизъ: дѣвушки на обширной кухнѣ ужь гладили бѣлье; сьора Маріанна сама своими бѣлыми руками разсѣкала большимъ ножемъ баранью грудинку и кроила котлеты; старшая дочь ея Аврора сидѣла передъ очагомъ, протянувъ ноги и поджавъ на груди руки, и наблюдала за варившимся для Горунина кофеемъ. Конюхъ мелъ улицу. Не видно было только маленькой Анджелики и Сусанны.

Горунинъ спросилъ: не приходилъ ли за нимъ Меркуціо; оказалось—не приходилъ.

Онъ вышелъ на площадь къ кофейнѣ, ни друга Меркуціо, ни друга Пьетро у кофейни не было.

Онъ прошелъ въ городскія ворота, гдѣ его пропустили безпрепятственно, послѣ нѣкотораго допроса и «buona mano», спустился съ горы до второго поворота, до старой башни; тамъ не было Сусанны.

Только какъ вернулся домой, къ нему подлетѣлъ другъ Меркуціо, весь запыхавшійся и обмахивавшійся платкомъ.

— Eccolo, que sto caro signore! Вотъ онъ наконецъ, этотъ любезный господинъ! Соблаговолите поглядѣть на меня: точно изъ воды вылѣзъ: всю ночь пробѣгалъ, никто не ѣдетъ: кто боится, а у кого нѣтъ лошадей. Сбѣгалъ ужь въ Лойано—двѣ мили отсюда—тамъ у меня племянникъ—черезъ часъ пріѣдетъ, un bravo giovinotto, недавно женился, тоже ветуринъ, двѣ смѣны лошадей...

— Ну да! Миланская карета, останавливаться въ лучшихъ гостиницахъ — еще что?.. Эхъ вы! La fede italiana! Итальянская вѣрность! «Никто не ѣдетъ, нѣтъ лошадей»— а для кареты вчера поздно вечеромъ нашлись лошади! — сердито проговорилъ Горунинъ.

Другъ Меркуціо на этотъ грозный окликъ сталъ изображать изъ себя на всевозможныя, неописуемыя манеры всѣ степени отчаянія: другъ Пьетро, смотря на него, только губы покусывалъ.

Въ ожиданіи племянника Горунинъ сѣлъ однако пить кофе, подлѣ кухни, въ обширной хозяйской столовой; велѣлъ тутъ подать себѣ, а не въ «чистыхъ комнатахъ»,

въ надеждѣ увидѣть Сусанну. Онъ молчалъ. Молча также, глубоко понуривъ головы, стояли, какъ каріатиды, по обѣимъ сторонамъ двери, другъ Пьетро и другъ Меркуціо, тяжело вздыхая.

Наконецъ подъѣхалъ «племянникъ». Уложили вещи. Горунинъ заплатилъ по счету, стали прощаться. Горунинъ не выдержалъ и спросилъ: а гдѣ же Анджелика и сьора Сусанна?

— Ахъ я дура этакая! всплеснувъ руками, воскликнула сьора Маріанна:—изъ головы вонъ совсѣмъ. Сусанна очень велѣла вамъ кланяться. Она уѣхала съ этими господами... Какъ же, бѣдняжка! По мужу скучала, сами видѣли—а теперь время такое... съ нашимъ братомъ строго. Ну, большіе господа, притомъ иностранцы — другое дѣло! Господинъ-то и сжалился, взялъ ее, голубушку, какъ бы служанку...

Горунинъ не могъ держаться на ногахъ и присѣлъ на скамейку.

— Какой господинъ?

— Что вчера проѣзжали — хорошій господинъ, какъ слѣдуетъ господинъ, и синьоръ и синьорина... вотъ онъ въ книгѣ расписался... да ужь и вы потрудитесь кстати расписаться.

И сьора Маріанна поднесла Горунину раскрытую книгу съ именами путешественниковъ, и онъ прочелъ послѣднюю подпись: «André de Blagotschinnoy»—далѣе слѣдовалъ титулъ, котораго ужь онъ не сталъ читать. Наскоро написалъ свою фамилію, сказалъ, что у него страшно болитъ голова, и почти не отвѣчая на всеобщіе поклоны и по-

желанія, сѣлъ въ «дребезжалку», каковою ему показалась «миланская» карета, и грозно крикнулъ кучеру, чтобы ѣхалъ скорѣе.

«Какъ могъ сюда замѣшаться Благочинный? — не выходило у него изъ головы. — Не прельстилъ же онъ Сусанну своими напомаженными висками... Быть не можетъ»...

Вспомнилось ему еще одно обстоятельство. Анджелика разъ сказала ему: «Терпѣть не могу Сусанны!» Горунинъ, дивясь какъ въ этакіе годы дѣвочка, а ужь ревнуетъ и такое чутье имѣетъ, сталъ добиваться за что. «Гадкая! Вы знаете, у нея мужъ-то разбойникъ. Ихъ обоихъ навѣрно повѣсятъ»...

Экипажъ едва исчезъ на поворотѣ, какъ все оживилось: другъ Меркуціо подпрыгнулъ и вскинулъ шляпу на воздухъ, и къ общему удовольствію и хохоту схватилъ сьору Маріанну за руки и сталъ около нея кружиться, повертывая ее за собою.

Почтенная матрона наконецъ высвободилась, оттолкнула Меркуціо и,ославъ его къ дьяволу, прибавила:

— Чему радуешься? Нешто твоимъ умомъ дѣло сдѣлалось? Возился, возился цѣлую недѣлю со своимъ дуракомъ, да еще что бы вышло — неизвѣстно; а мы, вотъ, своимъ бабьимъ умомъ въ полчаса все спроворили.

— O, sublime donna, божественная женщина!—воскликнулъ Меркуціо, подымая къ ней руки. — Какъ же вы это совершили?

— Просто: вижу, пріѣхалъ господинъ, глазъ не спускаетъ съ Сусанны, спрашиваетъ меня потихоньку: кто такая? Я

тотчасъ сообразила, съ семействомъ-то безопаснѣе и спокойнѣе будетъ ей, чѣмъ съ этимъ недотыкой, и говорю: такъ и такъ, хочется къ мужу, а выѣзда изъ города нѣтъ, вотъ вы бы сдѣлали доброе дѣло, взяли съ собой, хоть только до границы, «служанка», молъ. Научила Сусанну, та расплакалась, — ну, и синьоръ, и синьора, и синьорина сжалились, поговорили между собой и взяли... А вотъ эта негодница Анджелика,— добавила сьора Маріанна: — испортила было все дѣло: такъ и рвалась разсказать ему все... Я ужь слышала разъ, она ему что-то про разбойниковъ говорила... Ну, ужь за то просидитъ у меня въ чуланѣ до вечера... Не прозѣвали бы только наши въ горахъ... Да не наткнуться бы имъ на карабинеровъ... Сплошаетъ Сусанна—многимъ придется посидѣть въ тюрьмѣ.

— Ну ужь за Сусанну — я головой поручусь: Маккіавелли въ юбкѣ! успокоивалъ другъ Меркуціо.

— А сплошаетъ, такъ ужь твоей-то головѣ не быть на плечахъ... — замѣтила сьора Маріанна. — Однако за дѣло принимайтесь, дѣти, нечего тутъ растабарывать...

ИЗЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ ГОРУНИНА ВЪ ИТАЛІИ *).

I.

Опять Маркъ Петровичъ.

Однажды Горунинъ возвращался изъ Ватикана, гдѣ провелъ все утро. Онъ шелъ очень погруженный въ свои думы, хотя по временамъ и уступалъ чувству изнеможенія и даже головной боли. Миновалъ уже ponte degli Angioli, мостъ Ангеловъ, и повернулъ къ театру Торденоне, какъ вдругъ остановился, потеръ лобъ и произнесъ:

— Батюшка! Да какъ же это я—одинъ? Гдѣ же мои дамы и вся компанія?.. Вѣдь уговорились изъ Ватикана ѣхать потомъ обѣдать у Ponte Molle... Какъ же это я ихъ поте-

*) Настоящій разсказъ находится въ непосредственной связи съ предыдущимъ. Оба они были набросаны вчернѣ еще въ сороковыхъ годахъ и должны были войти въ составъ цѣлаго ряда такихъ разсказовъ связанныхъ съ личностью предполагаемаго путешественника, Горунина: онъ, казалось мнѣ, представлялъ собою совсѣмъ особый, занимавшій меня тогда типъ, и всей серіи этихъ разсказовъ я думалъ дать то названіе, которое выставлено теперь.

Прим. авт.

рялъ? Въ картинной галлереѣ еще были вмѣстѣ... Въ длинной галлереѣ Амина Андреевна еще воскликнула: «Ахъ, мамаша, какой милашка мальчикъ!» и бросилась смотрѣть Амура, натягивающаго лукъ, и тотчасъ возвратилась къ мамашѣ вся красная. На кругломъ дворикѣ, гдѣ ванны и саркофаги, были вмѣстѣ... Потомъ обходили эти четыре святилища, гдѣ Антиной, Аполлонъ... Нѣтъ, чего бы тамъ ни натворили папы, но имъ многое простится за то, что они сдѣлали для искусства. Весь этотъ Ватиканъ - - вѣдь это такой же храмъ они воздвигли великой пантеистической идеѣ красоты, воплощенной въ мраморъ античнымъ міромъ, такой же храмъ, какъ и храмъ Св. Петра — идеаламъ новаго міра!.. Гдѣ же, однако, я ихъ потерялъ?.. Аполлонъ Бельведерскій... Онѣ еще тутъ были. Я говорилъ съ Чупруновымъ — вотъ болтунъ-то. Когда говоритъ чужія мысли — кажется очень уменъ; есть такіе люди... Всетаки съ нимъ больше разговору, чѣмъ съ почтеннымъ статскимъ совѣтникомъ Благочиннымъ и съ его «мамуней» и съ «дочуркой»... Хорошо объ нихъ выразился Чупруновъ: «Какіе еще архаическіе представители человѣчества!» Сколько еще его на свѣтѣ, этого архаическаго человѣчества... Да, все это такъ... Что же потомъ, однако? Больше ихъ не помню... Тутъ и завязался главный интересъ разговора. Онъ сказалъ, что искусство есть идеализированная природа. Я спорилъ, да такъ въ спорѣ мы вмѣстѣ и вышли изъ Ватикана. Онъ повернулъ къ San-Pietro, а я вотъ иду, не знаю куда».

Все это быстро промелькнуло въ головѣ Горунина, но изо всего имъ припомненнаго задѣло его за живое опять изреченіе Чупрунова, что искусство есть идеализированная

природа, и опять онъ забылъ о своихъ дамахъ и продолжалъ путь, по обычаю весь погрузившись въ вопросы, преслѣдовавшіе его въ Италіи.

«Идеализированная природа! думалъ онъ.—Конечно, ничего подобнаго Аполлону Бельведерскому я не видалъ въ природѣ. Да и художникъ, который его изваялъ, тоже, по всей вѣроятности, не встрѣчалъ такого созданія въ натурѣ. По крайней мѣрѣ того, что̀ мы называемъ божественнымъ въ этой статуѣ. Между тѣмъ всякое художественное произведеніе тѣмъ и хорошо, что оно не нарушаетъ законовъ природы. Даже болѣе: тѣмъ оно совершеннѣе, чѣмъ въ немъ болѣе жизни, больше натуры, чѣмъ строже въ немъ выполнены ея законы. Какъ же это согласить? Кто же выше—художникъ, или природа? Природа ли, которая безсознательно производитъ прекрасное и разсѣиваетъ его во многообразныхъ формахъ въ своихъ твореніяхъ, — или художникъ, который, будучи рабомъ природы въ своей техникѣ, творитъ самый идеалъ, къ которому она какъ бы стремится?.. А вѣдь сколько этихъ идеаловъ?.. Одинъ Грекъ сколько ихъ зналъ—Зевсъ, Аполлонъ, Паллада, Афродита,—богъ-міродержецъ, Геній, Мудрость, Любовь... Христіанскій міръ что ихъ открылъ! Тутъ Самъ Богочеловѣкъ — какая задача: Бого-Человѣкъ!.. Потомъ — Мадонна «Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ!» Эти святые въ мукахъ, эти св. Франциски, эти Катерины Сіэннскія, святыя Микелины, въ экстазѣ душой своей уже прозрѣвшія въ самую глубину духовнаго міра, этотъ къ небу, къ красотѣ стремящійся человѣческій духъ... И художники дали намъ эти идеальные образы... Гдѣ же они ихъ видѣли на землѣ?.. Понятно

становится Платоново ученіе о прототипахъ, въ созерцаніи которыхъ якобы пребывали души людей до ихъ воплощенія въ земное тѣло...»

Ему очень понравился этотъ міръ прототиповъ, и передъ нимъ нарисовался онъ какой-то чудною областью тонкаго свѣта, гдѣ въ какомъ-то воздушномъ чертогѣ пребываютъ какія-то, какъ бы изъ тумана образованныя, фигуры, которыхъ очертанія онъ своимъ безсильнымъ человѣческимъ зрѣніемъ ясно различить не можетъ; только видитъ легкія очертанія ихъ призрачныхъ профилей и призрачныхъ же бѣлыхъ одеждъ...

Можетъ быть, Горунинъ занесся бы куда-нибудь еще выше, какъ вдругъ почувствовалъ, что его дергаетъ кто-то за рукавъ.

Онъ почти съ испугомъ оглянулся и остановился, точно его разбудили и снова вернули изъ фантастическаго міра къ обычной земной жизни.

Ему прямо въ глаза смотрѣло свѣжее, блѣдноватое, смѣющееся личико дѣвушки, широко раскрытые большіе, черные, ласковые глаза, лукавая улыбка.

— О чемъ такъ задумались? спросила она, заглядывая ему въ лицо. — Я ужь три раза васъ обгоняла, и останавливалась, и пропускала передъ собой... Разъ даже нарочно толкнула... Идетъ, ничего не видитъ и не слышитъ...

— Бетгина! наконецъ опомнился Горунинъ.

Это была девяти- или десятилѣтняя дочка хозяйки, у которой онъ нанималъ комнату. Онъ замѣтилъ въ ней что-то особенное на сей разъ.

— Отчего это у тебя волоса мокрые, ты такая блѣдная и вся дрожишь?

— Вы только ничего не говорите дома, что̀ я вамъ скажу. Я сказала маменькѣ, что мнѣ велѣли нынче пораньше прійти на натуру. А это неправда, велѣли попозже. Мы и сговорились съ подругами сбѣгать покупаться. Тамъ не велятъ купаться, гдѣ мы купались, и солдатъ за нами погнался и хотѣлъ изъ ружья застрѣлить. Мы только успѣли выскочить изъ воды, схватили свои платьишки и—дра́ла... Перелѣзли черезъ забо̀ръ, одѣвались ужь въ какомъ-то саду. Хорошо, что еще насъ тамъ не увидали, а то бы почли за воровокъ... Стали бы жаловаться. Маменька бы высѣкла. Только моя бѣда еще не кончилась. Я ужь и рѣшила сегодня совсѣмъ не показываться дома. Буду ночевать гдѣ-нибудь на дворѣ, и ужь завтра скажу.

— Да что же съ тобой такое случилось?

— Я и вамъ не скажу, а то вы какъ-нибудь проговоритесь. Впрочемъ, пожалуй, скажу, только побожитесь, что маменькѣ ничего не будете говорить... Она меня прибьетъ и выгонитъ.

Горунинъ обѣщалъ.

— Ну, вотъ видите. На берегу ли оставила или выронила, какъ отъ солдата бѣжала, только я потеряла свою аленькую косыночку, которую повязываю на голову... Искала, искала—нѣтъ нигдѣ!

Вся игривость бѣдной дѣвочки пропала при этомъ разсказѣ. Глаза стали наполняться слезами.

— Ну, стоитъ ли тутъ плакать, утѣшалъ ее Горунинъ.— Мы дѣло поправимъ. Я скажу, если спросятъ, что нечаянно

захватилъ твою косыночку и потерялъ, а завтра куплю тебѣ новую. Я знаю какую... Дай мнѣ рученку, пойдемъ вмѣстѣ.

— Ну, ужь если это сойдетъ мнѣ счастливо—я за васъ вѣчно буду Бога молить!

Въ порывѣ чувства она бросилась къ Горунину, поднялась на цыпочки, нагнула его голову и поцѣловала. Потомъ просунула свою рученку подъ его руку и шла съ минуту потупивъ глаза. Но тутъ, на дорогѣ, попалась ей одна ея подруга, она гордо подняла голову и преважно, какъ какая-нибудь дукесса, посмотрѣла ей въ лицо: «Вотъ, молъ, съ какими кавалерами мы прогуливаемся!» Потомъ, когда прошла мимо, оглянулась, показала подругѣ языкъ, и обѣ разсмѣялись.

— Да вы куда идете? вдругъ спросила она Горунина.— Я вѣдь не домой. Я пойду на натуру къ одному скульптору; онъ дѣлаетъ съ меня статую. Тонину—вотъ эту самую, что сейчасъ встрѣтилась, не хотѣлъ взять. Говоритъ: глупа, не понимаетъ. Вы думаете, far'il modello легко и всякій можетъ? No, signore, тутъ надо имѣть un grand'intelletto! А ужь если я *этому* синьору угодила, то ужь это большая честь—un gran'scultore!

— А кто же такой этотъ скульпторъ?—спросилъ Горунинъ.

— Самый-самый знаменитый! Когда покажется на улицѣ, ему всѣ кланяются. Пріѣзжаютъ и большіе господа. Кардиналы ѣздятъ. Да вотъ что: къ нему всѣмъ можно, особенно форестьерамъ. Вы вѣдь тоже un forestiero. Теперь ужь недалеко. Вотъ и piazza di Spagna; поднимемся по лѣстницѣ, а тамъ ужь два шага. Caro signorino, пойдемте,

и меня тамъ увидите, въ глинѣ покамѣстъ, а потомъ ужь будутъ рубить изъ мрамора.

Беттина твердо рѣшила показать себя Горунину «въ глинѣ», и еще крѣпче, просто повисла на рукѣ его. Только на Испанской площади она бросила своего спутника, подбѣжала къ фонтану, находящемуся посреди, вспрыгнула на мраморный бассейнъ и, охвативъ обѣими руками голову льва, изъ пасти котораго лилась серебряная струя воды, подставила къ ней свой аленькій ротикъ; она на ходу и на болтовнѣ ужь совсѣмъ согрѣлась отъ купанья, и румянецъ игралъ во всю щеку. Напившись, опять подхватила Горунина, вся забрызганная, смѣясь и отирая рукавомъ капли влаги съ сіяющаго лица и смуглой шеи.

Горунинъ сообразилъ, что посѣщеніе незнакомыхъ мастерскихъ совсѣмъ въ римскихъ нравахъ, и хотя предположилъ къ обѣденному часу взять коляску и отправиться на Ponte Molle по уговору со своей компаніей, но, подпавъ подъ вліяніе болѣе твердой воли, хотя и ребенка, покорился дѣвочкѣ и послушно шелъ съ нею, куда она его просто тащила.

Такъ они поднялись съ Испанской площади по знаменитой Скалинадѣ, лѣстницѣ, къ церкви Trinità dei Monti, гдѣ находится почтенная французская римская академія, повернули направо по via Felice, центральной улицѣ всего этого художественнаго квартала; направо и налѣво, внизъ и вверхъ по горѣ, идутъ отъ этой улицы переулочки, и въ рѣдкомъ домикѣ нѣтъ приспособленной для мастерской художника комнаты съ освѣщеніемъ сверху или изъ окна тотчасъ подъ потолкомъ. Въ одинъ изъ такихъ домиковъ, по-

больше и опрятнѣе другихъ, они вошли по темной лѣстницѣ потомъ въ темный коридоръ, гдѣ Беттина осторожно постучала въ дверь.

Горунинъ спохватился, какъ же онъ по крайней мѣрѣ не освѣдомился, кто этотъ скульпторъ, какой націи, какое его имя, и шепотомъ спросилъ свою спутницу: «да какъ же его зовутъ?» Но за дверью послышался нетерпѣливый голосъ: Chi è? Кто тамъ?»

— Это я, Беттина, отвѣчала дѣвочка, дѣлая знаки Горунину, чтобы онъ молчалъ.

Послышался стукъ поднимающейся щеколды, приводимой въ движеніе изнутри комнаты веревочкой; дверь отворилась Беттина проскочила, увлекши за собой своего спутника; затѣмъ дверь опять захлопнулась, дѣвочка юркнула куда-то въ уголъ, гдѣ исчезла въ разномъ хламѣ скульптурной мастерской, и Горунинъ очутился въ тѣневой части комнаты у входа, никѣмъ не замѣченный и совершенно потерявшійся передъ зрѣлищемъ, которое передъ нимъ открылось.

Художникъ, очевидно, дернувъ веревочку, чтобы отворить дверь, тотчасъ принялся за работу, и Горунинъ видѣлъ только его спину.

Прямо передъ нимъ... но впрочемъ, такъ какъ увидѣнное Горунинымъ произвело на него сильное впечатлѣніе, надобно представить себѣ обстановку главнаго предмета.

Мастерская была довольно обширная комната, освѣщенная сверху. По стѣнамъ и темнымъ угламъ стояло множество гипсовыхъ и глиняныхъ статуй, бюстовъ, и пр. Однѣ терялись въ тѣни, на другія ярко упадалъ свѣтъ. Что это не музей эти статуи, — ясно было изъ того, что онѣ, оче-

видно, примѣнялись къ житейскому дѣлу, и боги, и богини Олимпа, и великіе мужи классическаго міра несли домашнюю службу: на Юпитерѣ была надѣта бандитская шляпа художника, на плечи Венеры накинуто было его пальто, а какой-то ораторъ, Цицеронъ или Демосѳенъ, произносящій рѣчь и протягивающій къ народу руку, держалъ на этой рукѣ наброшенную на нее женскую юбку... Но самый сильный свѣтъ, посредствомъ передвижныхъ на кольцахъ занавѣсокъ, былъ сосредоточенъ на той части комнаты, гдѣ на какихъ-то подставкахъ, покрытыхъ зеленымъ сукномъ, находилась почти совсѣмъ обнаженная женщина. Первое впечатлѣніе Горунина было то, что она, испугавшись его прихода, какъ бы бросилась отъ него укрыться и окаменѣла въ этомъ испугѣ — упавъ на лѣвую руку, а правою стараясь схваченной съ земли одеждой закрыть грудь, и изъ-за приподнятаго плеча изумленными глазами смотритъ на него и не знаетъ, вѣрить ли его дерзости. Не укрылось отъ него, что на ея лицѣ загорѣлся яркій румянецъ, и руки, и грудь тоже мгновенно вспыхнули, густые черные волосы разметались въ полномъ безпорядкѣ на лѣвое плечо, колебались на вздымающейся груди и широкимъ каскадомъ падали на-земь.

Горунинъ обомлѣлъ, не зналъ, что̀ ему дѣлать: уйти?— нашумишь; оставаться?.. Надо по крайней мѣрѣ дать ей время броситься прочь и спрятаться отъ него... Въ нерѣшительности стоялъ какъ прикованный къ мѣсту. Она тоже не двигалась: и онъ только тутъ понялъ, что это была—натурщица, тѣмъ болѣе, что туть же въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея было изображеніе въ той же позѣ тоже женской фигуры, только изъ зеленоватой глины.

Онъ отеръ холодный потъ, выступившій у него на лбу, и послѣ перваго смущенія, сталъ спокойнѣе разсматривать обнаженную женщину. Мало-по-малу вспыхнувшее отъ дѣйствія перваго стыда тѣло начало блѣднѣть и приняло свой обыкновенный цвѣтъ. Горѣло только лицо. Она даже подняла глаза, взглянула на Горунина очень спокойно и опять ихъ опустила. Переходя потомъ къ работѣ художника, Горунинъ, кромѣ этой уже знакомой ему фигуры, увидалъ еще другую — дѣвочки лѣтъ десяти, которая бросилась къ старшей и старается за нее спрятаться, закрыла лицо руками и только изъ-за пальцевъ взглядываетъ на предполагаемаго Актеона.

Художникъ въ синей блузѣ, весь перепачканный глиной, то отскабливаетъ, то налѣпляетъ и сглаживаетъ кусочки глины, взглядывая по временамъ на модель. Но вотъ совершенная блѣдность покрываетъ ея лицо; руки вздрагиваютъ: она то медленно ихъ опускаетъ, то опять подымаетъ. «Basta, basta! Довольно» произнесъ наконецъ художникъ, бросая свои стеки и отступая нѣсколько шаговъ назадъ, чтобы посмотрѣть на свою работу въ нѣкоторомъ отдаленіи, и Горунинъ увидалъ его въ лицо.

— Маркъ Петровичъ, вы ли это? вырвалось у него невольное восклицаніе.

Художникъ тоже широко раскрылъ глаза и развелъ руками.

— Батюшки! Какими судьбами! воскликнулъ онъ въ свою очередь, протягивая къ нечаянному гостю руки, какъ бы въ невольномъ порывѣ принять его въ дружескія объятія.—Да, да! Это вы, тамъ... въ остеріи... простите, я даже забылъ какъ васъ звать...

— Горунинъ, Александръ Васильевичъ, поспѣшно проговорилъ послѣдній.—Ради Бога, извините меня!

— Чего тутъ извиняться, голубчикъ Александръ Васильевичъ, я вѣдь о васъ подумывалъ! Отлично-отлично сдѣлали, что пришли. Вотъ поглядите, какія мы тутъ штуки откалываемъ. Кажется, будетъ недурно?

— Молодецъ вы, Маркъ Петровичъ! повторилъ Горунинъ, любуясь группой.

— Конечно, сюжетъ пустой, говорилъ между тѣмъ художникъ.—По заказу дѣлаю. Да сталъ работать и заинтересовался. Столько тутъ открылось вдругъ задачъ. Ну, вотъ сегодня, напримѣръ, работалъ: ноги. Надо чтобъ и ноги тоже испугались, и каждый пальчикъ испугался. Вотъ посмотрите: спинка — искривленіе хребта какъ будто неестественное, судорожное, а не сдѣлайте этого, не натяните вотъ этихъ мускуловъ — и испуга не будетъ. Надо чтобы душа-то, то, что она чувствуетъ,—чтобъ это по всей фигурѣ проходило, чтобы пронизывали всю ее насквозь.

— У васъ хорошая натурщица, замѣтилъ было Горунинъ.

— Да что натурщица! Всѣ эти натуры—дуры! какъ бы съ нѣкоторой брезгливостью отвѣтилъ художникъ.—Это кто какъ понимаетъ натуру. Иному—и профессору даже—хоть самоё Клеопатру поставь на натуру—все выйдетъ дерево!.. *Мнѣ* нельзя безъ натуры обойтись. Школы настоящей не прошелъ. Дома лѣпилъ, скверныя привычки сдѣлалъ. Въ академіи — отвлекался посторонними денежными работами. Ну и нужна натура, чтобы не наврать; чтобы она меня, понимаете, за локоть бы поддерживала или тумака бы дала, коли не туда лѣзу. У настоящаго мастера натура, то-есть,

вся эта анатомія, раккурсы, повороты, все это ужь въ немъ самомъ должно сидѣть. У него не можетъ быть неправильной фигуры, хоть бы онъ все безъ натурщика дѣлалъ. Вѣдь вы когда сочиняете, не думаете гдѣ ставить *яти* и *ести*, рука ихъ сама ставитъ, ужь знаетъ гдѣ. Такъ и художнику эта техника, рисунокъ, краски. Ну что̀ это, напримѣръ, за художникъ. Одинъ есть у насъ живописецъ. Ни черта безъ натуры не можетъ написать. Нужно было ему Тайную Вечерю рисовать; ходилъ, ходилъ, по извозчичьимъ дворамъ, по баркамъ, къ биржевымъ артельщикамъ, набралъ-таки мужиковъ для двѣнадцати апостоловъ. Только набралъ человѣкъ семь, пяти недоставало: такъ нѣкоторыхъ вдвойнѣ написалъ, по два апостола на одно лицо. А одинъ такъ въ трехъ видахъ, волосы только разныхъ цвѣтовъ сдѣлалъ. Развѣ это искусство?

— Да, подтвердилъ Горунинъ, — творческой фантазіи— ужь тутъ не ищи въ немъ.

— Рабъ! Камеръ-обскура! Дагерротипъ! Какая тутъ творческая фантазія! горячо проговорилъ Маркъ Петровичъ.

— А какъ же онъ Христа-то? спросилъ, смѣясь, Горунинъ.

— Между попами и діаконами искалъ.

— И нашелъ?

— Надо думать, что нашелъ. Комиссія одобрила картину и приняла.

Веселое настроеніе обоихъ бесѣдующихъ, вызванное этимъ оборотомъ ихъ мысли, было, однако, мимолетное. У Марка Петровича оно быстро смѣнилось серьезнымъ.

— Сдѣлалъ я, батюшка, разъ вотъ какое открытіе. Очень

полюбилъ меня одинъ живописецъ. Когда пріѣзжалъ въ Петербургъ, всегда у него останавливался. Сижу тамъ въ мастерской, книгу читаю, а онъ работаетъ. Такъ всегда приходилось, что сижу или лежу на диванѣ сзади его мольберта, такъ, наискось; видѣть могъ почти всегда его лицо. Понимаете, не картину, что онъ пишетъ, а его самого. Такъ по его лицу я всегда зналъ, что онъ пишетъ. Разъ, очень заинтересовался книгой, ну, совсѣмъ въ нее ушелъ. Онъ молчитъ, только вздыхаетъ. Тишина, знаете, полная. Только вздохи, слышу, ужь что-то похожи становятся на всхлипыванье. Я поднялъ на него голову. Вѣрите ли—какъ теперь гляжу—никогда я такого страданья не видывалъ—даже испугался — думаю: что съ нимъ? Всталъ тихонько, подошелъ, не подавая виду,—издали посмотрѣть—это онъ писалъ картину Несеніе Креста — такъ лицо Скорбящей Божіей Матери дѣлалъ... Я самъ обомлѣлъ, у самого у меня слезы потекли... Да-съ, а безъ натуры! Да и гдѣ бы ее взять! Ну—ясно стало-быть: *самому надо чувствовать.* А натура—это *яти* и *ести!*.. Или—справочный лексиконъ!

Горунинъ слушалъ Марка Петровича все съ возрастающимъ изумленіемъ.

— Какъ вы все это тонко понимаете, сказалъ онъ наконецъ.

— Ничего нѣтъ тутъ тонкаго. Это азбука. Къ этому надо бы было все обученье направлять.

— По вашему азбука, перебилъ его Горунинъ,— а по настоящему это центральный законъ эстетики, и я не знаю, кто изъ ученыхъ и критиковъ выразитъ его яснѣе, чѣмъ вы.

— Ну, голубчикъ, вы объ вашихъ ученыхъ со мной

лучше и не говорите. Какъ ни бился, ничего понять не могъ, такъ мужикъ-мужикомъ и остался... Однако, онъ посмотрѣлъ на часы, потомъ на натурщицу, которая, накинувъ на себя легкую блузу и поверхъ ея большой шерстяной платокъ, сидѣла на скамеечкѣ около своихъ подмостковъ и что-то жевала, и затѣмъ на Беттину, которая прислонилась къ кресламъ Марка Петровича и тихонько очищала кусочки глины, засохшей на его блузѣ, волосахъ и воротничкѣ рубашки,—однако, сказалъ онъ,—намъ остался еще часокъ поработать сегодня. Я ужь здѣшній обѣдъ пропустилъ: обѣдаютъ, канальи, здѣсь въ 12 часовъ, а въ два ужь все съѣдено, ничего нигдѣ не найдешь. До ужина, то-есть, до Ave Maria еще далеко... Вы ужь сегодня обѣдали?

— Нѣтъ еще, отвѣчалъ Горунинъ.

— Такъ вотъ что мы сдѣлаемъ — все равно вы теперь нигдѣ ничего не найдете, ужь поздно. Отобѣдаемъ у меня. Беттина! Пойди-ко къ сьорѣ Бабуинѣ, скажи ей, чтобы состряпала намъ обѣдъ, что-нибудь такое: gallinaccio или или capretto, да fegato con cipole alla veneziana—по нашему печенка съ лукомъ,—пояснилъ онъ Горунину,—макароны, разумѣется, ну, что тамъ еще придумаетъ, она ужь знаетъ... Иди же presto, presto! живо! А вы часокъ или погуляйте, или вонъ диванчикъ въ той комнатѣ, поспите—я тутъ кой-что додѣлаю, а тамъ ужь и будемъ кутить. У меня сьора Бабуина молодецъ, обѣдъ ей-Богу почище Лепревскаго состряпаетъ,—право, не раскаетесь.

Горунинъ, радуясь на Марка Петровича, явившагося передъ нимъ неожиданно совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, нежели

какъ онъ видѣлъ его въ Аппенинахъ, и пораженный, какъ онъ выражался, богатствомъ его непосредственной натуры, простотой и ясностью его идей, разрѣшавшихъ массу самыхъ темныхъ и спорныхъ занимавшихъ его вопросовъ эстетики, — разумѣется, находился въ полной власти художника. Его собственное *я* въ его собственныхъ же глазахъ пропадало въ обаяніи душевной силы художника, какъ свѣтъ свѣчи въ лучахъ солнца, и эта свѣча отвѣчала своему солнцу: «Ахъ, сдѣлайте милость, дѣлайте ваше дѣло; я, маленькая свѣчка, погорю гдѣ-нибудь, тутъ, незамѣтно въ уголку».

Маркъ Петровичъ принялся опять за свои стеки и глину, а Горунинъ, ходя на цыпочкахъ, сталъ разсматривать разные цѣльные и съ поломами, гипсовые статуи и бюсты, эскизы изъ воска и высохшей уже глины, которыми была полна мастерская. Но вотъ, очевидно, бюстъ, еще свѣжій, накрытый мокрой тряпкой.

«Должно быть, что-нибудь новенькое», подумалъ Горунинъ.

По счастью, въ эту минуту художникъ нечаянно взглянулъ въ эту сторону, увидѣлъ Горунина передъ бюстомъ.

— Подымите, подымите тихонько тряпку, сказалъ онъ,— тутъ есть еще одна вещица.

Горунинъ осторожно снялъ тряпку: открылась женская головка. На ней не было замѣтно слѣдовъ окончательной отдѣлки; глина не была еще сглажена; сильно были намѣчены нѣкоторыя черты, особенно характеризовавшія выраженіе лица, сильно намѣчены, очевидно, чтобы не потерять ихъ при дальнѣйшей работѣ.

— Вы отойдите немножко, сядьте на кресло и смотрите

такъ, немножко издали, проговорилъ еще художникъ, продолжая свою работу и не глядя на Горунина.

Сначала ничего особеннаго не поразило Горунина въ этомъ, еще очевидно не конченномъ, произведеніи художника. Онъ подумалъ только: «Какой однако у него благородный стиль,—это ужь вліяніе Рима, антиковъ». Затѣмъ, чѣмъ болѣе всматривался, тѣмъ болѣе и болѣе интереса открывалъ въ этой головкѣ.

«Это какъ въ Гвидовой Беатриче Ченчи», подумалъ онъ,—«но то—живопись, краски; здѣсь—ваяніе, матеріалъ одноцвѣтный, неблагодарный...»

Онъ смотритъ—и съ изображенія все болѣе и болѣе какъ бы совлекается эта грубая, безцвѣтная оболочка матеріи и выступаетъ живой образъ, подъ нею скрывавшійся... Даже глаза, которые какъ-то всегда непріятны въ статуѣ, какъ будто и они оживляются, и подъ тѣнью нѣсколько выдвинутыхъ вѣкъ, въ нихъ становится все выразительнѣе и выразительнѣе ихъ взглядъ, который какъ бы договариваетъ общее выраженіе лица, становится центромъ, куда сходятся всѣ движенія отдѣльныхъ личныхъ мускуловъ въ одну общую мысль, въ одинъ готовый сейчасъ вырваться вопль изболѣвшей души: «Да! Все кончено!»

Но ужь тутъ художникъ, его твореніе совершенно исчезаетъ передъ Горунинымъ. Это ужь не глиняный бюстъ, это ужь образъ существа живаго, знакомаго...

«Неужели это она?» вопрошаетъ онъ, хватаясь за сердце, какъ бы почувствовавъ тамъ внезапную боль. «Она?.. И съ нея онъ лѣпилъ этотъ бюстъ?..» Онъ смотрѣлъ прямо, смотрѣлъ въ три-четверти, въ профиль. «Она!.. Глина сы-

рая: неужели она здѣсь, въ Римѣ, была въ этой мастерской...»

Волненіе его слишкомъ сильно; онъ не можетъ преодолѣть себя и спрашиваетъ художника:

— Это не портретъ, Маркъ Петровичъ?

Маркъ Петровичъ не вдругъ отвѣтилъ, погруженный въ свою работу:

— Можетъ быть и портретъ... не знаю, какъ вамъ сказать...

II.

Бюстъ.

Сьора Бабунна дѣйствительно оправдала свою рекомендацію. Накрыла столъ на открытой терасѣ, осѣненной навѣсомъ густыхъ виноградныхъ лозъ и выходившей изъ спальни Марка Петровича въ небольшой садикъ. Садикъ шелъ подъ гору. За передней его каменной стѣной съ нѣсколькими почернѣвшими мраморными вазами съ жирными кактусами начинается уже болѣе крутой склонъ горы, такъ что видъ съ терасы выходилъ, какъ въ Москвѣ съ Кремля на Замоскворѣчье, на весь Вѣчный городъ. Это было лиловатое, воздушное море домовъ, крышъ, куполовъ, кипарисовъ, зонтообразныхъ пиній, — море, горизонтъ котораго увѣнчивался чуднымъ силуэтомъ храма Св. Петра съ его величаво-спокойнымъ куполомъ. Солнце было еще высоко и косыми лучами своими какъ бы слегка золотило низкіе слои атмосферы, всегда тяжелые и туманные надъ большимъ городомъ, за то яркимъ изумрудомъ и прозрачнымъ

золотомъ зажигало мѣстами виноградные листья и цѣлыя вѣтки съ ихъ закрутившимися усиками, спускавшіяся по сторонамъ терасы, гдѣ совершали свою трапезу наши друзья.

Горунинъ, будь онъ въ другомъ настроеніи духа, пришелъ бы въ восторгъ отъ всего, что его окружало, но все время обѣда онъ былъ какъ бы самъ не свой. Только когда Маркъ Петровичъ велѣлъ достать и подать хранившуюся у него бутылку Капри, какое «врядъ ли когда пивалъ» Горунинъ, и которое «конечно, будетъ получше той кислятины», какой они «угощались» въ остеріи въ Апенинахъ,— онъ нашелъ возможнымъ направить разговоръ на предметъ его занимавшій.

— Вотъ, Маркъ Петровичъ, сказалъ онъ:—вы сами напомнили объ той остеріи. Я все еще не могу опомниться видѣлъ васъ тамъ такимъ... огорченнымъ...

— Такою скотиной, перебилъ его Маркъ Петровичъ захохотавъ. — Что дѣлать, батюшка, бываетъ! Вамъ тогда наговорилъ я грубостей и—должно быть—чувствовалъ это, потому что послѣ васъ еще хуже сталъ пить. Одинъ сижу, пью и васъ ругаю. Такую желчь развелъ, что страхъ!

— Ну что объ этомъ, Маркъ Петровичъ! Скажите лучше какъ вы оттуда уѣхали?

— Какъ уѣхалъ? Да очень просто: велѣлъ привести лошадей и уѣхалъ. Захотѣлось вотъ этотъ бюстъ сдѣлать, что вы видѣли. Бюстъ-то это пока только такъ. Обдумываю группу. Надо только въ исторіи подыскать подходящій сюжетъ. Вертится этакъ — образъ Іевфая и его дочери или Агамемнонъ съ Ифигеніей, жертвоприношеніе, или, напри-

мѣръ, сотникъ Виргиній съ трупомъ дочери — что-нибудь этакое, чтобъ были отецъ и дочь. Этакій трагическій мотивъ!.. Король Лиръ, пожалуй... Эти чувства-то ихъ въ натурѣ видѣлъ... Какъ будто самъ ими прожилъ... Онъ нѣсколько подумалъ, потомъ прибавилъ: — Тамъ послѣ васъ случилось одно происшествіе...

— ...которое и произвело на васъ сильное впечатлѣніе,— докончилъ Горунинъ фразу свою собесѣдника.—И изо всего этого результатомъ будетъ, можетъ быть, великое произведеніе искусства! Ужасно интересно для науки наблюсти это первое зарожденіе художественной мысли—чисто личной, и какъ она потомъ будетъ принимать все болѣе и болѣе объективное выраженіе.

— То-есть, случай-то былъ интересный, отвѣчалъ Маркъ Петровичъ, не вполнѣ понявшій мысль Горунина. — Послѣ васъ, этакъ дня черезъ три, черезъ четыре, сижу тамъ, въ остеріи. Входитъ господинъ. Сейчасъ вижу — нашъ, русакъ, помѣщикъ. Отставной изъ военныхъ. Длинные усы съ сильной просѣдью. Лицо такъ-себѣ, доброе. Противъ меня сѣлъ, кофе спросилъ. На меня поглядываетъ, конфузится. Наконецъ говоритъ: «Узналъ, милостивый государь, что тутъ русскій сидитъ—осмѣлился побезпокоить—поговорить хоть немножко —имѣю честь рекомендоваться». Такой-то, говоритъ. Какъ себя назвалъ—не интересовался, не слушалъ, и теперь не знаю. А онъ, точно вѣкъ молчалъ, и пошелъ, и пошелъ расписывать—и «семейныя горести», и «на чужой сторонѣ», да «по душѣ поговорить...» Я говорю: «Отъ меня утѣшенія много не получите.»—Думаю про себя: ну васъ къ чорту! Отшибить его разомъ,

чтобъ не лѣзъ; говорю, тоже молъ имѣю честь рекомендоваться «бывшій крѣпостной, нынѣ художникъ». Жду, что поморщится отъ «крѣпостного»: Куда-те! «Художникъ, говоритъ, — значитъ, отъ Бога милости и отъ людей чести удостоены какъ такой-то, такой-то, Тропининъ-тамъ—да и меня называетъ... Оконфузилъ совсѣмъ. Не знаю какъ и быть: сказать, что это я самый и есть—совѣстно; ну ужь, думаю, промолчу лучше, все равно, вѣдь никогда, можетъ, и не встрѣтимся. А онъ: «Да-съ, говоритъ, талантъ — это такой даръ Божій, который намъ, простымъ людямъ, во тьму свѣтитъ. И горе, коли его не уразумѣешь! — У меня дочь: тоже данъ ей талантъ—да не дали мы ей простору— и вотъ теперь пріѣхали сюда... а привеземъ ли домой живую — Богъ вѣсть!» И смотрю: старикъ мой, какъ сидѣлъ противъ меня, облокотившись за столомъ, схватился руками за голову и — горько заплакалъ. Я, знаете, гляжу выпуча глаза. Преодолѣлъ это онъ себя, походилъ по комнатѣ, обтеръ лицо платкомъ, опять сѣлъ. «Извините, милостивый государь, человѣческой слабости. Все-то время вмѣстѣ съ нею, и въ отеляхъ, и въ экипажѣ, крѣпишься, шутишь, стараешься веселымъ казаться, виду ей не подавать, что̀ у тебя на душѣ... а увидалъ теперь вотъ васъ, добраго человѣка—хоть въ первый разъ, говоритъ, имѣю честь видѣть—не выдержалъ. Простите отцовскія чувства—и руку мнѣ протягиваетъ. Ну-съ, знаете, свиньей я себѣ передъ нимъ показался.

— Вы его фамилію такъ и не помните и какъ зовутъ? спросилъ Горунинъ.

— Ничего, голубчикъ, не помню. Сначала не разслышалъ, а потомъ спросить совѣстился, да и невдомекъ.

— Но онъ все-таки съ дочерью пріѣхалъ? Дочь-то вы видѣли? опять спросилъ Горунинъ.

— Съ женой и дочерью. Всѣхъ видѣлъ. Дочь-то точно больная, чахоточная. И въ Петербургѣ, и въ Берлинѣ, и въ Вѣнѣ доктора сказали отцу, что плоха надежда. И мать мелькомъ видѣлъ. Обошлась сухо. Должно быть характерная дама, княжескаго рода. Противъ воли родителей вышла замужъ: убѣгомъ.

— Вы говорите, Маркъ Петровичъ, ихъ всѣхъ видѣли, и мать, и дочь,—гдѣ же это? Не въ остерію же они пришли, продолжалъ допрашивать Горунинъ.

— Гдѣ они остановились, у нихъ, въ гостиницѣ «Горнаго Орла». Онъ меня затащилъ. Такъ, знаете, словно на веревочкѣ и повелъ, какъ у насъ какая-нибудь хромая гарниза въ часть цѣлую ватагу водитъ. Я признаюсь вамъ, Александръ Васильевичъ, маленько суевѣренъ. Сколько въ моей жизни бывало такихъ случаевъ. Точно иногда кто насильно возьметъ тебя и поведетъ и натолкнетъ именно на то, что тебѣ нужно увидать, или что услышать. Когда работаешь, иногда онъ словно подлѣ тебя стоитъ, и рукой твоей водитъ, ты и самъ не знаешь, почему и какъ тутъ ткнешь, тамъ ткнешь; иной разъ только почти какъ ужъ къ концу подходишь, угадаешь, къ чему онъ клонилъ. Бьешься иной разъ, бьешься надъ работой, мучишься, злишься, бросишь все, а онъ тебя нечаянно подведетъ, возьметъ твою руку со стекой, да и направитъ, смотришь— и вышло то, чего искалъ. Охъ, объ этомъ долго говорить...

— Сократовъ δαίμων—демонъ, то-есть, духъ, —пояснилъ съ легкой улыбкой Горунинъ.

— Нѣтъ, только не демонъ, а духъ, чистый, никогда на дурное не наведетъ. Не будь въ насъ этого скотства ему помѣхой, то ли бы изъ насъ выходило!

— Какъ же вы полагаете, онъ къ вамъ и старика привелъ, и потомъ повелъ къ дочери? спросилъ Горунинъ, озадаченный странными откровеніями Марка Петровича, которыя еще не успѣлъ перевести на свой научный языкъ.

— Ужь тамъ какъ хотите толкуйте, а ужь изъ этого ада или скотства, какъ вы меня видѣли и куда я таки попадаю отъ своей испорченности и отъ безобразной жизни, въ которой болтался, отъ своей необузданности, отъ скверныхъ привычекъ, конечно, только онъ меня выводилъ и теперь вывелъ. Вывелъ, да и поставилъ словно передъ какой свѣтъ небесный... Знаете, въ этихъ чахоточныхъ что-то небесное просвѣчиваетъ. И румянецъ—не то что красныя щеки здоровой дѣвки, а знаете, какъ заря изъ другого міра. И цвѣтъ кожи, лицо, руки какія-то сквозящія. Самая худоба тѣлесная, такъ ей и слѣдуетъ быть у нихъ. А за то вся сила-то, жизнь, огонь-то небесный весь въ глазахъ сосредоточился. Только цвѣтами бы, розами да кринами ее окружать, пока она на землѣ. Тяжела, груба, грѣшна для нихъ наша земля!

— Маркъ Петровичъ! Маркъ Петровичъ! воскликнулъ Горунинъ. — Это все у васъ выражено въ бюстѣ! Даже больше того: страданье, безнадежность!—Ему хотѣлось бы однако перевести скорѣе разговоръ на предметъ, болѣе его интересовавшій, и онъ прибавилъ: Понимаю, какъ вамъ глупъ долженъ былъ показаться мой вопросъ—не портретъ ли это?

— Портретъ-то, можетъ быть, и портретъ; я вамъ разскажу; только вотъ докончу мою мысль. Это я говорилъ о чахоточныхъ; но знаете, во всѣхъ этихъ статуяхъ и картинахъ великихъ-то мастеровъ есть вѣдь это самое, что̀ я сказалъ, что духъ-то сквозитъ сквозь матерію, и мы именно это въ нихъ называемъ божественнымъ—въ Аполлонѣ, въ Мадоннахъ Рафаэлевскихъ... А на счетъ того, портретъ ли это, скажу: можетъ быть и вышелъ портретъ—безъ натуры дѣлалъ. Эта вотъ именно дочка-то старика у меня въ головѣ засѣла. У дѣвочки, видите, съ малолѣтства страсть къ музыкѣ была. Все наигрывала и напѣвала по слуху. Потомъ оказался голосъ. Учителя наняли, нѣмца. Въ домъ взяли, въ деревню возили, чтобъ ей всегда акомпанировать. Нѣмецъ вышелъ совсѣмъ по ней. Пѣніе хорошо зналъ, молодость въ Италіи провелъ, около пѣвцовъ и пѣвицъ, въ оркестрѣ въ первыхъ скрипкахъ сидѣлъ. На свою барышню просто молился. Всѣ, разумѣется, радовались, гостей сзывали, концерты домашніе устраивали. Въ Петербургѣ къ нимъ все лучшее общество ѣздило, художники, писатели, Карлъ Павловичъ Брюлловъ, Кукольникъ; Глинка въ ней души не чаялъ, съ ней свои романсы проходилъ. У графа Віельгорскаго,—а вѣдь онъ какъ бы министръ по искусствамъ у государя,—у него всѣ знаменитости, свои и пріѣзжія, бываютъ, — все это передъ ней преклоняется. Всѣ жалѣютъ, что этакій талантъ пропадаетъ для сцены. Князь Одоевскій — чистая, благороднѣйшая душа — тонко понимаетъ искусство. Онъ ей прямо сказалъ: «Богъ вамъ далъ всѣ свои лучшіе дары, да одинъ порокъ, который ихъ уничтожаетъ: вы слишкомъ высоко родились...» А я вамъ

скажу, что талантъ, батюшка, гдѣ онъ ни родись, вверху или внизу, такая штука, что, какъ растеніе, тянется къ свѣту, въ просторъ. Оно такъ и должно быть. Талантъ вѣдь не въ какое удовольствіе только *тебѣ* дается. Это, можетъ быть, только орудіе, черезъ которое дѣйствуетъ Высшая сила на всѣхъ, и стремится онъ быть аки городъ на горѣ, дабы всѣмъ виденъ былъ. Мы сами тутъ, можетъ, и не при чемъ, коли бы дѣло шло только о нашемъ удовольствіи. Ну, чѣмъ бы, напримѣръ, мнѣ не житье было въ деревнѣ? Лѣпи, что угодно! Одно горе только было: мальчишки у моихъ фигуръ камнями носы отбиваютъ. Это, я вамъ скажу, первая страсть у дикаго человѣка — у статуи носъ отбить! Отчего и древнія статуи до насъ дошли почти всѣ съ отбитыми носами...

Горунинъ, который сперва съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ собственныя сужденія и воззрѣнія Марка Петровича, теперь сталъ уже изъявлять нетерпѣніе при его частыхъ отступленіяхъ. Онъ опять вернулъ его къ занимавшему его предмету:

— Она, стало быть, захотѣла на сцену?

— Да, да, на сцену!.. Старикъ, знаете, вилялъ, когда говорилъ объ этомъ: все хотѣлъ жену выгородить, — а чортъ-отъ, по всему, въ ней сидѣлъ. Видитъ она, что ужь дѣло идетъ на сурьезъ, что дочка прямо и на графа Віельгорскаго, и на князя Одоевскаго ссылается, и что дальше, то хуже; рѣшила барыня моя всему положить конецъ. Нѣмца — какъ разъ по шеямъ, а сами — въ дальнюю деревню! Старикъ, знаете, все это затушевывалъ, больше на здоровье ссылался, что надо было въ деревню переѣхать,

потому, видите, что ужь стала покашливать... Можетъ и стала покашливать? Съ чего же нибудь, однако!

— А про деревню, что онъ разсказывалъ? спросилъ Горунинъ, который волновался все болѣе и болѣе: то воды стаканъ выпьетъ, то вина, то облокотится на столъ, то откинется на спинку креселъ.

— Ну, въ деревнѣ что?.. Не знаю, право, отвѣчалъ Маркъ Петровичъ. — Разумѣется, болѣзнь пошла хуже... Впрочемъ, въ деревнѣ—вдругъ онъ вспомнилъ,—она разъ чуть было не убѣжала...

— То-есть, какъ чуть было не убѣжала? дрожащимъ голосомъ переспросилъ Горунинъ.

— Это старикъ разсказывалъ даже какъ-то забавно Оказался тамъ у нихъ сосѣдъ, молодой человѣкъ; такъ, говоритъ, изъ фертиковъ. Уменъ, говоритъ, да безтолковъ.. Разумѣется, влюбился. Уговорились, — лошадей достанетъ, уѣдутъ, гдѣ-нибудь обвѣнчаются—и въ Италію. Да, дуракъ, говоритъ, и этого не сумѣлъ устроить... «Я, говоритъ, свою супругу похищеньемъ добылъ, да еще отъ какого тестя — ого! матерого вельможи! Такъ у меня—хотя я всего какой-нибудь изъ мелкопомѣстныхъ штабъ-ротмистеришко былъ— все какъ по музыкѣ разыграно было, на чистоту! На сто верстъ были подставы заготовлены, а знали только я да она! Тесть нагналъ—да ужь поздно было. Да-съ, говоритъ, это наши были, старыя гусарскія времена». Понимаете: старый-то гусаръ чѣмъ обидѣлся? Не тѣмъ, что хотѣли дочь похитить, а тѣмъ—что не сумѣли! А отчего? «Срамникъ-то, говоритъ, не явился. Дома его, въ комнатѣ, заперли! Любовница заперла. Знаете—про все пронюхала, да

какъ ѣхать ему, двери на запоръ,—цѣлыя сутки подъ замкомъ держала, и еще хвасталась потомъ: хотѣлъ, говоритъ, мой заннька убѣжать, анъ въ капканъ попался!..»

Маркъ Петровичъ, войдя въ роль стараго гусара, про котораго разсказывалъ, засмѣялся было при своихъ послѣднихъ словахъ, но, взглянувъ на Горунина, остановился.

— Что съ вами? спросилъ онъ, видя что тотъ, откинувшись на спинку креселъ, находится какъ бы въ совершенномъ изнеможеніи.—Что съ вами? повторилъ онъ.

— Ничего, ничего, отвѣчалъ Горунинъ, пріободрясь.— Пожалуйста продолжайте... Что потомъ съ нею было послѣ этого несчастнаго бѣгства?

— Видите, Александръ Васильевичъ, я не могу вамъ въ порядкѣ разсказывать; вѣдь я тамъ не былъ и не въ книжкѣ читалъ... Старикъ вѣдь тоже переходилъ отъ того къ другому, какъ къ слову придется. Она послѣ того сильно заболѣла. Ночь-то провела, ждала, въ саду, на холодѣ, осенью. Мучить сталъ кашель. Тутъ старикъ я вамъ скажу, былъ божествененъ. Просто въ какомъ-то историческомъ образѣ просіялъ. Лицо—совсѣмъ другое. Рѣчь—другая. Откуда сила взялась: «Вы, говоритъ, молоды, вы понять не можете, что такое родное дѣтище, да еще такое, смѣло могу сказать, необыкновенное созданіе! Словно свѣтъ какой она съ собой принесла... У меня, говоритъ, просто второе зрѣнье открылось...» Оно понятно—и люди-то съ ней пришли другіе; говорятъ, судятъ объ искусствѣ, о наукахъ... И въ Эрмитажъ, и по выставкамъ... «И вдругъ, говоритъ, тебѣ объявляютъ, что этотъ свѣтъ для тебя долженъ по-

гаснуть... Погаснетъ—и все кругомъ погаснетъ—и будетъ тьма!.. И какъ, говоритъ, засѣла эта мысль, такъ вотъ словно у тебя въ мозгу одна точка — и ноетъ, и ноетъ: словно кто тебя въ эту точку буравомъ сверлитъ...» Или: «Въ болѣзни-то, говоритъ, сижу около ея постели: лежитъ какъ мраморная, покойница, да и только! Смотрю и думаю: «Что же я-то живу!» Вѣрьте, говоритъ, скажи мнѣ тогда, на самыя вотъ адскія муки иди—пойду! Какъ Богъ святъ, пойду, чтобы только жива была!» И я вамъ скажу: пошелъ бы!.. Мнѣ даже на него жутко было глядѣть. Думаю про себя: да, Маркъ Петровичъ, есть, братецъ, горе на свѣтѣ почище твоего!.. Ты-то что? Изъ-за фантазіи! А тутъ—кровь говоритъ!

— Однако... потомъ она поправилась? едва могъ произнести задыхающимся голосомъ Горунинъ.

— Должно быть, долго болѣла. Въ Москву переѣхали. Лѣчили. Да, вѣдь, что жь доктора? «Беречь надо, не раздражать, развлекать — такая болѣзнь, что малѣйшая простуда можетъ унести — хорошо бы въ теплый климатъ». Старикъ говоритъ, что ужь тутъ онъ ни на кого не сталъ смотрѣть. Говоритъ женѣ: «Такъ нельзя, мы, молъ, дочь погубимъ. Надо ѣхать въ Италію, да чтобы въ ней духъ поднять, такъ и скажемъ, что мы на все согласны, на театръ, такъ на театръ. Что, въ самомъ дѣлѣ? Поправится, такъ и съ Богомъ, на театръ, куда угодно. Только, говоритъ, надо чтобы это она отъ тебя самой слышала. Пойди ты къ ней и сама скажи». Мать-то, хоть и гордая дама, тоже вѣдь настрадалась. «Дѣлайте, говоритъ, что хотите, лишь бы только была бы жива да здорова», и пошла къ дочери. Онъ

подождалъ немножко, говоритъ, не вытерпѣлъ, самъ пошелъ, потихонечку. Дверь-то пріотворена. «Вижу, говоритъ, сидятъ обѣ на постели, обнялись и плачутъ.—Полно, говорю, нечего тутъ плакать! Поѣдемъ въ Италію, такую тамъ Зонтагъ покажемъ, что всѣ рты разинутъ». Та: «Папочка, папочка!» и ручку протянула, обняла папочку, правой-то рукой мать, а лѣвой-то его, старика, да то того, то другого цѣлуетъ.

— Удивительная это вещь, заключилъ Маркъ Петровичъ, — я вотъ вамъ разсказываю, а у меня, у самого — опять слезы!..

Горунинъ всталъ со своего мѣста, прошелся раза два по терасѣ, и остановясь съ какимъ-то видомъ рѣшимости, спросилъ Марка Петровича:

— Неужели вы не запомнили хоть какъ дѣвушку-то звали? Вѣдь отецъ поминалъ же ея имя, какъ разсказывалъ?

— Поминалъ, поминалъ, отвѣчалъ Маркъ Петровичъ, потирая себѣ лобъ,— Соничка, Сашенька...

— Ниночка!.. подсказалъ тихо Горунинъ.

— Ниночка, Ниночка! радостно воскликнулъ художникъ. —Такъ и есть! А я-то!..

— Ну-съ, какъ бы съ рѣшительностью отчаянія произнесъ Горунинъ.—Значитъ, это она. Отецъ—Сергѣй Петровичъ Тарутинъ, мать — Марья Борисовна, дочь — Нина. А этотъ дуракъ, который хотѣлъ спасти ее, подбилъ бѣжать,— это я!..

Маркъ Петровичъ ошеломленъ былъ этимъ внезапнымъ откровеніемъ Горунина, котораго никакъ не ожидалъ. Онъ

сталъ было извиняться, что еслибъ зналъ, что это такъ близко Горунина касается, то не сталъ бы говорить. Но Горунинъ его остановилъ:

— Что̀ вамъ извиняться, дорогой Маркъ Петровичъ! Я знаю себѣ цѣну — и вы ее знаете! Сами видѣли... Духа у меня этого нѣтъ, что̀, вы говорите, васъ ведетъ, и сами не знаете куда, но всегда къ доброму и свѣтлому! Вѣры нѣтъ! Вы—художникъ, вы—идеалистъ, въ какой бы формѣ ни проявлялся этотъ идеализмъ, не смотря на всѣ ваши, какъ вы говорите, безобразія. У меня все это расшатано, разбито. Въ другихъ, въ исторіи, въ искусствѣ все понимаю. Мало того: у самого хорошіе порывы, благородные есть, вся жизнь моя изъ нихъ состоитъ, да нѣтъ воли, нѣтъ силъ отдаться всѣмъ существомъ своимъ вдохновенью минуты, со слѣпою вѣрою, какъ вы въ этого добраго духа вашего!.. И начнешь съ благороднаго порыва, а кончишь какъ дуракъ, какъ подлецъ!

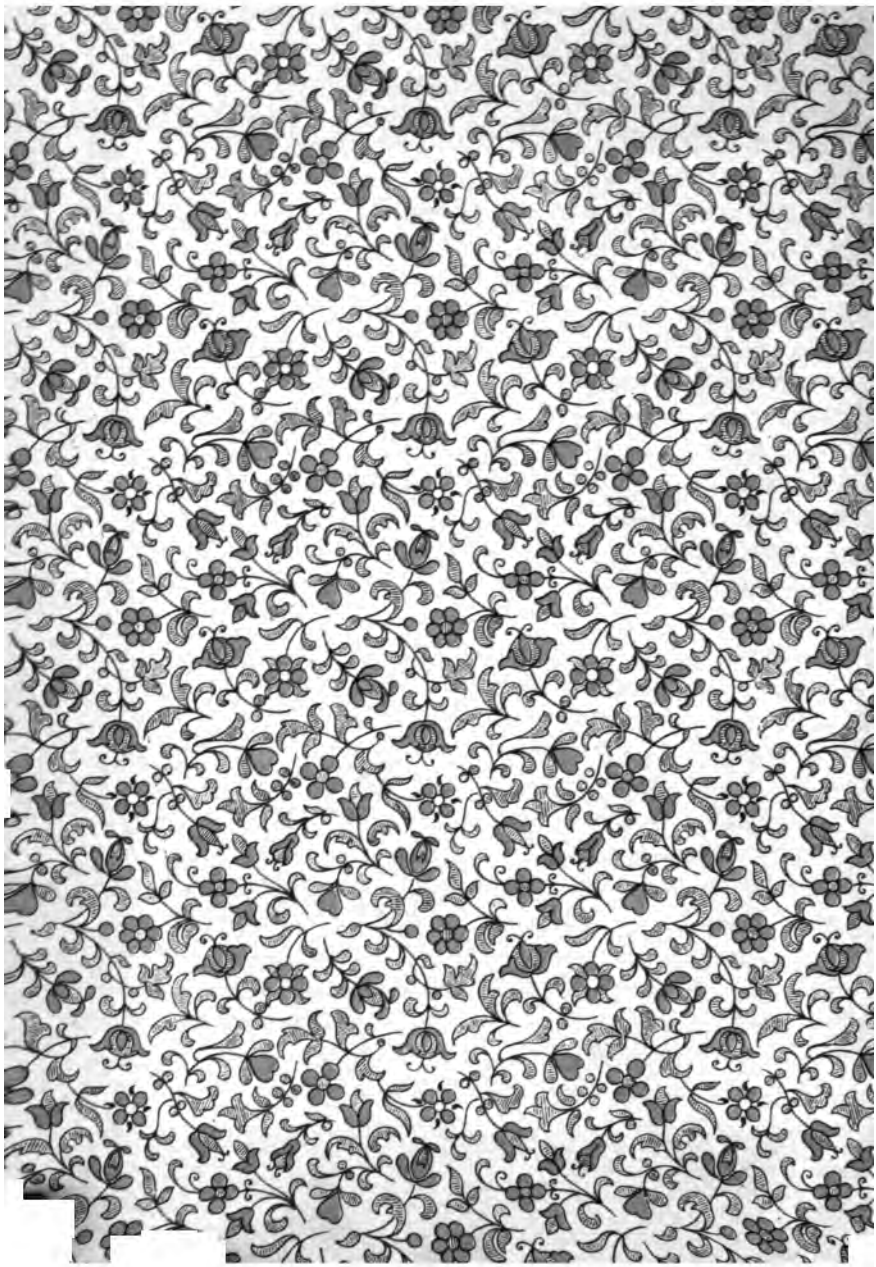
— Да полно вамъ на себя клеветать, хотѣлъ было остановить его Маркъ Петровичъ.

— Нѣтъ, Маркъ Петровичъ, эта чудная дѣвушка, о которой вы говорите,—теперь умирающая: вотъ мнѣ мой вѣчный укоръ — не грозная Немезида, нѣтъ, еще ужаснѣе — кроткая, тихо и безнадежно страдающая, можетъ быть даже, и вѣроятно,—прощающая! Вотъ гдѣ мнѣ вѣчный приговоръ, вотъ кара за всю мою жизнь, за всю мою безхарактерность... Вѣдь и та, которая заперла меня и подъ замкомъ продержала,—и ту я хотѣлъ тоже спасти, тоже жертва моего великодушнаго порыва: не выдержалъ—и самъ не знаю ужь какъ попался ей въ цѣпи!.. Но извините меня, бросимъ

всю эту гадость; я ужь думалъ, что все это порвалъ, уѣхалъ за границу, началъ новую жизнь... Эхъ, всѣ-то мы, праздные туристы, что̀ шатаемся по Европѣ и ищемъ чѣмъ бы наполнить умъ и сердце, всѣ мы — разбредшіеся актеры какой-нибудь драмы, которую не называю трагедіей, потому, что въ ней замѣшана всегда какая-нибудь пошлость. Скажите лучше, какъ вы застали Нину, какое она произвела на васъ впечатлѣніе?

— Я ужь вамъ разсказалъ, какое впечатлѣніе, отвѣчалъ Маркъ Петровичъ. — Засталъ ее, впрочемъ, въ хорошемъ видѣ. Вышло, однако, съ самаго начала для меня не совсѣмъ ловко. Старикъ говорилъ-говорилъ, вдругъ всталъ, взялъ шляпу и говоритъ мнѣ: «Послушайте, хотите сдѣлать удовольствіе, можетъ быть умирающей, — пойдемте къ ней со мною. Съ художникомъ поговорить—это ея первая страсть! Пойдемте, доброе дѣло сдѣлаете». Я, какъ по приказанію, поднялся и пошелъ. «Вотъ, говоритъ, Ниночка, гостя тебѣ привелъ, художникъ... извините, — ко мнѣ обращается,—не знаю какъ назвать?»—Петровъ, говорю.—«Какой Петровъ?.. скульпторъ?» спрашиваютъ: «Дѣвочка, что голубей кормитъ, пшеничку сыплетъ—это ваша статуя была на выставкѣ?»—Моя! И отецъ и дочь: «ахъ, ахъ!» Я посмотрѣлъ на себя: квадрочента на мнѣ не чищена, въ пятнахъ вся, чортъ знаетъ на что̀ похожъ. Мать вышла, на меня посмотрѣла, нѣсколько словъ по свѣтскому сказала, ушла; думаю — похвалила мужа, такого чучелу привелъ. Онъ тоже посидѣлъ-посидѣлъ, надо пойти похлопотать гостя попотчивать, тоже ушелъ, нарочно ушелъ, насъ вдвоемъ оставилъ. Разумѣется, разговоръ объ искусствѣ завели. Я ей кое-что про себя

разсказалъ. Знаете, точно мы съ ней вѣкъ были знакомы. Весело было. Она даже смѣялась, какъ я ей разныя свои приключенія разсказывалъ, про профессоровъ, про «Великаго»—у Брюллова одинъ его ученикъ былъ, журналъ свой велъ, такъ тамъ Карла Павловича по имени не писалъ, а только «Великій». Такъ, напримѣръ: «Сегодня Великій пустилъ въ меня палитрой — всего перепачкалъ!» или: «Сегодня Великій вернулся съ проводовъ со Средней Рогатки; оказался жаръ. Поилъ малиной». Журналъ, впрочемъ, очень интересный: всѣ сужденья Великаго были записаны; вѣдь умница былъ Карлъ Павлычъ. Да вдругъ я ей какъ-то и говорю: «Вѣдь вы сами артистка!» Смотрю,—вся веселость съ лица пропала, подняла на меня глаза и долго смотрѣла. Вижу—проступаютъ на нихъ слезы. «Была бы», говоритъ, и опустила голову, а слезы такъ и закапали. Вотъ это въ бюстѣ я и хотѣлъ выразить!



Stanford University Libraries
3 6105 124 446 332

PG
333
M2
190
v.4

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUN 8 - 1974